

Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 10 АВГУСТ 2005 • ИЕРУСАЛИМ

- ХОЛЪМ ВАН ЗАЙЧИК. Дело непогашенной луны
МИХАИЛ ГИГОЛАШВИЛИ. Секс-нары, Канары
- ИГОРЬ ЕФИМОВ. Исправительно-принудительная
демократия
- СИМПОЗИУМ: Тьма в полдень
- АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Биробиджан –
Земля обетованная
- МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ. Иосиф Бродский и моя судьба
- БОРИС ПАРАМОНОВ. Судью на мыло
и другие эссе





NOTA BENE

Литературно-публицистический журнал

Главный редактор **Эдуард Кузнецов**
Заместитель редактора **Рафаил Нудельман**
Заведующая редакцией **Елена Вайнштейн**
Корректор **Лена Драгицкая**
Полиграфические услуги **«Клик» (Иерусалим)**

Адрес редакции:

POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel
Тел. 02-5325931. Факс 02-5324863
Электронный адрес: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE

Literary-Publicistic Magazine

Editor-in-Chief **Eduard Kuznetsov**
Deputy-editor **Rafael Nudelman**
Manager **Lena Wainstein**
Printing-house **«Click» (Jerusalem)**

The Magazine's Address:

POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel
Tel: 02-5325931. Fax: 02-5324863
E-mail: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE

כתב-עת ספרותי פובליציסטי

אדוארד קוזניצוב עורך ראשי
רפאל נודלמן סגן העורך
לנה ויינשטיין מנהלת אדמיניסטרטיבית
הדפסת סטודיו "קליק" ירושלים

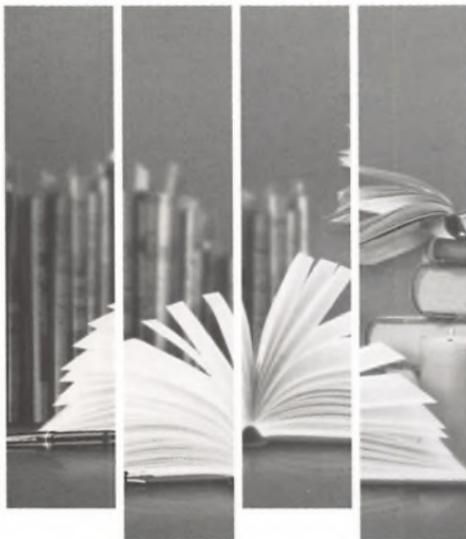
כתובת:

ת.ד. 45156, הר-הצובים, ירושלים 91450, ישראל
טל: 02-5325931
פקס: 02-5324863
E-mail: omegag@bezeqint.net

Nota Bene (NB) © Э. Кузнецов

Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Использование материалов журнала без ведома и согласия редакции не разрешается.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются и в перепику по этому поводу редакция не вступает.

Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ*

В Израиле (почтой)	₪210
В России (авиапочтой)	\$65
В Европе (авиапочтой)	€55
В США (авиапочтой)	\$70

* Цена включает доставку и НДС

Телефон для справок: 02-5325931

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

В Израиле:	
в магазине	₪40
в редакции (вкл. доставку почтой)	₪35
В России (авиапочтой)	\$11
В Европе	€9
В США	\$12



номера
включая
доставку

Желающие оформить подписку могут выслать чек, выписанный на имя компании «Journal Omega», по адресу редакции

Журнал
выходит раз
в два месяца



Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№10

АВГУСТ 2005
ИЕРУСАЛИМ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- 3** Хольм ван Зайчик. Дело непогашенной луны
137 Михаил Гиголашвили. Секс-нары, Канары
145 Люся Генсировская. Чап

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

- 169** Игорь Ефимов. Исправительно-принудительная демократия
180 Эфраим Гуревич. Nava pagila!
189 Симпозиум: Тьма в полдень
204 Александр Кустарев. Америка у Христа за пазухой

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

- 209** Александр Мелихов. Биробиджан – Земля обетованная *(окончание)*
240 Михаил Хейфец. Иосиф Бродский и моя судьба

КУЛЬТУРА

- 258** Борис Парамонов. Судью на мыло. Лев Толстой сегодня.
Уфа как Третий Рим. Воры и поэты

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА... *(дайджест)*

- 285** Константин Мелихан. Страна-дюймовочка
300 Зиновий Зиник. На автобусной остановке
310 Марк Кушнирович. Свидетели оправдания
317 Кирилл Александров. Несостоявшийся десант
326 Михаил Горелик. Герои, статисты, реквизит
329 Евгений Сатановский. «Шарон торопится сделать это при жизни»
333 Александр Пумпянский. Король и заложница
337 Олег Храбрый. Неоконовая империя
348 Эдуард Графов. Бывают ли неверные жены?
350 Марк Розовский. Штучки

ISSN 1565-5318



загадочный голландец, автор ряда книг о стране Ордусь. Одни верят в китайского голландца, другие считают, что это мистифицируют Стругацкий или Макс Фрай, третьи утверждают, что Хольм ван Зайчик – это два питерских Китаеведа Вячеслав Рыбаков и Игорь Алимов.

ДЕЛО НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ*

Этнокарнавальный роман (фрагменты)

Пер. с кит. Э. Выхристюк при участии Е. Худенькова

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

1. Некоторое время назад популярна и модна стала теория, согласно которой всякие там идеалы – это не более чем вредные мифы, которые чреватые единственно кровью, проливаемой во имя них в процессе бессмысленных попыток их зачем-то реализовать. Спору нет, кровь бывает. От неумения, неграмотности, непомерной эксплуатации. Автомобили чреватые кровью, когда нарушаются правила движения или израсходована тормозная жидкость. Электричество чреватое кровью, когда кто-то лезет на опоры линий электропередач, чтобы стырить ценные цветные металлы. Давайте объявим двигатели внутреннего сгорания и электричество вредными и их отменим...

Однако ж на том и на другом вся наша цивилизация стоит. Отмени – все замрет.

* Пролог к этой книге – «Агарь, Агарь!» – см. «Nota Bene» № 6.

Но на идеалах человеческая цивилизация стоит гораздо в большей степени и гораздо дольше, чем на карбюраторах и динамо-машинах. Сшибать палками бананы с дерев, то бишь пользоваться орудиями, умеют и обезьяны, но только идеалы сделали человека человеком. Выдержать их из-под цивилизации – цивилизация рухнет. Вся, с самого своего начала. Моторы, может, и останутся, а человек – исчезнет.

Выработке правил безопасности при обращении с идеалами и посвящена книга.

2. Кому-то может показаться, что в данном томе Хольм ван Зайчик зачем-то развенчивает Ордусь. Марает ее светлый образ. Но это не так. Образ Ордуси развивается. В этом томе Ордусь становится более реальной. В нем она не яркий плоский лубок, но многоцветное экспрессионистское полотно, на котором изображены уже не фигурки типа «палка-палка-огуречик», но живые хорошие люди, которым присущи, однако, все их естественные и, пока люди самостоятельны и полноценны, – неотменяемые недостатки: ограниченность, неспособность всегда и во всем понимать другого, даже агрессивность. Ведь она, собственно, во-все не всегда является дурным качеством. Защищать то, что человеку кажется правильным и справедливым, – тоже невозможно без толики агрессивности, не правда ли? А способность во всем и всегда понимать других – не чревата ли она полной потерей себя?

Все так сложно... И вдобавок человека-то не переделаешь. Уж мы-то в России знаем, чем кончаются потуги создать нового человека! Они его лишь ухудшают. А то и уродуют. Надо проводить лоботомию, надо гипнотизировать, надо запугивать, оглуплять вконец или даже просто связывать его на всякий случай, либо сажать за колючую проволоку – уж связанный-то, мол, он не опасен...

Хотим мы столь радикально улучшенного человека? Нет.

Уже потому хотя бы, что, если такого выпустить из-за колючки или развязать – он оказывается во сто крат хуже, чем мог бы быть, живи он с рождения на приволье. И тут от него только бы успеть ноги унести, от освобожденного-то!

Единственный по-настоящему действенный и в то же время добрый способ уберечь человека от него самого – это опять-таки идеалы. Ведь большинство человеческих качеств оказываются хорошими или плохими лишь в зависимости от того, ради чего человек пускает их в ход. От этого зависит, будет ли агрессивность направлена на защиту слабых или на их угнетение, будет ли способность иметь свою точку зрения делать человека тупым и никчемным фанатиком или достойным партнером по плодотворной дискуссии... Но то, «ради чего» – это и есть идеалы.

Их двойственности и посвящена книга.

3. Мы очень плохо знаем историю. Между тем она способна научить куда большему, нежели просто тому, что «ничему не учит». А если нам и кажется, что мы что-то знаем – частенько это всего лишь вредный,

ослепляющий штамп, у которого и впрямь ничему не научишься, только мозги свихнешь.

Ну, скажем, декабристы. Светлые, бескорыстные герои, благороднейшие борцы с гнусным самодержавием, которое никак не хотело перемен и панически боялось даже тех малых реформ, которые они предлагали... Да?

Кто первым придумал депортацию народов Кавказа во внутреннюю Россию и Сибирь, дабы «раздробить их малыми количествами по всем русским волостям»?

Декабристы.

Кто первым придумал, что евреев надо разом понудить отказаться от, понимаете ли, «неприятного отношения к христианам», а буде они откажутся – собрать их всех вместе на некоем «сборном пункте», все два миллиона, и пустить из России поперек Турецкой империи, чтобы где-нибудь в Азии они устроили себе особое государство?

Декабристы...

Можно только догадываться, что наворотили бы эти мечтатели, приди они к власти.

А тупоголовый солдафон на троне, кровавый Николай Палкин, читал после известного возмущения на Сенатской площади «Русскую правду» героя и мыслителя Пестеля да только за голову хватался...

Подобным примерам несть числа.

Для того чтобы сбить присосишие штампы, нужны порой весьма сильнодействующие средства. И тут Хольм ван Зайчик не жалеет усилий. Кому-то они могут показаться чересчур уж хлесткими, в чем-то даже кощунственными, даже беспощадными... Куда как беспощаден тот, кто отнимает у пьяницы бутылку, когда ему так надо сделать еще глоток и продлить блаженство! «Будем его пытать самым зверским образом: с вечера водкой накачаем, а поутру похмелиться не дадим! – Ну и садист же ты, Василий Иванович!»

Разрушению многих штампов, делающих нас опасными для себя и друга для друга дураками, и посвящена книга.

Э. Выхристюк, Е. Худеньков

Учитель предложил ученикам ролевою игру в семью народов и велел выбирать.

– Я буду немцем, – сказал Мэн Да.

– Я буду русским, – сказал Му Да.

– А кто будет евреем? – строго спросил Учитель.

Ученики потупились.

– Хорошо, я выберу сам, – сказал Учитель и, поразмыслив, решил: – Евреем будет Аб Рам.

– О нет, Учитель! – в ужасе вскричал Аб Рам. – Пошадите! Я не справлюсь! Может, кто-то другой, более мудрый...

Учитель нахмурился и сказал:

– Справишься. Просто надо очень стараться. Терпением и трудом благородный муж способен преодолеть любое препятствие на пути к совершенству. – Помолчал и добавил: – Игра будет долгой. Все успеют побыть всеми.

Конфуций, «Лунь юй», глава 23¹

БОГДАН И БАГ

Яффо,

вечер накануне Йом ха-Алия, 11-е адара²

Без малого за четырнадцать часов до того лайнер воздушного товарищества «Эль-Аль», разгладив широкими ладонями плоскостей рассветное небо Средиземноморья, приземлился в международном аэропорту Рабинович.

Шестичасовой ночной перелет из Ургенча да смена часовых поясов...

¹ Дошедшие до нас списки «Лунь юя» («Суждений и бесед») насчитывают 20 глав. Если читатель помнит, все эпиграфы к первым шести томам «Евразийской симфонии» обозначены Х. ван Зайчиком как взятые из 22-й главы. По свидетельству древних комментаторов, глава эта представляла собою квинтэссенцию конфуцианской мудрости и была написана Учителем собственноручно за несколько месяцев до кончины. Она считалась утерянной еще во времена царствования Цинь Ши-хуанди (221–209 гг. до н. э.), во время его знаменитых гонений на конфуцианскую ученость. Однако память о ее существовании сохранилась в истории, а потому переводчики не могут исключить, что в руки Х. ван Зайчика и впрямь попал где-либо уцелевший список этого легендарного текста. Иное дело – настоящий эпиграф. О том, что «Лунь юй» имел еще и 23-ю главу, никаких упоминаний в источниках не сохранилось – это переводчики могут заявить с полной ответственностью. Вначале, что греха таить, увидев в тексте великого еврейско-тайского гуманиста иероглифы *эр ши сань* (二十三) вместо привычных *эр ши эр* (二十二),

Бек Ширмамед Кормибарсов с батюшкой своим, Измаилом Кормибарсовым, позавтракав, сразу легли отдыхать, и, судя по всему, их полуденная дрема плавно пошла в ночной сон – и ничего, и правильно, завтра тяжелый день; торжества такого уровня и размаха всегда трудны... Ангелина, вырвавшись на считанные дни из морозной, еще совсем по-зимнему заваленной снегом Александрии, а потом и из слякотного весеннего Ургенча, сама не своя была от страсти купаться – к столь южным водам девочка попала впервые. И каково же оказалось ее разочарование, когда воды не оправдали ее надежд: даже тут море – свинцовое, ходящее ходуном – отнюдь не располагало к заплывам хотя бы до шедшей параллельно берегу булыжной гряды волнолома. Втроем они – Фирузе, Ангелина и Богдан – прошли немного вдоль необъятного песчаного пляжа, с хохотом подставляя лица мокрому и соленому, колким от песка оплеухам ветра, треплющего не березы и не карагачи, а пальмы («Мама, папа, смотрите! Это же пальмы!»); не меньше часа они дурачились, бегали за волнами и от волн, а потом ночь в пусть и удобных, но все же таки не постелях, а креслах воздухолета взяла свое, и обе восхищенные, но уморившиеся женщины, молодая и маленькая, запросились в номер, подальше от шумного хлесткого шторма.

А Богдану оказалось не до отдыха. Разом и усталый и взвинченный, он ощущал нечто вроде гулко-го парения, полета в безбрежной пустоте; он не мог ни сидеть, ни, тем более, лежать, ему отчаянно хотелось махать крыльями с того самого мгновения, как колеса воздухолета, веско ударившись о бетон, со сдержанным рычанием покатали по священной для всякого русского, для всякого православного земле – священной вдвойне, когда здесь ждут друзья. И как же кстати пришелся звонок Мокия Ниловича, пригласившего зайти сегодня же повечерять!

Фирузе, конечно, составила бы ему компанию, и прежний начальник Богдана был бы только рад, но уставшая Ангелинка, услышав о приглашении, лишь молча накрылась одеялом с головой, а Фирузе не захотела оставлять дочку одну. И тут новое счастье привалило: позвонил Баг. Богдан уж

т. е. «23», а не «22», переводчики решили, что в текст просто вкралась опечатка. Однако и стилистика эпиграфа, и его концептуальные, содержательные моменты столь же отличаются от 22-й главы (известной нам, правда, лишь по эпиграфам из первых двух цзюаней эпопеи да еще из «Дела поющего бамбука»), сколь и сам настоящий роман – от предыдущих романов серии. Переводчики считают крайне маловероятным то, что данный текст может принадлежать к 22-й главе «Лунь юя», следовательно, об опечатке здесь и речи нет. Остается, таким образом, либо принять на веру то, что написал здесь сам Х. ван Зайчик, либо проявить вопиющее неуважение к замечательному писателю и голословно, не имея ни малейших доказательств собственной правоты и руководствуясь лишь абсолютизацией своего незнания, обвинить ван Зайчика в мистификации (здесь и далее – примеч. переводчиков).

² *Адар* (ивр.) – двенадцатый месяц еврейского лунного календаря. Он длится 29 дней и приходится на вторую половину февраля – первую половину марта.

давным-давно не виделся и не слышался со старым ечем³ и напарником, и даже электронных писем они друг другу не писали; и вот точно снег на голову свалился, и не наших северных широт снег, а снег тутошний, левантский, редкий и ошеломляющий, как затмение солнца. «Ты где?» – «В Яффо... Знаешь, это в Иерусалимском улусе... небольшой порт...» – «Амитофо! И я в Яффо!» – «Господи! Правда?» – «Правда. Ты давно?» – «Только что... Ну, в смысле, с утра...» – «А я уж не первый день...» – «Где остановился?» – «Да как сказать... А ты где?» – «В "Галуте Полношном"». – «О! Важный гость... Понимаю. Ты официально на празднование зван? Большой человек, завтра речи слушать будешь?» Богдан не стал объяснять, что это так, да не так – не время и не место было подробностям, – и ответил лишь: «Обязательно буду». – «Тогда тем более надо бы сегодня повидаться. Очень даже надо бы». – «Баг! Дорогой! Я к Раби Нилычу еду сейчас, пять минут назад мы с ним договорились. Неудобно переигрывать... Едем вместе, Раби обрадуется!» – «Гм... Ты уверен?» – «А ты нет?» – «Ну... Мы с ним все-таки не так, как ты...» – «Перестань, дружище! Едем! А на обратном пути поговорим... Баг, мне тебя страшно не хватало!» – «Знаешь, еч, мне тебя тоже... Давно...»

«Ну, – с улыбкою сказала Фирузе, когда Баг отключился, – теперь уж точно я остаюсь. В вечерний разговор двух старых друзей женщинам лучше не мешаться. Об одном прошу – пива много не пей. Знаю я Бага. Лучше бутылка вина, чем пять кружек пива». – «Фиронька, я вообще не соби-

³ Принятая в Ордуси система обращения друг к другу не раз разъяснялась в предыдущих томах эпопеи Х. ван Зайчика. «Еч» – сокращение от «единочатель» (*тунчжи* 同志). В современном китайском слово *тунчжи* применяется в качестве обращения одного члена компартии к другому и стандартно переводится на русский язык как «товарищ». Однако, в отличие от слова «товарищ», изначально означающего партнера в том или ином занятии (зачастую торговом) и фактически синонимичного слову «подельщик», китайское *тунчжи* обозначает людей, имеющих одинаковые стремления, идеалы, чаяния. «Преждерожденный», или, сокращенно, «прер» – еще более уважительное, чем *тунчжи*, обращение; по-китайски оно выглядит как *сяньшэн* (先生). Дословно этот бином значит «тот, кто родился прежде меня», но в современном языке выражает высокую степень уважительности уже безотносительно к действительному соотношению возрастов. На европейские языки термин *сяньшэн* и его японский аналог *энсэй* соответственно контексту переводятся то как «учитель», то как «господин». Однако переводчики полагают, что между «господином» и «преждерожденным» не меньшая разница, нежели между «товарищем» и «единочателем». В редких случаях, когда говорящий хочет предельно подчеркнуть свое уважение к собеседнику, он может добавить еще и «драгоценный» (*баогуэй* 寶貴) или даже «драгоценнотюшмовый» (*баоюэй* 寶玉). Однако между близкими, давно друг друга знающими людьми либо, например, между коллегами в деловой обстановке (тем более – в напряженно деловой, например, во время деятельно-розыскных мероприятий или же, храни нас Небо от таких ужасов, на поле боя) полное титулование, конечно, не применяется, и люди предпочитают называть друг друга «еч», «прер еч» и пр. Полномасштабное вежливое обращение в неофициальной обстановке, таким образом, выглядит как «драг прер еч» (*зуйсяньтун* 貴先同).

раюсь...» – растерялся Богдан. «Человек предполагает, – рассудительно молвила мудрая Фирузе, – а Аллах располагает». Богдан даже слегка обиделся. «Аллах вообще лозу пить не велит, ты что, забыла?» – «Это он нам, мусульманам, не велит, а за вами просто присматривает. Но все запоминает». – «Так что ж ты, раз он запоминает, мне советуешь вино пить?» – «Я тебе советую не вредить себе. Аллах любит, когда люди заботятся о своем здоровье и, если зло неизбежно, выбирают наименьшее».

В устах заботливой Фирузе Аллах порою напоминал добродушного и скромного семейного доктора, у которого всегда и для каждого есть простой рецепт, как не повредить себе; а остальное – кismet.

А может, Фирузе права? Может, так и надо?

На всякий случай выйдя пораньше, Богдан подкатил к условленному перекрестку прежде напарника. Первое путешествие по ни разу доселе невиданным улицам прошло как в тумане: Богдан опасался заблудиться, или не суметь объясниться с водителем, или разминуться с другом... Все обошлось, а ехать оказалось не слишком далеко. Богдан не говорил на иврите, а водитель не говорил ни по-ханьски, ни по-русски; но нынешний Главный цензор Александрийского улуса, Великий муж, блюдуший добродетельность управления, попечитель морального облика всех славянских и всех сопредельных оним земель Ордуси⁴ Богдан Оуянцев-Сю, сменивший Раби Нилыча на этом высоком посту несколько лет назад, сумел с достаточной степенью вразумительности выговорить адрес по-здешнему – а водитель, докатив до названного места, с улыбкой повернулся к седоку и, каким-то чудом безошибочно угадав его национальность, в качестве ответной любезности сумел вполне внятно произнести на русском: «Двадцать семь деньги». Богдан старательно сказал: «Тода»⁵, потом извлек из кармана горсть только что наменянных в гостинице местных лянов и чохов. Из уважения к древним обычаям ютаев их улусу даровано было право выпускать свои деньги по курсу – да и по виду – один к одному с общеордусскими денежными знаками, только вдобавок ко всем обычным письменам и узорам они несли на себе еще и привычные ютаям названия (зато и хождение имели только на территории улуса); местные казаки звали их по-свойски шенкелями да огородами.

⁴ Описанное Х. ван Зайчиком государство в целом официально именовалось Цветущей Ордусью (по-китайски – Хуася Оуэрдусы 華夏耦而督私) и состояло, насколько переводчики могут судить, из собственно китайских территорий, неофициально называвшихся Цветущей Срединой (Чжунхуа 中華), а также Внешней Ордуси, подразделенной на семь (уже с Иерусалимским) улусов. Название страны весьма значимо: Хуася – традиционный китайский топоним, который можно понять по-русски как «Прцветающая огромность» или «Цветущая [будто] летом», а иероглифы, составляющие выражение Оуэрдусы, переводятся как «Пахать [землю] (т. е., в широком смысле, вообще трудиться) вдвоем, на равных – и держать под контролем свое низменное [эгоистичное, корыстное]».

⁵ «Спасибо» (ивр.).

Расплатившись, минфа⁶ вышел в упоительное благоухание цветущего миндаля. Его бывший начальник жил в уютном пригороде Яффо, называвшемся зычно, колокольню: Рамат-Ган; Богдан знал уже, что это значит «Высоко расположенный сад» или даже, можно сказать, «Сад на холме». Холм, правда, к сезонам оставался равнодушен и выгибал свою широкую спину одинаково и в дождь и в ведро, но бескрайний сад, в котором будто бы невзначай, сами собою, росли уединенные жилые дома и коттеджи, вот-вот собирался полыхнуть знойной, слепящей, как полдень, зеленью сикомор и смоковниц, и северное сердце Богдана заходило от восторга – да тихой тоски по тому, что эта неистовая красота не его...

Не прошло и минуты, как с севера подкатил «цзипучэ»⁷, и то был Баг. «Как он осунулся!» – подумал Богдан. «Как он посолиднел!» – подумал Баг. Друзья, однако, не успели даже обняться; дверь ближайшего дома – скромного, в два этажа – отворилась, и явно поджидавший их Мокий Нилович, придерживая застекленную створку одной рукою, вышел на порог и проворчал: «Ну, вот. Дружба кочевых и оседлых в разгаре. Почему-то я так и думал, молодые люди, что нынче увижу вас обоих».

И вот теперь Богдан и Баг шагали по вечерним улицам Яффо молча. История, рассказанная Раби Нилычем, потрясла обоих.

«Так вот почему приглашены все Кормибарсовы, – думал Богдан. – Я-то думал, что это они из-за меня – а на самом деле, похоже, я из-за них. Но почему бек никогда ничего не рассказывал? А знал ли он сам? Может, его отец, Измаил, и ему не поведал о своей великой роли?»

Так вполне могло стать. Старик был очень горд, а потому – очень скромн. «Вот откуда его старая дружба с отцом Раби Нилыча...»

Баг тоже думал о сложных хитропутях истории. Как мало порой надобно для того, чтобы все пошло именно так, а не иначе, как мало – и как, в то же самое время, много. Амитофо... Время от времени он искоса поглядывал на Богдана; давно же Баг не видел друга! Напрасно Баг так долго избегал с ним встреч... Совершенно напрасно.

Оба приятеля инстинктивно чувствовали, что разговор их, раз начавшись, будет долгим, и потому не хотели его комкать, начиная посреди веселой толпы. На завтра приходился праздник: Йом ха-Алия, День Восхождения из топких низин рассеяния. На рассвете исполнялось ровно шестьдесят лет с той поры, как первый ордусский транспорт с ютями, бегущими из Европы, вошел в яффский порт, и сразу же (все уж было подготовлено, и ждали только этого события) Большой Совет Ордуси утвердил загодя подписан-

⁶ *Минфа* (明法) – ученая степень Богдана, высшая юридическая ученая степень в традиционном Китае. В переводе *минфа* значит «проникший в [смысл] законов». Данная степень существовала в Китае, по крайней мере, со времени династии Хань, то есть с начала нашей эры.

⁷ Досл.: «джиповая повозка» (吉普車). Первые два иероглифа являются не более чем транскрипцией слова «джип», а третий – видовым окончанием названий всех колесных средств транспорта, напр.: «паровоз» – «огненная повозка», т. е. «хочэ» (火車), и т. д.

ный императором указ об образовании на территории, специально выделенной из Тебризских земель, нового улуса с административным центром в Иерусалиме. Конечно, Иерусалим – особый город; но то, что там расположилось улусное правительство, никак не умалило его роли религиозного центра сразу трех великих религий; святыней многих Иерусалим был всегда, а вот столицей за всю свою историю служил только ютаям – так что решение выглядело вполне справедливым, и приняли его соответственно. В конце концов, для Ордуси, с ее мешаниной вер и племен, подобное не в новинку; стоит лишь то, что не может стать ни твоим, ни моим, сделать нашим – и многие проблемы отпадают сами собой; конечно, это наивный подход, но бывают в жизни положения, когда лишь наивность и выручает.

Оставалось поражаться, как слаженно и организованно было начато великое, несколько лет потом занявшее дело: первый разговор Измаила Кормибарсова с Моше Рабиновичем состоялся осенью (Раби Нилыч не сказал точно, в какой день – не знал или не помнил) – а уже к концу европейского февраля все оказалось оговорено, согласовано, и корабли пошли. Правда, злые языки и по сию пору не уставали твердить, что, если бы не это вопиющее вмешательство азиатской империи в суверенные дела демократической Европы, кайзер ни за что не вручил бы обер-камергерские ключи и канцлерскую должность Шикльнахеру, выпущенному-таки под рукоплескания интеллектуалов из сумасшедшего дома; мол, такого национального унижения, такого плевок в лицо, как наспех замаскированная под доброе дело кража нескольких миллионов подданных, немцы не смогли стерпеть, и – пошло-поехало; но Богдан и прежде полагал, что тут, как оно часто бывает, валят с больной головы на здоровую (в конце концов, «Майн курцер курс» был написан задолго до начала ютайского исхода); после рассказа же Раби Нилыча он в том уверился. Во всяком случае, даже если тебя и впрямь как-то унизили, следует уметь, а не терять рассудок окончательно – ведь ни за что, без вины история, в отличие от людей, никого не унижает.

И, судя по веселью, царившему на улицах Яффо, никак нельзя было заподозрить, что здешние ютаи сейчас, или когда-либо прежде, чувствовали себя украденными или еще как-то разыгранными в чужой, не имеющей к ним отношения игре.

Было светло как днем: отовсюду слышалась музыка, витрины и окна бесчисленных лавок и магазинов, кофеен и харчевен сверкали и лопались от переплеса цветных огней, и сами люди на улицах то и дело танцевали, даже пели что-то... Богдан любовался; чужая радость всегда греет сердце, даже если ты не имеешь к ней отношения – а Богдан все ж таки чуть-чуть, да ощущал себя сопричастным: ведь он был ордусянином, к тому же внучка Измаила Кормибарсова была его женою. Он только жалел, что совсем не знает языка: гомона не понимает, темпераментных выкриков не понимает, не понимает песен, и даже буквы уличных надписей, странные и необъяснимо красивые, напоминали ему не более чем сложенные из чурбачков фигуры для городошной игры.

Впрочем, и не ютайская речь тут тоже звучала. Сколько мог судить Богдан, арабский был вполне в ходу; а вот и родная речь прилетела: пятеро молодых, лет двадцати, парней, один то ли ханец, то ли монгол, двое – очевидные славяне и трое – не менее очевидные ютаи, обняв друг друга за плечи, энергично шагали в ряд (им, смеясь, уступали дорогу) и пели громко, накаристо, почти не фальшивя, с нарочито серьезным и возвышенным видом:

Здесь ютаи живут,
Что само по себе и не ново.
Они счастье куют.
Счастье – всякого дела основа.
Вот уж свечи зажглись.
Кантор тихо молитву читает...
Я люблю тебя, жизнь.
И вы знаете – мне помогает!

Баг тихо тронул его за плечо, и Богдан, очнувшись, понял, что стоит, улыбаясь до ушей, и, затаив дыхание, смотрит вслед весельчакам. Поворотившись к Багу, он смущенно пожал плечами и сказал:

– Славные какие ребята, правда?

Баг не ответил. Лицо его было непроницаемо, и понять, о чем думает заслуженный человекоохранитель, как всегда, не представлялось возможным.

– Так и хочется к ним в компанию...

– Пойдем, где потише, – негромко предложил Баг. – Ты уже освоился в Яффо? Найдешь?

После едва уловимой заминки Богдан, улыбнувшись, ответил:

– Подле гостиницы – вполне.

Они были уже совсем недалеко от «Галута Полночного», на Баркашова. Богдан, успевший в номере наскоро полистать путеводитель, помнил, что эта улица названа в честь флотского офицера, простого и никогда не хватавшего звезд с неба служаки, – таких в Ордуси многие тысячи; выйдя в отставку, он не захотел расстаться с морем, купил яхту и проводил большую часть времени в одиноких морских походах. Как-то раз он на свою беду – и на счастье двум с половиной тысячам ютаев – повстречал в открытом море «Аркадию», один из больших пассажирских сампанов с переселенцами. В течение получаса старый моряк шел параллельным курсом, подняв приветственные флажки; ему махали с палубы, и он махал в ответ, а в восемнадцать сорок семь заметил скользившую со стороны садящегося солнца прямо в борт лайнера торпеду. Видимо, ее выпустила подводная лодка; лодку потом так и не обнаружили, и осталось неизвестным, чья она и откуда. Сделать было уже ничего нельзя. Только одно. И старый моряк, судя по всему – без малейших колебаний, просто на рефлексе человека, тридцать лет проходившего в погонах, сделал это одно: подставил себя под удар, заслонив гражданский корабль своей скорлупкой. Толпившиеся у борта пассажиры, радостно пред-

вкушавшие новую жизнь, еще успели слегка удивиться стремительному и, казалось бы, необъяснимому маневру яхты чуть ли не под носом у их парохода – а потом посреди горевшего праздничным закатным блеском моря с утробным ревом и треском выпер к небу фонтан черной от дыма пены.

С той поры транспорты охранялись кораблями и гидровоздухолетами военно-морских сил Ордуси – и, может, поэтому ничего подобного более не случилось...

– К морю – туда, – показал Богдан. – Хочешь, пойдем на пляж? Наверняка там никого.

– Правильное решение, – кивнул Баг.

С Баркашова они свернули на улицу Бен Иехуды – этот удивительный человек возродил иврит. Много веков назад древний язык ютаев вышел из живого употребления и, как поэтично отмечалось в путеводителе, оказался отлучен от своих бывших носителей так же, как они сами – от своей родной земли. Казалось, это бесповоротно. Но Бен Иехуда сотворил чудо. В течение нескольких лет на всей планете Земля было лишь два человека, говоривших на иврите – он и его сын. Теперь на этом языке говорит целая страна...

Через сотню шагов друзья свернули налево.

– Вот моя гостиница, – сказал Богдан. – Может, лучше зайдем?

«Галут Полночный», сиявший, как и все дома в этот вечер, россыпями разноцветных огней, стоял на улице Менгеле; по названиям улиц и проспектов Яффо можно было изучать историю улуса. Блестящий педиатр Менгеле, в чьих жилах, собственно, не текло ни полкапли ютайской крови, владелец детской больницы в германском городе Мюнхене, не смог расстаться со своими маленькими пациентами, родители коих предпочли отъезд, и поначалу решил просто присмотреть за ними в неблизкой – а для больных и нелегкой – дороге к земле пусть и обетованной, но, что греха таить, в ту пору еще не слишком-то обустроенной и мало приспособленной для детей с врожденными или благоприобретенными недугами. Поплыл, доплыл – и прижился тут, и спас жизнь и здоровье множеству ребятишек, и создал первую в улусе частную детскую клинику – а в последние годы жизни прославился на весь свет беспримерно смелыми, вдохновенными операциями по разделению сиамских близнецов⁸.

– Нет, – покачал головой Баг. – Не хочу твоих беспокоить. Пошли к воде.

Богдан кивнул, и они двинулись мимо гостиницы.

«Интересно, – подумал Богдан, – а как сложилась бы судьба этого самого Менгеле, если бы он остался? Или если бы, предположим, Шикльнахера и его сподвижников не упрятали на многие годы в сумасшедшие дома и тюрьмы и учение Розенблума об избранной расе невозбранно распространилось в Германии на полтора десятка лет раньше?»

⁸ Маршрут, которым великий еврокитайский гуманист провел своих героев, легко реконструируется в реальном Тель-Авиве: улица Буграшова, улица Бен Иехуды (действительно!), улица Менделе. Казалось бы, разница так невелика...

Есть люди, что будто иглы пронизывают складчатые вороха жизненных обстоятельств. Даже сломать их легче, чем сбить с пути. Как бы мир вокруг ни буйствовал, они – те, кто не погибает – будто по волшебству, в конце концов, творят (со стороны кажется – из ничего) то, что им однажды вздумалось сотворить. Жги Бен Йехуду на костре – он, верно, и с пляшущими в пламени саламандрами говорил бы на воскрешенном им языке.

Есть другие. Как, скажем, тот же Менгеле... Да несть им числа! Словно бильярдные шары бьются они о рубежи, поставленные внешними условиями, всякий раз с эффектным треском неуязвимо отскакивая и кубарем катясь прочь – покуда их не отщелкнет в иную сторону очередной предел. Так и катаются взад-вперед. Счастье, если кий судьбы направит их верно.

И есть еще те, кто, испытывая сомнений не больше, чем камень, катящийся с горы, шьют из жизни – из своей жизни, из жизни близких, из жизни всех, кто подвернется – нечто столь невразумительное и нелепое, что никто и никогда не сможет это носить. Отличить их от первых, от добрых волшебников, невозможно в течение долгих лет; бесчисленным людям, катающимся по миру бильярдными шарами, и те, и другие равно кажутся безумными и никчемными, и только время, единственный по-настоящему слепой и непредвзятый судья на свете, способно когда-нибудь дать понять, чудо творил сей странный, не умеющий приспособливаться человек или всего лишь непреклонно рыл яму, чтобы бесследно похоронить в ней всю свою страсть и стойкость, все свое стремление к совершенству.

Богдану было тревожно и совестно. Судя по всему, в ближайшие дни ему предстояло встретиться с одним из таких, а стало быть, опережая время, вынести – пусть молча, в душе своей – предварительный приговор...

Город остался позади.

Насколько хватало глаз, не было ни души – в праздничный вечер и без продутого порывами ветра пустынного пляжа хватало мест, где можно провести время на любой вкус. Шторм к ночи поутих, и невидимое море теперь только шипело в темноте, время от времени понизу выплескиваясь из нее мерцающими плоскими языками. Слепящие разноцветные огни бесчисленных окон, сгруппированные расстоянием в отчетливые сгустки отдельных зданий, были далекими-далекими, они сверкали радостно и беззаботно, но точно из другого мира; так иные галактики укладывают в бездне свои звезды. Напарники нашли скамейку, стоявшую у самого прибора, уселись. Богдан поднял воротник куртки и зябко сунул руки в карманы.

– Поговорим, – предложил Баг. – Ночь уже.

– Да, – сказал Богдан.

Баг завозился, вынул из кармана плаща хрустящую пачку сигарет – Богдан мог бы поклясться, что это любимые Баговы «Чжунхуа», – защелкал зажигалкой. Сдергиваемый ветром то влево, то вправо узкий огонек ненадолго осветил его подбородок тусклым оранжевым светом и погас.

– Начинай ты, – сказал Баг из темноты.

Александрия Невская, пятница, вечер

Князь вызвал Богдана в пятницу.

Вызов был неожиданным и не на шутку удивил Великого мужа. Не то что обеспокоил, нет; беспокоиться Богдану по вверенным ему делам было не о чем, дела шли сообразно. Конечно, мелких несуразностей хватало, но из-за них молодой князь Сосипатр Второй, призвавший Богдана уж вовсе вечером, вряд ли бы стал лишать Главного цензора заслуженного отдыха в кругу семьи – новый правитель был энергичен, но воистину человеколюбив. Он сменил на престоле Фотия без малого три года назад; властительный старец, в минуту просветления отрেকшись в пользу наследника, ныне жил-поживал в свое удовольствие то в одном дворцовом комплексе, то в другом, время от времени попушением Божьим вспоминая о своих бывлых многотрудных обязанностях и созывая журналистов, дабы выступить перед ними со странными советами, относящимися до лучшего обустройства улусных дел. Из уважения к бывлым заслугам Фотию в ответ сочувственно кивали, но взять в толк, чего, собственно, отставной владыка желает, ни разу толком не смогли. О Сосипатре же говорили, что он мелочной опекой подчиненным отнюдь не докучает и по пустякам не дергает; когда Сосипатр, еще в бытность свою наследником, набирался ума-разума на должности начальника Палаты народного просвещения, Богдан несколько раз встречался с ним по делам и знал, что разговоры эти – сугубая истина. То же, что князь призвал подчиненных в столь поздний час, могло означать лишь одно – срочность дела необыкновенную; спозаранку, видать, князь еще и сам о нем не ведал, а, проведав, не смог ждать даже до утра первичы.

Предъявив в надлежащих местах надлежащие верительные бирки дежурным вэйбинам⁹, Богдан по галерее Нарастающего Сосредоточения поспешил к залу Внутренних Бдений. Это было относительно небольшое помещение; бдения здесь и впрямь происходили только внутренние, строго междусобойные и доверительные. Продолговатый овальный стол стоял посередине квадратной залы, тяжелые занавеси до половины прикрывали широкие окна, выходившие на заснеженные шири Суомского залива. На стене за председательским местом висели большие, весьма искусно выписанные портреты Конфуция и Александра Невского. При достославном Фотии стену украшал единственно лик Конфуция, Александра же повесили недавно по личному распоряжению молодого князя; недоброжелатели, коих, увы, всегда и у всех хватает, уже успели объяснить эту перемену неразумным стремлением нового правителя преувеличить роль Александрийского улу-

⁹ Вэйбин (衛兵) – букв.: «охранник». Низшие исполнительные чины Управления внешней охраны.

са и населяющих его народностей в деле образования и укрепления Ордуси – а то и, страшно сказать, желанием обидеть иные населяющие империю народы. Богдан же не видел в нововведении ничего срамного. Из песни слова не выкинешь. Ордусь образовалась и начала расцветать задолго до того, как объединилась с Цветущей Срединой, а не наоборот; благотворное же учение великого мудреца – благотворное, кто ж спорит! – всерьез стало оказывать влияние на ордусские дела лишь после объединения. Умалять значимость древнего учения никто не собирался, но и забывать о своем вкладе и своих достижениях – невместно.

Богдан припозднился. За столом уже сидели два сановника; при появлении Богдана оба коротко привстали и поклонились слегка, как и полагается добрым коллегам в обстановке нецеремониальной. Минфа, остановившись на пороге, ответил тем же, а уж после прошел к столу.

Состав участников бдения настораживал. Слева от Богдана, сцепив пухлые пальцы рук и глядя прямо перед собой полуприкрытыми раскосыми глазами, восседал с виду бесстрастный, но чем-то, похоже, глубоко озабоченный глава улусного Управления внутренней охраны Серик Жусупович Гадаборцев; Богдан не был с ним короток, но знал как прекрасного, вдумчивого работника, хранителя безопасности милостью Божией. Напротив расположился, с несколько искусственной непринужденностью положив ногу на ногу, сублильный и нервный цзиньши¹⁰ физико-технических наук Илья Петрович Трусецкий, начальник Управления казенных мастерских¹¹; его Управление руководило всем государственным сектором экономики улуса, в частности, системой высокоуровневых производств – таких, как атомная энергетика, ракетостроение и перспективные разработки, гражданские и военные. В сих областях, столь же для великого государства насущных, сколь и изощренных, Александрийский улус был главной кузницей Ордуси.

Минфа хотел было спросить коллег, что, собственно, случилось, но часы на стене издали короткий хриплый выдох сродни тому, какой издают, проламывая железобетон ребром ладони, знаменитые физкультурники, и принялись громко отбивать время. А с последним ударом, миг в миг, открылась другая дверь зала, прямо под портретами великих, – и стремительно вошел Сосипатр Второй.

Сановники встали.

¹⁰ Цзиньши (進士) – высшая из трех ученая степень в традиционном Китае. Ей предшествовали начальная и средняя степени – соответственно *сюцай* (秀才) и *цзюйжэнь* (舉人). Судя по тому, что в текстах Х. ван Зайчика постоянно фигурируют традиционные для старого Китая ученые степени, они были несколько переосмыслены великим еврокитайским гуманистом и в своем ордусском варианте должны в общем и целом соответствовать магистру (*сюцай*), кандидату (*цзюйжэнь*) и доктору (*цзиньши*) наук.

¹¹ Учреждение с таким названием (*шаофузянь* 少府監) существовало в Китае еще со времен, по меньшей мере, династии Суй (581–618). Оно ведало изготовлением церемониальных предметов и ритуального оружия.

Князь, верный своему обычаю подчеркивать, что он лишь еч своим подчиненным, лишь их сподвижник в деле наилучшего исполнения народных упований, подошел к каждому и каждому пожал руку. Деловитое, но доверительное это приветствие отличалось разительно от памятных церемоний, обыкновенных при дворе прежнего князя – либо тягуче-торжественных, порой, на вкус не склонного к излишествах Богдана, даже помпезных, либо, когда на властителя находил такой стих, разухабистых и, сказать по совести, не вполне сообразных; шваркнув украшенные драгоценными камнями древние бармы с плеч на пол, так что яхонты да смарагды взорванной радугой с хрустом разлетались по сторонам (а потом, случалось, их торопливо выковыривала из углов и рассовывала по карманам набежавшая челядь – не искушай!), Фотий мог даже в пляс пуститься в одной рубахе и на Большом Совете, и перед послами иноземными... С одной стороны, конечно, традициями сильна Поднебесная, а стало быть, тот, кто хоть слегка меняет стиль предшественника, всегда очень рискует; но с другой – взять хоть те же, прости Господи, князьки бармы: ведь за время правления Фотия они сносились и обветшали от лихих бросков больше, чем за предыдущие триста лет. А какие мастера их делали! Из поколения в поколение пестовали, в порядке содержали, чистили, гранили да шлифовали камнями... Жалко ж народное добро!

Сосипатр, описавши в процессе рукопожатий полный круг, опустился на председательское место, и следом расселись сановники.

Мгновение князь молчал. Потом взглянул на Богдана.

– Еч Оуянцев, – сказал он негромко, – вы слышали что-нибудь об изделии «Снег»?

Богдан в задумчивости поджал губы, потом ответил:

– Да, княже. Но, прошу простить, именно что только слышал, дело не шло по моему ведомству. Какой-то странный правовой казус. Вандализм из идейных соображений...

На узких губах князя проступила его знаменитая, всему свету известная улыбка – легкая, с оттенком иронии и в то же время несколько грустная: мол, я лучше вас знаю, как мир несовершенен и сколько в нем несообразного, но, тем не менее, зрю в будущее уверенно и твердо.

– И я не вдруг вспомнил, – по-свойски признался князь. – А потому не сразу оценил всю важность сообщения, недавно мною полученного... Еч Трусецкий, напомните нам с Богданом Руховичем, что там с этим изделием.

Богдан ощутил легкий холодок подступающей тревоги. Час от часу не легче.

То есть важные чины вызваны сюда исключительно, чтобы просветить Богдана относительно какого-то там изделия «Снег»? Ну, и как бы князя – заодно...

Интересный расклад.

Циньши Трусецкий достал из стоявшего на полу портфеля несколько тонких папок и вместе со стулом придвинулся ближе к столу. Держа папки

на весу, вопросительно глянул на князя. Тот легко повел ладонью: мол, подробности потом, давайте сперва в общих чертах. Циньши аккуратной стопкой сложил папки на столе, кашлянул, прочищая горло, и, глядя в пространство, заговорил ровно и спокойно; Богдану показалось, что это спокойствие дается ему нелегко.

– Девять лет назад Ордусь подписала с Европейским союзом и Североамериканскими Штатами договор о совместных работах по противудеяствию астероидной опасности. Одно время тема сия стала довольно популярной в средствах всенародного оповещения, и многие ученые тоже склонны были несколько... м-м... сгущать краски. Согласно договору, пробные изыскания каждая страна начинала сама. Планировалось, что силы и средства участников сосредоточатся впоследствии на том направлении, каковое посулит наибольший успех, а о работах, ведущихся на первом этапе, стороны договорились просто информировать друг друга. Поначалу большинство пошло по накатанному и довольно примитивному пути: ракетно-ядерному. Фантазии хватало лишь на варьирование идеи расстрела грозящего Земле небесного тела водородными зарядами повышенной мощности. Однако научный центр в Дубино... – Трусецкий взглянул на Богдана и сказал как бы специально для него, тем самым подразумевая, что князя-то заподозрить в подобном незнании ему никак не приходило в голову. – Вы, вероятно, слышали об этом знаменитом научном городке, расположенном к северу от Москык?

– Конечно, – сдержанно ответил Богдан, прекрасно поняв тактичный маневр начальника Управления казенных мастерских. – В отрочестве я был равнодушен к тайнам мироздания и к тем, кто старается их постигнуть...

– Славно, – сказал князь. – Тогда вам будет легче уразуметь предмет моего беспокойства.

И снова Богдана будто обдало порывом ветра, дунувшего с ледяных полей Суомского залива. Чутье не подвело его. Слово сказано, слово княжеское... Беспокойство имеет место быть.

– Ученые наши пошли непроторенной дорогой и в течение пяти лет создали устройство, каковое способно было, по их расчетам, прямо с Земли уничтожить даже весьма массивные тела чисто энергетическим воздействием. Я не буду сейчас утомлять вас научными подробностями... все потребно, чтобы разобраться, у меня с собой, – и Трусецкий похлопал ладонью по лежащим на столе папкам, – но ожидалось, что изделие сможет преобразовывать вещество астероида непосредственно в пространство, точнее – в никому не опасный космический вакуум.

Трусецкий перевел дух. Бесстрастный Гадаборцев продолжал неподвижно сидеть с полуприкрытыми глазами, и Богдану отчего-то стало жаль симпатичного силовика.

– Однако даже первый опыт поставить не успели. Наши зарубежные соотарищи по противуастероидной программе, своевременно получив от нас, как то и предусматривалось договором, предварительные сведения о новой разработке, углядели в ней изготовление принципиально нового

средства всенародного истребления, то бишь – нарушение основополагающих статей международного права. Определенный смысл в этом, конечно, был. Но странно было б создавать эффективное средство уничтожения объектов, которые никогда еще земной техникой не уничтожались, и ухитриться не создать при этом принципиально нового средства уничтожения!

Против воли Трусецкий начал горячиться, голос его напрягся и зазвонел; видимо, начальник Управления принимал все эти перипетии близко к сердцу и очень переживал за то относительно давнее дело.

– Нам намекнули, что обвинения в разработке оружия будут сняты, если Ордусь ознакомит экспертов стран-партнеров со всеми подробностями нового проекта. Мы отказались это сделать. Честно говоря, я не понимаю подобной политики! Хуже всего – половинчатость! Или уж надо было не информировать партнеров хотя бы до проведения опытов, которые либо подтвердили бы правоту дубинской группы, либо опровергли, – или уж открыть карты и продолжить работы всем миром. Работы-то интереснейшие! Какую проблему бросили! Какие усилия псу под хвост пошли! Но князь Фотий...

– Да будет он трижды благословен, – веско напомнил Сосипатр Второй, и Трусецкий сразу осекся – будто на бегу вдруг налетел на стену. Несколько мгновений он не мог вымолвить ни слова, потом сник и в замешательстве пробормотал:

– Ну, да, конечно... Да... В общем, работы были прекращены, образец устройства сдан в институтский музей... Изыскания по программе по-прежнему ведутся, но исключительно в традиционном русле. И, должен сказать, достаточно вяло. Астероидная опасность перестала волновать и казаться актуальной. Мода прошла. У меня все.

– Понятно, – мягко сказал князь, глядя Трусецкому прямо в лицо; своим подчеркнуто спокойным и даже ласковым тоном он явно давал понять, что понимает обуревающие ученого чувства и не ставит их ему в вину. Помолчал мгновение. Повернулся к Богдану. – Вам, Богдан Рухович, предстоит, я полагаю, тщательно ознакомиться с принесенными Ильей Петровичем документами.

Богдан молча кивнул; он по-прежнему ничего не понимал.

– Серик Жусупович, – помолчав, обратился князь ко второму из приглашенных, – доложите нам, пожалуйста, о дальнейшей судьбе изделия «Снег». Гадаборцев подобрался. Ему явно было не по себе.

– Музей института ядерных исследований был образован одновременно с самим институтом, – нехотя проговорил он. – То бишь почти полвека назад. Скопилось там преизрядное количество устройств, образцов и приборов. Охраняется он, так сказать, соответственно. Однако полгода назад опытный образец изделия «Снег» пропал. Должен заметить, что это первый и покамест последний такой случай в истории музея. Когда именно произошло хищение, выяснить не удалось. Но сие малосущественно. Были праздничные дни, и потому в шестерицу, например, или в отчий день осуществилась покража, не суть важно. Во-первых, основной подозреваемый

с самого начала был один. Во-вторых, только сделалось известно о начале следствия, как раз он и пришел с повинной. Затем он с готовностью участвовал во всех следственных мероприятиях. Показал все предельно точно и исчерпывающе, так что никаких оснований, так сказать, сомневаться в его словах не было. Это в-третьих.

Гадаборцев сделал паузу и слегка поерзал на стуле, будто стараясь усесться поудобнее. По лицу его Богдан так и не понял, удалось ему это или нет.

– Преступником оказался один из наиболее обещающих молодых ученых института. Он на общественных началах выполнял роль, так сказать, хранителя музея. Понятно, что он пользовался полной свободой посещения. Оттого совершить кражу ему не составило особого труда. Он рассказал, что похитил образец изделия «Снег», поскольку давно уж пребывал в беспокойстве: а ну как прибор попадет в нечистые, так сказать, руки и будет использован в преступных целях? Сразу после похищения он расплавил изделие в муфельной печи в подвале института. По его показаниям были найдены выброшенные на институтскую свалку остатки прибора. Представляли они собой бесформенный ком застывшего расплава. Но химический анализ и ряд иных мер показали, что сей, так сказать, хлам с высокой степенью вероятия действительно может являться остатками изделия «Снег». Это с одной стороны. С другой – все прочие следственно-розыскные мероприятия убеждали, что института прибор, по всей видимости, не покидал. С течением времени стало ясно, что даже слухов, будто он где-то появился, кто-то его видел или о нем слышал, не возникло. Вся ордусская зарубежная агентура в течение нескольких... гкгхм... В общем, ни к партнерам нашим, ни, тем паче, к каким-либо международным разбойникам прибор не поступил. Это точно. Это я даю, так сказать, голову на отсечение.

– Мы это учтем, – мягко сказал князь и улыбнулся.

Начальник внутренней охраны смог лишь бледно улыбнуться ему в ответ, благодарный за то, что владыка шуткой постарался хотя бы малость развеять тягостную атмосферу и облегчить ему, Гадаборцеву, неприятную задачу – подробно рассказывать на столь высоком уровне о столь нелепом промахе его службы. То, что опытный образец таких удивительных свойств оказался утерян, можно даже сказать – погублен, косвенно ложилось на репутацию начальника внутренней охраны черным пятном. Вспоминать о тех событиях Гадаборцеву, конечно, было и тяжело, и досадно.

– Медицинская экспертиза сочла запятнавшего себя разрушительством ученого психически вполне, так сказать, здоровым. Но предъявить ему смогли лишь весьма легкое обвинение. Стоимость аппарата была, конечно, довольно велика. Но, поскольку ученый не воспользовался похищенным в корыстных целях, для личного или, так сказать, семейного обогащения, обвинить его согласно стоимости, как за действительную покражу, было юридически невозможно. Обвинение пыталось построить дело на том, что ценность прибора не измеряется его материальной стоимостью, ибо прибор создан был с совершенно особой целью для выполнения совершенно ис-

ключительных задач. Но защитник совершенно справедливо указал, что в момент похищения прибор не использовался. Более того, он вовсе ни разу не был использован для выполнения этих самых исключительных задач. Да и впредь такое использование никак не ожидалось. Стало быть, статья двести семидесятая Танского кодекса – а как раз на нее пытался сослаться обвинитель – оказалась неприменима¹². Наказание было определено всего лишь за совершение действия, которое не следовало совершать, – бу ин дэ вэй в тяжелом варианте¹³. Суд приговорил преступника к восьмидесяти прутнякам, но, приняв во внимание, что руководствовался он побуждениями, так сказать, благородными, приговор вынесли условно. Другое дело – изменение отношения коллег к преступнику. С ним перестали здороваться. С ним никто не хотел вместе работать. Через седмицу ученый уволился из института и уехал.

– И где он сейчас? – спросил князь негромко.

Гадаборцев помедлил.

– Не могу сказать точно, не готов, – честно признался он. – Мне помнится, он уехал в другой улус, по-моему – в Цветущую Средину...

– Ах, вот куда... – уронил князь.

Разговор прервался. Князь размышлял. Остальные ждали.

– Постарайтесь это выяснить в ближайшее время, – сказал, наконец, Сосипатр.

– Слушаюсь, княже. Приступить немедленно?

¹² В ст. 270 «Тан луй шу ин» речь идет о хищении жертвенных объектов. Только до и после жертвоприношения наказание определялось, исходя из того, какую стоимость имел тот или иной предмет. Как только предмет был выбран для поднесения духам среди прочих аналогичных, его похищение наказывалось много тяжелее, чем в соответствии с его ценой. Похищение, совершенное после того, как предмет попадал в место поднесения духам, наказывалось еще строже. Наконец, если похититель ухитрялся украсть жертвенный предмет, когда на нем пребывали духи, наказание достигало максимума. По окончании жертвоприношения наказание за хищение вновь ступенчато уменьшалось. Эти весьма логичные положения были, судя по тому, что мы здесь у Х. ван Зайчика читаем, инкорпорированы в ордусское право и распространены на все предметы государственной важности, функции которых не постоянны, а периодичны.

¹³ О неположенных, ненадлежащих действиях (*бу ин дэ вэй* 不應得爲) говорится в ст. 450 Танского кодекса. Танские юристы разработали ее специально для преступлений малой тяжести, которые, в силу их многочисленности и разнообразия, невозможно было исчерпывающе предвидеть, чтобы предписать соответствующие им меры наказания. Неположенные действия были разбиты на две группы: легкие и тяжелые; первые наказывались сорока ударами прутняков, вторые – восьмьюдесятью. Отнести те или иные действия к неположенным и, тем более, счесть их легкими или тяжелыми могли уже сами низшие администраторы, отправлявшие судебную власть на местах. Впрочем, в качестве примеров в кодексе упоминаются некоторые из неположенных действий. К ним кодекс относит, например, обманное сообщение постороннему человеку о том, будто умерли его отец или мать, безосновательное устное заявление о желании поднять государственный мятеж, хотя на самом деле никаких приготовлений к мятежу не предпринималось, и так далее.

– Чуть повремените, – сказал князь.

Он неторопливо оглядел собравшихся и так же неторопливо начал:

– Нынче, около полутора часов назад, мне позвонили из командного центра нашей спутниковой группировки. Ее командующий не смог сюда приехать, чтобы отчитаться по форме, но у него есть на это уважительная причина: сейчас он лично руководит срочным перенацеливанием ряда спутников на слежение за определенными участками нашей собственной страны и за небом. С учетом произошедшего события. Не повторится ли... Собственно, то, что произошло, заметили случайно.

Князь помедлил. Вряд ли это было стремление к театральной эффектности: его и так слушали затаив дыхание. Богдан подумал, что Сосипатр просто-напросто ищет, как рассказать покороче.

– В космическом пространстве довольно много искусственного мусора, – сказал князь. – Специально за всем этим бараклом никто, конечно, не следит, но время от времени оно попадает в поле зрения. Так вот. На высоте полутора тысяч ли¹⁴ над Землей два часа назад был уничтожен болтавшийся на орбите уже с десятков лет отработавший отсек одной из ранних ракет. Не сбит, не разрушен, а именно преобразован в вакуум. Как меня заверили специалисты, спектр излучения, сопровождавшего преобразование, практически совпадает с тем, какой мог бы ожидаться при воздействии на материальный объект посредством изделия «Снег».

Тихо стало так, что, казалось, еще чуть прислушаться – и можно слышать истошно воюющие в сотнях ли от столицы, на командном пункте космических войск, тревожные сирены.

– Я сей же час снесся с Ханбалыком, – продолжал Сосипатр Второй, – и меня заверили, что ни в одном улусе, кроме Александрийского, работ, подобных той, о коей вы столь любезно нас нынче проинформировали, – князь сделал едва заметный вежливый кивок в сторону начальника Управления казенных мастерских, – никогда не велось. И теперь не ведется. В то же время...

Князь встал. Очень неторопливо и спокойно пересек зал Бдений, подошел к его противоположной окнам стене и нажал незаметную кнопку. Стена разъехалась, показав взглядам присутствующих большую карту Ордуси.

– ...В то же время, – заговорил князь, стоя у карты, – можно с уверенностью сказать, что воздействие было произведено не из-за рубежа. Канал энергетического удара может быть только прямым, не правда ли, еч Трусецкий?

– Сушая правда, княже, – сипло ответил цзиньши и, достав носовой платок, промокнул лоб.

– Несложные расчеты показывают, что источник воздействия находился где-то здесь, – князь протянул руку к карте и небрежно обвел почти правый круг. – Отнюдь не на территории наших закордонных соседей. Вот здесь.

– Дубино сюда не попадает, – быстро сказал Гадаборцев.

¹⁴ Ли (里) – мера длины, около полукилометра.

– Сюда много чего не попадает, – вскользь заметил князь, закрыл карту и молча вернулся к столу. Тон его показался Богдану странным. Будто владыка намекал на некий конкретный пункт, не попавший в очерченный им круг, но по каким-то причинам не хотел называть его. Лицо князя сделалось усталым и опустошенным. А в глазах начальника внешней охраны вдруг проскочила искра смутной, но ошеломляющей догадки. Сейчас с него можно было писать аллегорическое полотно под названием: «Да неужто?!» Гадаборцев открыл было рот, но князь опередил его; снова посмотрев на Богдана, он просительно сказал:

– Я очень бы хотел, Богдан Рухович, чтобы вы разобрались с этим делом. Богдан не смог сдержать удивления.

– Я?!

– Именно вы, – кротко, но твердо повторил князь.

– Отчего ж я? То есть... Я не отказываюсь, я просто хочу понять... Это совершенно не в круге моих...

– По нескольким причинам я выбрал вас. Формально – это в какой-то степени недосмотр вашего ведомства. В свете происшедшего кажется вполне вероятным, что опытный образец изделия не был уничтожен, а, следовательно, человека осудили за преступление, которого он не совершал. Или, напротив, не осудили за преступление, которое он совершил, – если он все же похитил образец, но не уничтожил, а передал кому-то другому. Во всяком случае, налицо судебная ошибка.

– Понимаю... – проговорил Богдан.

– Нет-нет, это чисто формальный повод, он самый неважный. Куда важнее в данном случае то, что вы – самый добросердечный из работников, приближенных к престолу. Это факт. То, что вы с вашим характером смогли подняться столь высоко – само по себе чудо... или промысел Божий... – с этими словами князь размашисто и деловито, как и все, что он делал, осенил себя крестным знамением. – Но, коли так, было бы непростительным грехом с моей стороны не воспользоваться столь редкостной возможностью. Я не умаляю, поймите меня правильно, вашей проницательности, она давно вошла в легенды, но... Я не исключаю, что тут понадобятся не столько дедуктивные способности, сколько такт. Скорее всего, вам придется действовать на территории других улусов, а я не хочу передоверять это дело общеимперским учреждениям. Во всяком случае, пока. В конце концов, это мы напортачили – нам и исправлять. К тому же ведь и полной уверенности, что сработал именно образец, похищенный из музея в Дубино, у нас нет. Боюсь, вам придется заняться столь важным расследованием скорее неофициально. Чисто по-человечески.

– Чего же тут бояться? – не сдержался Богдан. – По-моему, это лучший способ...

Глаза князя чуть потеплели. Он переглянулся с остальными сановниками, потом снова взглянул на Богдана.

– Вот видите, – сказал он. – Прощу вас, Богдан Рухович. Это не для вир-

туозов из внутренней охраны. Они, разумеется, будут с вами на связи, а в случае необходимости мы на самом высоком уровне будем налаживать взаимодействие с аналогичными службами других улусов, но... Лучшей кандидатуры, чем вы, мне не найти.

Богдан выпрямился на стуле и глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. Решительно поправил очки.

– Мне действительно понадобятся, княже, принесенные драгоценным преждежденным Трусецким документы, – сказал он. – Возможно, и многие другие... Я могу взять их домой на ночь?

– Лучше, если бы вы ознакомились с ними здесь, – ответил князь. – Перед уходом вы оставите их дворцовому секретчику, а поутру он с фельдегерями разошлет их куда следует. – Он помолчал. Ободряюще улыбнулся Богдану. – Я могу расценивать вашу реплику как согласие, еч Оуянцев?

– Конечно, – ответил Богдан. – Не знаю, уж какие такие легенды ходят о моей пронизательности, по-моему, княже, вы, простите, просто пожелали что-то приятное мне сказать, чтобы подсластить это странное поручение, однако ж...

Гадаборцев, не сдержавшись, крикнул, но Богдан сделал вид, что не услышал.

– ...Однако ж я чувствую тут какую-то несправедливость. То ли уже совершенную, то ли вот-вот готовую совершиться.

Князь встал.

– Благодарю, – сказал он. – Бог вам в помощь, Богдан Рухович. С завтрашнего дня официально вы считаетесь в отпуске и занимаетесь только этим делом. Еч Гадаборцев и его ведомство подключатся к вам и окажут любую помощь по первому вашему требованию. Вы слышали, еч Гадаборцев?

Начальник Управления внутренней охраны несколько раз кивнул.

– Но постарайтесь обойтись без этого, – добавил Сосипатр.

– Постараюсь, – ответил Богдан. – Но у меня еще вопрос, княже.

Сосипатр, шагнувший было к двери под портретами, остановился.

– Да?

– Кроме Ордуси, никто небесного явления не заметил? – спросил Богдан.

Князь ответил не сразу.

– В корень смотрите, еч Оуянцев, – медленно и задумчиво проговорил он наконец. – В корень... – Еще помолчал. – Конечно, вероятность того, что вспышку заметили не мы одни, велика. И понять, что она значит, наши партнеры вполне в состоянии, раз уж их в свое время ознакомили с некоторыми принципами работы изделия. Спектр излучения характерный... Если бы они заметили и поняли произошедшее, они обязательно завалили бы нас протестами. Ведь дело выглядит так, будто Ордусь произвела испытание космического оружия нового поколения, не уведомив мировое сообщество, противу всех договоров... Но протестов пока нет.

– Ну и слава Богу, – с искренним облегчением сказал Богдан и перекрестился.

Князь внимательно заглянул ему в глаза.

– Это может значить либо то, что наши партнеры не заметили вспышки, либо нечто иное.

– Что?

Князь отвернулся. Несколько мгновений длилась томительная пауза, а потом, поняв, что властелин более не скажет ни слова, подал голос Гадаборцев.

– То, что они знают: прибор не у нас. На нашей территории, но не у нас. И надеются добраться до него раньше.

– Истинно глаголете, еч Гадаборцев, – глухо, не поворачиваясь, бросил князь и быстро вышел из зала Внутренних Бдений.

Дверь под портретами Конфуция и Александра беззвучно открылась, потом беззвучно закрылась – и главы ведомств остались втроем.

Трусецкий, приподнявшись, обеими ладонями двинул через стол в сторону Богдана свои папки. Богдан на глаз оценил их пухлость. Нет, ничего. Не больше чем на час. Но тут Гадаборцев нагнулся и достал из глубин своего портфеля еще одну папку.

– Это тоже вам, – сказал он, протягивая ее Богдану.

Богдан молча поправил очки.

...Оставшись один, он первым делом он позвонил Фирузе и предупредил ее о том, что задержится еще часа на полтора («Ох, Богдан... с Ангелинкой, получается, вы опять не увидите, ей уж спать пора... Она так по тебе скучает...») – «Я понимаю, родная, но что же делать... Ну, скоро выходные...»).

Потом он приступил к делу.

Документы оставили у Богдана настораживающее чувство недоговоренности. Информация собственно по теме была хоть и сжатой, но исчерпывающей; однако чего-то Богдан там не находил, мерещилось ему дальше каждого последнего листа каждой из папок недосказанное – и, поразмыслив об этом странном ощущении, минфа решил: оно могло возникнуть оттого, что он уже заподозрил нечто, уже начал предощущать продолжение того информационного узора, который свили в его сознании скупые строки документов, только еще не отдает себе в том отчета. Во всяком случае, уже понятно было, на что уйдет весь завтрашний день или, ввиду явной спешности дела, хотя бы его первая половина – на сбор дополнительных сведений. И вовсе не об изделии «Снег», и даже не о его удивительной судьбе, нет – о людях, судьбы коих слились с судьбой изделия воедино...

Автором идеи был Мордехай Ванюшин, один из величайших физиков современности, внесший в свое время неоценимый вклад в создание ордусского атомного оружия. После того как император наложил запрет на испытания, Ванюшин отошел от практических работ – казалось, навсегда. В предоставленных Богдану нынче бумагах ничего о том не говорилось, но минфа, при всем обилии происходящих в империи разнообразных событий, уследить за коими было невозможно даже самому добросовестному работнику, слышал краем уха, что великий физик вел в последние годы весьма изумительный образ жизни – однако ж наукою заниматься продол-

жал и, когда его удалось привлечь к работам в Дубино, сполна использовал и свои способности, и свои прежние теоретические наработки.

Пригодились и его ранние, казалось бы, очень далекие от практических нужд работы по барионной асимметрии Вселенной, и блестящие идеи относительно глюонных взаимодействий и каких-то, прости Господи, очарованных кварков...

Энергетическое воздействие, распространяясь, кстати сказать, со скоростью света, провоцировало в уничтожаемом объекте жуткие и весьма загадочные процессы, в миниатюре повторяющие тот самый Большой Взрыв, что породил Вселенную.

Однако ж поскольку цель хоть и могла оказаться достаточно массивной и крупной (порядка предельно больших астероидов, вроде Паллады или даже Цереры), она никоим образом не могла быть по плотности хотя бы как-то уподоблена невообразимо сверхплотной первоматерии, каковая, лопнув, создала мир, а стало быть, и масса ее была на много-много порядков ниже – и потому никаких вселенских катаклизмов ожидать при взрыве не приходилось. Преобразование объекта порождало лишь энное количество элементарных частиц в энном объеме энергетически напряженного (и потому отчего-то называемого физиками ложным) вакуума; частицы почти мгновенно взаимодействовали друг с другом, превращаясь в необнаружимо малую щепоть космической пыли, и, как понял Богдан, тем самым ложный вакуум превращался в обычный, ничем не отличимый от той, в общем-то, далеко не пустой, но вполне безобидной пустоты, что заполняет пространство между планетами и звездами.

При этом поле воздействия конфигурировалось так, чтобы реакция шла, главным образом, не в стороны от преобразуемого объекта, а внутрь, от поверхности к центру. Тем попутно решались сразу две существенные задачи: сводился почти к нулю выброс вовне радиации, сопровождающей взрыв, и использовалась для подпитки преобразования энергия самого же преобразования; поток еще не успевших прореагировать частиц оказывал колоссальное давление на внутренние слои разрушаемого объекта, сжимая их и разогревая, – и уже сам, без участия исчерпавшего свою энергию внешнего запала, вовлекал их в процесс.

Видимо, Ванюшин использовал тут свою старую идею рентгеновской имплозии, которая позволила ему много лет назад нащупать единственно верные принципы создания ордусской термоядерной бомбы. В данном случае осуществление этой идеи приводило к тому, что, во-первых, процесс оказывался замкнутым, экологически совершенно чистым, а во-вторых, запальное воздействие почти не требовало затрат земной энергии: для выстрела потребно было примерно столько же электричества, сколько поглощают в течение одной-двух минут огромные и, сказать по совести, – страшные прожектора, воздвигнутые на колоссальных стальных мачтах во-круг стадионов, когда освещают, скажем, футбольную игру.

Когда Богдан во все это, как сумел, вник, у него волосы дыбом встали.

«Этой штукой прямо из кармана... – подумал он и тут же поправился, еще раз заглянув в чертеж изделия, где проставлены были размеры. – Ну, не из кармана, но из портфеля или рюкзака – можно планеты сшибать! Господи, до чего наука дошла! И это они о нашей, понимаешь ли, безопасности пекутся! Да где те астероиды? А это – вот оно, уже тут!»

И в то же время ему до слез жалко стало Ванюшина и его сотрудников. Создать такое – и ни разу не испытать, не удостовериться, что сработает, не получить подтверждения, что столь новые и блестящие, столь фундаментальные идеи верны! Можно себе представить, как им было обидно и горько...

Понятно, отчего так встревожились в свое время соседи Ордуси, едва узнав о сути проводившихся в империи изысканий. Такой рывок никак не мог оставить их равнодушными, когда грозил совершиться односторонне.

Конечно, если бы этот односторонний рывок совершили они, добрые наши соседи, партнеры по мировому хозяйствованию – их переживания оказались бы совсем иными, тут уж к даосу не ходи.

Понятно стало и то, отчего пошли теперь адские волнения на высшем уровне. Понятно, отчего так переживал Гадаборцев. Этакое – да не убережь... Наверное, подумал Богдан, знавший человеческую природу несколько лучше физики, работники внутренней охраны, разбиравшиеся с похищением, рады-радешеньки были увериться: представленный им ком действительно есть остатки прибора. Такой результат расследования был для них наилучшим. То есть, может статься, устройство и впрямь было расплавлено – но поверили в это следователи, надо полагать, очень охотно.

Но и поведение преступника, раньше казавшееся Богдану психологически совершенно невозможным, предстало теперь в ином свете и начало выглядеть более достоверным. Прекрасный специалист, один из создателей изделия, лучше многих других мог представить себе его сокрушительную, не имеющую никаких подобий в мировой оружейной практике силу, – и, видя прибор постоянно у себя под боком, он мог заболеть едва ли не манией, каковую даже самый сведущий душезнатец, однако ж, не отнес бы к действительным недугам. Желание обезопасить мир от подобного оружия и впрямь могло стать навязчивой идеей и вызвать странности в поведении.

Впрочем, с преступлением теперь было не очень ясно.

Молодого физика, хранителя музея, звали Семен Семеныч Гречкосей. Двенадцать лет назад он закончил Александрийское великое училище¹⁵, проявил незаурядные, можно даже сказать выдающиеся способности, и был распределен в Дубино, чем очень гордился и чему на ту пору очень радовался.

Если бы нам дано было знать будущее...

Гречкосей стал в Дубино одним из лучших учеников и – если пренебречь разницей в возрасте – друзей, в общем-то, трудно сходявшегося с людьми Мордехая Ванюшина. После того как работы по проекту «Снег» были свернуты и Ванюшин уехал в родной улус, Гречкосею ни много ни мало пред-

¹⁵ Великое училище, *дасюэ* (大學) – то есть, говоря попросту, университет.

ложили занять его место, возглавить группу, переориентированную после закрытия противуастероидных изысканий на исследование возможностей воздействия на свойства пространства; но Гречкосей отказался. Примечательна была мотивировка: он счел себя недостойным занять место учителя.

Принципы сая, почтительности сына к отцу и ученика к учителю, были, отметил Богдан, для Гречкосея святы.

Нашел Богдан и ряд иных свидетельств того, что Семен Семенович относился к Ванюшину с огромным, лишь исключительно порядочному человеку свойственным уважением и даже преклонением.

И вообще все характеристики, начиная с данных в великом училище и кончая затребованными во время следствия, твердили и гвоздили, будто сговорившись, одно и то же: добрый, отзывчивый, честный, ответственный, почтительный... Даже несколько не от мира сего... Словом, цзюньцзы, благородный муж без изъяна.

Но ежели, паче чаяния, жизненные обстоятельства совершат кувырок...

Идеальный кандидат на совершение несообразных поступков из лучших побуждений.

Среди множества малосущественных – или, по крайней мере, таковыми сейчас казавшихся – подробностей, коими изобиловали принесенные Гадаборцевым документы, Богдан отметил три существенных обстоятельства.

Первое. Незадолго до хищения Дубино и его институт посетил после более чем трехлетнего перерыва сам Ванюшин. Он – как всегда, в сопровождении целого сонмища не оставлявших его в покое зарубежных журналистов и репортеров, – разъезжал по Ордуси с выступлениями, уделяя основное внимание ее научным центрам. Минфа скорее по дотошности своей, нежели ожидая узнать что-либо важное, ознакомился с тематикой выступлений – и лишь брови поднял, не веря глазам своим. Перечитал строки выписки еще раз. Покачал головой. Завтра придется заняться этим по-настоящему...

Доклад, прочитанный Мордехаем в Дубино, назывался: «Худая роль ютаев в создании оружия всенародного истребления в Ордуси и за рубежом».

«Ничего себе! – подумал Богдан. – Хотелось бы знать, сколько народу пришло послушать бывшего коллегу... А прессу, интересно, в зал пустили? В институт, вообще-то, посторонним вход заказан... Под окнами дежурили с микрофонами?»

Вопросы не были праздными. Ведомству Богдана, собственно, следовало бы знать об этом уже тогда. Но то повышенное чувство такта, с которым этический надзор решал свои задачи, бережность к людям и особенностям их ума и характера, которые подчас кажутся окружающим странными и даже предосудительными, но никакого прямого чловеконарушения не содержат, – все это, быть может, порою мешало авторитетному учреждению вовремя распознавать ростки несообразного и дурного. И если ни одному из прямо вовлеченных в некое событие людей не показалось, что событие сие требует вмешательства беспристрастного государства и его холодных и твердых, подобных медленно крутящим друг друга шестерням законов, если люди эти

предпочли разбираться с несообразностью сами, по собственной совести, или вовсе закрыть на нее глаза – Бог им судья; как может государство вмешиваться в межчеловеческие отношения, пока люди сами о том не просят?

Никоим образом не может. И по этическим соображениям, да и по чисто организационным, информационным: откуда государству знать, что с людьми происходит, как не от самих этих людей? Неоткуда. Не шпионов же в собственную страну засылать!

Все вроде правильно... да нет – все действительно правильно! Только так, и никак иначе. Но зато порой вдруг, казалось бы, случайно и по совершенно другому поводу – всплывает этакое...

«Мне нужен текст его доклада», – отметил себе Богдан.

Второе. Свидетели, сами не отдавая, быть может, себе отчета в важности того, что сообщали, как один отметили одну странность: после приезда Ванюшина в Дубино он и Гречкосей буквально не расставались; и учитель, и ученик явно соскучились друг по другу и два дня были неразлучны. А вот в день отъезда Ванюшина Гречкосей даже не пришел его проводить, и, когда его спросили, отчего он не почтил уважаемого человека, столь много для него сделавшего, Семен Семенович ничего не ответил.

Весь последний день пребывания Ванюшина в Дубино их с Гречкосеем ни разу не видели вместе. Совсем.

«Надо узнать точно, в какой день Ванюшин делал в институте доклад, – отметил себе Богдан. – Совпадает ли охлаждение между учеником и учителем по времени с докладом, или одно с другим не связано?»

И третье. Музей института, откуда украли образец изделия «Снег», был открыт отнюдь не всякий день. И посещался он далеко не всякий день, когда был открыт. Ученые, по горло занятые интересной и важной работой, предпочитали ее, а не образцы и модели десяти- и двадцатилетней давности – которые, вдобавок, многие из них сами же и творили во времена оны и, стало быть, знали как свои пять пальцев. В музей либо заглядывали самые что ни на есть новички, либо его посещали официальные лица и коллективы: выехавшие на говорильную встречу к избирателям думские бояре, проверяющие отопление водопроводчики и так далее.

Другими словами, промежуток времени, когда могло быть совершено хищение, на самом деле оказался куда больше двух дней, упомянутых Гадаборцевым. В сущности, следствие так и не выяснило доподлинно, кто и когда видел прибор в последний раз. И хватились-то его, возможно, далеко не сразу – отсутствие экспоната было обнаружено почти случайно, когда музей осматривал специально приехавший в Дубино, чтобы лучше прочувствовать дух научного поиска и великих умственных свершений, известный писатель-документалист Мефодий Далдыбаев, собиравший материал для своей новой эпопеи «И загудели атомы». Видимо, подобная оплошность объяснялась тем, что подозреваемый сразу пришел с повинной, и точное время хищения показалось не столь важным. Поэтому следствие, судя по всему, и приняло сразу на веру слова Гречкосей: «Третьего дня я...»

Продолжая обдумывать прочитанное, а паче того – оставшееся между строк, Богдан сдал папки дежурному вэйвэю¹⁶, споро вскочившему при его появлении и поклонившемуся в пояс, расписался в тетради учета секретных документов и, скрепив свою подпись висевшей на поясе личной печатью, двинулся к выходу. И тут в его кармане зазвонил телефон.

«Фирузе, – подумал минфа с раскаянием. Он задержался не на час и даже не на полтора, а на два с половиною. – Бедная моя...»

Но это оказался Гадаборцев.

– Драг еч Оуянцев?

– Слушаю вас.

Голос у начальника внутренней охраны был какой-то настроженный.

– Вы... простите за беспокойство... уже ознакомились с документами? – спросил он.

Богдану показалось, что спросить Гадаборцев хотел совсем не об этом.

– Только что закончил, – ответил Богдан.

– Ага... А я тем временем выяснил... – сказал Гадаборцев. – Гречкосей после суда сказал родителям, что хочет уехать «куда подальше» – и уехал действительно неблизко, в Цветущую Средину. Науку он бросил, так сказать, напроць. Наверное, это для ордуцкого умственного потенциала потеря. Сейчас он работает... вы не поверите, драг еч... сменным чинильщиком на канатной дороге в горах Сяншань. Может, вы бывали там или понаслышке ведаете: то бывшие охотничьи угодья древних ханских императоров, ныне парк культуры и отдыха под Ханбалыком. Члены императорской семьи парк по-прежнему частенько посещают, но в последние сто лет уже, так сказать, на общих основаниях... Рычаги дергает наш физик на верхней станции дороги, кабинки проверяет по мере надобности... с гаечным ключом в руках... Вот так.

– Очаровательно, – сказал Богдан. – Талантов у нас, конечно, много, но не настолько, чтобы этак вот ими разбрасываться, вы не находите, еч Гадаборцев? Еще бы он с лотка укропом торговал!

– А что тут можно было поделывать? Ему и так приговор вынесли мягкий – дальше некуда...

– Это я понял, – сказал Богдан. Прижимая трубку к уху плечом, он открыл очередную дверь и вышел на ярко освещенное привратными фонарями крыльцо павильона. Колкий ветер, летящий из черноты над заливом, весь полный сорванных с торосов искр, закрутился вокруг пол его скупой расшитого золотом теплого, с меховой подбивкой халата. Стоянка была за углом; Богдан перехватил трубку рукой и остановился под прикрытием стены, чтобы договорить – видно было, что обширную открытую площадку стоянки вихри прометают с особой свирепостью.

– А уж над научным сообществом и его реакциями мы не властны.

– Ну, само по себе это неплохо...

¹⁶ Вэйвэй (衛尉) – так назывался в Китае при ранних династиях начальник охраны ворот императорского дворца.

– Да, – согласился Гадаборцев, – но иногда, честное слово, так и хочется на них шикнуть: что ж вы делаете! А еще считаете себя умней всех!

– М-да... – неопределенно сказал Богдан.

Гадаборцев умолк и некоторое время лишь дышал в трубку. Потом осторожно сказал:

– Вы, небось, моих копателей олухами сочли? По документам-то судя?

Богдан несколько опешил от такого вызова на откровенность.

– Как вам сказать... – уклончиво вымолвил он, лихорадочно подыскивая сообразный ответ.

Вотще.

– Есть люди, – так и не дождавшись продолжения, осторожно проговорил Гадаборцев, и Богдан понял, что собеседник подбирает слова с предельной тщательностью, – даже тень присутствия которых делает работу невероятно трудной. Боюсь, вам это еще...

– Ванюшин? – повинуюсь какому-то наитию, наугад спросил Богдан.

– Быстро вы, – с удовлетворением отозвался начальник внутренней охраны; в голосе его чувствовалось облегчение. – Ну, тогда помогай вам Небо...

И он отключился.

В столь поздний час на дворцовой стоянке оставалось не так уж много повозок. Зябко ежась, Богдан пошел к своей; полагавшийся ему теперь по рангу водитель – и как, бедный, не заснул тут, сидя в одиночестве весь вечер? – загодя усмотрев минфа, поспешно отложил какой-то яркий журнал, выскочил наружу и предупредительно распахнул перед Богданом дверцу.

– Простите, еч Филипп, – сказал Богдан покаянно. – Дела...

– Я понимаю, драг прер еч Богдан, – с сочувствием ответил молодой водитель, возвращаясь на свое место. – Домой?

– Да уж да, – сказал Богдан и несколько раз кивнул.

Богдану в таких ситуациях всегда было неловко. Он предпочел бы и теперь ездить сам, на стареньком и верном своем «хиусе», сносу не знавшем, – но положение обязывало. А вскоре минфа понял, что не только в сообразных церемониях дело. Времени теперь ему не хватало столь сугубо, что частенько лишь в повозке, едучи с одного места на другое, Богдан и мог ознакомиться с бумагами, знание коих там, куда он направлялся, ему непременно бы потребовалось. Сиди он сам за рулем – четвертина дел бы встала. Ужасно, но что поделаешь...

Богдан порадовал водителя тем, что завтра и впредь до особого распоряжения он свободен, и отпустил повозку. Медленно побрел по лестнице вверх. Достал ключи.

«Надо потише, Фирузе, наверное, уже легла...»

– ...А ты почему не спишь?

– Не хочу, – откладывая книгу, ответила Фирузе так удивленно, словно Богдан несказанно ее изумил, предположив, что она умеет спать. Встала. – Ты голодный?

– Очень, – виновато сказал Богдан.

Все дети любопытны. Нелюбопытный ребенок – скорее всего, больной ребенок. Во всяком случае, он чем-то обделен от рождения – и ему будет потом очень трудно жить, ибо неспроста небеса награждают всякого маленького человечка неутомимой страстью добираться до сути всего, что только попадется на глаза, – так он учится разбираться в том, что потом будет ему жизненно необходимо. Кто не пытался расковырять ножом камень? Расчленил старый будильник? Кто не мучил, без малейшего сомнения в своем праве на это, тошнотворно бледного червяка или жуткую, как штурмбанфюрер, личинку стрекозы – единственно, чтобы понять, что у них да как, а потом, уже став взрослым, вспоминать о своих опытах с легким оттенком стыда – или, наоборот, стараться не вспоминать?

Так было всегда.

С уходом детства подавляющее большинство людей теряет это шалое свойство. Они уже натренировались, уже набили себе руку и глаз – теперь, как иногда шутят, пора и морду кому-нибудь набить; приобретенный опыт отныне сосредоточивается на попытках познавать лишь то, что обещает, сделавшись познанным и потому управляемым, непосредственную отдачу: удовольствие, самоуважение, деньги, престиж, власть. По мере взросления духовные способности человека, возможности его разума и души все более применяются для обслуживания его тела, его физиологии, его земной природы. Бог в человеке обслуживает зверя. И это, в общем-то, понятно, хотя и грустно: без хлеба человек умирает, без дифференциального исчисления и без стихов Ли Бо – нет.

Небольшая толика людей почему-то остается детьми.

Почему-то они продолжают пытаться познать то, что не имеет к их простому быту ни малейшего, в общем, отношения. С какой такой радости дует ветер? Кто и зачем развесил по небу звезды? Что за древние закорючки украшают валун за городским палисадом – может, это буквы? Или вот, казалось бы, проще некуда: кто попал в воду, тот утонул. Это будничнейший факт. А почему? Почему под водой нельзя дышать? Ведь рыбы не тонут, дышат как-то, а мы – нет. Нельзя ли научиться быть, как рыбы? Или наоборот – рыбы ведь задыхаются на воздухе. Чего им, дурищам, не хватает? Полно же воздуха. Мы ведь дышим, и это естественно. Естественно? А что в этом естественного? Что происходит там, в нас, когда мы зачем-то вдыхаем и выдыхаем?

Так возникает наука.

Люди, с годами не теряющие любопытства (не к семейным тайнам соседей, а к миру), рождаются во всех племенах. Оставлять малую часть детей стареть не взрослая – в природе человека как такового. Поэтому наука

понимает лишь одну границу – между познанным и непознанным. Все остальные границы, столь необходимые для правильной организации жизни народов и стран, ей только мешают.

Однако с того времени как наука перестает лишь философствовать и начинает в качестве побочных продуктов мыслительных усилий рассыпать вокруг себя порох, пароходы, броню, удивительные то ли лекарства, то ли яды и прочую прелесть, за спиной у нее мало-помалу встают государства с их собственными представлениями о добре и зле.

Постепенно они, теряя терпение, начинают подталкивать сосредоточенно занимающуюся своим варевом науку, если она задумывается слишком уж надолго; чаще же, потешно вытягивая шею, то и дело пытаются заглянуть науке через плечо, толкаются локтями, отпихивают друг друга по мере возможности и сил, а кому росту не хватает – суетливо подпрыгивают на месте или на карачках пытаются пролезть между ног у более рослых и мускулистых. Что это вы там нынче стряпаете? Иприт? Ох, как вкусно!

Государства тоже ни в чем нарочно не виноваты. Например, закон, по которому скорость движения любого каравана или, скажем, корабельного строя определяется по самому медленному из верблюдов или самой тихоходной из джонок, возник не из подлости и не от злоумного стремления унижить лучших. Просто каравану или строю во что бы то ни стало надо сохранить единство – одиночке в пустыне не выжить; и поэтому тем, кто мог бы уйти куда как далеко, приходится сдерживать себя и словно бы притворяться калеками. Наверное, и закон, по которому чем больше группа людей, тем она глупее, – той же породы, что закон строя. Столь крупные скопления людей, как государства, по уровню недалеко ушли от амеб; те, кто мечтает о единстве человечества под единой властью, должны понимать: чтобы это стало возможным, все человечество – целиком! – должно будет по своим ценностям и побуждениям опуститься на уровень самой дикой и бесчеловечной из существовавших до объединения стран. Можно, конечно, предварительно истребить всех жителей этой страны или даже нескольких стран (а глядишь, и всех, кроме той, которая считает себя наиболее замечательной), чтобы жители их не мешали хорошим быть хорошими – но ведь хорошие, убивая десятки миллионов ни в чем не повинных людей просто за то, что они такие, какие есть, тем самым опустятся на их уровень, а то и ниже – и стоит ли тогда огород городить... Так ли, этак ли – одной прожорливой тупой амебой станет все человечество.

Отдельный человек может быть умным, добрым, бескорыстным, доверчивым, дальновидным... Кто-нибудь видел доверчивую или хотя бы дальновидную амебу?

У амебы один лишь смысл жизни: сиюминутное выживание. Есть самой и не быть съеденной другими.

И на сытый желудок – размножаться.

Государства, надо признать, частенько говорят красивые слова не про еду. Про всеобщее счастье, про достоинство личности... Любые, какие в

моду. Но смысл их произнесения, как правило, один: съесть больше других. Если усиленному питанию помогают красивые слова – они будут произноситься без усталости.

Собственно, многие отдельные люди тоже так живут.

И при этом без объединений с себе подобными даже они не могут. Драконова доля духовной энергии человека уходит на нескончаемые и порой весьма болезненные поиски компромиссов с теми группами, в которые он включен и не может не быть включен: с семьей, с одноклассниками, с сослуживцами, с государством... Суть компромисса всегда одна и та же: и на сосну залезть, и не оцарапаться. И себя не потерять, и в одиночестве не оказаться.

Чем щедрее идет государство на такой компромисс с отдельным человеком, тем более человечным мы это государство называем, ибо именно в нем проще, безопаснее и безболезненнее жить. Кроме того, считается, что главный путь развития государств – это возрастание степени их уважительности к отдельному человеку, его потребностям, вкусам и странностям. Поэтому государство, с которым человеку компромисс находить легче, мы называем, вдобавок, и более передовым.

Как ни странно, не только такое государство способно больше дать человеку, но и человек способен дать такому государству больше. Просто-напросто потому, что, когда человек не зажат, не скован, не испуган, в нем самом больше есть. Берешь, берешь – а там не кончается, потому что новое все прирастает и прирастает. А вот у забытых – не прирастает. Можно, конечно, долго и с упоением хлестать бичом свою вдруг вставшую посередь дороги повозку – но куда разумнее залить в ее опустевший бак требуемое количество бензина.

Только человек, в отличие от мертвых механизмов, вырабатывает свой бензин для себя сам.

Или не вырабатывает – если душа убита.

Давным-давно великий Конфуций сформулировал основные принципы уважительного отношения человека к государству и государства к человеку, приравняв государство и семью. Служа отцу, можно научиться служить государю, учил он, а заботясь о сыне, можно научиться заботиться о народе¹⁷.

Но идеальных систем не бывает. Человеколюбивое предписание Учителя привело не столько к тому, что империя сделалась одной большой семьей, сколько к тому, что всякая семья стала маленькой, но очень жесткой империей. Истории понадобилось скрестить конфуцианское дотошное взаимопочитание с ордусской, славянско-татарской разудалой необузданностью (степь да лес без конца и края – какая уж тут мелочная предписанность!), чтобы возникло новое качество: не авторитарная, но авторитетная этика.

¹⁷ Такого высказывания переводчики в «Лунь юе» не нашли – даже в легендарной 22-й главе, доступной им лишь в отдельных фрагментах. Данная мысль является скорее сжатым, подытоживающим пересказом «Канона сыновней почтительности» («Сяо цзин») – текста, насквозь конфуцианского, но самому Конфуцию не приписываемого.

Семья – да. Но не в четырех стенах обитающая, не включенная в пятидворку, стиснутую взаимным надзором и круговой порукой¹⁸, из коей никому нет выхода, а – в просторе необозримом, где единственный надзиратель: твоя собственная совесть. У родителей, а вслед за ними и вообще у старших – бескорыстная забота о тех, кто не рабы тебе и не слуги, а самостоятельные люди, что раньше или позже разлетятся кто куда и желают каждый своего, но при этом – все равно твое продолжение, твой мостик в будущее, твой единственно возможный шанс на бессмертие. У детей же и просто у младших – благодарность тем, кто сам хоть, может, и не всего, чего хотел, в жизни добился, но тебя-то уж всяко родил, подарил тебе весь этот причудливый мир, да вскормил, да как умел, пусть хоть и предварительно, уму-разуму научил.

И разные вероисповедания тут не помеха. Ежели с чистым сердцем вслушаться в ангельские голоса – как раз такой подход и освящают все цари небесные. Ну, а князья тьмы с их горделивой тягой к свободе в пустоте (что ты понимаешь, сопляк! я у вас на свет не просился! хватит с нас красивых сказок! никто никому ничего не должен! государство и личность – непримиримые враги!) – нам ли их слушать?

Ведь сколько раз история доказывала, что именно эти свободолюбцы, вооруженные всего-то простенькой ненавистью без тормозов, охотней всех и просто-таки с восторгом отдают себя в рабство любому, кто вооружен еще незамысловатей...

Нигде, кроме семьи, нельзя научиться любить людей, которые не друзья тебе, не единачаятели, не коллеги и не возлюбленные, которых не сам ты выбрал, но судьба посадила вас в одну лодку; людей, которых надо любить просто потому, что надо, потому что любить их – правильно, а не любить – неправильно. Со всеми их отличиями от тебя, со всеми их недостатками, так бьющими в глаза при каждодневном совместном бытии. Терпеть этих людей, прощать, умиляться на них, бескорыстно заботиться о них и благодарно принимать их заботу, столь же неумелую и неловкую, сколь и твоя, по крупицам находить взаимопонимание – не растворяясь, однако ж, а сохраняя, развивая, раскрывая себя. Не научишься смладу – потом это чудо уж во век тебе не откроется; так и будешь ненасытным перекаати-полем кататься по чужим, никогда на становящимся тебе родными жизням, распевая всего-то две немудрящие и, сказать по правде, довольно занудные песенки: боевую (даешь свободу личности!) и жалистную (ах, как одинок человек!).

Только века прожив с этим семейным стержнем в душе и лепясь к нему все плотней и привычней, амеба Ордусь смогла порой вести себя без обычной для государств примитивности. Когда даже самый тихоходный корабль способен нестись стрелой – флот целиком может, наконец, увеличить ход.

¹⁸ Хольм ван Зайчик здесь имеет в виду распространенную в старом Китае систему *баоцзя* (保甲). Этот термин обычно переводится как «круговая порука». Согласно *баоцзя*, низшей единицей административной организации становились так называемые пятидворки – пять крестьянских хозяйств, ответственных друг за друга перед вышестоящим начальством.

Только с этого времени стали возможны такие ее действия, как, например, спасение ютаев.

Однако даже у самого человеческого государства главной целью остается простое выживание. Две главные причины есть тому, не считая более мелких: причина народная и причина человеческая. Только благодаря государству живущий в нем народ может обеспечить себе мирную жизнь и самостоятельность, только в своем государстве ему не грозит рассыпаться в мягкий бесформенный прах любым ветром носимых вечных одиночек, изгоев, прибудных или, как их витиевато именуют в Европе, неграждан, всюду чужих и нелюбимых; и, кроме того, к власти в государствах обычно продираются ценою долгих усилий люди особого склада, кои затем только посредством этого государства и способны сохранять самоуважение, пестовать честолюбие... если государства не станет, именно они, властолюбцы, более всех других останутся у разбитого корыта.

Поэтому, едва наиболее продвинутые шеф-повара не знающей политических границ науки начали задумываться о том, что в меню на завтра, пожалуй, могут оказаться атомы, все самые мощные государства мира, включая, разумеется, и Орду, почти одинаково облизнулись, с аппетитом потеряли ладони и сказали: «Атомы? Как вкусно! ЖАРЬ!!!»

То было удивительное время. После долгого княжения химии физика пошла на царство. Первые успехи ее были столь грандиозны, что многим казалось: еще несколько лет – и половодье новой энергии изменит жизнь неузнаваемо; звездный огонь тихо спланирует в подставленные ладони и будет смиренно светиться там, точно золотой осенний листок; а потом понесет неумных людей туда, откуда спустился – к звездам. Но государства сказали свое веское слово: звезды, как всегда, подождут, а вот бомбы – нет.

Словно по волшебству, возник близ маленького, затерянного в бескрайних степях Южного Приуралья русского городка Семизаплатинска город физиков Семизарплатинск.

Ученых для работы в нем выбирали по всем улусам Орду.

Одним из научных руководителей проекта назначен был замечательный человек и один из крупнейших ордуских умов того времени Ипат Ермолаевич Здессь. Он-то и привлек к решению головоломной задачи, опираясь не столько на послужные списки, сколько на свой опыт и свое знание людей, нескольких молодых сотрудников, которые по заслугам своим, казалось бы, и не заслуживали такой чести и такого доверия – а по сути, внесли в успех едва ли не решающий вклад. Среди них был совсем еще юный новоиспеченный сюац физики – Мордехай Ванюшин.

Мордехай родился через два года после образования Иерусалимского улуса. Отец его, Фалалей Харитонович, был простым учителем физики в одной из рязанских школ. Единственно по велению сердца откликнувшись на призыв Храма Золотой Средины, главной конфуцианской святыни Рязани, помочь ютяам обосноваться на новом месте – в ту пору многие жители Александрийского и иных сопредельных улусов оставляли обжитые места

и перекочевывали, ровно древние степняки, в раскаленное захоlustье ради сочувствия к переселенцам: ни кола, мол, у них, ни двора, все кругом чужое, так надо ж хоть на первых порах пособить людям, – Фалалей Харитонович переехал в порт Яффо, стал там директором только что созданной школы, прижился, женился на юной беженке, до конца своих дней сохранившей очаровательный акцент... Собственно, отец и заразил Мордехая страстью к точным наукам; именно «заразил», иначе тут не скажешь, ибо обычное «привил» не подходит вовсе. Все произошло точно само собой – от вольных разговоров на совсем не детские темы, от совместного созерцания спящих звездных россыпей в бархатно-черных небесах над Средиземным морем, от гипнотически таинственных формул и диаграмм в заполнивших все шкапы книгах, с запахом пыли и мудрости коих не мог сравниться ни один специально созданный для услады аромат...

Мордехай закончил Александрийское великое училище за год до переезда в Семизарплатинск.

Поразительно, но при всем соцветии талантов, кои там собрались, как раз юный Мордехай предложил несколько ключевых идей. Гений есть гений. Никто не знает, откуда такие берутся – и, тем более, никто не знает, зачем... Именно Мордехай предложил использовать в грядущей ордусской бомбе дейтерид лития, что сразу сделало ее технологически исполнимой. Именно он тремя годами позже первым понял роль запального лучевого сжатия термоядерного материала, а чуть позже разработал концепцию фокусирующей это сжатие оболочки самой же бомбы...

К тому времени он уже был признанным главою целого направления.

Впоследствии он с некоторым раскаянием и, во всяком случае, довольно скептически отзывался об этом периоде своей жизни. Называл себя наивным, легковерным, недалновидным... Называл себя горе-ордуселюбцем. Вспоминая, рассказывал в основном о неграмотности и бестактности начальства да о сомнениях ученых в целесообразности и безопасности проекта. Беседуя с европейскими журналистами и всю применяя западные слова, утверждал, что тогда, в молодости, его сознание было насквозь тоталитарным, и винил в том религиозный ордусский догматизм и конфуцианскую систему воспитания...

Парадоксально, однако, что этот период – период и впрямь самой ужасной по тематике работы в его жизни – вспоминался ему как один из самых счастливых. Конечно, одинокая теоретическая работа имела свои преимущества, порой завораживающие – когда Метагалактика, вечно хранящая молчание в невообразимой прорве неба, вдруг начинала языком математики – почти человеческим языком! – говорить с Мордехаем прямо с его стола, сердце ученого заходило от благодарности за доверчивую откровенность мироздания и от самого чистого из доступных людям восторга: восторга понимания. Но то поначалу совсем незамутненное сомнениями чувство участия в общем великом и невероятном деле нужного стране позарез проникновения в самую сердцевину природы, когда рядом с Мордехаем жили и трудились

люди, не менее незаурядные, чем он, и переживавшие то же самое, что он – это победное чувство общности, единого дыхания, дружеского всемогущества, тоже было ни с чем не сравнимым. Они сами, два-три десятка их, сами были как Метагалактика. Безграничны, откровенны и доверчивы...

Об этом он не говорил никому и никогда не писал об этом.

За несколько дней до первого испытания по степи начали ходить и разъезжать на лошадях и повозках повышенной проходимости сотни людей с трещотками, а военные привезли даже несколько ультразвуковых генераторов и запустили их на всю железку – бесконечная безлюдная степь была полна птиц, тушканчиков, полевок, степь кишмя кишела жизнью, и надо было постараться сберечь этой жизни как можно более...

Вотще.

Экстаз свершения был столь же неистов и темен, сколь и медленно вознесшийся, продавив изнутри чуть ли не всю атмосферу Земли насквозь, лопнувший атомный фурункул. И столь же недолговечен.

Первое, что увидел Мордехай, с несколькими коллегами отправившись в зону поражения для оценки силы взрыва, был беспомощно и неуклюже, как-то боком, прыгавший по земле искалеченный ястреб с выжженными глазами. Глядеть на его страдания было не в силах человеческих, сердце обливалось кровью.

Позже Мордехаю казалось, что уже тогда, едва успев увидеть ослепшего владыку степного неба, он прозрел.

Но был еще и торжественный ужин...

Военным главою проекта был цзянцзюнь¹⁹ Митроха Неделух. Опытный воин благородного старого чекана, плоть от плоти тех великих воителей, что в свое время пронесли зеленое знамя Пророка над половиной мира, он волей-неволей давно уже утратил ту чувствительность, которая так красит штатских. Ради безопасности Ордуси Неделух спалил бы всех ее ястребов, не задумываясь. Конечно, ему никогда не пришло бы в голову делать это нарочно; но коль пришлось бы выбирать, для умудренного обороноспособностью воина и вопроса бы не возникло. Мордехаю он искренне восхищался и уважал его всей душой; к сожалению, у столь разных людей все основополагающие представления бывают очень разными – в том числе и представления об уважении и о том, как его надо выказывать. Конечно, сообразные церемонии, установленные Конфуцием и его последователями, много дают в этом смысле – однако ж на все случаи жизни точного предписания не предусмотреть.

За праздничным застольем Неделух предложил первое слово сказать именно Мордехаю.

Тот медленно поднялся, сутулясь более обычного. Глазами без вины

¹⁹ Цзянцзюнь (將軍) – одна из высших военных должностей, существовавшая в Китае с незапамятных времен на протяжении всего имперского периода. Приблизительным аналогом ее можно назвать звание генерал-лейтенанта или даже генерал-полковника.

обиженного ребенка обвел зал. Лопающийся от пламени, истекающий дальнобойной невидимой смертью титанический гнойник, рожденный и выдавленный из тела планеты волею тех, кто сейчас собрался здесь праздновать рукотворный конец света, все еще дыбился перед его глазами. Неловко, тщетно дергал нелетучими крылами поверженный в пыль обреченный ястреб. И Мордехай проговорил:

– Э-э...

Помолчал немного, собираясь с духом.

– Сказано в Писании, – проговорил он надтреснутым фальцетом. – «Выйди и стань на горе пред лицом Господним. Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы, будет пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра – землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения – огонь, но не в огне Господь. После огня – веяние тихого ветра»...²⁰

Неделух на несколько мгновений озадаченно задумался, потом кустистые брови его резко съехались к переносице. Он понял. Он понял, что тонкокожий штатский опять чем-то недоволен и хочет мира. Можно подумать, он, Неделух, мира не хотел! Но хочешь мира – готовься к войне, говорят европейские варвары еще со времен своей Римской империи; и в этом они, увы, сугубо правы.

Цзянцзюнь набычился. Эти хлипкие настроения надо было задавить в зародыше.

– Иншалла, – жестко отрезал он. И добавил даже с некоторой издевкой: – Сказано в Коране: «Ужели ты не останавливал внимания на старейшинах у сынов Израилевых после Моисея, когда они сказали пророку своему: дай нам царя, и мы будем сражаться на пути Божиим? Он сказал: не может ли случиться, что вы, когда предписана будет война, не будете воевать? Они сказали: почему же не воевать нам на пути Божиим, когда мы и дети наши изгнаны из жилищ наших? Но когда было повеление им идти на войну, они отказались, кроме немногих из них, – Неделух помолчал, в упор глядя на Мордехая, потом тяжелым взглядом исподлобья обвел собравшихся и закончил цитату: – Аллах знает законопреступников»²¹.

Лучше бы он этого не говорил²².

Похоже, с того дня кто-то на самом верху – быть может, даже сам Аллах –

²⁰ Ветхий Завет. 3 Цар.19:11–13.

²¹ Коран. «Корова», аят 247.

²² Поразительно, но в нашем мире однажды случился похожий обмен мнениями. Выглядел он, сколько можно судить по прошествии лет, приблизительно так: «Я предлагаю выпить за то, чтобы наши изделия всегда взрывались так же успешно, как сегодня, над полигонами и никогда – над городами!» – «Старик перед иконой молится: направь и укрепи, направь и укрепи. Тут его старуха с печи подает голос: ты старый, молись об укреплении, направь я и сама сумею!» У нас, конечно, не было допущено вопиющей межнациональной бестактности, но зато имело место богоухльство – и неизвестно, что хуже...

поставил цзянцзюню отметку о профнепригодности. Полугодом не пролетело, как славный и ни в чем, собственно, не повинный Митроха Неделух погиб, и погиб на редкость бесславно – сгорел заживо, пытаясь по-военному объяснить ордусским ракетчикам, как запускать экспериментальный носитель, если у него сбоит на старте зажигание (чиркнуть у главной дюзы маршевого двигателя спичкой фабрики «Красный десятый месяц»). Смерть стареющего ветерана можно было бы, пожалуй, назвать героической – выполняя свой долг перед империей, торопившей первый, столь много решивший бы пуск, цзянцзюнь рискнул собой, как простой солдат, – если бы вместе с собою мужественный воин не прихватил в огненный ад две сотни опытных и преданнейших Ордуси ученых, офицеров и техников...

Не в огне Господь.

Что же касается Мордехая, то и тут цзянцзюнь обрушил последствия не менее трагические. Просто сказались они не так скоро.

А в тот вечер Мордехай Фалалеевич Ванюшин, неловко постояв у стола с чуть склоненной набок головой, озадаченно потоптался и вдруг, резко выпрямившись и ни на кого не глядя, пошел поперек зала к выходу – в перекрестии взглядов, в полной тишине.

2

Ордусь успела испытать семь изделий – одно мощней другого. Седьмое оказалось поистине ужасающим – самая мощная бомба в истории человечества. Все это время Мордехай работал на износ; его выдающейся роли в деле совершенствования водородного оружия не мог отрицать никто, недаром последнее из адских семян, посеянных на планете Ордусью, во всем мире называли «Ванюшинским чудовищем». При этом Мордехай делал все от него зависящее, чтобы и разработка новых типов подобного оружия, и, тем более, их испытания, были прекращены, а само это оружие было навечно запрещено и к воспроизводству, и, тем более, к применению. За считанные годы лишь на имя императора гений подал восемь пространных докладов – не считая множества менее значительных докладных записок, обращений, увещеваний. От подобной раздвоенности человек с менее устойчивой психикой мог бы запросто оказаться в умиротворяющей тиши психоприимного дома. Ванюшина спасло, пожалуй, то, что он с поистине естествоиспытательской холодной ясностью понимал и необходимость продолжения работ, покуда нет еще глобальной договоренности о их запрещении, и то, что сам он либо умрет, либо добьется этого запрещения – а большего от себя даже Мордехая не приходило в голову требовать.

А потом император милостиво наложил односторонний запрет на дальнейшую разработку оружия всенародного истребления.

Втолковать августейшему двору, что такое непороговые биологические эффекты испытаний и чем они чреватые, оказалось куда сложнее, нежели

напомнить, что, согласно основным положениям одной из самых уважаемых в Ордуси религий, существует такое явление, как переселение душ – и потому, губя степных обитателей, мы совершаем поступки, вопиюще непочтительные по отношению к, возможно, собственным же предкам. Но, слава Богу, хоть этим оказалось возможно зацепить власть! Американские и европейские руководители, для которых метемпсихоз – звук пустой, еще более двух лет продолжали баловаться со своими гремучими игрушками, время от времени подбрасывая средствам всенародного оповещения слухи, будто и ордусяне тоже потихоньку продолжают взрывы – то ли в древних катакомбах под мосыковским Кремлем, то ли еще в какой потайной глухомани. Но мало-помалу прятаться за вранье становилось все труднее, и продолжение испытаний в Сахаре и в Тихом океане стало наводить на мысль, что Европа и Америка просто-напросто готовятся к истребительной войне друг с другом. А как только подобная версия проскочила в одной из свенских газет (потом поговаривали – не без помощи ордусской внешней разведки), западным любителям неодолимой бездушной силы, хоть мощности последней ордусской бомбы они так и не смогли достичь (а как хотелось!), волей-неволей пришлось сворачивать активность. И многосторонний договор о полном запрете испытаний был наконец подписан.

Мордехая это не удовлетворило.

Дело в том, что по договору никто не собирался уничтожать запасы уже созданных зарядов. Даже вопрос такой не ставился. А стало быть, сохранялась опасность того, что в случае серьезного конфликта они могут быть применены – со всеми последствиями, которые Мордехай представлял себе так, как, возможно, никто иной на планете. Совесть его смогла бы угомониться лишь тогда, когда вероятность подобного применения оказалась бы снята полностью.

Ванюшин был в каком-то смысле реалистом и понимал, что при существующем миропорядке об уничтожении запасов термоядерного оружия нечего и думать. Слишком много накопилось между народами взаимных обид и претензий, недоверия, разногласий. Да что говорить! Стоит лишь присмотреться, как в разных странах учат детей истории. Будто речь идет о разных планетах! Ведь в каждой стране – своя история человечества, это факт. Это научно наблюдаемый факт. Для каждой страны лишь она сама – светоч разума и добра, никогда она ни на кого не нападала и всегда лишь защищалась от гнусных, подлых, вероломных захватчиков. Подобный подход непоправимо разобщает народы. Именно он консервирует на вечные времена недоверие, страхи, вспышки немотивированной агрессии...

Что можно тут поделать?

Это была, в сущности, очередная крайне важная и крайне сложная научная проблема, разрешить которую было теперь столь же важно и необходимо, сколь десяток лет назад – дать своей стране сверхоружие. Только теперь физик Ванюшин был один.

К этому времени Мордехай уже не жил в Семизарплатинске. Вернув-

шись в родной улус, он устроился внештатным сотрудником в отдел теоретических проблем института физики в Димоне – и, почти не выходя из дому, получая, в сущности, гроши (особенно если сопоставить оклад с его научными заслугами, не говоря уж о способностях; но так ему было свободнее, так он принадлежал только себе), работал сразу в двух направлениях. Он хотел знать, как устроена суть Вселенной. И он хотел знать, как помирить всех людей в мире.

День, когда он нашел решение второй проблемы, запомнился ему как день одной из величайших его научных побед.

Решение оказалось до смешного простым.

Собственно, оно уже давно было нащупано религиями, но Мордехай даже атеистом себя не считал лишь потому, что вообще не интересовался подобной проблематикой. Однако теперь пришлось – потому что, согласно его концепции, то, что религии рекомендовали отдельным людям, должно было произойти на уровне межгосударственном или, если сказать точнее, международном. Не государствам это было под силу – только самим народам, обитающим в государствах.

Когда учение стало складываться в его мозгу и обретать конкретные черты, превращаясь из безумной гипотезы в стройную теорию, Мордехай жил не в Димоне и даже не в Яффо. В Дубине. Четыре с небольшим года назад его пригласили принять участие в работах по противуастероидной проблеме и даже возглавить одну из групп. Мордехай воспринял это предложение со всей присущей ему ответственностью. Опасность он считал несколько надуманной – но совсем сбрасывать ее со счетов и впрямь не приходилось; а стало быть, если уж государства современного мира дошли до такой степени просветления, что решили совместными усилиями бороться с опасностью, которая в равной, пусть и небольшой, степени грозила всем, грозила человечеству как таковому, невместно было оставаться в стороне. Мордехай отдал этой новой задаче всю мощь своего ума. И опять добился успеха.

Первым человеком, которому он поведал о своей теории, был Сема Гречкосей – молодой и поразительно талантливый человек, с которым Мордехай, невзирая на разницу в возрасте, сошелся в Дубине так, как он редко с кем-либо сходил. В глубине души Мордехай мечтал стать для юноши тем, кем для него самого был в свое время недавно скончавшийся Ипат Ермолаевич Здесь. Не просто учителем, не просто учителем в науке – учителем в нравственности.

Был июль. Был вечер. Они – Ванюшин и Гречкосей – шли вдвоем по берегу Дубинки, затейливо петляющей меж холмов, – точно когда-то ее нимфа (Мордехай не чужд был поэзии, а греческую мифологию чтит как одно из высших достижений человеческой культуры) принялась тут плясать с голубой лентой, как юная физкультурница на состязаниях по художественной гимнастике, – да так и бросила свою извертевшуюся в воздухе ленту на траву... Где-то вдали гомонили и плескались на песчаной отмели мальчишки из соседней деревни. Цвели удивительные по мягкой, щемяще-гру-

стной своей красоте среднерусские луга, словно бы неторопливо плывущие в бесконечность сквозь золотой солнечный дым... Отцовские гены, что ли, заставляли Мордехая с острым, почти нестерпимым наслаждением вдыхать сладкий и бережный воздух. Разнотравье поражало; на одном пригорке полевых цветов уживалось больше, нежели типов звезд в Галактике. Мордехай знал по именам лишь клевер, ромашки да иван-да-марью. Клевер светился пушистым розовым светом и накрывал луга, точно мягкое свадебное покрывало, повторяющее все изгибы укрытых тел. Заросли ромашки сияли, как сугробы, щедро посыпанные желтой солнечной крупой. Иван-да-марья... Она просто была. Как и он сам. Мордехай да... что? Да, правда, подумал он без ложной скромности. Мордехай-да-правда.

– Нет-нет, – говорил он. – Ты вдумайся, Сема. Иначе нельзя. Иначе тупик, просто тупик, мы так никогда не станем друг другу... э-э... братьями. Значит, вечно будет висеть у нас над головами этот дамоклов меч. А ведь и наука... наука не стоит на месте. Раньше или позже будет создано что-либо еще более страшное. Что тогда? Нет, я прав. Каждый народ... э-э... от самых маленьких, живущих, может быть, в двух соседних аулах... и до самых крупных, в первую очередь – крупных... должны припомнить все, что сделали они дурного. А если... э-э... память им откажет – соседи должны им напомнить. Просто должны. Иначе – не стоит и начинать. Мы пятьсот лет назад сожгли у вас хлев – простите нас, вот стоимость этого хлева с поправкой на изменение цен! А мы угнали у вас триста лет назад стадо – простите нас, вот ваши коровы, не те же самые, конечно, но ровно столько, сколько мы угнали тогда! Мы завоевали у вас в прошлом веке остров, и при том у вас погибло триста человек – простите нас! И хоть людей мы не можем вернуть к жизни – возьмите назад хотя бы свой остров! И вот тогда... тогда...

Ему казалось – молодой ученый его не понимает. Гречкосей смотрел как-то странно, искоса. Сочувственно – да, но чему он сочувствовал? Идее – или тому, кто ее высказывает? Мордехай не понимал и потому говорил все более сбивчиво и горячо. А Семен только кивал и словно хотел что-то ответить – да не решался.

А назавтра, за пять дней до уже назначенного первого испытания изделия «Снег», пришло распоряжение о свертывании проекта.

Это было как издевательство.

Собственно – почему «как»? Пять лет вдохновенной работы лучших умов страны, будто скомканную салфетку после обеда, рыгая и отдуваясь, вышвыривали на помойку вместе с созданным чудом. А уж такие-то умы найдут, как побольней для самих же себя выразить свое унижение и разочарование, свой горький сарказм. Ну жизнь! Ну государство! То давай-давай, а то вдруг – ой, ошибка вышла, это нам вовсе даже и не нужно... Уж дали бы испытать, в конец концов! Что за глупость! Не могли после опыта выполнить свои договорные обязательства, что ли? Кто там наверху думал? Каким местом?!

Ученые пребывали в бешенстве – и в растерянности.

А Мордехай понял окончательно: от властей ничего доброго быть не может.

Ну почему, скажите на милость, им было не отдать созданный прибор мировому сообществу? Что за дурацкие... э-э... предрассудки? Работы бы продолжились, и великий Вольфганг Лауниц бы к ним присоединился, и блестящий Мэлком Хьюз... Ни два, ни полтора! Ох, владыки! Да таблицу умножения-то они хоть помнят или уж забыли давно и знай себе только молятся? Колесо сансары, видите ли, им понятней, чем разрушение наследственного вещества микродозами радиации! Ом мани падмэ хум, понимаете ли! Впрочем, нет, это не здесь... Да какая разница! Отче наш иже еси... э-э... на небеси...

Он немедленно, не слушая никаких уговоров и посулов, уволился и уехал. Кончились луга.

3

Поначалу, видимо, просто по привычке, на многолетнем инстинкте, Мордехай принялся сыпать свои рецепты в бездонную пропасть высшей власти. Вотще. В первый раз, правда, он после двух седмиц напряженного ожидания получил, уже почти утратив надежду, красивый объемистый конверт, пахнувший жасмином; в нем таились два листа правительственной почтовой бумаги, украшенные полупрозрачным, чтоб не мешал читать, изящно сплетенным узорочьем сосновых игл и персиковых лепестков. В конце стояла подпись и личная печать имперского цзайсяна²³.

Дрожащими пальцами переворачивая листки, Мордехай начал читать – и понял, что ждал напрасно.

«Драгоценный преждедрожженный М. Ф. Ванюшин! Мы прекрасно понимаем яшмовое человеколюбие Ваших мыслей и побуждений, над коими явственно вьют свои гнезда фениксы. Однако ж, по нашему скромному мнению, всякая потуга припомнить и перечислить взаимные грехи и проступки, а частенько – и жестокости, кои народы чинили друг другу на протяжении мировой истории, приведет не к примирению, а к обострению былых обид. То, что с течением времени сгладилось, вновь встанет перед людьми подобно горе Тайшань, словно и не прошло после тех порой воистину ужасных событий многих лет и веков добрососедской жизни – какая является, по совести говоря, единственным оправданием давно минувших злодеяний. Более того, стоит только начать, и обязательно найдутся те, кто примется не с сожалениями вспоминать свои прегрешения, а с наслаждением перебирать чужие. А примеру их, чтобы не остаться в долгу, последуют и остальные, последуют, руководствуясь отнюдь не злоумием, а про-

²³ Обычно на европейские языки термин *цзайсян* (宰相) переводится словами «канцлер», «премьер», «первый министр». В «Деле незалежных дервишей», например, Багатур Лобо называет германским цзайсяном Бисмарка.

стым и естественным, присущим всем порядочным людям стремлением исправить возникшее искривление и вернуться к золотой середине. Воистину, даже благородных мужей такое может соблазнить вести себя подобно людям мелким, может понудить и их вовлечься в бесконечное и бессмысленное растравливание взаимных неприязней, а потом и – ненавистей, хоть и не хотели бы они того вовсе. А сие представляет для государства и всех в нем обитающих величайшую опасность. Беды, кои могут прорастать от этого, густо неисчислимы – трудно, трудно даже вообразить их! Великий учитель наш Конфуций сказал: "Бо-и и Шу-ци не помнили прежнего зла, поэтому и на них мало кто обижался"²⁴. Цзы-ю, один из лучших учеников Конфуция, сказал: "Надоедливость в служении государю приводит к позору. Надоедливость в отношениях с друзьями приводит к тому, что они будут тебя избегать"²⁵. Возможно ли вообразить себе что-то более надоедливое, нежели бесконечное перечисление: "Ты передо мной виноват в том, в том, в том, в том и еще вот в том?.."»

Словом, это была отписка. Обыкновенная бюрократическая отписка. Там, наверху, даже не удосужились как следует осмыслить то, что он предлагал.

А может, их пугала правда. Они предпочитали, чтобы жизнь была основана на лицемерии и лжи.

Остальные обращения Мордехая просто оставались без ответа.

Он начал выступать.

Он писал в газеты. Он требовал и иногда получал время на телевидении – чаще всего в программах, о которых прежде и слыхом не слыхивал, несмотря на их зазывные названия: «А ну-ка, парни», «Илуй²⁶ у вас дома»... Ванюшин вполне отдавал себе отчет в том, что его слушают и вообще терпят только из великого уважения к его радиоактивным заслугам, период полураспада коих еще далеко не истек; то, что люди сразу скучнели, стоило ему сказать свое первое «Э-э...», что через две-три минуты они начинали шушукаться, листать журналы, а то и просто выходили из зала, то, что его слова в газетах переиначивали, сокращали, превращали то в юмор, то в притчу, ранило его – но не останавливало. Он не терял надежды достучаться до людских сердец.

Он старался как мог идти людям навстречу, он развивал свои взгляды. Он отказался от идеи возмещения материальных убытков и физического ущерба. Это, пожалуй, было и впрямь слишком – как теперь подсчитать, сколько стоили вырубленные сады, сожженные столицы, взорванные мосты и дредноуты? А главное и вовсе не поддавалось строго научному анализу – как возместить потери в людях?

Хорошо, пусть так. Ошибочная идея, он готов признать. Но само душев-

²⁴ «Лунь юй». 5:23.

²⁵ Там же. 4:26.

²⁶ *Илуй* (ивр.) – гениальный знаток Талмуда; в переносном значении – вообще выдающийся человек.

ное движение навстречу друг другу, само порывистое глобальное «прости-те за все-все-все» – оставалось неотменяемо. Без него нельзя было обойтись, нельзя было строить общее будущее. Нельзя. Водородная смерть висела над головами.

Несколько раз с Мордехаем пытались поговорить то коллеги, то представители местного раввината, а однажды даже настоятель Иерусалимского храма Конфуция попросил о встрече. И все в один голос, хоть и разными словами пытались уговорить его умерить свой пыл. Наверное, их подсылали власти.

Старый друг, тоже физик, только лазерщик – они знакомы были с детства и учились вместе в Александрии, и не счесть было общих воспоминаний о том, как ожесточенно и чудесно они спорили, чертя формулы прямо на земле или на асфальте у берегов то Яркона, то Нева-хэ, – не сдержавшись, тряся у Мордехая перед носом волосатым суставчатым пальцем, закончил свои увещевания криком: «Благодари Бога, что ты пока всего лишь смешон! Если тебя начнут слушать, ты окажешься страшен!» Мордехай тихо, но твердо велел ему уйти и навсегда отказал от дома.

Постепенно к Ванюшину потеряли интерес. Дескать, мало ли на свете чудачков? Есть и посмешнее... Он сразу ощутил эту перемену. Но оставался непреклонен. Когда он требовал прекратить испытания, его тоже долго не слушали – но он победил. Победит и на этот раз. Просто нельзя отступить.

Семнадцатого элула это произошло. Меньше двух седмиц оставалось до начала изнурительной череды праздников тишрей²⁷ – Рош ха-Шана, Йом-Кипур, потом шутовской Суккот... Сам Мордехай никогда не понимал, зачем их столько и что с ними делать. Праздники только отвлекали. Когда-то давно, когда он был еще не один и было с кем шутить и смеяться, Мордехай, если его спрашивали, где и как он собирается проводить тот или иной праздник, отвечал, смущенно улыбаясь и чуть склонив голову набок, модной в ту пору в стране фразой: «Отмечу его новыми трудовыми победами...» Теперь шутить стало не с кем, но по сути ничего не изменилось. Однако Мордехай с пониманием относился к человеческим слабостям, и его совсем не удивило, что в доме культуры, где он выступал с очередной лекцией, собралось совсем мало слушателей. Уставшие от летней жары и работы люди уже начинали предвкушать долгую веселую суету, даже начинали готовиться помаленьку, и им было не до высоких материй.

Когда он закончил, ведущий, который, к радостному удивлению Мордехая, не заскучал, а слушал внимательно и даже, похоже, сопереживая, спросил:

- Но как вы себе все это представляете?
- Э-э... – ответил Мордехай.

²⁷ *Тишрей* (ивр.) – седьмой месяц еврейского лунного календаря. Он, пожалуй, наиболее обилен на праздники: здесь и Новый год (Рош ха-Шана), и Судный день (Йом-Кипур), и Праздник кушей (Суккот). К сожалению, подробное их описание намного превышает допустимый объем подстрочного комментария.

И в этот момент в третьем ряду слева резко поднялась уже немолодая, скромно и строго одетая женщина с яркими большими глазами («Какая красавица!» – успел потрясенно подумать Мордехай) и чуть хрипло проговорила, смерив ведущего взглядом:

– Простите, но не могу смолчать.

После этого она глядела уже только на Мордехая.

– По-моему, вы делаете большую ошибку. Вы великий ум, но то, что вы предлагаете, обобщенно, как ваша физика. Мы так не можем. Люди вообще, народы вообще, покаяние вообще... Чтобы кто-то что-то почувствовал, вы должны говорить конкретно: кто, в чем, когда. Да, так вы, возможно, наживете себе врагов. Но лишь так у вас и одиночайтели появятся. Люди мыслят и, тем более, чувствуют очень конкретно, Мордехай Фалалеевич... Очень конкретно. Они не могут переживать из-за абстракций. Вы будто какую-то теорию гравитации нам рассказали. Отсюда получаем, следовательно, путем несложных расчетов легко убедиться... И при этом хотите, чтобы сердце у меня сжималось, будто речь идет о моих собственных детях. Так не бывает.

– Представьтеся нам, пожалуйста, – сказал ведущий, обрадованный, что речь уважаемого ученого не пропала втуне и вот-вот, похоже, завяжется сообразное обсуждение. И можно будет отчитаться, что мероприятие прошло успешно...

– Магда, – с привычной небрежностью произнесла женщина. По залу разошелся удивленный шепоток, и головы заколыхались – так расходятся круги по воде. Будто нездешнее имя было камнем, и она легко, играя, как девчонка, кинула его в снулый пруд.

Над Мордехаем открылось небо – и с той стороны рухнул ослепительный свет.

4

В старом Яффо нет ни великих древностей, ни знаменитых святынь – но это один из самых уютных и живописных уголков битком набитого святынями и древностями Иерусалимского улуса. Лет тридцать назад городские власти снесли самые старые и ветхие строения, тихо догнивавшие в течение, пожалуй, века, а то и более – и построили городок художников и поэтов. Здесь почти нет жилых домов – только мастерские, только лавки, только музеи, только кафе и закусочные на любой вкус – закрытые и под тентами на вольном воздухе, обычные, рыбные и вегетарианские, кошерные и некошерные, такие, где можно курить, и такие, где курить ни в коем случае нельзя, такие, где предпочитают европейскую граппу, и такие, где души не чают в простом нашенском эрготоу... Чтобы подчеркнуть особость этого места, узенькие улочки, игривыми змейками вьющиеся меж домами, городские архитекторы решили назвать просто буквами ютайского алфавита – и это, хотя поначалу

озадачило многих, оказалось весело; только пришлось чуть ниже и малость мельче голубых керамических алефов и гимелов на стенах повторить чтение каждой буквы ханьской фонетической азбукой чжуиньцзыму, чтобы не смущать и не обижать тех гостей города, кто не знаком с ивритом.

Для знатоков, коим ведомо, что символизирует у ютаев та или иная буква, путешествия наугад по этому удивительному местечку превратились в род гадания по «И цзину», в игру с судьбой; а люди попримежденней, напротив, споро принялись творить уже новые обычаи и легенды. Например, у молодых выпускников Высших курсов КУБа – Комитета улусной безопасности (в народе работников КУБа звали кубистами, знаки различия на их парадных мундирах – кубарями; а когда кто-либо, уже безотносительно к роду деятельности, ухитрился с блеском решить запутанную и, тем паче, острую ситуацию, проявив и хитроумие, и такт, – про того говорили обычно: в кубистической манере сработал...) – вошло в обыкновение после официального торжества присвоения первого звания фотографироваться и выпивать по рюмке горькой перцовой настойки «Гетьман» на углу улиц Шин и Бет; не всякий старожил мог вспомнить, откуда взялась эта традиция.

А было так: еще в шестьдесят седьмом году прошлого века пятеро недавних курсантов, гуляя по Яффо и пытаясь выветрить из буйных голов хмель торжественного застолья, набрали здесь на картинную лавку, в витрине коей была, как нарочно, выставлена весьма недурная копия написанной на библейский сюжет картины знаменитого ордусского живописца Налбантели «Мордехай предупреждает Артаксеркса о заговоре»²⁸. Картина показалась выпускникам столь подходящей к случаю, что они принялись фотографировать друг друга на ее фоне, а потом, вконец утомившись и не имея ни сил, ни времени бежать до ближайшей винной точки и купить что-либо для подкрепления сил, объяснили ситуацию владельцу картинной лавки. Владелец, пожилой усатый араб, давно уже с добродушной и понимающей улыбкой наблюдавший из дверей за полными задора и, можно сказать, вдохновения действиями новоиспеченных офицеров, по-отечески кивнул и удалился в прохладную глубину. Как на грех, ничего у хозяина, истого и потому непьющего мусульманина, не было, кроме загодя припасенной на случай нежданного прихода друзей из ближайшей станицы бутылки горького «Гетьмана»...

Давно уж продана та картина, давно уже в раю тот араб, а лавкой владеет его третий сын – но обычай жив, и каждый год юные шомеры²⁹ улуса, прослушав положенное количество сообразных торжественной церемонии речей руководства, покупают потом с десятка бутылок «Гетьмана» и с новейшими цифровыми камерами спешат на угол улиц Шин и Бет...

Справа от этого примечательного места улочки, едва не сойдясь в пу-

²⁸ Есф. 1:1. О «Книге Есфири» (Эстер) еще пойдет речь впереди, поэтому здесь переводчики сочли развернутый комментарий неуместным.

²⁹ *Шомер (ивр.)* – страж.

чок, обрываются, выводя на открытое, мощенное крупным булыжником пространство, за которым – уже море. Отсюда открывается великолепный вид. Здесь очень много зелени. Тщательно подстриженная трава всегда густа и свежа, пальмы, миртовые и лавровые деревья пружинисто колеблют свои темные, лакированные кроны – и полным-полно цветов. Это так называемый Абрашечкин садик.

Легенда утверждает, что он назван в честь Аб Рама, первоюта³⁰ Цветущей Средины, одного из лучших учеников великого Конфуция. Вместе с Му Да и Мэн Да он скрасил нелегкие последние годы жизни Учителя, когда тот, потерпев окончательное поражение на поприще чиновной службы, взялся итожить прожитое. Двадцать третья глава «Лунь юя» кратко, но образно описывает, с каким тщанием ухаживал Аб Рам за своим крошечным садиком в Цюйфу и как приветливо принимал он под персиковым деревом своих однокашников. Те, возвращаясь с рисовых полей, каждый вечер проходили мимо, и Аб Рам, ежели только не был погружен в созерцание иероглифа «жэнь» или изучение древних изречений на бамбуковых дщицах настолько, что забывал о времени и о том, что вот-вот у калитки пройдут друзья, обязательно приглашал их выпить бодрящего зеленого чаю после целого дня на жаре – а гости, уходя уже в сумерках, отдавали не имевшему своей земли соученику толику риса или полсвязки вяленого мяса, кланялись и приговаривали: «Спасибо, Абрашечка!»

К сожалению, ни в источниках, ни в легендах ни слова не говорится о том, каким ветром занесло Абрашечку на противоположный край Евразии. Но разве это важно? Важно, что есть сад...

А над самым морем прилепился небольшой уютный ресторанчик «Аладдин». С его нависшей над водной ширью открытой площадки – всего-то в пять столиков – весь новый Яффо как на ладони. Вечерами здесь особенно красиво – благоуханный воздух, голубая бездна небес, ошеломляющий разлет моря, небрежно расчерченного текучими линиями волн, влет озаренные закатным солнцем корпуса здравниц и домов отдыха, привольно раскинувшихся вдоль всего яффского лукоморья... А если взять еще толику сладкого вина!

Здесь они впервые поужинали вместе.

Впоследствии Мордехай никогда не мог вспомнить, о чем они тогда, в «Аладдине», говорили. Это было поразительно: день он помнил, помнил час, помнил едва ли не по минутам, как Магда впервые обратилась к нему, как они вышли из дома культуры, как набрели, беседуя, на прикрытый цветами, словно бы потайной, только для избранных, вход в «Аладдин» – три ступеньки вниз, в прохладный полумрак, потом направо... А вот о чем они

³⁰ В том отрывке 23-й главы «Лунь юя», который взят в качестве эпиграфа к данному тому, так же, как и в самих текстах Х. ван Зайчика, евреи, естественно, называются «ютай». В переводе эпиграфа переводчики позволили себе перевести это слово по смыслу, не оставляя его, против обыкновения, в ордусском варианте, ибо стремились не обременять читателя с первой же страницы повествования сложными лингвистическими комментариями.

проговорили весь вечер – память не сохранила. Наверное, потому, что говорили обо всем сразу – и даже не в темах было дело, и даже не в словах... Просто у Мордехая не было чувства, что он говорит с другим человеком.

Он будто говорил с самим собой.

Только с более умным... нет, не так. Не выше или ниже, не более или менее... Просто словно бы в его собственном мозгу – или душе – открылся некий совершенно иной, новый регистр, открылась огромная неизведанная область, полная света, и отчетливо стали видны таившиеся в ней до поры до времени миры. Это был он сам, именно он... Это была часть его самого, которой ему недоставало всю жизнь и которую он наконец случайно нашел. У него открылись глаза. Это были его собственные глаза – но еще утром они были закрыты, а теперь открылись. С ним уже случилось такое однажды, когда он увидел обожженного ястреба в степи.

Магда говорила ему то, что он преступно не сумел и не успел сказать сам.

Он, пожилой кабинетный тяжелодум, еще только рот открывал, пытаясь найти точные и понятные слова, – а она уже говорила их. Точнее, понятней, резче...

Она очень много курила, и он, всегда ненавидевший этот маленький, но вредный порок, с изумлением понял вдруг, что ему нравится запах табачного дыма.

Вечером он записал в дневнике, который от случая к случаю вел: «Это удивительная женщина. Как точно и ясно она мыслит! Как верно ухватывает главное, изначальное, с чего только и можно приступить к делу все-ррез, не на словах, а конкретно. Я восхищаюсь ею. Столько перенести – и сохранить ясность ума, горячность чувств, обостренное представление о справедливости и несправедливости...

Я люблю ее. Я хочу, чтобы она стала моей женой».

5

Магда очень хорошо помнила, как отец пришел домой в новой форме. Наверное, это было первое достоверное ее воспоминание. Ей было года три с половиной. Позже, размышляя, она решила, что это и впрямь случилось тогда впервые – потому и запомнилось так отчетливо. Если бы он пришел в форме накануне, Магда запомнила бы вечер накануне... Позже она поняла, что, наверное, отец каждый вечер, и до того, и после, как бы поздно ни возвращался, заходил к ней и желал спокойной ночи – и она, как бы ни хотелось спать, всегда старалась его дожидаться... Наверное, в этот раз отец пришел позже обычного: она помнила, что видела его как бы сквозь туман, как бы уже заснув наполовину. Наверное, в доме уже много дней волновались, судили и рядили о происходящем, иначе она не боялась бы так и не старалась дожидаться отца во что бы ни стало – но этих волнений память Магды не удержала. Ее жизнь, если мерить воспоминаниями, нача-

лась именно в тот вечер, когда отец – большой, усталый, пахнувший чем-то новым и тревожным, в пыльном шлеме, черном блестящем плаще, со свастикой на рукаве поднялся к ней и, как всегда, поцеловал в щеку.

А она, как всегда, села в своей кроватке, обняла его за шею обеими руками и прижалась щекой к щеке. Ей нравилось чувствовать, какой он к вечеру становится колючий. Мама гладкая, а папа колючий. Поэтому папа сильнее и может все.

– А что это у тебя? – пролепетала она, едва в состоянии говорить: так наваливалась дрема.

– Что? – спросил он.

Вместо ответа она лишь тронула широкую повязку на его скрипучем, черной кожи предплечье – на повязке странно и как-то неласково растопыривал четыре черные гнутые лапы непонятный крест.

Отец, словно не зная, что у него на руке, скосил глаза вниз, присмотрелся и ответил не сразу.

– Это знак моей новой работы, – объяснил он потом.

– А какая у тебя новая работа? – спросила Магда.

– Видишь ли, Магда... – сказал отец негромко. – На свете очень много плохих людей. Если бы их не было, хорошим людям никто не мешал бы быть хорошими. Не было бы ни богатых, ни бедных, ни угнетенных, ни угнетателей, ни обиженных, ни обидчиков... Все были бы счастливы. Но плохие люди иногда очень упрямы. Их нельзя ни уговорить, ни убедить, ни перевоспитать... Чистый и добрый мир – это мир без плохих людей. Я буду стараться сделать мир чистым.

– А куда денутся плохие люди? – спросила она. Даже сонная, она не могла не удивиться. Люди такие разные, и отделить одних от других так трудно... Ей представилась громадная, уходящая за горизонт толпа и папа на трибуне под красным флагом, посреди которого – черный крест с крючками, точь-в-точь как на его повязке; и он в громкоговоритель кричит тем, кто внизу: «Хорошие – налево, плохие – направо!» И толпа, рокоча, начинает превращаться из бессмысленного хаоса голов в две стройные шеренги; хорошие счастливы, улыбаются, целуются, потому что у них впереди счастье – а плохие только злятся, ведь их туда не возьмут.

– Вот я как раз и занимаюсь тем, чтобы они куда-нибудь делись и уже никогда не могли бы мешать хорошим.

Движимая безотчетной детской тревогой, она прижалась к нему плотнее.

– А ты – хороший? Ты куда не денешься?

Он почему-то не ответил.

– Ты хороший? – настойчиво и громко, почти испуганно спросила она. Спать ей уже совсем не хотелось. – Скажи, ты правда хороший?

Он молчал.

– Ты лучше всех, – убежденно сказала она, отстранившись и глядя ладошкой его щетинистую щеку, но на глаза у нее почему-то навернулись слезы. – Ты лучше всех...

«Евреи, сербы и прочие расово чуждые элементы (список прилагается – см. Приложение № 1 на стр. 14–37 настоящего циркуляра), а также умственно неполноценные, инвалиды, старики, инакомыслящие, лица без определенного места жительства, лица со среднемесячным доходом менее 35 условных рейхсмарок и прочие социально не представляющие интереса группы (список прилагается – см. Приложение № 2 на стр. 38–55 настоящего циркуляра) являются историческим и социальным анахронизмом и не вымерли до сих пор лишь вследствие ряда нелепых случайностей и патологического упорства. Реакционные неполноценные этносы и общественные группы тормозят мирное поступательное движение к торжеству истинных ценностей, строительству новой Европы и глобальному объединению. Это положение должно быть исправлено. Поэтому приказываю:

1. В качестве первостепенной неотложной меры должно быть применено полное и поголовное лишение представителей указанных элементов и групп всего комплекса юридических прав, таких, как право на собственность, право на медицинскую помощь, право на социальное страхование, право на помощь по бедности и по старости и пр. При возникновении спорных правовых ситуаций между полноценными и неполноценными индивидуумами следует исходить из того, что представители групп, перечисленных в указанных Приложениях, существуя де-факто, с точки зрения прогресса не существуют и поэтому могут считаться физически отсутствующими.

2. В ближайшем будущем представляется необходимым применение в качестве промежуточной меры полной и поголовной депортации указанных групп в специально организованные лагеря исправительно-трудовой переподготовки. Ученых следует направлять на сбор картофеля и корнеплодов, так называемых людей искусства – на мелкотоварную штучную торговлю (в ларьках, с лотков и пр. – в ножных кандалах, в общественном транспорте – под конвоем) и так далее (список оптимизационного перепрофилирования см. Приложение № 3 на стр. 56–87). Те представители реакционных групп, которые на деле продемонстрируют свою способность приспособиться к новым условиям, в течение переходного периода объективно смогут, таким образом, приносить некоторую пользу обществу. Однако обязательной стерилизации они должны подвергаться вне зависимости от успешности или неуспешности трудового перевоспитания.

3. Остальные должны быть полностью и по возможности быстро уничтожены с применением всех технических средств, имеющихся в распоряжении соответствующих учреждений...»

Из архива рейхсканцелярии

«Мой отец был кристально честным и чистым человеком и хотел Германии, да и вообще всем людям, только добра. Пытаясь осмыслить теперь его удивительную и трагическую судьбу, я отчетливо вижу, что в той ситуации, в какой оказалась его родная и любимая страна, вы, я полагаю, прекрасно понимаете, что я имею в виду: идейный разброд, тупость кайзера, косность руководства, спад экономики, утрата нравственных ориентиров – он просто не нашел для себя иного выхода, не нашел иного способа попытаться спасти то, что так горячо любил...»

После провозглашения нового порядка он сделал, как вы, возможно, знаете, очень много для его установления в Германском Камеруне; с балкона здания комиссариата в Банги он объявил новую власть, отправил в Берлин телеграмму об этом и в течение довольно долгого времени противостоял анархии исключительно местными силами, без помощи центра. В конце концов ему удалось установить мир в стране. После этого он был вызван в Берлин и назначен на работу в центральном аппарате правительства. Какое-то время он даже возглавлял отдел связей с зарубежными партайгеноссе. Но вскоре, к сожалению, в высших эшелонах власти возобладали иные силы, и мой отец был незаконно репрессирован в так называемую "ночь длинных ножей" тридцать седьмого года. Его взяли прямо в его рабочем кабинете...

После этого для нас настали тяжелые дни. Правда, нас с мамой не трогали, но мы были уверены, что это лишь вопрос времени. И, тем не менее, мы находили в себе силы думать о других. Отмечу лишь один эпизод, он важен для дальнейшего. Неподалеку от нас, через улицу, жила еврейская семья Гольдштейнов, и с Соней Гольдштейн мы очень дружили. Она была всего на полтора года старше меня. Гольдштейны уже ждали эвакуации, уже оформили все документы, и, когда до отъезда оставались буквально сутки, к ним приехали. Так в последний год часто делалось. Потом, как вы знаете, правительство рейха вообще надолго закрыло границы... Я спрятала Соню у себя. Наверное, я еще не очень понимала, насколько рискую, хотя прекрасно помню, как мне было страшно. Вам, молодым, теперь даже не представить себе этот страх... Но нам повезло, работникам зондеркоманды не пришлось в голову вломиться к нам. А назавтра, когда явились представители ордусской миссии и Красного Креста, Соня в слезах закричала, что без меня не уедет. Ее долго пытались успокоить и образумить, но безуспешно. Кроме того, представители эвакуационного ведомства понимали, что теперь нам действительно несдобровать – факт того, что я спрятала еврейку, перестал быть секретом. Они каким-то чудом сумели в считанные часы оформить задним числом документы – так я и мама оказались в кильском порту на «Аркадии», а вскоре – в Яффо. Иерусалимский улус Ордуси стал мне новой родиной...»

Из автобиографического эссе Магды Ванюшиной-Гутлюфт «Мелкие события крупной жизни»

Почему-то сразу можно было угадать, что это дом одинокой женщины. Все было вычищено, протерто, поставлено и уложено, как надлежит, но в воздухе, что ли, угадывалось некое запустение, или угадывалась тоска в ясных, выпуклых глазах хозяйки... Даже озорная записка, прилепленная на двери холодильника, совсем не выглядела теперь озорной, не веселила – напротив, от нее делалось сухо во рту и палило в уголках глаз, будто там вскипали исчезающе малые капельки кислоты.

«Как я рада, как я рад, что опять настал шабат...»

Соня перехватила взгляд Магды и улыбнулась. Улыбка получилась жалкой.

– Это Мотя написал... – объяснила она. – Перед самой той субботой... А субботы уже не увидел... – помолчала. Опять улыбнулась. – А я не снимаю. Не могу. Наверное, так теперь и будет висеть всегда. Проходи, Магда, проходи... Да не в кухню же! Не на кухне же совершать хавдалу...³¹

– Врачи подтвердили?

Соня кивнула.

– Инсульт? – упрямо уточнила Магда. Она сама не знала, почему спрашивает так настойчиво.

– Да, – сказала Соня. Она неловко встала посреди комнаты, в двух шагах от уже подготовленного к церемонии стола с витыми свечами, с кувшином вина, изящной ореховой коробочкой с бсамим...³² Будто забыла, что и зачем должна делать. – Вот так вдруг... Все смеялся, подтрунивал. Ох, старый я стал, ох, устал что-то, надо выспаться наконец, ничего, в отпуске отдохнем...

Голос у нее задрожал, и она умолкла.

– Все, Сонечка, все, – ласково проговорила Магда и положила руку ей на плечо. А что еще она могла сделать?

Соня будто очнулась. Встряхнула головой. У нее все еще были великолепные волосы – тяжелые, громадные... Только седые.

– Садись, – сказала она.

Магда присела к столу.

– Сонь, а Сонь, – сказала она нерешительно. – А это удобно?

– Что?

– Ну... – Магда, не зная, как сказать, обвела стол взглядом. – Я у тебя тыщу раз в доме была – но вот так... Я ж не... Разве у вас это не запрещено?

– А! – Соня с облегчением рассмеялась. – В том смысле, что ты не ис-

³¹ *Хавдала* (ивр.; авдала, гавдала; этот термин можно перевести как «отделение от субботы», «расставание с субботой») – вечерний субботний ритуал, фиксирующий окончание субботы и наступление будней. Включает благословение вина, благовоний и огня (обычно при этом зажигаются особые свечи, например, сплетенные из трех).

³² *Бсамим* (ивр.) – благовония, используемые при обряде расставания с субботой.

поведуешь иудаизм? Не бери в голову. Все можно, если по-хорошему... – она села напротив Магды. – Честно говоря, вчера я первый раз в жизни встречала шабат в одиночестве, и... Ох, нет! Все в порядке. Давай как бы просто выпьем немножко, поболтаем...

– Сеанс связи был? Сыну ты сказала?

– Что я, рехнулась? – искренне удивилась Соня. – Он два года готовился... Чтобы я ему испортила все?

– Он тебе потом...

– Потом мне будет плохо – но это ведь потом, – пропела Соня задорно, почти залихватски. Оставалось только свистнуть в два пальца – и была бы маленькая разбойница из сказки про Снежную королеву.

Только седая.

– Мне будет плохо, но ему – хорошо.

– Сонь, а Сонь... Прости, но раз уж разговор зашел. Я никогда не могла понять... А он там что, и на орбите цицит³³ носит и блюдет галахические³⁴ предписания?

Соня усмехнулась.

– Понятия не имею. Мы никогда совсем уж ортодоксами не были, так что маневр всегда возможен... ну, а ребята на «Мире» все очень славные подобрались. Если что, пойдут друг другу навстречу. В конце концов, икону туда уж давным-давно забросили.

– Ну, сравнила! Я представляю, как все это ваше хозяйство выглядит в невесомости... Слушай, а еда из тюбика?

– Да хватит тебе! – засмеялась Соня и замахала на подругу обеими руками. – Мальчики в экипаже взрослые, сами разберутся... Скажи лучше – как твой?

– Ну! – у Магды сразу сменился тон. Теперь в нем зазвучали удовлетворение и гордость. – Живет пока по-прежнему у Греты... Это двоюродная тетка, помнишь? Скоро, наверное, сможет снять квартиру... Он у Круппа на самом лучшем счету!

Какая-то тень пробежала по лицу Сони, но – мимолетно. Может, тень эта Магде просто померещилась, вроде бы не с чего было Соне так реагировать

³³ *Цицит (ивр.)* – кисти, нашитые на четыре угла малого талита (четырёхугольного полотнища с отверстием для головы), который носится под верхней одеждой ортодоксальными евреями. Смысл такого ношения, судя по источникам, один-единственный: постоянно (или, во всяком случае, пока светло и кисти видны) напоминать еврею, что он еврей и какие в связи с этим несет обязательства. «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их... и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их... чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы пред Богом вашим» (Чис. 15:37–40).

³⁴ *Галаха* – нормативная часть иудаизма, регламентирующая религиозную, семейную и гражданскую жизнь.

на ее слова. Конечно, померещилась; Соня снова заулыбалась и подперла щеку кулачком, заинтересованно слушая, неотрывно глядя на подругу.

– Каждый день то звонит, то электронные письма катает... Ему там нравится.

– Чем?

– Ну... Всем. Свободней как-то. Здесь, честно говоря, порой достают: то не соответствует поведению благородного мужа, это не соответствует поведению благородного мужа... Сяо³⁵, бу сяо...³⁶ Вот уж воистину: автократия воспитывает себе подданных, демократия дает своим гражданам жить, как им нравится! Там на благородных и мелких не делят, там всякий человек уважаем и хорош...

– Невоспитанным людям порой хочется ужасного... – задумчиво произнесла Соня.

– Ой, оставь! Помнишь «Лису и виноград»? Как там Эзоп говорит... Любой человек созрел для свободы!

– Вечно ты фрондируешь! Правдолюбца наша!

– Помирать буду – не изменюсь... Ни вот настолечко! Курить у тебя можно?

Соня на миг запнулась.

– Тебе все можно, только... подожди еще немножко, пожалуйста. Вот когда я свечу зажгу, произойдет отделение... А сейчас еще нельзя зажигать огонь.

– Ах, миль пардон! – Магда вскинула обе ладони вверх, как бы сдаваясь. – Забыла, забыла! Совсем на старости лет головой стала слаба...

И обе засмеялись.

– Знаешь, – сказала потом Соня, – сейчас твои жалобы на возраст слышать особенно смешно. Ты помолодела.

– Правда? – переспросила Магда, но в голосе ее снова отчетливо проскользнуло довольство и – никакой вопросительности. Она не сомневалась в том, что так и есть.

– Правда, – бескорыстно сказала Соня. – Лет пять сбросила... У вас с Мордехаем все так хорошо?

Магда не сразу ответила. Лицо ее засветилось. Даром, что еще нельзя было зажигать свет. С этим светом не поспоришь – зажигается, когда хочет. «Наверное, – подумала Соня, – это и есть чудо явленного света»³⁷.

– Я даже не представляла, что так бывает, Соня... – тихо сказала Магда. – Это... это такое счастье... Когда казалось, что жизнь уже пошла на спад... –

³⁵ Сяо (孝) – сыновняя почтительность. Одна из основных добродетелей конфуцианства.

³⁶ Бу сяо (不孝) – сыновняя непочтительность. В традиционном китайском праве – не только вопиюще незтичное поведение, но и уголовное преступление, причем из ряда самых серьезных; в списке Десяти зол (то есть наиболее тяжких человеконарушений), в начале которого фигурировали такие деяния, как государственная измена, мятеж, покушение на особу императора и члены его семьи, сыновняя непочтительность стояла на седьмом месте.

³⁷ Когда в ходе освободительного восстания против Селевкидов (восстание Маккавеев) был отвоеван Иерусалим (165 г. до н. э.) и впервые после многих лет принесены жертвы в очищенном

помолчала. Ей стало неловко, что она дала волю чувствам, да еще – таким чувствам, да еще наедине с подругой, которая совсем недавно потеряла мужа. – Ничего! – торопливо попыталась Магда ее утешить. – Может, ты тоже скоро замуж выйдешь!

Получилось еще более неловко.

Они помолчали. Молчание вышло неуклюжим. Вдруг стало не о чем говорить.

Соня посмотрела на часы.

– Можно, – тихо сказала она, и голос ее дрогнул. Магда смотрела на нее удивленно. Она не могла понять этого вдруг невесть откуда взявшегося детского благоговения, оно казалось ей наигранным. Но – нет. И потому было еще непонятнее.

И на лица подруг упал дрожащий свет свечи.

Губы Сони неторопливо шевелились, и Магда отчетливо слышала ее спокойный, почти шепчущий голос – но шепчущий не от робости, а, похоже, просто от какого-то странного уважения непонятно к чему, наверное – ко всему, что кругом, и в первую очередь к самим словам, которые она произносила; ее словно переполняла тысячелетняя уверенность в том, что эти слова будут услышаны, как бы тихо ни звучали...

– Хине Эль йешуати эвтах...

Только что они говорили с Соней как ни в чем не бывало, на том же самом языке – но теперь эти первобытные заклинания звучали, словно с Марса. Магде пришлось мимолетно напрячься, чтобы напомнить себе: я знаю все эти слова, я их понимаю, я их понимаю уже много десятилетий...

– Вот он, Бог, Спаситель мой; спокоен я и не страшусь, ибо Бог – сила моя...

«Как им не надоедает каждую седмицу бубнить одно и то же, – подумала Магда, стараясь, чтобы не обидеть подругу, сохранять невозмутимую, отрешенную серьезность. И, отведя взгляд от двойного блеска крохотных свечей, мерцавшего в стрекозиных глазах Сони, тоже уставилась на маленький фонтан огня, торчащий над витой субботней свечою плотно и веско, как раскаленный оловянный солдатик. И принялась вить про себя свою собственную молитву: – Вот он, муж, спасенный мною спаситель мой...»

– Царь Вселенной, счастлив тот, кто уверовал в Тебя...

«Спокойна я и не страшусь, ибо счастливы мы, уверовавшие в себя и друг в друга...»

– Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, который творит всевозможные благоволия...

после осквернения Храме, праздник по этому поводу длился восемь дней. Неоскверненного масла для храмовых светильников удалось найти лишь на один день – однако Господь явил чудо, и светильники горели все восемь дней. Это и называется чудом явленного света. День очищения Храма и возобновления жертвоприношений до сих пор отмечается праздником Хануки (празднуется 25 кислева – т. е. в первой декаде декабря).

С нездешней величавостью, которой Магда никогда не замечала в подруге, та протянула ей коробочку с бсамим. Тихонько сказала:

– Понюхай...

Магда послушно понюхала. С трудом удержалась, чтобы не пожать плечами. Вернула коробочку Соне. Пахло корицей. Точно они пироги печь собрались.

Соня медленно протянула руку к пламени. Рука засветилась, стала полупрозрачной, нечеловеческой, словно из розового и алого воска.

– Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Который отделяет святое время от остальной седмицы, свет от тьмы, Израиль от других народов, день седьмой от шести дней трудов...

Соня глазами сделала Магде знак: надо пить вино. И сама взяла свой бокал. Магда, поколебавшись, последовала ее примеру – хотя последние слова ее заделали и ни малейшего желания пить за это у нее не было. Ни малейшего. Она заставила себя пригубить.

Соня выпила свой бокал несколькими глотками подряд почти до дна; остаток вылила в блюдце и в нем погасила свечу. Провела кончиками пальцев поперек рубиновых капель, дрожавших на дне блюдца, а потом легко коснулась влажными пальцами глаз, ушей и ноздрей.

Глубоко вздохнула.

– Ну, вот, – сказала она обычным голосом, и снова ее слова звучали, как обычные человеческие слова, значащие ровно то, что они значат, не больше и не меньше. – Все. Красиво, правда? Я прямо обновляюсь, когда это происходит – будто в живой воде искупалась... Теперь кури, пожалуйста. Сколько душе твоей угодно.

– Не хочу, – сухо сказала Магда.

– Ну и правильно, – обрадованно ответила Соня. – Чем меньше – тем лучше...

Она ничего не заметила и ничего не почувствовала.

– Слушай, Сонь, – сказала Магда. – Вот мы знаем друг друга столько лет, сколько и люди-то не живут...

«Опять я ляпнула, – поняла она с раскаянием, запоздавшим на какой-то мизерный, но невозвратимый миг. – Нельзя так в доме, где совсем недавно умер человек...» Но было поздно, и оставалось лишь сделать вид, что все так и надо, и договорить то, что она уже не могла не сказать. Получив плевков в лицо, плевков столь внезапный и столь незаслуженный, трудно сохранить безупречное чувство такта.

– Ты сама меня позвала в гости. Одиночество, я понимаю. Я сочувствую. И вот ты тут же, при мне, прямо мне в глаза заявляешь: другие народы – это, мол, тьма, а Израиль – это свет... Как так получается?

Несколько невыносимо долгих мгновений Соня смотрела на подругу, не понимая.

– Когда я это сказала? – ошеломленно выговорила она потом.

– Ты даже не соображаешь? – повысила голос Магда. Наивное непони-

мание Сони ее оскорбило больше, нежели хамская молитва. – Ты невменяемая, что ли? Не отвечаешь за собственные слова? Свет от тьмы, Израиль от других народов!

Соня захлопала глазами.

– Магдонька, но это же молитва... ей тысячи лет...

– Тем более! Пора бы уже образумиться, времени на это было отпущено достаточно!

Соня взяла себя в руки, и теперь ее голос тоже зазвучал сухо и отчужденно.

– Знаешь, Магда, лучше бы не делать друг другу замечаний. В конце концов, мы все совершаем массу бестактностей. Ты, может быть, думаешь, мне приятно слышать, что твой сын, которого я вот таким помню, на коленке его качала, и мы играли и в мячик, и в шахматы, и... – у нее пережало горло негодованием. Она сердито мотнула головой и прервала перечисление. – Может, ты думаешь, мне приятно слышать, что он предпочел нашей стране эту адскую Германию?

– Наша родина – не адская! – почти выкрикнула Магда. – Просто очень несчастная... Просто ей очень не повезло в двадцатом веке! Но это не повод...

– Может, ты думаешь, мне приятно смотреть и слушать, с каким восторгом и с какой гордостью ты рассказываешь, что он работает на Круппа? – неумолимо продолжала Соня. – Может, ты забыла, что этот концерн был одним из главных спонсоров наци?

Магда судорожно распрямилась на стуле, словно спину ее неожиданно ожгли бичом, просекшим плоть до костей.

– Ты прекрасно знаешь, – начала она подчеркнуто медленно и спокойно, и только голос ее kloкотал перегретой, грозящей вот-вот лопнуть яростью, – что, после того как сдох усатый, в стране несколько десятилетий шла демократизация. Сейчас это нормальная страна, получше многих! И вообще все это не имеет отношения к делу. Скажи, неужели это правда? Что вы все с двойным дном? Я этого не могу понять! Мы же вместе столько прошли... Еще с детства! В детстве! Ладно, пусть фанатики-ортодоксы бормочут эту гадость – но ты! Значит, это правда? Ходишь рядом с вами, дружишь, любишь... И все вроде хорошо. А на самом деле вы смотрите на всех, как на быдло, что ли? Все, мол, кроме нас – хлам, только не надо этого афишировать... С остальными вы одни, а между собой – совсем другие? Так?

На лице Сони высочили алые нервные пятна.

– Магда, да ты...

– Нет, это ты! – повысила голос Магда. – Не надо говорить мне про меня. Скажи мне про себя. Я задала конкретный вопрос. Я считаю, что это и есть нацизм. Ответ. Ответ мне, Соня!

Соня помолчала, видимо, пытаясь совладать с гневом. Криво усмехнулась.

– Интересно, – сказала она надтреснутым голосом. – Вот уж правду говорят на твоей такой бедной и несчастной-разнесчастной родине... Яблочко от яблоньки...

У Магды по-мужски вспучились желваки. Она резко встала.

– Как ты смеешь! Мой отец был замечательным человеком! Светлым, чистым... К сожалению, слишком доверчивым. Да, он в чем-то ошибался, но...

– Он был нацистом, Магда! И ему просто повезло, что его ликвидировали вовремя...

– Как ты добра!

– Да-да, повезло! Он не успел сполна поучаствовать во всех играх, что развернулись чуть позже! А как он устанавливал новый порядок в Камеруне? Ты что, даже теперь не знаешь, как тогда устанавливали новый порядок?

– Тебе хорошо говорить, подруга! Вы ловко устроились, с вами носят, как с писаной торбой! А то, что таких, как мой отец, тоже надо было спасать – это никому и в голову не пришло! Наоборот, только ладошки потирали радостно: ага, передрались пауки в банке! Хотя бы, мол, все сожрали друг друга...

– От кого спасать? Куда спасать? Они сами все это придумали! И они были у себя дома!

– А вы, значит, не дома? Родились там, учились там – но все равно это вам был не дом?

– Да такие, как твой отец, нас в печи гнали! В лагеря!

– Ты помнишь, как звали человека, который придумал лагеря переподготовки? Розенберман! Очень немецкая фамилия, правда?

– Ты соображаешь, что говоришь?!

– А что? Нам нельзя говорить то, что было на самом деле, только вам можно?!

– Магда!!

– Соня!!

9

– Что с тобой, Магдуся? – потрясенно выговорил он. – Что случилось? На тебе лица нет!

Боясь переступить порог собственного дома, она остановилась поодаль от мужа и пытливо всматривалась в него, не подходя. Он протянул было руки, чтобы, наверное, обнять, наверное, привлечь к себе – она молча отшатнулась, не опуская простреливающего навывлет взгляда. Ее трясло.

– Ты тоже? – надтреснуто спросила она. – В тебе это тоже сидит?

– Что? – непонимающе спросил он.

Она молчала.

Нет. Нет. Она ощутила это каким-то шестым чувством. Эти глаза... Эта голова речечкой... Нет. Не может быть. Быть не может.

И тогда слезы, что всухую, впустую ядовито кипели у нее где-то внутри глаз всю дорогу, брызнули наружу. Она уткнулась Мордехаю в грудь.

– Она... она...

Это все, что она могла выговорить.

Так ей казалось.

Она даже не заметила, что сказала куда больше. Она даже не сразу сообразила, о чем он вдруг закричал, как раненый: «Да как ты могла подумать обо мне так! Заподозрить такое! Да разве я... Да я ни сном, ни духом...» Она даже успела удивиться, когда поняла, что в соседней комнате стрекочет диском телефон, что муж куда-то звонит, пока она, присев на самый краешек дивана, словно уже чужая здесь, доплакивает свои сегодняшние слезы – может быть, последние слезы в жизни, потому что после такого плакать уже нельзя. Не о ком. Не по чему.

– Я запрещаю вам видеться с моей женой! – кричал он надтреснутым фальцетом в телефонную трубку. – Как вы могли! У нее же большое сердце! Я не желаю больше видеть вас в нашем доме! Я вас на порог больше не пущу!!

Она слушала, уже не всхлипывая, боясь дышать, и понять не могла, легче ей становится – или во сто крат тяжелее.

БОГДАН ОУЯНЦЕВ-СЮ

Ханбалык, шестерица, вечер

Это была третья поездка Богдана в столицу империи – и самая неприятельная с виду, самая неофициальная.

И впервые без Бага.

Когда бываешь где-нибудь часто и обыденно, впечатления стушевываются, и сколь бы ни был причудлив тот мир, что, вырвавшись из повседневной круговерти, ты навестил, он скоро становится частью этой же самой круговерти и не ощущается уж ни новым, ни чудесным. Так, наверное, раньше или позже перестают чувствовать завзятые искатели впечатлений; хоть ты им Лхасу покажи, и беспреречно чтоб далай-лама ручкой помахал из окошка Поталы, хоть знаменитую колымскую зону отдыха с теплыми купальнями под открытым небом и клонированными мамонтами, беруши-ми корм с руки, – они лишь: далай-лама лысоват³⁸, мамонт хлипковат и вообще суп недосолен... Праздники должны быть редкими. Древние это хорошо понимали.

Ханбалык – редкий праздник.

Воздухолет мягко и величаво скатывался с заоблачных высей – точно с долгой горы аккуратный пожилой лыжник, не показателей алчущий, но здоровья да радости; а тем временем – отринув и наушники с восьмью разнообразными музыками и развлекательную сериальную фильму, над кото-

³⁸ Утонченная ирония Х. ван Зайчика заключается здесь, как видится переводчикам, в том, что буддийские священнослужители всегда, в обязательном порядке, бреют головы наголо...

рой уж третий час впокатушку хохотал, сотрясая кресла, сосед по перелету, – Богдан сидел и, казалось, скучал; а на самом деле вспоминал. Вспоминал и первый свой прилет сюда, столь успешно завершившийся вразумлением наследника, – как недавно это было и как давно... Не оборотами Земли вокруг солнышка меряется жизнь, а личными культурными, как говорят древнезнатцы, слоями: заглянешь в свой душевный палеолит, а там ты сам и бродишь, вроде тот же, что ныне, но по сути – питекантроп невразумленный; зато, правда, темпераментный – потому что дикий... И второй прилет, совсем уж церемониальный – когда после ухода Раби Нилыча на пенсию Богдан сменил бывшего начальника на его высоком посту и по древнему обычаю обязан был в числе прочих государственных служащих, удостоенных в текущем году назначений на должности третьего ранга или выше, участвовать в торжественной церемонии представления императору.

Вспоминать собственное прошлое – тоже праздник, и тоже, по причине вечной нехватки досуга, довольно редкий. Станный праздник – немного печальный, но как бы омывающий душу живой водою... Так, поднимаясь над сиюминутной суетой, напоминаешь себе, что ты не однодневка, запутавшаяся в нескончаемом торопливом сегодня; что ты можешь меняться, что у тебя есть прошлое – а, стало быть, и будущее.

На сей раз Богдана никто во дворцах не ждал, и от воздухолетного вокзала Шоуду до города Богдан добирался на повозке такси, как обычный путешественник. И остановился он не в гостинице, а в скромном и тихом странноприимном доме православной духовной миссии, затерянном посреди обширного, наполненного куполами церковей парка, продутого насквозь в это суровое время года сухими и пыльными ветрами. Молчаливый послушник, встретивший Богдана у врат по велению начальника миссии, архиепископа Памфила, с коим минфа снесся еще из Александрии, проводил его по извилистым дорожкам парка, показал келью; скромные свои дорожные пожитки Богдан нес сам, не позволив послушнику перехватить у него невеликий груз.

В Ханбалыке было около восьми вечера, когда минфа, наскоро приняв с дороги душ и переодевшись, отправился на молчаливое свидание с великим городом.

Долгой прогулки он уже не мог себе позволить. Но не посетить площадь Небесного Спокойствия перед обителью императоров тоже было нельзя. Никак.

Долго Богдан стоял на ветру перед главными вратами Ордуси. Ветер сек лицо. На огромной площади было много людей – в основном туристов, конечно. Напряженно прямая стена, алая, словно плоть на просвет, перегородила ночь и единым длинным взмахом расчленила миры – темнота обыденности здесь, яркий свет одинокой мощи там. И летящие по ветру флаги: государственный и всех улусов... Полотнища равномерно, неумоимо хлопали – точно без конца аплодировали чему-то или отбивали неведомый ритм. И белые каменные львы, смотревшие на всех прохожих одинаково, без радости и без вражды, без интереса и даже без равнодушия, лишь чуть-чуть

свысока... так смотрит само время. Что ты чувствуешь, то и оно чувствует. Время равнодушно, только если ты сам мертв.

А люди, обычные люди, не задумываясь обо всех этих высших материях, гомонили, хохотали, перекидывались густыми вспышками фотоаппаратов, принимали позы и надевали улыбки, в обнимку кучковались подле львов или на широком, посыпанном низкими резными столбиками мосту, у темно-красных врат с полосами ярко-золотых, в хорошую чашку величинной заклепок... Глубоко засунув руки в карманы дохи, Богдан прошелся не торопясь вдоль стены – от угла до угла. Какие там прожектора, что вы – красный кирпич стены точно светился сам, из глубины. Долгий прямоугольный костер. Огненная плотина между вселенными. Шлюз.

Идеалы – суровые наставники. Без них жизнь пуста и ничего не значит; в сущности, она мало чем отличается от жизни, скажем, улитки в ее витом домике. На равных ты начинаешь говорить с небом, лишь когда пытаешься найти для своей жизни некий высший смысл – потому что именно это пытаются сделать для всех нас небо; только когда ты отвечаешь ему тем же, вам есть что сказать друг другу. Ты будто представителем человечества делаешься – ну-ка, мол, скажи, коль тебе нейдет: а как люди представляют себе свой смысл сами? Чего они сами от себя хотят? И если ты и небо сумеете понять друг друга и сойтись на чем-то таком, чего и небо от людей хочет, и ты хочешь от себя, найденный тобою личный смысл, пусть и неизбежно упрощенный, станет общим для многих на какое-то время. Может быть – навсегда.

Ведь если не предлагать людям смысла – им, при всех их умениях и навыках, некуда станет жить. Умения станут ненужными, навыки – лишними, потому как что ими делать, если цели нет?

Но зато может прийти час, когда идеалы спросят: а чем ты готов пожертвовать ради нас?

И тогда остаешься один-одинешенек: бесконечная тьма и тяжелая красная стена выбора – останешься здесь, со всеми? шагнешь на ту сторону? И ты, крохотный невесомый пузырек...

Задумавшись, Богдан едва не опоздал в подземку. Пришлось ускорить шаги, а потом на всякий случай – даже пуститься бегом. Минфа, то и дело поправляя норовившие спрыгнуть с носа очки, громко потрусил по пустому подземному переходу – и, обогнув угол, топоча и задыхаясь, выбежал к дверям. У дверей общественного объекта, как это водится в Цветущей Средине, стоял по стойке «смирно» одинокий вэйбин. На Богдана он даже не косил глаз – был при исполнении; Богдан мог бы поклясться, что вэйбин не успел бы вытянуться, завидев его или хотя бы слышав его топот. А кроме Богдана, в переходе не было ни души.

Вэйбин в ночном переходе гордо стоял по стойке «смирно» только для самого себя и своей совести.

Несясь в мягко рокошущем вагоне и слушая доброжелательный женский голос, объявлявший остановки и призывавший драгоценных преждедрожденных

не забывать в вагонах свои яшмовые вещи, Богдан все размышлял об этом. За темным стеклом дверей летели, тяжело вскидываясь и тут же падая вновь, переплетения кабелей, время от времени плескали в глаза светом огня...

Умение испытывать высокое чувство выполненного долга, просто стоя в одиночестве по стойке «смирно», умение гордиться этим – дорогого стоит.

Может, этим-то и объясняется удивительный дар Цветущей Средины меняться, оставаясь при том собою? Идти в ногу с веком – и все же сохранять поражающее своеобразие? Обновлять способы, оставляя в неприкосновенности главные, сокровенные смыслы? Но лишь поэтому она и стала сердцевинной колоссальной страны; будь иначе – и главным наречием империи вполне мог бы оказаться не ханьский... Ведь для надежной основы умение хранить великое постоянство, не клубясь бесформенно из-за нескончаемых изменений, не суетясь с обстоятельным и порою даже грозным видом, не сжигая вечно каждый свой вчерашний день, дабы изобразить перемены и притвориться обновленным – особенно важно...

В маленькой келье странноприимного дома Богдан, от души помолившись, уснул как убитый. И ему приснилась Фирузе.

Жанна снилась ему только дома.

Там же, отчий день, день

Утром колокола на церквях миссии, звоня к заутрене, своим деловитым совместным качанием растолкали все лишнее за горизонт: ветер унялся, а прояснившееся небо, высоко взлетев, стало льдисто-голубым. На голых ветвях деревьев распушился иней, тонко сверкая в лучах мерзнущего солнца.

Добрый знак.

Путешествие обещало быть не только приятным, но и мотивированным самым неуязвимым мотивом: при нынешней прозрачности воздуха никому не показалось бы удивительным, что некий лаовай решил полюбоваться видом на Ханбалык и его удивительные окрестности. Сяншань, Ароматная гора, становится центром паломничества глубокой осенью, когда разгораются листья покрывающих ее склоны кленов, это правда; а зимою посетители наверняка не толпами ходят – но все же и не отсутствуют совсем, особенно в такую погоду...

Что и требовалось – на всякий случай.

Повозка такси стремительно неслась десятирядным трактом, гладким, как хорошо отутюженная серая штанина, по широкой дуге огибая с севера и грузно растекшуюся по степи столицу, и изысканную загородную обитель Ихэюань с ее знаменитыми озерами и почти парящими над землей дворцами... Серо-бесцветные – ни травы, ни снега – холмы уплывали назад, на них росли только пагоды. А с запада уже надвигались горы – летом и впрямь, вероятно, ярко-зеленые и упоительно душистые, но сейчас мерт-

венно-полупрозрачные в стылой дали. Водитель, темпераментный южанин, говоривший с сильным сычуаньским акцентом, попробовал было завязать разговор, тронул футбол, тронул цены на плоды личжи, тронул бестолковую сварливость жен, которые сами ничего не делают и другим не дают («Понимаес, савусем ницего!»), да и отступился, почувствовав, что его теперешний ездки не расположен коротать время путешествия ни к чему не обязывающей, зато и не имеющей смысла беседею.

Летом бы здесь побывать, думал Богдан... Нет, летом, верно, жарковато. Лучше в апреле, когда цветет все разом, от первыми открывающихся на встречу весне цветов инчуньхуа до исторгающих пух тополей; или осенью, когда лесистые горы полыхают, как громадные костры, прощальным огнем... И обязательно не по службе. Обязательно с Фирузе и Ангелинкой...

Все.

Начинаем работать.

Неподвижный пустой парк тонул в заиндевелой тишине. У билетной лавки никого не было. Богдан наклонился к окошечку, заглянул в глубину – маленькая сяоце в накинутой поверх свитера душегрейке сидела, подперши щечку кулачком, и что-то увлеченно читала.

– И гэ пяо³⁹, – попросил Богдан.

Сяоце с легкой гримаской, но без малейшего промедления отложила раскрытую книгу обложкой вверх (Богдан, отечески порадовавшись тонкому вкусу девушки, узнал знакомую с детства обложку удивительно человеческой, исполненной любви к меньшим братьям нашим поэмы «Мосыкэ-Цыплята»), что-то молниеносно наиграла на крохотных кнопках кассового «Керулена»; тот неспешно выдал из себя длинный билет, украшенный объемным изображением здешних гористых красот с торчащими на склонах хрящеватыми столбиками пагод. Девушка шлепнула на билет печать и протянула Богдану.

– Пожалуйста, – сказала она по-русски, принимая деньги.

– Сесе⁴⁰, – машинально ответил Богдан. Встряхнул головой. – То есть... спасибо, сяоце.

– Не за что, мил-человек, – сказала девушка, улыбнувшись. – Бу кэци⁴¹. Империя...

Богдан улыбнулся девушке в ответ и пошел дальше.

В теплое время года, говорят, на канатке, поднимающей туристов на вершину Ароматной горы, кабинки ходят без остекления – обычные болтающиеся в воздухе лавочки, на которых сидишь, свесив ноги в пустоту. Конечно, так ближе к природе. Неспешно ползти над мохнатым зеленым ковром парка посреди неба, увесисто покачиваясь на волнах теплых души-

³⁹ «Один билет» (кит.).

⁴⁰ «Спасибо» (кит.).

⁴¹ «Не церемоньтесь; будьте как дома» (кит.). Дословно это выражение можно перевести как «отрешиться от состояния гостя».

стых ветров, несравненно приятнее, чем замыкаться в прозрачном ящике, подвешенном за крышу, ровно клетка с певчим дроздом. Но в зимнюю пору так, пожалуй, человеколюбивей. Служитель заботливо подстраховал Богдана, когда тот входил в кабинку, помахал рукой ему вслед – посетители были редки, каждый становился радостью и развлечением для скучавшего без дела пожилого дунганина, дежурившего на нижней станции подвесной дороги. Богдан помахал в ответ, глядя, как служитель медленно уменьшается, уплывает ниже, ниже...

А вот и знаменитая Глазурная пагода открылась – малахитово-зеленая, стройная, лаково блестящая в свете холодного полудня и особенно контрастно смотрящаяся именно теперь, не весной и не летом, на фоне белого от инея лесного массива, взлетающего из долины к вершинам...

Какая красота!

У Бога всего много.

Фире и Ангелинке бы показать...

Сизые горизонты неторопливо раздвигались. В ледяном блеске солнца на юге смутной распластанной громадой складывался Ханбалык; а если приглядеться, в стороне можно было увидеть плоские белые пятна озер Ихэюаня да чуть слева от них – острый золотой блик желтой черепицы крыш дворцового комплекса. Кабинка, чуть раскачиваясь, словно перепутавшая верх и низ капля прозрачной воды, текла по проводам выше, выше...

На безлюдной горе задувало, несмотря на полный штиль внизу. Зябкие пальцы ветра забрались под доху, шустро пробежали по ребрам. Лицо будто ткнули в сухой лед. Богдан с полчаса созерцательно прогуливался от одного края плоской, шагов в двести длиною, смотровой площадки до другого. Время от времени станция канатки подбрасывала ему в компанию иных ценителей красот, те наскоро озирались, оглашая окрестности восхищенными кликами, порой делали несколько своеобразных погодке глотков из загодя наполненных фляжек и, прикрывая варежками носы, растирая щеки, бегом бежали обратно. Поначалу у минфа дух захватывало от серебряно горящей пустоты вокруг, потом сделалось не до красот. Да, долго тут не продежуришь, любуясь. Хоть каким будь эстетом – тело быстро начинает просить подогрева. И хорошо. Именно за этим мы здесь...

«То есть не только за этим», – Богдан честно постарался одернуть себя, однако ноги уже сами несли его к дверям горной харчевни. И ветер, недвусмысленно подгоняя, дул ему в спину...

В харчевне было тепло и гулко; невидимый проигрыватель, лишь подчеркивая тишину зимнего запустения, тихонько пел – хоть и с заметным ханьским акцентом, но от души, с исконно русской слезою, под переборы и стоны семиструнной гитары: «Клен ты мой опавший, на Сяншань взобравший...» За столиком поодаль питалась семейная пара: сухощавый благодушный мужчина в черепаховых очках, увешанный диковинными фотоаппаратами и видеокамерами, очень полная хлопотливая дама и капризная дочь, никак не желавшая есть. Она отворачивалась от подносимой к самым

губам ложки, бурчала что-то... Никакого понятия о сяо. Богдан с удовольствием отвернулся от туристов, когда ему принесли чайник горячего чаю и дымящиеся тарелки: острый суп с яйцами каракатицы, жаренного ломтиками фазана и мелко нарубленную тушеную свинину со сложной зеленью. «Если так лопать все время, можно стать толстым, – мельком подумал Богдан, а вскоре, торопливо согревшись раскаленным супом и перейдя к фазану, добавил с раскаянием: – И, пожалуй, даже очень толстым...»

Но удержаться было немислимо.

Ему повезло. Он как раз завершал расправу над фазаном и начал уже достаточно хладнокровно прикидывать, как построить работу дальше; тут, широко распахнув стеклянную дверь и пустивши в теплую утробу харчевни короткий порыв холодного ветра, через порог перешагнул служитель. Не глядя по сторонам, он, чем-то явно озабоченный, подошел к стоявшему за стойкой с напитками служителю и спросил: «Не видел еча Се?» – «Се Мэна? А что такое?» – «Барабан подстукивает, по-моему... То ли масло смерзается, то ли что... Пусть бы глянул». Хозяин напитков качнул головой в сторону одной из внутренних дверей харчевни. «Греется», – коротко пояснил он. Смотритель кивнул и торопливо пошел, куда указано. Дверь открылась, закрылась... Богдан торопливо дожевывал фазана. Прошло не более минуты – и дверь снова открылась. Смотритель был уж не один – следом за ним, наскоро утирая губы тыльной стороной ладони, шел невысокий сутулый человек возраста Богдана, явно не ханец – нос картошкой, белобрысье вихры... Сколько его фотопортретов Богдан перевидал за позавчерашнюю ночь и вчерашнее утро! Се Мэн. Семен. Семен Семенович Гречкосей...

Деловитая пара, лавируя между столиками, быстро пересекла внутреннее помещение харчевни и пропала снаружи; снова внутрь вкатился объемистый ком холодного воздуха – и растаял.

Богдан, оставив на время еду, сделал несколько глотков чаю и откинулся на спинку стула. Теперь, наоборот, торопиться было некуда; можно еще что-нибудь заказать... осьминогов, скажем... Грех чревоугодия, по-свойски ухмыляясь, нагло подошел вплотную. Ну, нет. «Будем надеяться, что починка не затянется», – подумал Богдан, сквозь окна харчевни глядя, как две фигуры удаляются в сторону машинного отделения верхней станции. Вот он какой в жизни, Гречкосей...

Богдана насторожило его лицо. Особенно глаза. Это были глаза человека, живущего, как трава. На всех фотографиях, что довелось, собирая материалы, увидеть минфа, у Гречкосея были глаза человека, смотрящего далеко за горизонт – и в них отражалось солнце; а может быть, горело свое. Теперь оно погасло.

Идеалы – жестокие наставники...

Заплатив, Богдан снова вышел в летящий, свистящий простор. Солнце уверенно перевалило за полдень. На полнеба стояло холодное ртутное марево, а внизу, на равнине, уже начинала копиться предвечерняя мерклая дымка, скрадывая недавно еще бритвенно четкие дали. Вновь сделалось

зьябо. Непроизвольно передернувшись, Богдан двинулся к машинному отделению, но дойти не успел: Гречкосей вышел наружу, плотно притворил за собою внятно шелкнувшую автоматическим запором стальную дверь – и пошел обратно к харчевне. Наверное, опять греться.

Встреча получилась предельно естественной. Никто не сможет сказать, будто минфа приезжал нарочно, чтобы повидаться с этим человеком.

Богдан приветливо заулыбался – издалека. Они неторопливо сходились, и мало-помалу до Гречкосея стало доходить, что этот незнакомый человек славянской, как и он сам, внешности не просто так идет ему лоб в лоб. Гречкосей замедлил шаги, торопливо глянул влево-вправо, словно произвольно искал, где бы спрятаться. Но на голой, плоской, замороженной и продутой вершине укрыться было негде.

– Здравствуйте, Семен Семенович, – сказал Богдан, протягивая Гречкосею руку. Тот, настороженно глядя исподлобья, остановился, помедлил мгновение, потом тщательно вытер правую ладонь о синюю ватную спецовку и уж тогда ответил на рукопожатие. – Надо же, вы почти не изменились... Нет-нет, не трудитесь припомнить: мы не знакомы, я знаю вас только по фотографиям... Как удачно я вас повстречал! Да мне, помнится, говорили, что вы где-то тут работаете...

– Чем обязан? – в высшей степени культурно осведомился Гречкосей.

– Маленький разговор, буквально на пять минут, ну, на десять, быть может, – ответил Богдан, все еще потряхивая руку Гречкосея. Тот не выдержал: легонько потянул руку на себя; Богдан сразу разжал пальцы. – Меня зовут Богдан Рухович Оуянцев-Сю. Писатель я.

– Ах, вот оно что, – неопределенно проговорил Гречкосей.

– Драматург, – уточнил Богдан, широко улыбаясь.

– Тогда вот что, единочатель драматург... У нас тут ветер, – предупредительно заметил Гречкосей. – Если разговор более чем на пять минут, может, нам уйти куда потеплей?

Это поразительно русское «куда потеплей» умилило Богдана. Гречкосей и прежде, судя по одной лишь канве былых событий, был ему симпатичен, а теперь начал располагать к себе всерьез. Только вот глаза...

– А вы? – заботливо спросил Богдан.

– У меня ватник и двое штанов, – серьезно сказал Гречкосей. – Мне хорошо.

– Тогда, с вашего позволения, еч, постоим тут, – сказал Богдан и мечтательно, с наслаждением оглянулся. – Красота ж неопишная. Когда я еще все это увижу?

– Как скажете, – Гречкосей пожал плечами.

Несколько мгновений оба молчали: Гречкосей – выжидательно, Богдан – легко и несколько барски, как и надлежало человеку вольной профессии, не понимающему, что такое минуты рабочего дня. Он еще раз оглянулся и совершенно искренне повторил:

– Красота... Вон туда бы пройтись, еще выше...

И, боясь слишком затягивать, повернулся к бывшему физику. Вся эта

невинная пауза имела лишь один смысл: дать Гречкосею время успокоиться, отмякнуть, чтобы следующие фразы снова застали его врасплох.

– Понимаете... – якобы смущенно начал Богдан и поправил очки. – Станный мне в голову пришел сюжет. Хочу узнать ваше мнение...

Брови Гречкосея удивленно дернулись вверх. Но Богдан не дал ему ничего сказать.

– Сейчас вы поймете, почему именно ваше... Представьте такое положение. Да, я забыл сказать, моя повесть... или даже пьеса, еще не решил... из жизни ученых. Вот представьте. Гениальный физик и его ученик. Оба совершенно замечательные люди, оба таланты, только один уже вполне проявил себя, а другой еще в начале пути.

Ветер, казалось, зашипел сильнее. И больше не было ни звука в мире.

– А ведь именно благородные мужи наиболее уязвимы, – нарушил короткую тишину Богдан. – Их подчас больно ранит то, на что мелкий человек и внимания-то не обратит. Ими движут подчас такие мотивы, какие мелкому человеку могут показаться просто выдуманными. Надуманными. Например, сядь. В меру – да, хорошо, папа, мол, мама, деды... Осведомлюсь о здоровье, почтительно поздравлю с днем рождения... Все сообразно. А чуть за средний уровень шагни – так сразу возникает то, что можно уже назвать странностями, – Богдан поплотнее засунул руки в карманы дохи. – В Танском кодексе сказано: «Отец есть Небо для сына. Скрывать его преступление можно, противудействовать ему нельзя. Если кто-либо из родителей совершает нарушение или промах, необходимо увещевать, выказывая уважение и сыновнюю почтительность, чтобы они не сделались преступниками, однако если преступление уже совершено, и сын, отринув моральные устои, преднамеренно донесет о нем властям, он наказывается удавлением»⁴². Учителя же несколько раз уподобляются в кодексе родителей. Это я специально изучал, – несколько хвастливо добавил Богдан и пояснил: – Для драмы.

Подождал. Гречкосей молчал. Его лицо было непроницаемым, но глаза, глядящие в никуда, делались все отчужденней.

– И вот представьте: этот учитель совершает некое преступление. Не убийство, разумеется, не разбой – упаси Боже. Скажем, хищение. Причем крадет он не деньги, не камень яхонт какой, а прибор, создателем коего, собственно, и является – и теоретическая разработка в основном его, и проектное задание составлялось под его непосредственным руководством... Он берет вещь, которая, в сущности, изготовлена им самим, только в казенных мастерских и за казенный счет. И берет для дела. Во всяком случае, для того, что считает делом. Можно его понять... Ученик это видит. Случайно. Я еще не решил, видит ли в это время ученика учитель, но мне сей-

⁴² «Тан люй шу и». Ст. 345. Это правовое предписание целиком обязано своим возникновением одному из заветов Конфуция: «Служа родителям, если они не правы – с мягкостью старайся переубедить их, если они упорствуют – продолжай оставаться почтительным, если они все же поступили по-своему и тем удручили тебя – не ропщи» – «Лунь юй», 4:18.

час не это важно... Важно то, что чувствует ученик. А чувствует он одно: учителя никто не должен заподозрить и, тем более, наказать. И он спешно, пользуясь тем, что несколько дней у него в запасе есть, из подручных средств собирает некое подобие этого... надо отметить – весьма ценного и весьма опасного прибора... Не действующее, разумеется, на это его возможностей не хватает. Но по химическому составу, по набору деталей – сходное. И тут же плавит его в высокотемпературной печи, чтобы понять уже было ничего нельзя. И, когда факт хищения всплывает, берет всю вину на себя. Придумывает мотив. Придумывает время и способ. Только чтобы горячо любимый наставник, безгранично уважаемый, боготворимый – а тот уж уехал давно – не попал под удар. Острая ситуация, правда?

Гречкосей молчал, только желваки начали играть на его скулах. Немигающими глазами он смотрел мимо Богдана, вниз, куда-то в мерзлую мертвую землю. Словно что-то вспоминал.

– Формальное наказание он получил легче легкого, но с работы ему пришлось уйти. Его презирали коллеги. А он мог бы стать их руководителем, его выдвигали, предлагали заменить ушедшего в отставку гения, того самого учителя – по своим дарованиям ученик был вполне сего достоин... Но он бросил науку вовсе. Впал в нарочитое ничтожество. Только бы на него не обращали внимания, только бы не вспомнил кто-нибудь эту историю, только бы не засомневался в выводах комиссии... А престарелый гений, что характерно, даже не думает об ученике. Даже не вспоминает. У него дела куда важнее – он увлечен своими идеалами... Что ему до ученика, коему он мимоходом жизнь сломал! И вот получается, что два благородных мужа, два замечательных и очень порядочных человека, руководствуясь самыми замечательными, самыми порядочными побуждениями, перестали быть порядочными... Как вам кажется? Реальна такая история или нет?

Теперь молчание оказалось очень долгим.

Вокруг все оставалось до жути обыденным. Обедавшая семья покинула наконец харчевню и торопливо двинулась на посадку; мама вышагивала гордо, ни на кого и ни на что не глядя, а дочку буквально волокла за руку; та лишь презрительно задирала нос. Похоже, они приезжали сюда, только чтобы привычно поругаться из-за еды. Долговязый папа то и дело принимал к видуискателям и, не замедляя шага, снимал, снимал, всю пользуясь короткой паузой между поглощением и перемещением... На лице его читалось блаженство: отметил. Будет, что показать друзьям, будет, чем похвастаться... Из машинного отделения доносился ритмичный металлический рокот – барабан, неумоимо наматывая тросы, втягивал кабинки в темный зев станции и, прокрутив их в лягающем механическом безлюдье, равномерно вываливал вниз, в долину. Ханбалык медленно гас вдали.

Их было только двое на ветру: Богдан и Гречкосей. Никого больше, в целом свете никого. Одиночество.

Так одинок любой, кто совершает выбор.

– Кто вы? – хрипло спросил Гречкосей.

– Писатель, – безмятежно ответил Богдан, глядя на бледно горящее в морозной дымке бескровное солнце.

Гречкосей еще помолчал.

– Я что-то упустил? – спросил Богдан.

– Он меня видел, – сказал Гречкосей. Глубоко, отрывисто вздохнул. Качнул головой, словно до сих пор удивляясь. – Он просто сказал: мне это очень нужно. И я ничего ему не ответил, только кивнул и отступил в сторону, давая выйти из музея. И все. Больше мы не перемолвились ни словом. Через два дня он уехал.

– Все остальное было, как я сказал?

Гречкосей лишь кивнул. А потом, помолчав, едва слышно спросил:

– Что вы с ним сделаете?

Лицо Богдана стало жестким. Время играть прошло.

– Вопрос поставлен неправильно, – сказал он. – Надо бы спросить: что он с нами сделает?

Гречкосей впервые поднял на него взгляд – и в нем отчетливо читалось недоумение.

Богдан взглянул физику прямо в глаза.

– Позавчера прибор был испытан, – сказал он. – Испытан успешно. С минимальными затратами энергии, просто от сети, как электробритва какая-нибудь... Преобразованию в пространство подвергся на высоте полутора тысяч ли отсек одной из старых ракет.

Несколько мгновений Гречкосей словно бы не слышал слов Богдана. Или не понимал их. Потом плечи его медленно опустились.

– Я знал... – выговорил он. – Знал, что когда-нибудь... Каждое утро просыпался и ждал: когда? что?.. Ведь не просто же так... не чтобы дома пылился... – Гречкосей осекся. Потом спросил: – Вершина конуса поражения где-то в районе Димоны?

– Представьте, нет, – ответил Богдан. – В городе Теплисе.

И опять Гречкосей уставился на Богдана – но теперь в его глазах была сумасшедшая, недоверчивая надежда.

– Но тогда я не понимаю...

– Преждедороденный Ванюшин с супругой в это время как раз были там. Со свойственным им чувством такта пытались примирить противоборствующие стороны. Теперь, думаю, напряжение там не скоро спадет... Вы канал общеимперских новостей смотрите?

Гречкосей отрицательно покачал головой и вдруг жалко улыбнулся.

– Ничего не смотрю. Я спрятал голову под крыло, – признался он.

Богдан на миг даже растерялся от этой откровенности; а потом тронул бывшего физика за локоть. Мол, ничего; мол, это еще не самый страшный способ борьбы с собственной жизнью, если она вывернулась из рук и уже безо всякого смысла упруго заплясала сама по себе, как вырвавшийся пожарный шланг; во всяком случае, не самый кровавый способ...

– Не напоминайте ему обо мне, – попросил Гречкосей.

– Хорошо, – чуть помедлив, ответил Богдан. – Попробую.

Там же, отчий день, вечер

Иногда Богдан жалел, что не курит.

Как славно, как успокоительно было бы сесть поближе к окну, погасить свет и закурить, и пускать мерцающий ароматный дым в потолок, глядя из тепла и уюта во тьму внешнюю, и угадывать там смутные очертания заиндевелых деревьев, ритмично поднося сигарету к губам, затяжкой плавно возрождая ее оранжевый огонек, отраженный в черном стекле... Как было бы по-мужски! Наверное, сразу стали бы приходиться в голову решительные, однозначные мысли о том, что делать дальше...

Вот он узнал.

Но он, уже едуци сюда, наверняка знал это.

И что теперь?

Богдан тупо стоял посреди кельи, забыв, что можно бы снять доху, можно хотя бы сесть.

Что же это такое люди вытворяют друг с другом...

Потом у него в кармане упруго и беззвучно затрясся телефон.

Припадков пять его дрожи минфа выдержал, не сделав ни единого движения: он не хотел ни с кем говорить сейчас. Потом чувство долга возобладало.

– Алло?

А в трубке нежданно-негаданно раздался голос Раби Нилыча; минфа не слышал его уж более года.

– Приветствую, Богдаша! Узнал старика?

– Господи, Мокий Нилович! Как же, как же! Еще бы не узнать!

– Ты нынче где?

– Да как сказать...

– Впрочем, я не о том, – сварливо прервал Богдана Раби Нилыч. – Какая разница, где ты. Понимаю, что весь в делах... Вопрос не в месте, а во времени. Тут, знаешь, такая жмеринка... Найдется у тебя сейчас несколько свободных дней?

– А что такое?

– Да вот есть мнение, что ты с семьей просто обязан срочно прибыть к нам и участвовать в торжествах по случаю шестидесятилетия образования улуса. Сутки на сборы.

– Свят-свят-свят, – сказал Богдан. Помедлил, собираясь с мыслями. – А с какого я-то бока-при...

– Да ни с какого, – честно ответил Раби Нилыч и захохотал. – Просто ты человек хороший.

– Понятно, – ответил Богдан, против воли заулыбавшись. Словно душу переключили в иной режим: только что мир казался беспросветно плохим – вернее, не плохим даже, а попросту обреченным, раз даже столь возвышенные порывы оборачиваются такими безднами боли, – и вдруг открылся громадный просвет. Если есть люди, как Мокий Нилович Рабинович, – не все потеряно...

– И непременно с семьей?

– Именно что непременно, – подтвердил Раби Нилыч. – С семьей как раз насчет бока-припека разговор отдельный... Ну, это я тебе расскажу не по телефону, а когда тут окажешься. В подробностях. Сумеешь выбраться?

– Ну...

– Имей в виду. Если не сумеешь – тесть твой все равно приглашен. Так что лучше присоединяйся!

– Выберусь с Божьей помощью...

– Здесь в таких случаях говорят: беззрат ха-шем⁴³. Начинай учить язык.

– У меня правило: любой язык учить со «спасибо», – ответил Богдан. – Благодарность – самое главное. Всегда.

– Тогда, – сказал Раби Нилыч. – Ударение на «а». Запомнишь? Или по буквам задиктовать?

Судя по тону, бывший начальник был очень весел. Может, даже слегка навеселе. А может, просто обрадовался тому, что Богдан согласился не кочевряться.

– Запомню, – сказал Богдан. – Тогда.

Раби опять заразительно хохотнул.

– Ну, тогда послезавтра ждем, – сказал он и отключился.

И будто снова в душе Богдана выключили свет.

Весь день сегодня он слушал о беспросветном. Гречкосей вдруг понял, что небеса послали ему собеседника, коему можно поведать все, о чем он так долго вынужден был молчать, – и его прорвало; и он, едва не плача от нахлынувших воспоминаний, сбивчиво рассказывал, рассказывал о том, как им работалось с Ванюшиным, пока...

Пока в мире не выключили свет.

– Это судьба, – негромко сказал Богдан.

Он так и стоял, не снимая дохи, посреди кельи. И теперь раздеваться уже не имело смысла.

Это действительно была судьба.

Там же, отчий день, поздний вечер

– Гань се⁴⁴, отче, – проговорил Богдан и, наклонившись, поцеловал руку архиепископа Памфила. Потом повторил: – Гань се.

⁴³ «С помощью [Его] Имени» (*ивр.*). Чтобы, как и надлежит порядочным людям, не поминать имя Божье всуе, то бишь попусту, слово «Бог» в иудаистической традиции стараются употреблять пореже – и вместо этого говорят просто «Имя» (понятное дело, с определенным артиклем «ха» – его на русский язык лучше всего передает большая буква в начале слова «имя»); мол, не просто имя, а То Самое Имя). Всем сразу понятно, кто именно имеется в виду. Например, «барух ха-шем» – «слава Богу», «им йирцэ ха-шем» – «по воле Божией», и т. д.

⁴⁴ «Большое спасибо» (*кит.*).

Старый ханец огладил сморщенной желтой ладонью считанные волоски своей длинной белой бороды, а потом медлительно, от души перекрестил Богдана. Узкие глаза его были полны понимания и покоя.

– В добрый путь, Богдане, – ответил он. – Не кручинься. Можно так сказать: легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели благородному мужу идти прямо, не искривив среднего ни вправо, ни влево.

– Я знаю, отче, – сказал Богдан. – Но очень иногда хочется, чтобы хоть что-то было просто!

Памфил покачал головою.

– Телу просто, – сказал он. – Моргать просто. Потеть просто. Животом урчать просто. Поэтому-то столь многие люди в наш благоустроенный для тел век не хотят иметь душу. Уж очень много, дескать, с нею хлопот. Не слушают ее, прикидываются, будто ее нет... А как без души?

– Никак, – негромко ответил Богдан. Накинул ремень своей дорожной сумки на плечо и, повернувшись, пошел к повозке такси.

МОРДЕХАЙ ДА МАГДА

Продолжение

1

Теперь совесть ему жгло сразу в двух местах.

Там, где продолжала нескончаемо тлеть миллирентгенами раздавленная степь.

И там, где плакала Магда.

Со старой виной он уже как-то сработался. Он нашел способ противостоять ей, искупать ее денно и ночью; ее было, чем искупать. Мордехай знал, что победит. Раньше или позже люди поймут, зачем нужна им просветляющая боль покаяния; ракеты не взлетят.

Вторая вина была внове. Полыхнувши внезапно и грозно, она упала на него, как могла бы упасть водородная бомба на какую-нибудь страну Центральной Африки, где не только не слышали о радиации или, тем более, о противурадиационных мероприятиях, не только не знали целебных свойств йода, но и противугазной снасти-то не видели ни разу в жизни. Элементарную дезактивацию там проводили бы, верно, собравшись в круг на пепелище и приплясывая под ритмичный гул тамтама и монотонное пение заклинаний, босыми пятками вздымая в теплый, кажущийся таким обычным и безопасным воздух истекающую радионуклидами пыль.

Примерно так же, конечно, и Мордехай вел себя в первое время.

Он никогда не думал о правоте одних народов и неправоте других. Для него не было до сих пор такой проблемы. Для него все народы были равны; равно виновны и равно поруганы.

Порывисто накричав на Соню, столь внезапно и отвратительно оскор-

бывшую его жену, сам Мордехай понял сначала лишь одно: он обязан доказать рыдающей Магде, что в нем самом – этого нет. Хотя бы в нем. А тем самым – и не только в нем. Мордехай не знал, как назвать ЭТО, в его словаре не было еще для ЭТОГО слов, а все чужие слова – заляпанные политиками, обслугоуявленные прессой, загаженные нацистами – казались неприемлемыми. Вековая спесь? Равнодушие ко всем, кроме себя? Старательная злопамятность, почитаемая великой добродетелью? Нет, нет... Это лишь проявляющиеся то в одном, то в другом человеке следствия чего-то общего, осевого, сердцевинного, чему не было пока названия... Неважно. Дело не в словах. Ну не может же во всех его единокровных гнездиться надменный червь! Не в генах же он сидит, не печать же каинова проставлена на сердце каждого ютая еще в утробе матери!

Хотя мало-помалу, припоминая, размышляя, беседуя с женою, Мордехай все больше приходил к выводу, что червь подточил очень многих. В большей или меньшей степени – но очень, очень многих. Неужели действительно каждого? Мордехай с обычной дотошностью ученого начал изучать проблему; порой, когда он выкликал на экран дисплея страницы старых немецких газет из берлинских архивов, он задыхался от возмущения, и в висках его будто начинали маршировать маленькие эсэсовцы. Скажем, когда перед ним предстал растиражированный в конце тридцатых на весь свет жуткий толстый пейсатый юдэ в неряшливом лапсердаке, с мешком денег в одной руке и припрятанным за спиною окровавленным топором в другой, да еще с подписью: «Золотая сотня для черной души»; с той-то как раз поры, этой самой картинке благодаря, среди ютаенлюбов в ходу презрительная кличка «золотосотенцы»... Однако порой Мордехаю, к его собственному ужасу, казалось, что в пожелтевших злобных карикатурах есть доля истины...

Но ведь я не урод, рассуждал Мордехай, я не выродок. Если этого нет во мне – стало быть, может не быть и в других. А тем, в ком это есть, да только они не отдают себе в том отчета – просто надо помочь, надо открыть им глаза на себя... Убереечь их от самих себя, оградить их от самих себя!

Магда не должна плакать из-за этого.

Никто не должен плакать из-за ЭТОГО.

Ютайская душа не рождается с ненавистью к неютяям. Ютайская вера, к которой Мордехай был равнодушен, как и ко всякой иной, но за которую ему все равно отчего-то было обидно, не обязательно чревата презрением к верам иным. Это были две аксиомы, из которых ему следовало исходить, создавая свою теорию.

А в первую очередь ему самому теперь надо было сделаться очень осторожным. Проверять каждый свой поступок, каждое побуждение: не золотосотенное ли мое нутро мне нашептывает, прячась за какой-нибудь благовидный предлог? Я могу этого не заметить, но Магдуся – почувствует, заметит, поймет... И – заплачет. Может быть, втайне от меня, когда я не вижу, но заплачет тихонько и горько...

А у нее больное сердце.

Они теперь часто беседовали об этом. Об ЭТОМ. Уютно рассаживались вечером на кухне вокруг стола, со вкусом расставляли чашки, ложки, печенье-варенье; Мордехай в это время дня пил уже только чай, Магда – не отказывала себе в крепком кофе с крепкой папиросой. Она по-прежнему очень много курила, отчасти поэтому для душевных посиделок и была избрана все-таки кухня; Мордехай, как бы ни было ему мило все, что связано с супругой, не мог спать в комнате, где накурено: задыхался; он боялся в том признаться Магде, боялся показаться ей смешным или немощным, и потому вечно изобретал какие-нибудь безобидные поводы, чтобы не дать жене особенно уж дымить в комнатах... Он знай подливал себе из стеклянного заварочного чайника в высокую кружку с изображением двух алых сердечек, одно покрупнее, другое поминиатюрней (Магда подарила на годовщину свадьбы), ароматный коричнево-прозрачный, светящийся на просвет напиток с добавками лаванды и мяты. Она, время от времени помаленьку отпивая из изящной, как розовый лепесток, чашечки густой, ровно деготь, напиток, задумчиво крутила в пальцах пачку «Черномора», на коей нарисован был страшный с виду персонаж знаменитой поэмы Пу Сицзиня и вилась надпись: «Палата народного здоровья предупреждает: у тех, кто регулярно курит, легкие становятся черными, как совесть злого колдуна!», то и дело выщелкивала очередную, как их называл в шутку Мордехай, «курительную палочку», и прикуривала следующую от предыдущей... Как Мордехай любил эти часы неспешного разговора о самом больном и насущном – с человеком, который понимал его с полуслова и умел найти этому слову вторую половину, что греха таить, раньше и лучше него самого...

Но думали они вместе.

– Ведь все не случайно, – например, говорила Магда, – все не на пустом месте взялось... Это не просто один человек такой, другой – этакий, это национальный характер, он формировался веками, десятками веков. Взять хоть их удивительную изворотливость, их, как в народе говорят, хитрожопость...

Она частенько позволяла себе крепкое словцо, и Мордехай, в общем-то, не терпевшего брань, в ее устах подобные выражения совсем не коробили. Просто это была предельная откровенность, невозможная искренность. Она называла вещи своими именами и не задумывалась, насколько эти имена благозвучны; ее решительность и храбрость, ее честность сказывались даже в таких мелочах. Ей – шло. Ей все шло.

– Почему именно среди них так много всяких там юристов, адвокатов, вообще людей, профессия которых вся построена на том, чтобы обходить закон? Потому что вся их культура построена на том, чтобы обходить закон. Весь их быт. Сперва они напридумывали тьму запретов, которые делают жизнь просто-напросто невозможной. А отменить уже нельзя. Боженька же дал, собственный! И вот, вместо того чтобы послать эти запреты на хрен, они весь свой умственный потенциал – а вот уж что есть, то есть, этого у них не отнимешь! – бросили на то, чтобы так ли, сяк ли свои же запреты обходить. Веками тренировались. Тысячелетиями. Мордик, ты вдумай-

ся! И конечно, теперь они всем остальным, нормальным честным людям в жульстве дадут сто очков вперед. Нормальному человеку может казаться, что он чудеса хитроумия проявил, придумал такую заковыку, что и век никто не разберет, – но по сравнению с ними он все равно, как ребенок...

– погоди, Магдуся, погоди, – говорил Мордехай. – Что ты... э-э... имеешь в виду?

– Что-что! – горячилась она. – Известно что! – и увлеченно размахивала горячей «черномориной», так что оранжевый огонек стремительно шинковал воздух, оставляя за собой причудливо свитую дымную диаграмму. – Вот, скажем, шабат их пресловутый. Того нельзя, этого нельзя... Но зато придумали, понимаешь ли, шабос гоа, субботнего неютая, – которого всегда можно попросить за деньги или за спасибо сделать то, что ютаю надо, но чего ютай сделать не имеет права... Или: работать нельзя. Понятно, отдых. Но ведь они даже бумагу в сортир должны себе настричь заранее, потому что оторвать клочок от рулона в субботу – тоже работа. И нет бы рассмеяться над этой дурью вместе со всеми остальными – нет, наоборот, полны штаны восторга: вот как мудры были раввины древности, что нашли способ даже в столь прозаическом месте, как сортир, дать нам ощутить святость субботы!

– Э-э...

– Да погоди ты! Вот нельзя, скажем, в субботу пищу готовить. Даже заваривать чай. Надо же было додуматься, да? Но зато можно сначала, понимаешь: сначала! – налить в чашку кипяток, а потом уже положить туда пакетик чаю. Раз вода уже чуточку остыла, пока ее наливали, а чай добавлен потом – это уже не заваривание, и значит, не готовка пищи, то есть не работа, и значит, это можно. Нормальный человек станет над такими вещами ломать голову? А тут все мозги на это направлены – как бы обдурить собственного бога с его запретами! А уж всех других-прочих – и сам бог, как говорится, велел...

– Магдуся, – чуть растерянно говорил Мордехай, – у меня мама – ютайка, но я таких тонкостей... э-э... даже не подозревал...

– Ну, ты. Ты – в небесах! Неужели не замечал даже?

– Не было этого у нас...

– Ну, у вас не было. Что это меняет? Вот нельзя в субботу ничего из дому выносить. Какой кретин это придумал? Ну – ладно, нельзя, стало быть – нельзя. Терпи. Ан нет. Заранее – можно. Соня в свое время рассказывала, как она еще девчонкой аж с четверицы заносила в синагогу гребешок, старую губную помаду, недомазанную матерью, прятала в укромном месте в туалете и во время службы, якобы по нужде удалившись, там прихорашивалась... Соня говорила: самая близкая подруга – это та, которой можно рассказать, где спрятана субботняя расческа... И так во всем, понимаешь?

Мордехай умиляла молодая запальчивость Магды. Чуть склонив голову набок, он ласково улыбался и слушал, слушал... Думал он при этом частенько уже о своем – но связаны думы были с тем, что говорила Магда, не-

разрывно. Просто Мордехай не хотел ее прерывать, все равно ничего бы не вышло. Пока он сформулировал бы одну фразу, Магда выдала бы целую речь. Да к тому ж в ее словах было очень много верного. Он и сам не раз обращал внимание на то, как рознятся творческие методы ученых, принадлежащих к разным народам. Сами ученые, как правило, даже не осознают этого, им кажется, они просто думают – а на самом деле они думают по-разному. Немножко, но – по-разному. И теперь, благодаря жене, Мордехай начинал понимать, отчего так. Оттого, что хоть константы, формулы и уравнения наук для всех одни и те же, реальные люди – суть ученики каждой своей культуры.

– Да что говорить! – продолжала Магда неутомимо. – Сама по себе идея субботы... Все еще работают, а они, понимаете ли, уже отдыхают! Ведь даже слово «саботировать» происходит от «шабат»!

– Правда? – искренне удивлялся Мордехай. – Я не знал... В филологии, как ты понимаешь, я слабоват...

Она улыбалась, тянулась через стол и ласково трепала его по редующим седым вихрам.

– Это не филология, дурачок мой! Это сравнительное языкознание!

Конечно, думал Мордехай, преданно подставляясь ее крепкой ладони и даже чуть жмурясь от удовольствия. Речи нет о том, что представитель одного народа по природе, от генов своих не способен делать что-то такое, что легко может представитель народа иного. Физиология ни при чем. Но есть культурой воспитанные предрасположенности, вошедшие в национальный характер. Например, у ютаев основной творческий алгоритм, наверное, и впрямь – выискивание замысловатых кружных путей в обход того или иного препятствия. А, например, у русских – посильное упрощение сути препятствия, чтобы потом можно было напроломно сшибить его одним тычком. Эти подходы воспитывались самой жизнью издревле, еще и науки-то никакой в ту пору не было. Да, Магда права: у ютаев тут причиной, наверняка, дотошность предписаний Талмуда и необходимость примирять их с практикой жизни. Ну, а у русских, вероятно, – бедность и скудость их северных земель, быстротечность погожих дней, когда основная цель творчества – сварганить хоть что-нибудь подходящее к случаю из двух соплей и одной коряги, и непременно к завтраму, потому как послезавтра जाए снег пойдет, и никому твои придумки не понадобятся.

Тем интереснее! Какой алгоритм сработает лучше? В зависимости от объективных свойств конкретной задачи – то один, то другой, причем заранее сказать нельзя, какой именно окажется успешен... Как разнообразен мир, и как с ним интересно!

Не следует стесняться различий в способностях народов: это все равно как стесняться, что один человек лучше разбирается в химии, другой лучше пишет стихи, а третий лучше водит повозку. Наоборот, это замечательно, что есть люди, которые делают что-то лучше многих и многих прочих, и надо давать им делать это, поручать им именно это, назначать их делать то, к

чему у них лежат душа и ум... А другие делают лучше всех что-то иное. Каждый лучше каждого – это же счастье, что всякому народу есть отчего гордиться собой! А в целом, когда все занимаются тем, что им более всего по нутру, каждый приносит посильную пользу всем, и лучше него никто не смог бы. Это вот и есть великая гармония, о которой столько веков грезят всякие там конфуцианцы! Да и не только они... О гармонии грезят все.

Но на пути к ней лежат распри. Пусть хотя бы память о расприх. Лишь из-за этого люди не радуются способностям других, но завидуют им. Каждый стремится опередить и перещеголять прочих. Тот, кто мог бы стать гением в деле, к коему предрасположен, рвет себе пуп от зависти, от страха остаться в проигрыше и тужится опередить соседа в том, к чему талант не у него, а как раз у соседа. И надрывается, конечно... И оттого злится еще пуще. На весь мир. А на соседа – в первую очередь.

Только взаимное покаяние открыло бы путь к долгожданной гармонии. Только искреннее, от всей души прощение всех всеми сделало бы успех соседа не унижающим тебя, но – окрыляющим...

День, когда Мордехай после долгих поисков нашел наконец решение, запомнился ему как день одной из самых великих его научных побед. Ибо решение это было, как говорят ученые, предельно изящным. Оно позволяло одолеть обе проблемы разом.

Был канун Суккота. Народ строил свои кущи: кто любовно, несуетно и загодя, из бамбука с сосною, чтобы ночами сквозь хвою можно было видеть звезды; кто второпях, накрывая стандартные простецкие рейки полиэтиленовой пленкой, равно боясь и потрудиться, и намокнуть, если вдруг с небес закапает; хозяйки ошалело метались по магазинам, выбирая этроги⁴⁵ попышней, посочней да поярче, а самые дотошные подолгу разглядывали, вертя в руках и так и этак то один плод, то другой, порой даже растопыривая глаза вставленными часовщицкими лупами и по-рыбьи глубокомысленно пучась на будущую праздничную святыню – не дай Бог проглядеть какую-нибудь крапинку на кожуре! Каждой хотелось принести домой чудо совершенства и красоты...

– Знаешь, Магдуся, – сказал Мордехай, отхлебнув чаю. Удивленно воззрившись на Мордехая, она затянулась папиросою. Похоже, муж что-то хотел сказать. – Я понял. Э-э... Помнишь, в доме культуры в тот первый вечер ты сказала... ты одну важную вещь тогда сказала, очень важную.

– Может быть, – пожал плечами Магда. – Наверное. Не помню.

Он-то помнил всю ее речь до последнего слова.

– Ты сказала вот что, – проговорил он. – Ты упрекнула меня...

⁴⁵ *Этрог (ивр.)* – цитрусовый плод, похожий на лимон, но совершенно иной по запаху и вкусу. Наряду с *лулавом* (ветвь финиковой пальмы), *хадасимом* (три ветви мирты) и *аравом* (две ветви плакучей ивы) служит неизменным атрибутом празднования Суккота (Праздника кушей, или шалашей). Плод должен быть безупречен с виду, у него непременно должны быть целы плодоножка и пестик, в противном случае он считается непригодным к употреблению, оскверненным.

– Это я могла, – согласилась она.

Он улыбнулся.

– ...упрекнула меня в том, что я говорю слишком уж вообще. Люди вообще, народы вообще, покаяние вообще... Ты сказала: чтобы кто-то что-то почувствовал, нужно говорить конкретно: кто, в чем, когда. Потому что люди не могут переживать из-за абстракций.

– Так и есть, – подтвердила она.

– Надо начать с себя, – просто сказал Мордехай. – Иначе ничего не получится. Я покажу пример.

Магда замерла, даже курить забыла. Просто оторопело глядела на Мордехая, а папироса дымилась в ее руке, в пальцах с по-мужски до желтизны прокуренными ногтями.

– Тогда уже никто не сможет сказать, что это невозможно. Если один сможет, значит, и другим не заказано. Но ты же понимаешь, каяться в чужих грехах – просто... э-э... безнравственно. Не может ютай или даже, например, русский каяться за ханьца или... э-э... немца, ведь так? Надо начинать с себя, а значит, с собственного народа. Ютаи... э-э... им есть, в чем каяться. Как, собственно... э-э... и всем. Вот. Я начну.

Сейчас он даже не помнил, что отец его – из Рязани. Может, если бы они с женою жили не в Яффо, а, скажем, в Рязани и каждый вечер обсуждали не ютаев, а русских – он решил бы каяться за всех русских. Скорее всего, так. Но история не имеет сослагательного наклонения.

Склонив голову набок, Мордехай застенчиво и чуть опасливо смотрел на Магду – как ученик, решивший заковыристую задачку и ждущий, похвалит его учитель или просто скажет: ну, наконец-то ты взялся за ум.

Не отводя от мужа потрясенного взгляда, Магда медленно, вслепую загасила папиросу, выдавив из нее вялые струйки последнего дыма. Поднялась. Обошла стол, подошла к Мордехаю вплотную, встала рядом. Обняла его голову и тихонько прижала к себе.

Несколько мгновений оба молчали.

– Я буду тебе помогать, – тихо вымолвила она. И еще помолчав, добавила робко: – Ты позволишь?

Это было счастье.

Это и было – счастье. И, хоть оба они уж немало прожили на свете, счастье их молодело, стоило им лишь коснуться друг друга.

2

Власти улуса ответили на его порыв тихой, от месяца к месяцу нарастающей травлей.

Мордехай не удивился: он ожидал этого. Любые власти всегда против правды, сей факт Мордехай усвоил накрепко; он до сих пор в назидание себе хранил и даже порой перечитывал уже начавшее протираться на сгибах

и давно утратившее жасминовый дух письмо цайсайяна – издевательский ответ на его первые наивные мольбы и увещевания, апологию лицемерия, символ неодолимой казенной силы, стремящейся законсервировать и сделать вечной любую совершенную от имени государства несправедливость. Это надо же придумать! «Надоедливость в служении государю приводит к позору. Надоедливость в отношениях с друзьями приводит к тому, что они будут тебя избегать!» Уже тогда, с самого начала, едва он только рот открыл – они намекнули ему на позор! Угрозы, запугивание, шантаж...

И уж тем более следовало ожидать противудействия от улусных властей, властей ютайских. Про всех остальных можно говорить что угодно, можно иронизировать над их забавными на сторонний взгляд особенностями, можно указывать им на промахи, можно до бесконечности обсуждать их ошибки и, паче того, злодеяния... О ютаях нельзя говорить ничего плохого. Вообще.

Так уж истари повелось. И стоит теперь кому-то по простоте да по чистоте душевной произнести хоть слово критики, даже из лучших побуждений, даже по поводу чего-то совсем сегодняшнего, совсем, казалось бы, очевидного – ютаями слово это сразу воспринимается как цитата из писем Амана⁴⁶, в коих основные недостатки их уже были хоть, увы, и с неприязнью, но с полным пониманием дела перечислены давным-давно⁴⁷. И ютаи, вместо того чтобы вдуматься, слышат не осмысленные слова, а всего лишь привычный тревожный сигнал: это – враг! Это – слова человека, который хотел нас истребить, а значит, и сейчас тот, кто их говорит, хочет нас истребить... Мол, это мы уже проходили, и не раз, так что ничего нового, и совершенно неважно, по какому конкретному поводу нынче нас пытаются усостыжить. Все равно в ответ надо только, как в синагоге при упоминании Амана, кричать, свистеть и топтать ногами...

Удивляться не приходилось, но все же оказалось тяжело. Очень. Если бы не Магда, если бы не ее каждодневная поддержка – может статься, он бы не

⁴⁶ Об Амане, самом отрицательном персонаже «Книге Есфири» (и одном из самых ненавистных антигероев еврейской истории), речь еще впереди.

⁴⁷ «Живет среди нас некий народец, самый презренный среди народов, высокомерный и пригодный только на то, чтобы помехой и преткновением служить для нас. Люди эти издеваются над нами и радуются бедствиям нашим. Царя проклинают они постоянно... И что это за неблагодарные души! Посмотрите, что с беднягой фараоном сделали они: когда они прибыли в Египет, фараон принял их радушно и дал поселиться в лучшей части страны; в голодные годы продовольствовал их, не отказывая в самом лучшем... Египтяне надавали им серебра и золота, и лучшие одежды дали. По несколько ослов навьючил каждый из израильтян. И, обобрав египтян, они бежали. ...Нет той добродетели, которой не приписывали бы они себе. ...Смотрят с презрением на все другие племена и народы...» (Цит. по: Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и мидрашей / Пер. С. Г. Фруга. М., 1993. С. 156–157). Так, согласно традиционным сказаниям самих же евреев (если, конечно, перевод Фруга точен), выглядела вводная часть писем Амана к наместникам провинций Персии; далее, как вывод, в этих письмах отдавался приказ о полном и поголовном истреблении живших на территории страны евреев.

выдержал. Мордехай не знал, как именно выглядела бы его позорная капитуляция, просто не мог придумать... Но она была вероятна. Если бы не жена.

Жена его понимала. А когда он, ученый тяжелодум, предпочитавший перо устному слову, а формулу – перу, давая интервью какой-нибудь западной газете или новостной программе, слишком долго тянул свое «э-э-э» или вовсе терял мысль, Магда, всегда буквально дежурившая рядом, точно врач у постели больного, бесстрашно и без промедления бросалась ему на выручку.

Хотя ей тоже было тяжело. Мордехай страшно переживал за нее. Ни в чем не повинная, Магда тоже оказалась под ударом. Просто за компанию с ним.

В тот вечер он возвращался из библиотеки раньше обычного. Что-то происходило с погодой, наверное: давление скакало или творилось еще что-нибудь столь же нелепое и не имеющее отношения ни к чему важному в жизни, но выведившее из строя не менее надежно, чем какая-нибудь подлая газетная статья. Давило сердце – надоедливо, упорно, безоговорочно... Его было не убедить, не уговорить, не умиловить. Как всякая никому не подконтрольная власть, оно не имело ни совести, ни сострадания. Просто давило. Часам к пяти, вконец измученный попытками не обращать внимания на недостойные мужчины пустяки, Мордехай понял, что больше и впрямь не может работать. Пришлось сворачиваться и плестись домой.

Как он ненавидел и презирал себя в такие дни!

Он издали увидел грубо и, похоже, торопливо начирканный цветным мелком справа от двери крючковой нацистский крест.

У него сразу ослабели колени. Тупой кол, с утра вставленный в грудь, на несколько мгновений будто выпустил острые шипы, да еще и повертелся, чтоб сделать побольней. Коротко и страшно потемнело в глазах.

Когда Мордехай уходил из дома, креста не было.

И вот опять – уже в третий раз.

Мордехай был уверен, что так, тишком, стараются подточить его упорство и решимость кубисты. Чиновники защищались. Чиновник всегда полагает, будто он лишь защищается от нападения. Никогда он не признается, что нападает сам. Нападает из века в век. Тот, кто пытается просто защититься от извечного давления власти, закономерно кажется ей агрессором – ведь свой гнет и ответную покорность угнетенных она называет общественным миром.

Мордехай беспомощно огляделся.

Было безлюдно. Они с Магдой жили в тихом, зеленом районе, вдалеке от главных магистралей и торговых центров; тротуары перед домами заполнялись здесь, в общем-то, лишь дважды в день: когда люди разъезжались на работу и когда съезжались обратно. Час разъезда давно прошел, и еще не наступил час возвращения. Только поодаль – там, где прельстительно высились потешный средневековый замок, выстроенный в виде одного из бастioned Великой стены в Бадалине⁴⁸, горка, уподобленная улычиво-

⁴⁸ *Бадалин* – ближайший к Пекину и потому наиболее посещаемый туристами фортификационный узел Великой Китайской стены.

му, глазастому, опустившему хобот слону, и прочие детские увеселения, – увлеченно играли ребятишки. Судя по протяжному завыванию, которое издавал один из них, азартно меся воздух руками (в них, надо полагать, были крепко стиснуты невидимые взрослым рычаги), и по тому, как откинулись на траву остальные, ребята летели в космос и как раз пробивали атмосферу – перегрузка была минимум в три «же».

Мордехай перевел дыхание и пошел к ним.

Они заметили Мордехая шагов с десяти. Игра прервалась сама собою; рев двигателей первой ступени скис, а перегрузка так и не сменилась невесомостью. Ребята придвинулись друг к другу поплотней и настороженно, молча, как-то очень одинаково смотрели на приближающегося длинного и сутулого дядю. Мордехай знал всех их в лицо, соседи есть соседи, примелькались; но по имени – лишь одного, Моню Юзefовича. Можно сказать, они дружили; как-то так получилось, что Моня, интересовавшийся физикой, уже не раз брал у Мордехая книги почитать, потом спрашивал, чего не понял – и Мордехай как умел (педагогического дара у него не было, и Мордехай этим недостатком страшно мучился) старался разъяснить... Он любил этого мальчика. Правда, в последнее время тот почему-то перестал заходить.

– Моня, – позвал он, остановившись.

Тот как-то обреченно встал.

– Да, дядя Мордехай, – проговорил он.

– Можно... э-э... тебя отвлечь на минутку?

– Конечно, дядя Мордехай.

И мальчик двинулся к нему.

– Моня, – повторил Мордехай. Он не знал, что и как спросить. Порыв поговорить с ребятами, возможно, был ошибочным и неуместным. Не стоило бы впутывать в это детей.

Но – поздно.

– Посмотри, Моня... – Мордехай старался говорить как можно ласковее и доверительнее. Не надо, чтобы мальчик заподозрил, как ему больно. И как все это опасно...

Мордехай ткнул большим пальцем за спину, туда, где, омерзительно похожая на раздавленную лягушку, оскверняла стену его дома уродливо раскоряченная свастика. Пусть кто угодно твердит, что это буддийский солярный знак, пусть по-ханьски знак этот и фамилия «Ванюшин» чуть ли не одно и то же⁴⁹, пусть кто угодно дает заболтать себя этой лукавой премудростью – для всякого ютая она навсегда не более чем проклятое клеймо, которым сами метили себя нелюди.

⁴⁹ *Вань* (卐) – печать сердца Будды, знак счастья. Этим же знаком в буддийских странах обозначается слово «крест» в выражениях типа «Общество Красного Креста» – то есть получается «Общество Красной свастики». На топографических картах свастикой отмечают места расположения буддийских храмов. В данном случае Х. ван Зайчик имеет в виду созвучие фамилии Ванюшина с ханьским чтением данного знака.

– Видишь, на стене сегодня мне намалевали... Вы тут, наверное... э-э... давно летаете? Вы не видели, кто это сделал?

В глазах мальчика проступила непонятная Мордехаю отчаянная решимость.

– Видели, – сказал Моня, глядя исподлобья.

– Такие молодые крепкие дяди, да? – спросил Мордехай.

Несколько мгновений Моня молчал. Казалось, вот-вот скажет – но слова в последний момент будто застревали у него в горле, он сглатывал их, потом начинал готовить их сызнова... Остальные космонавты понуро сидели, прижавшись друг к другу плечами, и как-то косо, пряча глаза, напряженно следили за происходящим.

– Это мы нарисовали, – наконец выговорил Моня.

Никто не знает, чего стоило Мордехаю не сесть прямо на траву.

– Э-э... – проговорил он через несколько мгновений. – Вы?

– Это мы не про вас, дядя Мордехай! – вдруг плачуще выкрикнул Моня. – Но чего она-то?

И снова грудь Мордехая принялись толочь тяжелым ледяным пестом.

– Моня... – тихо сказал Мордехай. Запнулся. Это же ребенок, сказал он себе. Только ребенок. А вот что говорят при нем взрослые... и не только при нем... – Моня... Послушай, мальчик... Она же не со зла. Она добра всем хочет. И я. Мы оба... э-э... вместе. Я уж не знаю, что тебе насочиняли родители, но... Мы вовсе не ненавидим ютаев, мы хотим, чтобы ютаи стали лучше, понимаешь? Это же совсем другое дело. Лучше, добрее, честнее... перестали бы думать лишь о себе...

Только для внезапно нагрянувших западных журналистов он говорил без подготовки такие длинные речи.

У Мони в виноватых глазах проступили слезы, и он шмыгнул носом – совсем по-детски.

Но ответил – совсем по-взрослому. И старательно смотрел Мордехаю в лицо, точно боялся отвести глаза. Наверное, если бы Моня отвел глаза – то разревелся бы.

– Может, вы, дядя Мордехай, и вправду чего-то такого хотите... Но она – не хочет, чтобы мы стали лучше. Она хочет, чтобы мы стали хуже. Стали бы, как немцы. Чтобы мы не книги читали по вечерам, а дули бы пиво в пивных. И чтобы не умели и не хотели поддерживать друг друга.

– Монечка... – сказал Мордехай и попытался улыбнуться. Наверное, улыбка вышла жалкой: губы дрожали. Но он из последних сил снова постарался говорить ласково. – Ну с чего ты взял, что немцы умеют только пить пиво и не умеют поддерживать друг друга?

– Потому что те, кто умеют сами поддерживать друг друга, никогда не придумали бы СС, – непримиримо ответил мальчик. И вдруг он обеими ладошками схватил Мордехая за руку и моляще, опять чуть ли не навзрыд выкрикнул: – Она же ээсовка, дядя Мордехай! Ну как вы не видите?

Неумело, неловко, сам тут же смертельно испугавшись содеянного, свободной рукой Мордехай наотмашь ударил Моню по лицу. И не кулаком, и не распахнутой для пощечины ладонью, а какой-то нелепой застенчивой горстью. Так – он вспомнил – строят ладонь «лодочкой», здороваясь, в родной деревне отца, где Мордехаю однажды, в возрасте Мони, довелось побывать.

– Что ты знаешь об СС, щенок? – фальцетом выкрикнул он.

Голова мальчика тяжело мотнулась. Но он так и не отвел взгляда. Только слезы в его глазах мгновенно высохли, он отпустил руку Мордехая, и в голосе всякий намек на мольбу пропал.

– У меня по истории одни пятерки, – жестко сказал он, повернулся и пошел прочь, к напряженно поджидавшим его друзьям.

Мордехай не помнил, как добрел до дому. Все плыло, земля тошнотворно и скользко раскачивалась под ногами.

Первый раз в жизни он ударил человека. Ребенка. Ребенка ударил!

Письменный стол был завален бумагами, и отчетливо пахло сигаретным дымом. Магда правила его последнюю рукопись – и, конечно, курила в кабинете, уверенная, что муж вернется еще не скоро и дым успеет выветриться. Некоторое время Мордехай стоял, тяжело опершись обеими руками на стол, глубоко дыша и бессмысленно глядя на собственные строки – пытался привычной, покойной обстановкой кабинетной работы вытравить, нет, хотя бы пригасить шок. Все хорошо. Все нормально. Вот замечательный абзац... Идет работа, идет... Магда заменила несколько слов – правильно заменила, так лучше, понятней... Вот главное, а досадные, пусть даже болезненные мелочи – мелочи и есть...

– Мордик... – донеслось из спальни. Он вздрогнул. – Как хорошо, что ты нынче пораньше... накапай мне корвалолу, пожалуйста. Погода, что ли, меняется...

Он с трудом, не сразу решившись, оттолкнулся ладонями от стола – он боялся, что, потеряв опору, может упасть – и, старчески шаркая, поплелся в кухню, чтобы накапать жене корвалолу.

«Она видела, – подумал он, механически отсчитывая ритмично падавшие в стакан капли, безнадежно пахнущие близкой бедой. – Она наверняка видела. В магазин вышла или просто подышать воздухом... Но сама она никогда мне не скажет об этом – разве что я спрошу прямо». Мордехай знал, что никогда не решится ее спросить. Забудем. Не заметим. Ничего не произошло. Те два раза ему удавалось стереть свастику прежде, чем ее могла бы увидеть жена. На этот раз он сплеховал... Не уберег.

Прошло с четверть часа, пока он с мокрой тряпкой в руке вышел на улицу снова.

Свастика пропала. Лишь темнело на стене, с достоинством высыхая, примирительное влажное пятно. Наверное, у ребят совесть проснулась.

Ребят тоже не было на площадке. Никого не было.

Нигде никого не было.

Давно уже не работалось ему так хорошо, как в то знаменательное утро. Собственно, сядя за стол, Мордехай и не подозревал, что оно окажется столь знаменательным. Наоборот, в последнее время не было особых тревожений, общественная деятельность на какое-то время понемногу сама собой отошла на задний план, и, как всегда в подобных случаях, в мозгу безо всякого принуждения, ровно дождавшиеся тепла мандарины на ветках, начали зреть и поспевать идеи... Уже несколько лет Мордехай мог следить за специальной литературой лишь урывками, от случая к случаю – и это сказывалось, конечно; будь ты хоть семи пядей во лбу, невозможно все придумать самому. На днях он наткнулся на интереснейшую статью Нолана и Дюбуа, качественно развивавшую теорию компактифицированных измерений – и статья будто сорвала бельмо с мордехаевых глаз. Мгновение назад была пелена, сквозь которую и не видать почти, так, лишь смутные контуры неведь чего – и вдруг все стало резко, четко, ясно. Восторг, накачавший на Мордехая в подобные моменты, был не сравним ни с каким иным; наверное, так чувствует себя прикованный к инвалидному креслу человек, вновь обретая способность ходить, – да что там ходить: ездить на велосипеде, путешествовать по горам; или и впрямь слепой, которому чудо врачевания возвращает краски и объем мира... И сама эта теория, и разрабатываемый под нее математический аппарат так ловко укладывались в давно пестуемую Мордехаем концепцию многолистной Вселенной, что теперь оказалось можно, больше года простояв перед запертой дверью в растущий до небес хрустальный дворец, вбежать туда и запрыгать, как мальчишка, с песенкой, вверх по сверкающей парадной лестнице – через две, через три ступеньки!

Он проснулся от смутного, но невыносимого беспокойства в полпятого утра, осознал, что его разбудило, – и, наскоро умывшись, убежал в кабинет. Магда проснулась, ему показалось, минуты через две – на самом деле уже в десятом часу; позвала его завтракать. Он спросил лишь чашку кофе – не хотел прерываться, боялся потерять мысль. Мордехай сейчас был столь всемогущ, что, казалось, мог любую из звезд Галактики потрогать рукой прямо из своего рабочего кресла, даже не вставая – какой уж тут завтрак, зачем! Завтраков будет еще тьма-тьмуца, а вот таких часов...

Но оказалось, что звезды, как всегда, подождут, а борьба с бомбами и всем, что с ними связано, – нет.

– Мордик! – что было сил крикнула жена из соседней комнаты, и он в первое мгновение испугался, что с нею что-то случилось. Его любимая ручка (подарок жены на день рождения) точно сама прыгнула у него из руки и покатила куда-то в угол; он вскочил и бросился на крик. Продолжение настигло его уже на пороге. – Мордик, смотри скорей! Началось!!

Она сидела перед телевизором, напряженно ссутулившись, схватившись за подлокотники кресла побелевшими пальцами. Когда он вбежал,

она даже не обернулась. Мордехай сначала не понял, что уж там такое ей показали: ну, Стена плача, ну, как всегда народ суетливо, плотно топчется, ровно пчелы перед летком улья... Потом понял: слишком много вэйбинов.

– ...И трое студентов Иерусалимского великого училища, – говорил диктор. Чувствовалось, что он с трудом сохраняет сообразное спокойствие голоса; профессия того требовала, однако тревожная багряная искра то ли возмущения, то ли недоумения – а может, все-таки восхищения? – отчетливо мерцала сквозь серую завесу показного нейтралитета. – Все пятеро одновременно, видимо, по сигналу, который подал кто-то один, сорвали с себя кипы, пропитанные, как сейчас говорят, горючей смесью, и подожгли, бросив себе под ноги. Воспользовавшись замешательством, молодые люди развернули большой лозунг, написанный на пяти наречиях: на ханьском, на иврите, по-русски, арабицей и, видимо, специально для иностранных туристов и телеоператоров, которых очень много на Храмовой горе в это время дня, – по-английски: «Мне стыдно быть ютаем!» Буквально через несколько минут нарушители были задержаны и препровождены в управу. Сопротивления никто из них не оказал, но, когда лозунг у них отобрали, они начали выкрикивать то его текст, то иные поносные фразы. Сейчас следователи пытаются выяснить побудительные мотивы этого странного человеконарушения. «Столь вопиющего оскорбления чувств верующих я не припоминаю», – сказал нам в первом коротком интервью мэр Иерусалима...

Магда выключила телевизор и лишь тогда обернулась к ошарашенному Мордехаю.

– Чистые юноши... – выдохнула она.

Ее сухие глаза сверкали гордо и отрешенно, а слезы восхищения лишь дрожали в голосе, точно капли воды на ветровом стекле повозки, без тормозов несущейся под уклон. Магда поднялась с кресла, подошла к мужу и положила руки ему на плечи.

– Ты сумел, – тихо проговорила она. – Ты разбудил, ты добился... И это – только начало, я уверена. Ох, что с ними теперь будет, с этими героями... с этими святыми... Надо немедленно требовать их освобождения.

Затрезвонил телефон.

– Теперь оборвут, – проговорила Магда. Мордехай не пошевелился. Телефон звонил, точно обезумев. – Подойди, – велела она. – Это тебя. Это наверняка тебя.

Импровизированная пресс-конференция собралась через каких-то полчаса. Мордехай и Магда едва успели переодеться да еще поймать европейскую программу новостей – там уже успели смонтировать экстренный выпуск, и в нем все было показано куда подробнее: торопливо препровождаемые в вэйбинские повозки задержанные громко и слаженно скандируют: «Ю-тай – не-го-дай! Ю-тай – не-го-дай!»; по низу экрана, как торопливые муравьи на своей тропе, бегут титры перевода. Крупным планом: один из вэйбинов – то ли по неаккуратности, впопыхах, то ли по злему умыслу («Нарочно, разумеется... – сквозь зубы процедила Магда. – Подонок...»),

нагибая голову одного из студентов перед открытой дверцей повозки, бьет беднягу лбом о борт вэйбинской повозки. Кругом беснуются возмущенные ютаи – очень много ютаев, но их всегда много у Стены плача; впрочем, пойди это объясни европейцу – и вполне можно подумать, будто толпа допотопных существ в черных шляпах и долгополых пиджаках сбежалась со всего города, исключительно чтобы разъяренно потрясти кулаками на молодых свободоробцев, куда тех ведут и увозят... Потом пошли первые отклики. «Французские мусульмане горячо приветствуют поступок молодых иерусалимских подвижников, бросивших вызов единомыслию, и призывают всех своих живущих в Ордуси единоверцев поддержать...»

И тут в дверь позвонили.

Некоторых Мордехай уже более или менее знал или хотя бы помнил в лицо – они частенько сбегались к нему и к Магде за комментариями, стоило в Ордуси случиться хоть какому-нибудь нестроению; а уж знаменитый публицист Иоахим фон Шнобельштемпель, постоянно аккредитованный в Иерусалиме корреспондент журнала «Ваффен Шпигель», давно стал другом семьи. И нынче столь стремительная встреча тоже сорганизовалась лишь благодаря его хватке и напористости. Знаменитый журналист был из тех немногих людей, коим Мордехай доверял безоговорочно. Он вошел в квартиру последним, демократично пропустив, как обычно, перед собою всех менее именитых коллег; и выглядел он, в отличие от то ли робевших, то ли слишком взволнованных прочих, очень по-свойски, по-домашнему и, как всегда, – не при галстукке и не при параде. Он будто пришел на досуге покопаться в саду, подрезать розы, подровнять газоны: в простом полосатом бухенвальде⁵⁰, до половины расстегнутом на потной груди (жарко европейцу!), и в мягких туфлях. Пока телевизионщики устанавливали свои осветители, прикидывали ракурсы, почтительно нацепляли на Мордехая и Магду семечки крошечных микрофонов, Мордехай лихорадочно пытался осмыслить произошедшее.

Он никак не мог прийти в себя. Ему, в сущности, совсем не понравилось то, что случилось несколько часов назад на Храмовой горе. Это все было как-то нелепо, грубо... да, именно – грубо, иного слова просто не подо-

⁵⁰ Переводчики затрудняются точно описать вид этого одеяния, но название, пожалуй, говорит само за себя. Здесь ван Зайчиков смех сквозь слезы может кому-то показаться чрезмерным, даже нарочито кощунственным – но это лишь на первый взгляд. В конце концов, нам ведь не резало и не режет слух жаркое слово «бикини», бывшее в ходу столько десятилетий! Как вовремя оно было вброшено, как стремительно сделалось всеобщим символом пляжных соблазнов! Как славно прикрыло реальный Бикини! Оно ведь совсем не напоминает нам о сожженном несколькими атомными испытаниями атолле, о радиоактивной рыбе, всплывавшей брюхом вверх в сотнях миль от места триумфов американской науки, о японском траулере, заваленном радиоактивным пеплом... Слыша фразу «девушка в бикини», мы почему-то представляем сверкающие от загара стройные формы курортных красавиц, а вовсе не горсть обугленной костной муки, вплавленной в остекленевший песок бывшего кораллового пляжа, – как, собственно, следовало бы...

брат. Неуважительно... Почему – «стыдно»? Почему – «негодяй»? Ютай вовсе не негодяй... Если человек нуждается в покаянии, это совсем не значит, что он плох, наоборот, это значит, что он – хорош и у него есть шанс стать еще лучше, гораздо лучше! Но как это объяснить, когда все так разгорячено? Если сейчас он, Мордехай, откажется одобрить молодежную выходку, получится, что он – предал. Даже Магда не поймет его, не говоря уж обо всем остальном мире... И в то же время кривить душой он не мог. Никогда этого не мог. Никогда не кривил и не станет. Надо было найти такие слова, которые поддержали бы бросивших вызов власти и засилью ютаелюбия молодых **свободоробцев** в этот ключевой момент их жизни – а может быть, и в жизни всего улуса, – но в то же время аккуратно, тактично дали бы понять, что сам Мордехай вовсе не одобряет подобных ругательных склонностей и способов. Надо было найти такие слова, которые точно соответствовали бы отношению самого Мордехая к случившемуся – но слова отчего-то никак не находились. Буквально в последний момент он понял, почему: потому что само отношение не сформировалось пока. Но уже надо было говорить. И говорить в очень неловком положении: заданный ему вопрос как бы заранее предполагал, даже предопределял многое из того, что, на взгляд Мордехая, еще было отнюдь не бесспорным, не аксиоматичным: «Как вы относитесь к подвигу?..»

– Э-э... – сказал Мордехай. – Собственно, прежде всего следовало бы понять и выяснить те мотивы, которые сподвигли молодых людей на их... э-э... поступок, – слова «подвиг» он все же нашел в себе силы не повторить. – Я уверен, конечно, что мотивы эти... э-э... благородны, но подобный порыв может иметь и какую-то... э-э... скороспелую подоплеку. Когда я слышу произносимое в чей-либо адрес голословное обвинение, мне сразу хочется защищать того, кого обвиняют. Пусть даже я сам в какой-то степени... э-э... с обвинением эмоционально согласен. А тем более, если не согласен.

– Но в данном случае вы согласны или нет?

Корреспондентам было не до диалектики неимоверно сложной жизни. Похоже, они даже не понимали, о чем Мордехай ведет речь. Им хотелось простых решений.

– Э-э... – сказал Мордехай. – Если любого человека, которому есть, в чем каяться, мы станем называть негодяем, то тем самым мы в зародыше погубим в нем и желание покаяния, и его смысл. Тем более это верно, если мы так поступим с... э-э... целым народом. Ту или иную часть народа и впрямь могут составлять люди недобродетельные или даже себялюбивые, но ведь это верно и по отношению ко всем остальным народам. Разве можно провести тут статистический анализ и в зависимости от его результатов объявить один народ недобродетельным, а другой... э-э... отличным от первого? Разве дело в статистике? Не по этому критерию народы отличаются один от другого, а по наличию или отсутствию нравственной перспективы, каковая... э-э... в качестве первостепенного и начального условия своей реализации от каждого представителя того

или иного народа требует личного покаяния вне зависимости от его реального участия или неучастия в неблагоприятных деяниях, совершенных данным народом на протяжении его истории.

Лица корреспондентов, по мере того как Мордехай старался говорить как можно точнее и понятнее, почему-то отупевали. Только фон Шнобель-штемпель, много и плодотворно беседовавший с Мордехаем на самые разные темы, был по-настоящему подготовлен к восприятию его высказываний; и сейчас он, словно бы и не участвуя в интервью, просто сидел, сцепив руки на животе, и отечески улыбался, слушая Мордехая, а время от времени коротко и даже с некоторым превосходством оглядывал коллег: видали, мол, как? Он-то все это понимает, а вы? Осилите?

– Поэтому, например, слово «негодяй» имеет смысл лишь как... э-э... первый шаг на пути нравственного самосовершенствования. Если человек произносит это слово по отношению к себе в таком контексте, что, например, я – негодяй, я осознал это и хочу исправиться, тут одно. Если же оно произносится просто в качестве констатации факта – это совсем другое и может... э-э... может сыграть прямо противоположную роль: человек, признавший, что он негодяй и успокоившийся на этом, способен ощутить даже некое чувство... э-э... негодяйской свободы, негодяйского удовлетворения: да, я негодяй, ничего тут не поделаешь, и не стоит лезть из кожи вон, притворяясь хорошим, будем негодяйствовать впредь еще пуще. Это... э-э... очень тонкий и очень важный момент. Возможен ли неоскорбительный позыв к покаянию или призыв к нему? Думаю, что вполне возможен. Возможен ли просить прощения у соседей или у соседних народов, что, в сущности... э-э... одно и то же, не бранясь при этом на себя и не впадая в самоненависть? Думаю, да. Следует только... э-э... отдавать себе отчет в насущной необходимости крайней бережности...

Магда положила ему руку на колено и ласково стиснула пальцы на миг: мол, все хорошо, но ты чересчур увлекся. Мордехай сразу замолчал и растерянно обернулся на жену: что не так?

– Я сейчас поясню, – сообщила она, но в наступившей тишине лишь молча достала папиросу; видеокамеры и диктофоны почтительно сохраняли для мировых новостей и для потомства, как Магда чиркнула спичкой, как раскурила «черноморину» и затем, уже написав ее тлеющим огоньком первую дымную петлю, начала выполнять обещание. – Мой муж хочет сказать, что благородный порыв юных героев может оказаться благотворным для массы средних ютаев лишь в том случае, если те выкажут духовную силу согласиться с бранью в свой адрес и сумеют использовать ее в качестве отправной точки для покаяния. Если же они воспримут ее как просто брань и ответят новым взрывом ожесточения и самовосхваления – полагаю, именно так и окажется, – это окончательно лишит народ ютаев будущего. Данный факт должны осознать и власти Ордуси, и мировое сообщество. И первым шагом подобного осознания должно стать немедленное освобождение свободорбцев из застенка. Если наши власти не сумеют

этого вовремя сделать сами – им должен напомнить об этом окружающий мир. От вас очень многое может зависеть, господа.

У Мордехая чуть округлились губы, и он задумчиво уставился в одну точку. Это было, как показалось ему поначалу, не совсем то, к чему он пытался подвести, казалось бы даже – совсем не то; но, если подумать, Магда опять, в который уже раз, коротко и четко сформулировала мысль, к которой он только еще начинал подбираться. Насколько позволял темп ситуации, он попытался проанализировать отчеканенные женою формулировки – и не мог не признать, что, мощным прыжком перескочив через десятки оговорок и уточнений, никому, видимо, неинтересных и неважных в лихорадке сегодняшних событий, Магда сказала именно то, что он, Мордехай, наверное, как раз и хотел. За одним лишь исключением.

– Э-э... – сказал он. – Не могу не уточнить все же, что я лично верю в благополучный исход.

Он имел в виду, что ютаи, если воспользоваться выражением Магды, окажутся как раз таки да, способными использовать случившееся в качестве отправной точки для покаяния, и собрался было сказать об этом поподробнее; но корреспонденты, поняв его так, что он верит в скорое освобождение бунтарей, решили, будто фраза окончена, и один из них сразу задал следующий вопрос.

– Успели просочиться слухи, – сказал он, – будто, по крайней мере, один из выступивших перед Стеной плача студентов не вполне нормален психически. То ли он употреблял наркотики, то ли он жертва тоталитарного родительского воспитания... Как вы полагаете, реальна опасность того, что весь сегодняшний инцидент будет сведен властями к медицинскому, так сказать, казусу?

– Вполне реальна, – отрезала Магда.

– В связи с этим у меня вопрос другого порядка, может быть, не совсем по теме, – не отрывая взгляда от своего блокнота, поднял карандаш другой корреспондент. – Касательно отношения простых жителей улуса к вам самому, уважаемый господин Ванюшин. Беседуя о вас и вашей деятельности со многими жителями улуса, я не раз сталкивался с высказываниями наподобие: а, ну это же больной человек, что с него взять... Вас иногда жалеют, сочувствуют даже, но это сочувствие совсем не того рода, на какое вы рассчитываете. Во всяком случае, ваша точка зрения подчас представляется простым людям просто манией. Известно ли вам это, и если да, то как вы к этому относитесь?

– Они бы рады-радешеньки засадить нас с мужем в психоприимный дом! – саркастически усмехнувшись, громко проговорила Магда.

– Даже так? – поднял брови корреспондент.

– У меня нет этому... э-э... прямых подтверждений, – честно усомнился в словах жены Мордехай. Магда лишь скривила губы – снисходительно и даже с какой-то жалостью; а потом, искоса глянув на журналистов, словно бы и их пригласила разделить ее чувства. Ну, посмотрите, мол. Ну что, мол, мне с ним делать. Ну как можно быть таким доверчивым идеалистом...

Глядя куда-то в пространство, Мордехай вдруг едва заметно улыбнулся. – Э-э... – сказал он. – Знаете, это так естественно... Подозревать тех, кто мыслит иначе, чем ты, в каком-нибудь недуге и лишь этим недугом объяснять все его кажущиеся странности... в природе человека, увы. Надо к этой слабости относиться снисходительно. В конце концов, еще в библейские времена... – наклонив голову набок, он замолчал на мгновение. Глаза его сделались совсем беззащитными и совсем грустными. – Если помните, пророк Елисей, любимый ученик Илии... э-э... он как раз совершил очередное благодеяние – сделал воду в Иерихоне здоровой и чистой, а потом направился, кажется, в Самарию, вразумлять царя... И малые дети вышли из города, насмеялись над ним и говорили: иди, плешивый! Вот все, что могли ему сказать спасенные люди...

Присутствующие невольно глянули на его макушку. Там, совсем уже поредевшие, но все равно не покорные ни единой расческе, в плотном свете киношных ламп горели раскаленным серебром пушистые седые нити, несколько не прикрывавшие младенчески розового, гладкого темени. Магда матерински улыбнулась и провела ладонью по голове Мордехая. Вот и драматургия, с удовольствием подумал фон Шнобельштемпель. Пресс-конференция, которую он единым махом организовал сегодня, и, честно сказать, немножко волновался за исход своей импровизации, явно удавалась. Старина Мордехай, правда, внес в нее сейчас несколько неуместный, внеполитический мотив мучительности личного одиночества... ну, ничего. Как подать.

– Замечательный пример, – сказала Магда, вновь повернувшись к журналистам. – Мой муж, к счастью, не иудейский пророк, а просто очень хороший человек. Гражданин мира. Потому что знаете, чем кончилась эта история? Елисей в ответ проклял детишек именем господним, из леса вышли две медведицы и растерзали сорок два ребенка⁵¹. Число задранных заживо детей Библия сообщает даже с гордостью... А Елисей с чистой совестью отправился обличать беззакония царя. Не забудьте. Это специальный привет тем, кто любит говорить о врожденной мягкости и интеллигентности ютаев, об их генетически запрограммированном уважении к чужой жизни...

Кто-то из корреспондентов – Мордехай не понял, кто – даже причмокнул от удовольствия. Беседа опять вернулась в надлежащее русло.

– А знаете что? – сказала Магда. Все взгляды снова обратились к ней. – Если мой муж проклянет ютаев – мало им не покажется!

Раздался дружный смех.

– Я для всех хотел бы... э-э... только добра, – мучительно возразил Мордехай и подслеповато заморгал. Но осекся и не стал продолжать. Его вдруг словно ошпарило внезапно налетевшее опасение: как бы Магда не подумала, будто он выгораживает ютаев. Нет, ни в коем случае. В нем ЭТОГО нет.

К тому времени как импровизированная пресс-конференция закончилась, с Мордехая семь потов сошло. Ни о какой работе сегодня уже и речи быть не

⁵¹ 4 Цар. 2:21–24.

могло, так его измотали полтора часа невероятных усилий хоть как-то высказать то, что он ощущал и думал, высказать простыми и понятными словами, без подготовки, без написанного заранее – и тоже в непосильных муках – текста или хотя бы наброска текста... Для Мордехая все эти публичные действия были мукой ада, он совсем не был приспособлен к ним, у него не было к тому ни малейшего таланта; но приходилось. Потому что это было нужно. Людям нужно. Стране нужно. Человечеству нужно...

Сердце ныло, ныло... Будто ему наскучило сидеть взаперти, в темной и тесной духоте за грудиной; будто оно, как ребенок, жалобно и безнадежно хнычет, просилось гулять, хотя уже само наперед знало, что – не выпустят...

А Магда цвела. Ее глаза сверкали, щеки покраснелись, она была взвинчена и хмельно весела. Будто после какой-то победы. Будто после долгожданных объятий возлюбленного. Все спорилось в ее руках, летало, порхало, когда она заваривала себе кофе. Она была буквально создана для работы с людьми, и Мордехай в который раз за эти годы порадовался, что она рядом. И все же... все же...

– Магдуся... – тихо позвал он.

Она пригубила кофе, потом подняла голову.

– А?

– Ты все же... э-э... иногда бываешь очень резка. Людей легко обидеть. Понимаешь? А мы ведь совсем не этого хотим.

Она поставила чашку и улыбнулась.

– Пророк мой... – нежно сказала она. – Ты так любишь ссылаться на Библию, так вот я тебе напомним. Бог сказал Аврааму: во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее!

4

Они не виделись больше двух лет. С тех пор как за Мордехаем и его женою установилась простая, всем понятная и все объясняющая репутация злых ютаененавистников – то ли подкупленных недругами Ордуса, то ли свихнувшихся на ненависти к народу, среди коего жили, то ли еще почему, уж и не так важно, – Мордехая сделалось тягостно бывать на людях. Он превозмогал себя, лишь когда этого настоятельно требовали его общественные обязанности; ради себя – никогда. Ходить на работу в институт, пусть даже изредка, пусть даже только в дни полочки оказывалось просто невыносимо.

И сейчас он договорился о встрече со знакомцем еще по атомно-оборонной эпопее так, чтобы прошмыгнуть в его кабинет тихо и незаметно, как ночной воришка – поздно вечером, через три часа после окончания официального рабочего дня, когда даже самые увлеченные и самые дотошные энтузиасты уж разошлись по домам: к женам, детям, книгам, танцам, говорливым посиделкам с приятелями под толику пива или вина...

Собственно, эту встречу тоже можно было бы отнести к подобным поси-

делкам. Огромный кабинет был освещен лишь настольной лампой, затерявшейся на просторах письменного стола, точно старенький слабосильный маяк посреди океана. В круге света стояла бутылка особой мосыковской; со времен работы на упрятанном в глубинах Александрийского улуса секретном объекте оба физика более всего полюбили этот непритязательный, но, как с поразительной для ученых убежденностью оба полагали, крайне полезный для здоровья ядерщиков напиток. Рядом с бутылкой искрились две рюмки, а уже на границе сумерек ждали своей участи несколько скороспелых бутербродов. Любой владелец даже самой мелкой лавки в самом неподходящем месте Яффо, уверенный, что едва сводит концы с концами, искренне ужаснулся бы такому харчу: надо совсем себя не уважать, чтобы этак пить и закусывать! И это, мол, знаменитые люди! Но тем, кто всю жизнь, точно дух божий над водами, парит над великими загадками мироздания, подобные пустяшные соображения не приходят в голову: в жизни главное – время. Если можно сварганить подходящий для дружеской беседы стол за пять минут, никто не станет тратить на это дело десять. Да к тому ж красивая посуда, полная изысканной снеди, тем более – породистые дорогие напитки уже сами собою навяжут галстуки на шею; те, в свою очередь, обяжут говорить светские фразы – и пропал вечер. Как раз то, ради чего все и затевалось, ускользнет, потеряется среди никому всерьез-то не нужного сверкания хрусталя и ничего не дающих ни уму, ни сердцу вежливых общих слов... А жизнь так коротка! И без политесов-то ничего не успеваешь...

Два великих физика, два старых друга, ютаененаневистник номер один и директор ядерного института в Димоне пили водку.

– Нет, Мордехай, нет, – зажевав опрокинутые в рот полста грамм слущенным с бутерброда ломтиком сухой колбасы, сказал один. – Не проси. Это безумие. Не могу.

– Но почему? – проговорил другой. – Соломон, ты подумай... подумай без сердца. Без предвзятости. Ведь действительно наш вклад в создание бомбы – и здесь, и в Штатах – поразительно велик. Грех говорить такое, спесь какая-то просматривается, да? Но ведь это правда. Это факты. Вот у меня бумаги, можешь посмотреть...

– Да не буду я смотреть.

– Ты же ученый. Истина для тебя должна быть дороже всего на свете, Соломон. Разве можно закрывать глаза на истину?

– Да какая это к черту истина? Ты бы еще посчитал, сколько ханьцы, сколько арабы и сколько мы мух перебили за свою жизнь, охраняя свои тарелки на обеденных столах, – кто больше?

– Как ты можешь? Речь идет не о мухах.

– Тьфу! Да я не о том!

– Если тебе в голову приходят такие ассоциации – значит...

– Ничего это не значит.

– Я читал подобные лекции по всему Александрийскому улусу. Даже в их ядерных центрах. Даже русские разрешили, ты подумай!

– Их проблемы. Может, им приятно слушать, что их ученые – бездари, а всю работу сделали ютаи. Может, они мазохисты.

– Нет, просто они не зажмуривают глаза, видя неприглядность жизни. Это делает им честь. А нам – нет. Мы отказываемся смотреть жизни в глаза, Соломон. Наше сознание полно мифов, мы лелеем их, пестуем... Мы не станем современным народом, пока наши мифы для нас ценнее и важнее живой жизни. Мы не народ, а допотопное племя, средневековые... э-э... мракобесы, вот мы кто. Наше архаичное, полное предрассудков сознание не способно смириться с тем, что кто-то может свободно высказывать свою точку зрения по любому поводу. Низ-зя! А почему «низ-зя»? Некультурно... так не говорят и так не поступают воспитанные люди... Это же пещерный бред, Соломон! Доисторические табу! Человечество идет вперед, оно давно стряхнуло с себя пугающее... э-э... несекуляризированного... э-э... мифологизированного сознания...

– Мордехай, в таких случаях твои любимые русские говорят: в огороде бузина, а в Киеве дядька.

– Э-э... Не понимаю, на что ты намекаешь.

Они беседовали уже второй час. Щуплый, сутулый и длинный – с одной стороны стола; огромный, полный, потный – с другой. За окнами медленно проплывали тишина и тьма; стоявшие в углу высокие старинные часы – невидимые, лишь смутно мерцавшие поодаль, точно рослый, но ленившийся выйти из своего угла круглолицый призрак, – с таинственными вздохами и скрежетами отбивали каждую четверть часа, и казалось, что дышит и скрежещет сама мгла кабинета. Скрежет зубовой во тьме внешней...

В бутылке оставалось совсем немного.

– Взять хотя бы Пурим наш замечательный... Три седмицы осталось, вот хоть его взять. Праздник веселья и любви, понимаете ли! Мы ведь до сих пор воздаем ему дань символическим, да, пусть хоть и символическим – но все же людоедством! Мы... э-э... каннибалы! Гоменташи – это что? Пусть нам стыдливо лепечут, что это, дескать, Аманов кошелек – мы-то знаем, это озней-аман! Отрезанные уши несчастного Амана... И мы их по сию пору едим, а ведь уж двадцать первый век на дворе! Не-ет, пока ютаи празднуют Пурим, они не станут полноценной нацией. Этот день должен быть объявлен днем национального покаяния. Так мы покажем пример всем остальным... Вот в чем мы будем впереди всех, вот в чем должна стать наша избранность...

– Ох, Мордехай. Французы вон день взятия своей Бастилии празднуют – а с чего, казалось бы? Лучше бы всплакнули. Развалили памятник старины, поувечили несчастных сторожей, а узников-то и не оказалось... Раз, два – и обчелся. А сколько крови они потом пролили – и своей, и чужой... Четверть века лили! И ничего, празднуют, даже гордятся. А те же русские – они каждую масленицу солнце едят! Всем народом накидываются на солнце и поедает его, не делясь с остальным человечеством. Это вообще за предел. Ты бы, наверное, сказал: есть блины – угроза всему миру! Предложи-ка им покаяться в том, что всякий, кто едет к теще на блины, тем самым претендует на мировое господство. А я посмотрю, как они тебя послушают...

Довод был сильным. Тем более, Мордехай и сам любил блины – особенно с икрой. Он сделал хороший глоток из своей рюмки – и нашелся. Вообще он в последнее время стал замечать, что в отсутствии Магды оказывается куда лучшим говоруном и даже спорщиком, чем когда она рядом. Наверное, за прошедшие годы он слишком привык полагаться на нее в том, что у него самого получалось не лучшим образом, – и это расслабляло. А когда ее не было – не на кого оказывалось надеяться, приходилось самому...

Но как приятно, когда она рядом и можно хоть часть груза сбросить с плеч! Как сладко чувствовать, что ты не один!

– Разница в том, – отставив рюмку, назидательно сказал Мордехай, – что русские реально за всю свою весьма разнообразную историю солнце все ж таки ни разу не погасили и не проглотили. А мы едим уши реально погубленного нами персидского патриота и до сих пор при этом радуемся.

– Тьфу! – ответил Соломон.

И они выпили еще по одной. Бутылка показала дно.

– Нет, – сипло сказал Соломон, цапнул ломтик колбаски с последнего бутерброда. – Нет, – повторил он, прожевав. – Достаточно того, что мы в семье всякий раз, как на Песах читаем о десяти казнях египетских, отливаем из чаш по капле вина⁵². Выплескивать всю свою жизнь я не собираюсь.

– Мифы, ритуалы... – Мордехай задумчиво и печально покачал головой в ответ. – Ничего живого... Все просто живут – а нам непременно Третий Храм подавай, без него все не в радость...

– Кому-то Третий Рим, кому-то Третий Храм, – отозвался Соломон. – У всех свои тараканы. А только вот что я тебе скажу: дай Бог, один на тысячу об этом помнит. Остальные и впрямь... просто живут. И молодцы.

– Не-ет... – убежденно покачал головою Мордехай. – Ты не понимаешь. Может, и не помнят – но червячок неудовлетворенности гложет, гложет... И отсюда все время горечь: недополучили мы! недодали нам! Мало, мало, мало!!

– Это тебе, Мордехай, все мало и мало, – с тяжким вздохом сказал Соломон и принялся грузно и одышливо, как Левиафан на мели, устраиваться поудобнее в своем кресле. – Я тэбэ адын умный вещь скажу, только ты нэ абижайся... – процитировал он одну из любимых ими в молодости коме-

⁵² Насколько известно переводчикам, во многих традиционных еврейских домах, когда во время пасхального *седера* (трапезы) читается *хаггада* (сказание) об исходе евреев из Египта, при упоминании каждой из казней египетских, посредством которых Бог принуждал фараона отпустить евреев из страны, принято отливать по капле ритуального вина из чаш в знак того, что радость празднующих не полна. Так демонстрируется сочувствие египтянам, пострадавшим ради того, чтобы народ Израиля обрел свободу. Характерная деталь: даже всемогущий Бог, и даже в ту совсем не демократичную пору, когда возможности народа воздействовать на власть были равны нулю, не нашел иного способа вразумлять неразумного правителя, кроме как мучить и уничтожать подвластных ему простых, ничего не решавших и ни в чем не повинных людей. Печально, но иных методик, по всей видимости, и впрямь не существует...

дий. – Это тебе мало. Тебе нужен разом и Третий Храм, и Третий Рим. И желательно Эдем туда же. В одном флаконе. Такой идеальный идеал, чтобы – ух! Вот тогда ты, может, успокоишься... да и то – так разогнался, что и в раю не затормозишь...

– Перестань, Соломон, – устало отмахнулся Мордехай. – Хоть ты-то не строй из меня... э-э... психа на воле... – и тут, не выдержав, выкрикнул горько и страстно: – Ну посмотри же сам!! Ни один народ в мире не живет своим прошлым настолько, насколько мы! Эх, да что говорить... Мы претендуем на то, что вполне идем в ногу со временем, и в то же время продолжаем всерьез пользоваться лунным календарем. Это же... ну.. ни в какие ворота. Новый год по Луне, все праздники по Луне... Луна – это наш бич. Иногда мне кажется, что она как якорь держит нас у старого, давно уж пустого берега и не пускает в плавание...

– Да вы, батенька, поэт! – хохотнул захмелевший Соломон.

– Может быть, – серьезно согласился Мордехай.

Он тоже уж изрядно вкусил крепкого алкоголя, но так нервничал, что водка сказывалась лишь благотворно: он чувствовал себя свободным, раскованным, будто в одиночестве за письменным столом, посреди блистательного математического преобразования, и почти забыл свое «э-э». Ему было с чего нервничать: от исхода разговора многое зависело. Но Соломон оставался глух, и это было так грустно, так больно... Даже на слова о луне он отреагировал лишь иронией. Он не понимал ничего, ровным счетом ничего.

– Знаешь, – сказал Мордехай задумчиво и склонил голову набок, – мне никогда не приходило в голову рифмовать, но жизнь я ощущаю так, что... – он запнулся, подбирая слово. Однако как раз тут его поэтического дара не хватило; он так и не закончил фразы. Соломон, поняв, что не дожидается продолжения, только отмахнулся.

– Да уж вижу я, как ты воспринимаешь жизнь... – сокрушенно пробормотал он. Набычась, долго смотрел на друга и коллегу молча. При его комплекции и пышной всклокоченной растительности на голове это производило сильное впечатление. – Мордехай, Мордехай, что ты творишь...

В ответ Мордехай не произнес ни слова. Разговор не удался.

– Вторую откроем? – с робостью, неожиданной для человека его заслуг, комплекции и ранга, предложил Соломон. Мордехай поразмыслил, потом отрицательно покачал головой. Соломон угрюмо кивнул; он и сам был далеко не уверен, что так уж необходимо удваивать ставки; просто жаль было расставаться, а ведь понятно, что, когда водка кончилась, за пустым столом долго не усидишь. – А знаешь, ютаенелюб ты наш... я по тебе соскучился.

Мордехай только опустил глаза.

– Ладно, – с тяжелым вздохом произнес Соломон. Он придвинул к себе лист бумаги, открыл дорожную ручку с золотым пером. Размашисто расписался. – На, держи, – пустил летучий листок через стол к Мордехаю. – Вот разрешение на пользование мастерскими... Твои технические задания бу-

дут рассматриваться приоритетными. Я понимаю... Не работать ты не можешь, а на людях тяжело... Все понимаю, Мордехай. Одного не понимаю – как ты дал этой бабе так задурить себе голову...

– Не смей!!! – фальцетом выкрикнул Мордехай.

Ночь будто раскололась. Так от тонкого, пронзительного крика скрипки лопаются стеклянные сосуды. Так лопаются сосуды в мозгу, когда давление крови становится для них невыносимым... Соломон отшатнулся. Несколько мгновений он сидел неподвижно, откинувшись на царственную спинку своего директорского кресла, точно расплющенный по ней молотом взорвавшейся слишком близко чужой ярости; потом помотал головой, приходя в себя. И, словно бы ничего не произошло, закончил:

– А вот лекцию твою об адской роли ютаев в разработке атомного оружия – не позволяю. Не могу. Теперь иди, – он помедлил и добавил. – Один иди. Я тут, может, еще выпью.

И Мордехай пошел. Тщательно упрятав листок с разрешением в принесенную папку, а папку – в «дипломат», он встал и, не говоря больше ни слова, пошел. От тоски ему хотелось умереть. Он честно старался убедить Соломона, он от всей души надеялся, что хоть в этот последний вечер в старом друге возобладает разум, он взял с собою все свои расчеты и списки – но Соломон не хотел ни смотреть, ни слушать. Соломон не оставил Мордехаю выхода. Если бы Соломон стал его единочачателем, Мордехай бы все ему выложил. Силовой блок изделия нуждался в небольшой переделке. Но теперь...

Впервые в жизни Мордехай обманул друга. Обманул сознательно, нарочно. Но так было нужно.

Идеалы – требовательные наставники.

БОГДАН ОУЯНЦЕВ-СЮ

Яффо,

Йом ха-Алия, 12-е адара, утро

За ночь пришла настоящая весна.

И это было правильно.

Такой день не мог не быть умиротворяющим и лучезарным. Такой день не мог не сиять. Такой день не имел ни малейшего шанса оказаться не похожим на праздник – ни на земле, ни в небе; оставить море плеваться пеной, а тучи – угрюмо перекачивать по небу свои мокрые серые лохмы было бы со стороны ютайского Бога просто неуважительно к избранному народу своему; можно даже сказать – несообразно.

Теперь же, выглянув с утра в окошко, всяк мог удовлетворенно и с искренней благодарностью произнести тщательно уложенное в память вскорости после младенчества и никогда приличному человеку не на-

доедающее «Барух Ата Адонай, Элохейну мелех хаолам...»⁵³ – и дальше что-нибудь относительно метеорологии.

В восемь утра, миг в миг, к гостинице подали лакированные повозки типа «лимуцинъ»⁵⁴ – повышенной удобства, длинные, обтекаемые, как подводные атомоходы, и катящие так мягко, точно постеленное им под колеса дорожное полотно ткали из гагачьего пуха. В первую очередь заехали за гостями – как, собственно, установлено еще совершенномудрыми правителями древних времен.

Бек Кормибарсов, ставший сейчас юношески проворным и хлопотливым, первым сбежал к повозкам, проверил, точно ли напротив выхода из «Галута» расположилась задняя дверца первого «лимуцинъ», потом торопливо вернулся в номер. Таинство сборов отца в дорогу он не доверил никому. Фирузе с взбодораженной, но изо всех сил старающейся вести себя сообразно Ангелиною уже ждали у второй повозки; в первую загружали мужчин, второю должны были следовать за ними женщины. Водители сошлись покурить, о чем-то оживленно беседуя и с удовольствием оглядывая ослепительную лазурь небес. Минуты три Ангелина ждала смиренно. Потом энергия возраста, помноженная на жгучее стремление показать себя и свои таланты, взяла свое; независимой походкой она подошла к водителям, задрала голову так, что ее белые банты упруго уткнулись ей в спину, и за просто, будто всю жизнь говорила на языке ютаев, бабахнула: «Шалом! Дерех тов?»⁵⁵ «Да, – уважительно подумал Богдан, – дочка не зря провела вчерашний вечер...» Оба водителя, уставившись на пигалицу, на миг умолкли от неожиданности, потом захохотали. Переглянулись и вдруг загомонили на два голоса, бурно жестикулируя (по горизонтальному мельканию их ладоней можно было понять, что дорога гладкая-прегладкая) и через два слова на третье повторяя очень убедительно: «Тов, тов! Лело тов, хазор тов!»⁵⁶ То есть они рассказывали, судя по обилию эмоций и слов, еще много чего про дорогу, а может, и не только про дорогу – но глаза у Ангелины очень быстро сделались стеклянными, и она, снизу вверх серьезно глядя на больших дядей, умеющих управлять «лимуцинъями», лишь молча – правда, весьма солидно и даже, можно сказать, вдумчиво – кивала, стоически делая вид, что все еще участвует в беседе. Фирузе, потаенно улыбаясь, слегка

⁵³ «Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной» (*ивр.*). Начальная, вводная фраза любого благодарственного благословения. Напр.: «Барух Ата Адонай, Элохейну мелех хаолам, борз при хагефен» – «Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы» (произносится перед возлиянием).

⁵⁴ *Лимуцинъ* (驪母進) – досл.: «продвижение вперед матушки Ли» (*кит.*). По всей видимости, это сокращение фразы *Лишань лаому цзинь* (驪山老母進) – «Почтенная матушка с гор Лишань движется вперед». Почтенная матушка с гор Лишань – известная в даосизме святая, проповедница и кудесница, славящаяся своей добротой и скорыми перемещениями на зов страждущих.

⁵⁵ «Здравствуйте! Дорога хороша?» (*ивр.*).

⁵⁶ «Хороша, хороша! И туда хороша, и обратно хороша!» (*ивр.*).

прижалась к Богдану и, приподнявшись на цыпочки, носом провела по его щеке: вот, мол, какая дочка у нас; минфа, чувствуя, как от умиления у него пощипывает в носу, обнял жену за плечи. Так они и стояли любуясь – пока из врат гостиницы не показались старшие Кормибарсовы.

Оживленный рассказ водителей про дерех и как-то, вероятно, связанные с нею материи сам собою затих. Невесомый, сухой и седой, ровно ком тополиного пуха, Кормибарсов-старший медленно, но верно шествовал, опираясь на благоговейно подставленную руку Кормибарсова-младшего. Для Богдана, привыкшего видеть гордого бека в лязгающей и неподъемно тяжелой от орденов бурке, на белом коне величавого достоинства, эта картина была откровением: заботливый шестидесятилетний сын, прикусив губу от старательности, не отрывал цепких глаз от дороги и, казалось, разглаживал и подметал ее взглядом, дабы, не дай Аллах, какой-нибудь непочтительный камешек не попался отцу под подошву мягкого сапога и не затруднил его продвижения к цели.

Богдан невольно подобрался. Распрямил, сколько сумел, спину. Краем глаза увидел, что и на веселых водителей явление Кормибарсовых произвело не меньшее воздействие: присевший на капот повозки вскочил, оба вытянулись и побросали сигареты. Кормибарсовы приблизились, а в двух шагах от дверцы «лимузинья» и вовсе остановились. Старец, точно на смотре, оглядел вверенный ему на сегодняшний день ограниченный контингент (судя по всему, остался доволен) и, чуть раздвинув беззубый рот в приветственной улыбке, сказал:

– Саям.

Богдан, уже видевшийся нынче со старцем (он зашел в номер к старикам еще до завтрака, дабы пожелать доброго утра и справиться о том, как оба почивали – а заодно и убедиться, что те не проспали), смолчал и лишь чуть поклонился.

– Саям алейхем, – чуть вразной ответили водители серьезно.

– Почему мы еще не едем? – обстоятельно выговаривая каждое слово, осведомился патриарх. – Мы можем попасть в пробку. Я знаю, у вас тут много пробок. Нехорошо заставлять Моше ждать. Он может подумать обо мне плохо.

Ясно было без слов, что в такой день городские власти уличного движения на самотек не пустят. Но Богдан все же позволил себе подать голос – только чтобы успокоить старца, столь щепетильного в вопросах чести.

– Думаю, сегодня пробок не будет.

Старший Кормибарсов медленно перекатил на него водянистый взгляд и несколько мгновений смотрел, словно бы вспоминая, кто это. Потом узнал. В глазах его, как это уже было полтора часа назад, зажегся приветливый огонек.

– Богдан, – раздельно произнес он, точно проверяя, правильно ли помнит.

– Да, дедушка, – смиренно проговорил минфа. Старец перевел взгляд еще чуть левее и увидел Фирузе.

– Моя внучка будет тебе хорошей женой, – заверил он.
– Мы уже девять лет женаты, – позволил себе слегка уточнить минфа.
– Девять лет, – повторил старец, словно пробуя эти слова на вкус. Пожевал губами: впечатление стало полным. – Как летит время, – легко прокомментировал он услышанную новость. Повернулся к беку. – Почему мы не едем? – сварливо спросил он. – Ты хочешь, чтоб мы опоздали и Моше стал думать обо мне плохо?

Бек только засопел, как несправедливо обиженный, но хорошо воспитанный ребенок. И молча потянул старца к повозке.

Богдан уселся рядом с водителем. Кормибарсовы уместились в горнице «лимуцзиня» – старец справа по ходу, бек – напротив него, спиной вперед. Водитель, прежде чем усесться за руль, поставил на столик между ними бокалы и несколько бутылочек с прохладительными напитками. По плану церемонии проезда место рядом с Кормибарсовым-старшим должен был занять Рабинович-старший, которого старец – надо думать, по старой памяти, а отнюдь не из каких-то религиозных соображений, – продолжал называть, как в молодости, Моисеем; для Раби Нилыча же предназначалось место напротив отца, то бишь рядом с беком.

Поехали наконец.

Пробок и впрямь не оказалось.

Ах, что за улицы в Яффо! Повозки словно стояли или даже – висели в мягкой, ничем не колеблемой пустоте, а мимо сами собою текли зеленые людные проспекты, приветливые дома, и сразу вдруг – просторные площади и высотные деловые башни: Алмазное товарищество, компьютерное сообщество «Тавор»⁵⁷, уверенно начавшее теснить своей продукцией даже прославленные «Керулены», – и правильно, и нечего почивать на лаврах...

Когда подъехали к особняку Рабиновичей, Богдан издалека углядел Риву, дежурившую у врат в ожидании. Девушка заметила приближающиеся повозки, и ее как ветром сдуло. Повозки остановились, водитель проворно выскочил наружу и открыл заднюю дверь со стороны оставшихся незанятыми мест. И началось явление второе.

Широкие створки остекленных дверей распахнулись – одну отворила Рива, другую Рахиль Абрамовна, супруга Мокия Ниловича; а через мгновение в яркий утренний свет солнца из сумеречных глубин особняка сам отставной Великий муж, блюдущий добродетельность управления, с пре-

⁵⁷ В традиционной транскрипции – Фавор. Переводчики предполагают, что Х. ван Зайчик намекает на известную гору Фавор, что относительно неподалеку от Назарета. Традиционно считается, что именно на Фаворе произошло Преображение Христово, и именно поэтому выражение «Фаворский свет» вошло в века. Переводчики также склонны полагать, что ордуских ютаев побудила назвать свою электронику именем данной горы память отнюдь не о чтимых христианами, а о куда более родных им событиях (по времени, правда, значительно более давних, нежели рождество Христово). Близ Фавора сынами Израиля была некогда одержана одна из самых значительных их военных побед.

дельно доступной человеку бережностью медленно выкатил кресло, в котором укутанный пледом по пояс, в старомодном европейском костюме с галстуком, уложив иссохшие руки на подлокотники, восседал похожий на вырезанного из сандала даосского святого сам великий Нил Рабинович.

Доселе Богдан видел замечательного старца лишь на портретах. Относились те, вероятно, ко временам много более ранним – а может, что греха таить, и парадность в них некая наличествовала; но теперь минфа не мог не признать, что внушительный муж с картин – без возраста, с нечеловечески гладкой, будто оштукатуренной кожей и героически устремленным в светлое будущее взглядом, не видящим никого ближе машиаха⁵⁸, – производил куда меньшее впечатление, чем маленький, будто ребенок, одряхлевший и согбенный титан с ярким молодым взглядом.

Стоявший у дверцы водитель непроизвольно вытянулся по стойке «смирно». Кормибарсов-старший невнятно завозился и вдруг – бек Ширмамед то ли не успел, то ли, наоборот, не решился ни остановить отца, ни помочь ему, – боком-боком елозя по сиденью, переместился к открытой дверце «лимуззиня» и с неожиданной бодростью выбрался наружу. Шагнул навстречу неспешно надвигающемуся креслу.

Нил слегка пристукнул левой ладонью по подлокотнику.

Раби Нилыч немедленно остановился, и кресло остановилось тоже.

С шушанием сронив плед с колен – Раби Нилыч молча нагнулся и подобрал его, – Нил натужно воздвигся из кресла и на дрожащих ногах сделал шагок навстречу старому другу.

Патриархи обнялись.

– Здравствуй, Измаил, – сказал Нил.

– Здравствуй, Моше, – сказал Измаил.

Оба говорили по-русски.

Богдан знал, что ханьская грамота так и не далась основателю Иерусалимского улуса, а старший Кормибарсов так и не удосужился всерьез заняться ивритом – и потому уж много десятилетий назад они сошлись на русском, который знаком был Измаилу сызмальства, как родной, а для Нила, будучи близок его родному польскому, не составил труда; на немецком же, как поначалу в рейхе, им говорить то ли не хотелось, то ли не моглось. И Богдану, в общем-то, лишённому того, что называется национальными

⁵⁸ *Машиах* (ивр.) – то есть «помазанник». Соответствующее ему арамейское слово *мешиха* приняло в греческом произношении форму *мессиас*, от которого уже и произошло употребляющееся в русском языке всем известное слово «мессия». Ожидание мессии, который возродит былое могущество сынов Израиля и восстановит таким образом мировую справедливость, является весьма существенной составляющей иудаизма. С этим связаны и моменты, которые можно было бы назвать курьезными, если бы не неизбывная драматичность подобных идейных разломов: например, самые ортодоксальные евреи не признают государства Израиль (хотя при этом могут вполне благополучно обитать в нем – одно другому не мешает), поскольку оно было создано не мессией, а обычными людьми, прибегавшими ко вполне обычным средствам.

предрассудками, это было все-таки приятно. Бог знает, почему. Какая разница, на каком языке говорят люди друг с другом? Важно, что именно они друг другу говорят. Все так – а вот поди ж ты... Приятно. Что-то тут есть загадочное. Хотя от большого ума объяснение придумать, конечно, легче легкого: не может не быть приятно, что юное твое наречие, аз-буки-веди твои в коротких штанишках, пригодились, чтобы могли беседовать по душам такие люди... А все ж таки сим соображением приятность не исчерпывалась, была у нее составляющая необъяснимого, почти физиологического уровня...

– Сколько раз тебе повторять, – укоризненно проговорил Нил. – Я Нил.

– Ты во Христе Нил, а по работе Моше, – ответил старший Кормибарсов. – Кто вывел свой народ из европейского пленения?

– Мы вывели, – сказал Нил.

– Э-э, нет, – сказал Измаил. – У нас говорят: кismet улем эдер, калям эдер. Судьба делает тебя и тем, кто пишет, и тем, чем пишут... Я только выполнял приказ. Он мне нравился, но не я его придумал. А ты принимал решение сам. Поэтому я был лишь калямом в руках Аллаха, а ты написал «да» собственной рукой.

Нил в ответ лишь похлопал Измаила по спине маленькой и узловатой, похожей на волосатый коричневый комочек ладошкой.

Раби Нилыч тактично кашлянул, смиренно стоя с пледом в руках. Нил обернулся к нему.

– Хочешь сказать, что мы опаздываем?

Раби Нилыч уклончиво опустил глаза.

– Без нас не начнут, – сказал Нил Рабинович, но, сказавши веское слово, тут же уперся руками в подлокотники и стал осторожно оседать обратно в свое кресло.

Когда патриархи обосновались наконец на отведенных им местах, водитель и Раби Нилыч завезли в чулан «лимузиня» на время переезда опустевшее колесное кресло, а потом торопливо расселись. И повозки вновь двинулись, теперь уже чтобы покинуть город и по широкому тракту номер один устремиться в столицу.

Все молчали – и от волнения, и от почтения. Как и следовало ожидать, молчание смогли нарушить лишь старцы – вновь раздалась их немощные, но полные покоя и достоинства голоса. Богдан прислушался.

– Вон, видишь, лопухая голова на переднем сиденье?

– В очках? Вижу.

– Это муж моей внучки...

– Какой молодой.

– Тридцать пять.

Поразительно, что старый Кормибарсов, оказывается, более-менее понял возразить Богдана. Он ошибся совсем пустяшно.

– Совсем мальчик.

– Хороший мальчик. Хочет всем только добра.

– Не перестарается?

– Вряд ли. Истый православный конфуцианец. Знает, что значит золотая середина...

– Пф! Конфуцианец... Не очень-то я доверяю всем этим новомодным течениям. Вот в наше время...

Среднее поколение почтительно молчало.

Водитель коротко покосился в сторону Богдана; в глазах его прыгали веселые чертики, и минфа подумал, что тот понимает, о чем беседуют старцы. Оставалось лишь сделать каменное лицо и любоваться дорогой.

А любоваться было чем. Повозки с немислимой быстротой неслись на восток, помаленьку поднимаясь все ближе к небу вместе со всею равниной. Там, в вышине, среди зеленых от древесного рукоделья гор, ждал Иерусалим.

Иерусалим! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!

Когда Богдан, отрешившись от благоговейных христианских предвкусений, снова прислушался, старцы продолжали беседовать, но поначалу Богдан не понял сути их речей.

– ...Вы самый лучший народ из всех, какие возникали среди людей: повелеваете доброе, запрещаете худое и веруете в Аллаха⁵⁹, – говорил Измаил.

– Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли⁶⁰ – отвечал Нил.

Оба удовлетворенно захихикали.

– Правверные! – сказал потом Измаил. – Не входите в дружбу ни с кем, кроме себя самих: они непременно сведут вас с ума; они желают того, чтобы погубить вас. Вот вы – вы любите их, а они вас не любят; вы веруете во все Писание, и когда встретитесь с ними, то и они говорят: «мы веруем»; когда же бывают у себя наедине, от гнева на вас грызут персты. Если случится с вами что-либо хорошее, это огорчает их, а если постигнет вас что-либо огорчительное, они радуются тому⁶¹.

Нил чуток поразмыслил и ответил:

– Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоём, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: «пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои», то не соглашайся с ним и не слушай его; и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его; твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтоб убить его, а потом руки всего народа; побей его камнями до смерти⁶².

– Сражайтесь на пути Аллаха, – сказал Измаил, – с теми, которые сра-

⁵⁹ Коран. «Семейство Имрана», аят 105.

⁶⁰ Втор. 28:1.

⁶¹ Коран. «Семейство Имрана», аяты 114–116.

⁶² Втор. 13:6–11.

жаются с вами. Убивайте их, где ни застигнете⁶³, – помедлил и для пущей вескости добавил: – Если они отворотятся, то берите их, убивайте их, где ни найдете их, и не избирайте из них себе ни друга, ни покровителя⁶⁴.

– Слушай, Израиль, – едва дождавшись, когда друг договорит, ответил ему Нил, – ты теперь идешь за Иордан, чтобы овладеть народами, которые больше и сильнее тебя. Знай же ныне, что Господь, Бог твой, идет пред тобою, как огонь поядающий; Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их, и погубишь их скоро⁶⁵.

Пожалуй, только зная друг друга более полувека, пройдя вместе и огонь, и воду, и медные трубы, можно было позволить себе столь утонченное развлечение. Но патриархи веселились, как дети. Голоса их звенели озорно и молодо.

– Итак, – сказал Нил, – обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковейны; ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров, Который дает праведный суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле Египетской⁶⁶.

– Помните, – немедленно подхватил Измаил, – благодеяние Всевышнего: когда вы были врагами между собою, Он сдружил сердца ваши, и вы, по благодати Его, сделались братьями; в то время как вы были на краю огненной пропасти, Он отвел вас от нее⁶⁷.

– Сладок друг сердечным советом своим, – мягко сказал Нил. – Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего: лучше сосед вблизи, нежели брат вдаль⁶⁸.

– Мир есть доброе дело, – согласился Измаил. – Своекорыстие постоянно в душе людей; но если вы благотворительны и благочестивы, то Аллах ведаёт, что делаете вы⁶⁹.

– Когда поселится пришлец в земле вашей, – сказал Нил, – не притесняйте его: пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; люби его, как себя; ибо и вы были пришельцами в земле Египетской⁷⁰.

– Это уже было, – безапелляционно отмел Измаил. – Повторяешься. Чувствуешь? Коран добрее.

Нил чуть помедлил.

– Зато ютаи сами по себе добрее, – просто парировал он.

⁶³ Коран. «Корова», аяты 186–187.

⁶⁴ Там же. «Жены», аят 91.

⁶⁵ Втор. 9:1–8.

⁶⁶ Там же. 10:12–19.

⁶⁷ Коран. «Семейство Имрана», аяты 98–99.

⁶⁸ Прит. 27:9–10.

⁶⁹ Коран. «Жень», 127.

⁷⁰ Лев. 19:33, 34.

И опять оба захихикали, судя по всему, страшно довольные встречей, друг другом и изысканной беседою.

«Как это хорошо и правильно, – думал Богдан, – что в священных книгах по любому поводу написано столько разного. Никогда не встретишь однозначности. Всегда найдешь взаимоисключающие предписания. Можно подыскать божественные оправдания любым побуждениям, благородные мотивы самым разным поступкам. Но это вовсе не изъясн! Те, кто ищет в текстах противуречия и глумится над ними, глумится на самом деле над уважением Неба к человеку, потому что именно этими противуречиями и дается свобода воли. В том-то и отличие Писаний от, скажем, простенького софта, а того, кто создан по образу и подобию Божию для самостоятельной и ответственной жизни, – от ноутбука, который Бог наскоро пристроил у себя на коленях, чтобы набросать письмецо соседнему Всевышнему... Важно, что человек пишет сам, своей рукой».

А пока он размышлял столь возвышенно и благочестиво, повозки, плавно следуя бережным поворотам тракта, вьющегося среди пологих зеленых гор, приближались к самому священному городу на Земле; торчащие в стороны серебряные рога зеркал заднего вида расчесывали чистый здешний воздух, и тот вполголоса пел от удовольствия.

Иерусалим, Йом ха-Алия, 12-е адара, день

Официальные мероприятия всегда были тяжки для Богдана, и, зная это свойство своего характера, он смолоду страшился карьерного роста, вполне здраво отдавая себе отчет в том, что чем выше должность, тем более долги и часты церемониальные сидения, с нею связанные. Если бы ему дали просто побродить весь день по Святому городу... Но увы. Повозки лишь чиркнули по дальней окраине Гефсиманского сада, в котором бы помолиться как следует, никого не видя и не слыша; за окнами лишь мелькнули и улетели назад Львиные ворота – за ними начинался Крестный путь, а им пройти бы тихо, молча, вдумчиво, не раз и не два... А уж надвигалось великое празднование великого события с непременно сопровождающей такое дело толпою.

Когда огромный зал стал наполняться, Богдан чувствовал себя просто запечным тараканом, которого зачем-то выволокли на самую середку горницы и булавою прищипили на всеобщее обозрение.

Поэтому от следующих нескольких часов у него осталось лишь очень смутное впечатление, слипшееся, как позавчерашняя лапша, в бесформенный синевато-серый ком. Даже созерцание невиданного изобилия великих людей, собравшихся разом в относительно небольшом объеме, – в общем-то, лестное всякому нормальному человеку, который сподобился оказаться в то же время в том же месте, – не грело душу, оставив скорее впечатление

нескончаемого пролистывания неподъемного фотоальбома, престижного для живущих иллюзорными ценностями взрослых: «А вот, девочки и мальчики, французский президент д'Хомейни, прямо из Виши приехал; а вот похожий на ходячую башню престарелый великий певец Дементиос Русопятос, наверное, петь будет; а вот атаман иорданского козачьего войска при полном параде – смотрите, смотрите, весь аж звенит, ровно скобяная лавка! Когда его спросили однажды, с какой такой радости козаки потянулись в Иерусалимский улус, в места, где их отродясь не водилось, он лишь ответил сурово: "Козаки булы не тильки завжды, но и усюды!"» А девочки и мальчики украдкой зевают и мечтают о том только, когда же вся эта взрослая тягомотина кончится наконец и вернется живая жизнь, чтобы можно было играть в лапту или в козаки-разбойники на зеленой опушке либо, заведя погромче песенки хоть того же самого Русопятоса, читать на душистом сеновале книжки про пиратов, или космонавтов, или – да! да! в книжке-то это куда как интересно! – про знаменитых иноземных президентов.

Начал приходить в себя Богдан лишь во время торжественного стоячего обеда, именуемого на европейский манер фуршетом. В Иерусалимском улусе многое называлось на европейский манер: сказывалось то, что улус молод, а здешние пожилые подданные вполне еще помнят свое западное житье-бытье, причем – как все, что ушло вместе с юностью и не грозит возобновиться, – помнят с симпатией. После трапезы планировались обзорные проезды по городу, любование балетом «Лебединый исход» и еще какие-то важные ритуалы – всяк мог выбирать себе по вкусу, надлежало лишь заявить о выборе загодя. Богдан и Фирузе решительно выбрали город, а для Ангелины и подавно сомнений не было; как поведала мужу Фирузе, когда они снова повстречались после раздельного проезда в «лимуцзинях», девочка чуть в окно повозки не выскочила, вернее, даже не в окно, а в окна, сразу в два противоположных – когда повозка катила по Дерех ха-Офель (повстречала-таки егоза свою «дерех»!), и на фоне сверкающего праздничной синевой южного неба справа оказалась гора Масличная с золотыми маковками храма Марии Магдалины, а слева – гора Храмовая с огромным золотым куполом мечети Омара... Наверное, только потому, что разорваться пополам не получилось, дочка и осталась на месте, в кабине – два равных по силе позыва в разные стороны погасили один другой. Богдан был бы счастлив пойти с семьей гулять.

Но – могли не пустить дела.

Равномерный гул сотен голосов, обильно сдобренный звяканьем ножей и вилок, хлопаньем пробок и время от времени – тостами, уж не официальными, а междусобойно произносимыми то тут, то там, напоминал рокот загруженной под завязку стиральной машины, в коей время от времени позвякивают о прозрачную крышку застежки ли, забытые ли в кармане порток ключи...

Фирузе с удовольствием кушала (не сама ж готовила – отчего бы и не покушать? вот когда сама – тогда так у плиты настоишься да напробуешь-ся, что, когда до еды доходит, уже кусок в горло нейдет...); что же до Анге-

лины, то возбуждение в ее глазах помаленьку сменялось отрешенной мечтательностью: похоже, юная дева уже прикидывала, как окажется в привычной обстановке, среди подруг, и можно будет хвастаться. Представьте, там был сам французский президент, только что из Виши! И Дементиос Русопятос! Все, что, длясь реально, было не более чем занудной выдумкою очень уважаемых, но очень скучных взрослых – станет тогда сияющим, греющим душу и вызывающим зависть сверстниц и сверстников воспоминанием... Богдан подумал, что, верно, в этом-то и заключен смысл участия в подобных церемониях – если только нет какой-то специальной задачи: встретиться, например, с кем-то очень нужным, до кого добраться либо трудно, либо вовсе невозможно, и в непринужденной обстановке, как бы невзначай, мимоходом, под напитки, переговорить о существенном...

Именно на последнее Богдан и рассчитывал – и, завидев издалека, как Раби Нилыч, держа полупустой бокал крепко, ровно факел, с заметной алкогольной размашистостью обходит оживленно жующие и пьющие группы и направляется к нему, к Богдану, минфа понял, что ждал не зря.

– Ну, как вы тут? – спросил Раби Нилыч. В глазах его искрился благородный градус выпитого.

– Все замечательно, – искренне ответил Богдан. Фирузе, чуть улыбнувшись, лишь кивнула – но ее мягкая благодарная улыбка стоила многих торжественных речей. – А где наши старцы?

– Уединились в дальнем углу, – сказал Раби Нилыч. – Там у них что-то вроде клуба ветеранов образовалось. Еще несколько судьбоносцев той поры к ним примкнуло – и теперь их в двадцать первый век уж не вытащишь... Бойцы вспоминают минувшие дни и храмы, где вместе молились они... – процитировал он, а потом, как человек исключительно добросовестный и не терпящий ни малейших неточностей, ни малейшего, пусть даже невольного обмана собеседника, добавил: – И порознь тоже.

Он приглашающе поднял свой бокал, глянул в глаза Богдану.

– Что пьете, Раби Нилыч? – спросил Богдан.

– «Арарат», разумеется, – задорно сказал Раби Нилыч. – Кто не любит коньячок – тот по жизни дурачок... А ты?

– Ради такого случая – и я, – сказал Богдан. Огляделся в поисках разносчика, но Ангелина его опередила: стремглав бросилась к ближайшему, проходившему шагах в пяти. Остановила его, что-то сказала, потом сказала громче, и ее укоризненный голос отчетливо донесся до умильно ждавших ее взрослых: «Ну что вы такое себе придумали, прер еч разносчик! Это же не мне – это папе!» Уже через мгновение она двинулась обратно – с бокалом лимонада в одной руке и бокалом коньяка в другой. Подошла степенно, как взрослая, и с легким поклоном подала коньяк Богдану.

– Вот спасибо, – сказал Богдан.

– Пейте на здоровье, папенька, – ответила Ангелина. Фирузе, снова улыбнувшись, взяла со стола свой бокал, на донышке которого ярко алел недопитый гранатовый сок.

– Шестьдесят лет... – сказал Раби Нилыч. – Кто бы мог подумать тогда... – и прервал себя. – Ладно, ребята, длинных тостов мы нынче уж наслушались. Давайте так: за следующие шесть тысяч. А там видно будет.

– Давайте, – сказал Богдан. Коньяк в бокале звал. Ангелина, привстав на цыпочки, потянулась своим пузырящимся лимонадным бокалом к взрослым и, глядя на Раби Нилыча, серьезно сказала:

– Ам Израэль хай⁷¹.

Раби Нилыч, наклонившись, очень осторожно, чтобы не повредить банты, погладил своей широкой ладонью Ангелину по голове, а потом прилежно чокнулся с нею. Сказал:

– Воистину хай.

Они выпили – каждый свое. Ангелина гордо стреляла блестящими черными глазищами вправо-влево. Глаза у нее все ж таки были от матери, не славянские. Того и гляди, подрастет и решит быть Фереште...⁷²

– Просьбу я твою выполнил, – без перехода сообщил Раби Нилыч. – Пошли.

Богдан чуть растерянно оглянулся на жену.

– Надолго? – спокойно спросила Фирузе.

– Не исключено, – ответил Раби Нилыч.

– Если что – идите гулять без меня, – сказал Богдан.

И вдвоем с Раби Нилычем они пошли через зал.

С трудом протиснувшись в середину плотной группы, что-то бурно обсуждавшей по-ютайски, Раби Нилыч аккуратно тронул за плечо азартно размахивавшего вилокю – в такт словам – полного человека средних лет, в кипе, с белыми кисточками, свисавшими из-под черного пиджака; тот обернулся, умолкнув на полуслове. Раби Нилыч что-то сказал ему вполголоса (Богдан разобрал лишь собственное имя); человек в кипе внимательно посмотрел на Богдана и кивнул. Щеки его застольно алели, но взгляд был трезвым и острым.

– Это еч Арон Гойберг, – сказал Раби Нилыч по-русски Богдану, – директор КУБа. Прошу любить и жаловать.

– Нинь хао, баоюй тунджи⁷³, – с безупречной вежливостью произнес Гойберг.

Богдан ответил сообразно и через несколько мгновений с облегчением

⁷¹ «Жив народ Израйля» (*ивр*).

⁷² «Половина письма была посвящена проблеме выбора имени для малышки. Хотя, казалось бы, все уж было сто раз говорено-переговорено – но вот вспыхнула новая мысль... "Пускай станет Фереште, – писала жена, – ты помнишь, это значит Ангел. И у вас, мой возлюбленный, есть такое же замечательное имя: Ангелина. Мы запишем нашу звездочку в управе Ангелиной-Фереште, а уж как она подрастет и характер ее установится, и делается ясно, чья кровь в ней оказалась сильнее, мы с нею втроем решим, ангел какого наречия ей более по душе..."» – Х. ван Зайчик. «Дело незалежных дрэвишней».

⁷³ «Здравствуйте, драгоценнояшмовый единочатель» (*кит.*).

убедился, что Гойберг владеет ханским в совершенстве, так что разговор на уровне «дерех тов» или «лапоть щи вкусно» им не грозит; в глубине души он слегка этого опасался.

– Ну, теперь я вас оставляю, – сказал Раби Нилыч и широко улыбнулся. – У вас, как я понимаю, дела. А я на пенсии.

И удалился, явственно озираясь в поисках разносчика.

– Рад, что вы изъявили желание познакомиться, – сказал Гойберг. – Должен признаться, узрев ваше яшмовое имя в списке приглашенных, я испытал то же самое стремление.

– Я лелею ничтожную просьбу, которой, может быть, осмелюсь затруднить вас, оттого и просил Мокия Ниловича нас свести, – ответил Богдан. – Неужели я смогу гордиться тем, что, со своей стороны, окажусь в состоянии чем-либо помочь нефритовому одиночайтелю?

– Как знать, – сказал Гойберг. – Если вы не против, давайте отойдем... Может быть, даже уединимся. Вон за теми лаковыми ширмами есть замечательные эркеры, и наверняка заняты не все.

– Почту за честь, – поклонился Богдан.

Мимоходом прихватив у ближайшего разносчика по бокалу, они оставили зал. Чинно расселись в удобных светлых креслах напротив друг друга, поставили бокалы на низкий стеклянный столик. Богдан, отстраненно и даже чуть иронично ощущая себя в глубине души героем фильма про разведчиков, положил ногу на ногу. Станным образом здесь, за прекрасной высокой ширмой, расписанной пионами и фазанами, почти не слышен был гомон и гул колоссального застолья. Акустика помещений дворца явно продумывалась высочайшими мастерами своего дела.

Несколько мгновений длилось молчание. Каждый выжидал. Потом Гойберг взял свой бокал и не спеша пригубил. Богдан последовал его примеру. Оба отставили бокалы одновременно, и два легких стеклянных щелчка, с которыми донца коснулись поверхности столика, почти слились в один.

– Наслышан о вас и ваших удивительных расследованиях... – начал Гойберг.

– ...проведенных исключительно совместно с моим другом и одиночайтелем Багатуром Лобо, – тут же уточнил Богдан. – Он всегда демонстрировал исключительные способности к сыску, моя же роль оставалась весьма скромна.

– Именно, – сказал Гойберг. – То есть я имею в виду не распределение ролей, тут возможны разные мнения, и мне до этого нет дела. Я имею в виду совместность. Когда я узнал, что прилетели вы в Ургенч, дабы присоединиться к старцам, не с супругой и дочерью из Александрии, а напрямую из имперской столицы, каковую посетили один, нежданно и без видимых причин, а ваш друг и одиночайтель прибыл в улус едва ли не одновременно с вами, и притом вы приехали порознь, как бы не ведая о поездках друг друга...

Богдан произвольно хотел прервать кубиста, и, хотя сразу осадил себя, чуткий Гойберг уловил его порыв и вежливо умолк. После короткой паузы он осведомился:

– Вы что-то хотели сказать, одиночайтель Оуянцев-Сю?

– Да, хотел, – произнес Богдан. – Так получилось, увы, что в последнее время мы редко виделись с ечем Лобо и действительно не знали о поездках друг друга. Ханбалык я очень люблю, с ним у меня связаны личные воспоминания – вот и воспользовался случаем, чтобы слетать на денек. Отпуск... А то, что мы с Багом оба здесь, выяснилось лишь вчера, и для обоих это оказалось сюрпризом. Приятным сюрпризом, должен сказать. Еч Лобо не имеет счастья быть в родстве или, как ваш покорный слуга, в свойстве с лицами, роль коих в образовании досточтимого улуса столь велика, поэтому он не был зван на празднество официально. Но посетить один из улусов Ордуси в день его торжества, полюбоваться великолепным праздником и принять в нем посильное неофициальное участие – что может быть естественней для доброго подданного?

– Да, – чуть помедлив, согласился Гойберг. – Это, разумеется, так. Вы, возможно, и не представляете себе, какая это головная боль для безопасности – такие праздники.

– Праздники всегда связаны с лишними хлопотами, – пожал плечами Богдан. – Но и радость от них неизмерима.

Гойберг сцепил пальцы.

– Хорошо, – сказал он. – Возможно, я не совсем верно начал. Я хотел сказать лишь, что прекрасно помню статьи основного закона, относящиеся до разделения полномочий. Закон для меня свят. Закон для всех для нас свят, может быть, вы это знаете – мы люди Закона. Дело в том, что мы здесь и так на довольно странных правах – у себя дома и все же в значительной степени в гостях. Приглашены из милости...

– Вы так это расцениваете? – удивленно поднял брови Богдан.

– А как еще это можно расценивать? – тоже с искренним удивлением отозвался Гойберг. – Впрочем, я не ропщу. Роптать было бы достойно лишь религиозного фанатика, а я таковым, смею надеяться, – он вежливо улыбнулся, но глаза его остались холодны, – не являюсь. Шестьдесят лет назад это было наилучшим выходом, выбором наименьшего из многих зол. Но получить землю, обещанную тебе Богом, из рук всего-то лишь чиновников имперской администрации – это, согласитесь... Впрочем, вам, вероятно, трудно понять. Вашему молодому народу, я имею в виду. Две тысячи лет ожидания – это... – он повел рукою, не в силах, возможно, подобрать соответствующего ханьского слова сразу, да так и не договорил, но лишь взялся за свой бокал и сызнова пригубил. Богдан ждал продолжения, не сделав ни малейшего движения, чтобы составить Гойбергу компанию. – А потому ко всем нашим прерогативам, вообще ко всему, что основным законом оставлено в ведении улусных властей, я отношусь с особым трепетом. С особым. Мы рады гостям, особенно столь известным и столь человеколюбивым, как вы, драгоценный преждедрожденный Оуянцев-Сю, или ваш друг и едиnochаятель Лобо. Но поймите меня правильно... Если праздник – для вас всего лишь предлог, и вы приехали сюда для проведения некоего тайного расследования – я это скоро узнаю. И, если так, буду вам всячески препятствовать. Во всяком случае, покуда вы не уведомите о рас-

следовании власти улуса по официальным каналам и не попросите официально же о содействии. Простите за откровенность, драг прер еч.

Гойберг умолк.

Богдан помолчал, а потом с облегчением вздохнул и широко улыбнулся.

– Господи, – проговорил он, – святые угодники! Вот что вы подумали! Неужели у нас такая репутация?

Он потянулся к бокалу, поднял и приглашающе качнул им в сторону собеседника. Гойберг смотрел недоверчиво, но после едва уловимой заминки взял свой.

– Давайте выпьем, – сказал Богдан, – за то, чтобы все наши профессиональные усилия всегда приносили плоды.

– Я не против, – выжидательно проговорил Гойберг. Они чокнулись и сделали по глотку.

– Мы приехали с ечем Лобо совершенно независимо, но относительно меня вы правы, я действительно веду расследование, – сказал Богдан. Гойберг встрепенулся и хотел сказать что-то, но Богдан, не дав ему вклиниться, продолжил: – Назвать его можно так: приручение идеалов.

– Что? – растерянно спросил Гойберг.

– Или, может быть, лучше даже: разминирование... – задумчиво проговорил Богдан. Поправил очки. Помедлил. – И, поскольку я сейчас в отпуске, то и веду это расследование на свой страх и риск, совершенно неофициально. Потому и не мог официально вас о чем-либо предупредить. Неофициально же я как раз собирался все вам рассказать и даже попросить о содействии. Именно потому я и просил Мокия Ниловича нас познакомить.

– Почтительно внимаю драгоценному одиночайтелю, – сказал Гойберг, глядя на Богдана внимательно и оценивающе.

– Вы, вероятно, знаете, что я возглавляю службу этического надзора Александрийского улуса, – сказал Богдан. – Не внешнюю охрану и даже не внутреннюю, как вы, – но цензорат. В этом есть своя специфика. По долгу службы меня более всего интересуют не преступления и даже не наказания, а мотивации. Не мотивы преступлений, а мотивации поведения, оказывающегося даже для самого человеканарушителя – неожиданно человеканарушительным. Разрушительным. Понимаете?

– Предпочту послушать еще, – сказал Гойберг, улыбнулся уже без прежнего ледка и откинулся на спинку кресла. Судя по всему, беседа шла не так, как он предполагал. Впрочем, и Богдан предполагал совсем не то; но минфа заранее решил, что, если дойдет до настоящего разговора, постарается быть максимально откровенным – настолько, насколько вообще можно быть откровенным без риска, что тебя не поймут совсем.

– Мотивы обычных человеканарушений просты и немногочисленны, как инстинкты. Зависть, ревность, корысть, ненависть... Это ужасно, но понятно. И наказание в подобных случаях – правомерно. Оно не вызывает протеста у того, кто вынужден наказывать. Но... – Богдан помолчал, потом проговорил задумчиво: – Но в мире есть иные области... – вздохнул. – Любовь, справедли-

вость, бескорыстие, самопожертвование, стремление к добру... Тоже, в общем-то, не так уж много – по пальцам перечесть. Без них человек – не человек... даже не животное. Хуже. Гораздо хуже. У него есть разум, а значит – осознание своей неповторимости и высшей ценности для самого себя. Разум подавляет все общественное и усиливает все частное. Весь мир для меня! Если не запеть эту дорожку идеалами, она далеко может завести... И вот Господь послал человеку идеалы. Но сатана постарался, чтобы и они тоже могли завести далеко, порой – много дальше, чем простая корысть. И это ужасающе несправедливо! Человек хочет как лучше, хочет только добра – и разрушает, разрушает, разрушает... Видеть такое нестерпимо для благородного мужа, ведь правда?

Гойберг покусал губу, потом даже почесал затылок – но так и не ответил.

– И второе, – продолжал минфа. – Животное просто выхватывает, если может, кусок у другого. Но человек строит целые теории, чтобы оправдаться – и сам в них потом верит! Мол, то, что я делаю – торжество справедливости, предел заботы о ближнем... А это особенно отвратительно. Идеалы должны оставаться там, где им положено – на небе, среди путеводных звезд, чтобы никто не смел и не имел возможности оправдывать ими свои простые мотивы: зависть, ревность, корысть, ненависть...

– Интересными вещами вы там занимаетесь, – сказал Гойберг задумчиво.

– Я ими и здесь занимаюсь, – улыбнулся Богдан. – И только в свободное от работы время. Мне хочется написать большую книгу... исследование... Расследование. Для Ордуси это очень важно. Именно для Ордуси. Мы все... пусть разными религиями... нацелены на высокие цели. Для одних эта нацеленность менее важна и осознанна, для других – более. Но несомненно то, что Ордусь без этого жить не может. Стало быть, положения, когда стремление к благу приводит к беде, именно для нас особенно губительны.

– Вы всерьез полагаете, что человека можно улучшить? – печально спросил Гойберг, внимательно глядя на Богдана.

– Господи, да мы только этим и занимаемся всю свою историю, – ответил минфа. – Циник может сказать, что мы не очень-то преуспели, но это же не так! Если попытаться представить себе нравственность пятитысячелетней, скажем, давности – волосы дыбом встанут! Вам ли, человеку закона Моисеева, этого не понимать!

Разговор становился заунывно серьезным, и надо было это как-то прекратить. Богдан снова поправил очки и улыбнулся своей неяркой, беззащитной улыбкой.

– Во всяком случае, как говорил Учитель, весь эрготоу в Поднебесной не выпьешь и всех наложниц в одинаковой степени не ублажишь – однако стремиться к этому благородный муж обязан в силу морального долга⁷⁴.

⁷⁴ У Х. ван Зайчика тут употреблен термин «и» (義), что в данном случае мы переводим как «моральный долг»; между тем и – одно из основных и достаточно комплексных понятий конфуцианской этики – переводится по-разному: «справедливость», «долг», «требования морали», «верность», «честь» и пр. И на самом деле понятие «и» все это действительно в себя включает.

Гойберг вежливо улыбнулся.

– Но ведь прирученный идеал, – сказал он потом, – то есть идеал, из которого вынута беззаветное стремление и самому за него костями лечь, и других положить, – это уж не идеал, еч Богдан, а так... Красивая болтовня. И даже хуже болтовни. Именно тогда он и становится подручным средством для оправдания собственных низких мотивов... С ним можно сделать что хочешь, вывернуть так и этак. Не ты для него, а он для тебя. А куда ты для него – ты за него кому угодно кровьпустишь и будешь чувствовать себя героем, даже когда все окрест будут звать тебя просто убийцей.

Богдан подобрался.

– Положа руку на сердце, стал ли для вас, драг еч Арон, красивой болтовней ютайский идеал с тех пор, как вы уже не хотите лить ради него кровь, скажем, древних филистимлян?

Лицо Гойберга, размякшее и подобревшее было от коньяка и приятной отвлеченной беседы, похолодело. Чуть прищурившись, директор КУБа долго смотрел на Богдана исподлобья – и то ли не хотел отвечать, то ли не знал, что ответить.

– Нет, – ответил за него Богдан. – Не стал. И очень хорошо. Но почему же вы столь худого мнения об остальных идеалах?

Гойберг перевел дух и снова откинулся на спинку кресла.

– Где же, если воспользоваться вашей, еч Богдан, метафорой, у идеалов тот запал, который вы хотите обезвредить?

Вопрос был не в бровь, а в глаз.

Только от души можно отвечать. Только через собственную боль можно что-то понять самому и что-то объяснить другим. Только.

– Вот представьте, – проговорил Богдан. – Я женат на хорошей женщине. Однако она очень далека от моего... ну... юношеского идеала. Жизнь идет, мы помаленьку притираемся друг к другу, помаленьку друг друга воспитываем – но изменения пренебрежимо малы относительно тех принципиальных отличий, которые существуют между нею, реальной, настоящей, обыденной, – и тем образом, о котором я грезил, скажем, в старших классах школы. Что можно сделать? Можно бросить семью и уйти шататься по свету в поисках своей сильфиды. Кажется, в Талмуде – поправьте меня, если я перепутал, – написано: «Сам алтарь роняет слезы, когда муж разводится с женою своей...» Греха тут не оберешься, по чьим только, как говорят, постелям не набарахтаешься... Если Господь сподобит, может, и встретишь в конце концов, кого искал – да только сам к тому времени таким станешь, что мимо пройдешь, не заметив... Но это, во всяком случае, честно. По-людски. Еще можно успокоиться, идеал лелеять в душе, а семью лелеять в мире сем – и быть благодарным судьбе и жене, если в ней порой, время от времени, проскользнет хоть что-то, напоминающее твою былую грезу. Кто-то скажет, что это малодушие, кто-то скажет, что – мужество... Во всяком случае – и это по-людски. Но еще можно, простите, привязать жену, скажем, к трубе отопления и начать что было сил сечь

хлыстом и приговаривать при этом: будь не такая, как ты есть, а такая, как мне мечталось! Вот где, по-моему, грань. И пусть тот, кто ее перешел, не удивляется, когда потом его будут судить уже как обыкновенного уголовного человека нарушителя. Пусть не говорит с удивлением: я не из корысти, я хотел, чтобы она стала лучше, я добра ей желал, я стремился ее усовершенствовать... Нет. Он всего лишь преступник, – Богдан помолчал, поправил очки. – Если мой идеал не манит никого, кроме меня, – стало быть, только мне с ним и мучиться... Только так – честно и по-людски. Потому что для того, кто этого идеала не хочет, но кому он начинает грозить, он уж не идеал, а пугало...

Гойберг смотрел чуть иронично, но уже – тепло. С пониманием.

– Что ж, – сказал он, – мысль, может быть, и не слишком оригинальная, но выражена сильно. Вы сами придумали сию метафору?

– Разумеется, – переведя дух, сказал Богдан, взял бокал и как следует плотнул. Оставалось надеяться, что его голос дрожал не слишком заметно. – Я идеалист матерый, со стажем, мне ли не чувствовать таких оттенков!

– В таком случае – я спокоен за вашу книгу, – кивнул Гойберг. – Она получится. Теперь я знаю, что вам надо, и даже склонен вам верить – и я спокоен. То есть я полагаю, вы что-то недоговариваете – но, в конце концов, вы имеете на это полное право... Однако я не понимаю другого. Чем я могу вам помочь?

– Ванюшин, – сказал Богдан.

Гойберг будто померк в своем кресле.

– Ах вот оно что... – пробормотал он.

– Все, что можно было почерпнуть из книг, журналов и Сети, я обработал, – сказал Богдан. – Но у вас наверняка есть какие-то специальные материалы... И главное, я хотел бы встретиться с ним лично. Не прошу нас свести и познакомить – могу представить себе, что ваша рекомендация для этого человек мало что значит...

– Наоборот, много, – сказал Гойберг. – Только в противоположном смысле. Послушает и сделает наоборот.

– Тем более. Но я буду пробовать сам и... вы наверняка об этом узнаете – так вот имейте в виду, я с добрыми намерениями. По делу. Я хочу его понять.

Минфа не обманывал директора иерусалимского КУБа ни единым словом. Ни князь, ни Гадаборцев, сами явно уже догадавшись о причастности Ванюшина к тайному испытанию «Снега», ничего Богдану не сказали – пустили вслепую, как мальчика: мол, пусть моралист и добряк разбирается сам, а мы, ежели он наломает дров, подоспеем все в белом. И потому у Богдана были развязаны руки. Ему важно было все уразуметь самому – а потом... Потом он будет решать не как чиновник Александрийского улуса, а как Божья тварь, для которой спасение души – не пустой звук.

Измена долгу подданного – смертный грех. Но измена человеколюбию, измена долгу благородного мужа – грех, худший во сто крат.

– Варварские сайты вы тоже смотрите? – спросил Гойберг.

– Да. Вкратце.

– Что я могу вам сказать, – задумчиво и как-то устало проговорил Гойберг. – Мы его, конечно, охраняем по старой памяти... Все ж таки великий секретный физик. Хотя теперь приходится его охранять скорее по другой причине. Не от чужих, а от своих – которых он сам сделал себе чужими. Немало есть, поверьте, людей, которые рады были бы сказать ему с глазу на глаз пару ласковых... А то и оскорбить. Действием. Очень забавно: он-то убежден, что мы просто следим за каждым его шагом и пресекаем его общение с едиnochаятелями. Он убежден, что их у него очень много, а вот оскорбители все, мол, КУБом подосланы... – в голосе Гойберга зазвучала неподдельная горечь. – Хотя пораскинул бы своим умом непредвзято: если ты говоришь что-то, не совпадающее с тем, во что испокон веку верят все, значит, кого может быть у тебя больше: тех, кто с тобой согласен, или тех, кто – нет? Знали бы они с супругой, сколько мы хулиганств предотвратили... Одно время соседские мальчишки взяли моду свастику ему на дверях рисовать – мои ребята стирали всякий день, улучая, пока никто не видит... Не знаю, может, надо было о каждом таком случае тоже трубить через средства всенародного оповещения? Но сначала стеснялись, а потом уж не с руки начинать, когда столько раз отмалчивались... Я дам вам телефон человека, который всем этим непосредственно ведает. Начальник негласной охраны Ванюшина. Он, по-моему, посядет скоро от потуг одновременно и варварскую прессу не обидеть, и свободе Ванюшина и его жены препон не учинить, и безопасность их обеспечить. Вот они только что вернулись из Теплиса. Вы слышали о та-мошних событиях?

– Конечно.

– Вот скажите по совести: может, лучше было бы под каким-нибудь предлогом его туда вовсе не пускать?

– Я пока не готов ответить на этот вопрос, – осторожно сказал минфа.

– Хотя представляю, какой шум подняли бы варвары... Самовлюбленные ютаи посадили великого человека, единственного на всю Орду, кто не боится вслух говорить о них правду, под домашний арест... – Гойберг покрутил головой.

– Проблема, – серьезно сказал Богдан.

– А пустить все на самотек – сердце не терпит.

Гойберг помолчал мгновение, а потом решительно допил свой коньяк и с треском, едва не сломав хрустальную ножку, поставил пустой бокал на столик.

– Как вы насчет еще? – спросил он.

Вместо ответа Богдан последовал его примеру – в бокале все равно оставалось чуть на доньшке – и, не без удовольствия ощущая, как накатывает, покрывая с головой, теплый прилив из разогревшегося, как печка, желудка, поднял пустой бокал над головой. Гойберг, усмехнувшись, кивнул; щекастое лицо его раскраснелось.

– И какой же русский не любит быстрого питья, – сказал он, и что-то та-

кое прозвучало в его голосе очень неравнодушное, но что именно, Богдан не понял: то ли чуть высокомерный сарказм, то ли, напротив, снисходительная и мечтательная зависть старика к огольцу, который, конечно, совсем не знает жизни, ничего еще не построил и не создал, зато может невозбранно лазать по деревьям и рвать себе штаны. Впрочем, эти чувства нередко идут рука об руку. Гойберг, привстав, высунулся из-за ширмы наружу и сделал знак пальцами; через мгновение беззвучно возникший с той стороны разносчик уже ставил перед человекоохранителями еще по бокалу. «Так, – решительно сказал себе Богдан. – Это последний». И сам же недоверчиво усмехнулся в душе.

– Если вы мне оставите ваш яшмовый электронный адрес, – сказал Гойберг, – я пришлю вам нынче же вечером несколько материалов.

– Почту за честь, – сказал Богдан и вынул из рукава парадного халата визитную карточку. Протянул ее Гойбергу. Тот взял и сунул куда-то в глубины черного пиджака.

– Вот, например, его последняя статья, – проговорил кубист. – Критический разбор книги Эсфири. Ванюшин требует, чтобы статью опубликовали в каком-нибудь из наиболее массовых изданий, например, в ежесемичнике «Ютайский Коммерсант». Чтобы не только внутри улуса, на иврите, но и по-ханьски, на всю страну... И на меньшее не согласен. Мне прислал текст редактор «Коммерсанта» – посоветоваться. Ведь, формально-то говоря, потом можно придраться и подать в суд за разжигание религиозной розни... Ясно, что редактор не хочет оказаться козлом отпущения. Я его понимаю. А решать надо быстро, Ванюшин требует, чтобы статью опубликовали до Пурима, как раз накануне... Очень настаивает, чтобы именно до. Вы, возможно, знаете, что до праздника Пурим, непосредственно связанного с памятью об описанном в книге Эсфири чудесном спасении ютаев от полного истребления, осталось два дня?

– Знаю, конечно.

– И ведь статья уже вышла в Европе... Вы читаете по-немецки?

– Немного. Кроме того, на худой конец существуют же программы-переводчики...

– Я пришлю вам ссылку на электронную версию журнала, гляньте. М-м... К чему я это все? Вот какие проблемы приходится решать ежедневно, еч Богдан. Теория – это прекрасно, это благородно, но такая вот каждодневная практика... Скажу вам честно – она очень разрушительно действует на идеалы.

– Да, я понимаю. Все время хочешь, как лучше – но что такое это «лучше», никак не ухватить...

– Именно. Вы поняли. Посмотрите материалы... Поговорите с директором института в Димоне – не так давно Ванюшин ездил к нему, просил как старого друга разрешения на чтение курса лекций о роли ютаев в создании оружия всенародного истребления. Кстати, тот не разрешил...

– Ванюшин читал подобные лекции у нас. В Дубине, в Обниманске, в Семизарплатинске...

– Он утверждает, что с тех пор сильно ее доработал. Расширил, углубил... учел материалы, которые недавно рассекретили американцы... Я еще не видел текста, но Мустафа говорит – впечатление просто жуткое. Фамилии, фамилии, отчества, браки, разводы... седьмая вода на киселе... кто обрезан, кто не обрезан... В итоге, как вы сами понимаете – если бы не ютаи, до сих пор ни единого радиоактивного дождя не пролилось бы ни в Америке, ни в Евразии...

– Святые угодники... – пробормотал Богдан. Потом спохватился. – Какой, простите, Мустафа?

– А, я не сказал... Цаньцзюнь⁷⁵ Мустафа ибн Шурави. Начальник группы охраны Ванюшина.

– Мусульманин?

Гойберг двумя пальцами покрутил стоящий на столе бокал, а потом поднял и сделал несколько глотков. Будто воду пил.

– Работа щекотливая, – признался он чуть сипло. – Верность долгу и присяге – это, конечно, вещь святая, но... В свое время мы сочли, что ведать охраной человека, который прославлен столь откровенным ютаенелюбием, ютаю не с руки. Все мы люди, и надо это учитывать. Зачем ставить сотрудника в нескончаемо неловкое, даже ложное положение? Постоянные неприятные переживания, накопление обид... И со стороны смотрится нелепо. Малейшая невольная бестактность – и любой скажет: ага, это ютайская месть! Все это чревато срывами, вы понимаете.

– Понимаю, – согласился Богдан.

– Хотели поручить это русскому – в конце концов, ваши единокоротцы, еч Богдан, третьи по численности в нашем улусе... Но вовремя спохватились.

– В каком смысле?

– В самом прямом, – пожал плечами Гойберг. – Русское ютаелюбие, выстраданное, уже в какой-то мере даже традиционное, вошло в поговорки – вам ли не знать... И тут неизвестно еще, кого лучше было бы поставить: хладнокровного ютая, коего века рассеяния приучили к долготерпению, или пылкого славянина, привыкшего, вы уж меня простите, именно в особо деликатных вопросах рубить сплеча.

Тезис об извечном русском ютаелюбии по первости показался Богдану несколько удивительным, но тут же в голове его запрыгали один за другим примеры, подтверждающие правоту слов директора КУБа. Художники, поэты, выразители народных чаяний... Вот, скажем, еще позапрошлый век: «Всякий пиит Под луной – жид. Всякий художник – Иньский треножник. Токмо лишь тот, Кто пашет и жнет – Трутень и жмот! Га-

⁷⁵ Цаньцзюнь (參軍) – гвардейская должность седьмого ранга в танском Китае. Дословно: «соучаствующий в войске», «дающий советы армии». Весьма приблизительно можно отнести ее к уровню майора или подполковника.

дам прогнившим, Верно прожившим – вечно слыхот. Мне – кровью – в полет!»⁷⁶

– В итоге было принято компромиссное решение, назначили Мустафу, – закончил Гойберг. – Очень добросовестный молодой офицер, из прекрасной семьи... Конечно, как и всякое реальное решение, оно не идеально... – кубист кривовато усмехнулся. – Кстати, вот вам об идеалах, – добавил он.

– Да-да, – невпопад отозвался Богдан.

Там же, поздний вечер

– Ты похудел.

– Правда?

– Правда.

– Ну и хорошо.

– Нет, не хорошо. Ты вроде в отпуске, а вид у тебя замученный.

– Это из-за праздников. Ты же знаешь, я не люблю больших праздников.

– А мне тут нравится. Мы так редко куда-то ездим вот так, все вместе...

– Мне тоже нравится. Люди замечательные. Один Нил Рабинович чего стоит... И Гойберг симпатичный. Только я предпочел бы посидеть с тобой

⁷⁶ Эта цитата сама по себе достойна отдельного исследования, и оно обязательно будет проведено, когда дело дойдет до академического издания произведений Х. ван Зайчика. Очень интересно, например, что приведенный фрагмент фиксирует несколько иное состояние русского языка, нежели то, что соответствует времени описанных в эпосе «Плохих людей нет» событий. Например, в ней употреблено европейское «жид» (*The Jew, Der Jude, Le Juif* и пр.); следовательно, общеордусское «ютай» к моменту появления этих стихов еще либо не вошло в язык (возможно, потому, что до создания Иерусалимского улуса оставалось еще очень много времени, и евреи в Ордуси воспринимались скорее как некая европейская диковинка), либо это сделано нарочито, для усиления хлесткости и эмоциональности текста – а может, и еще по каким причинам. Второе из этих соображений косвенно подтверждается еще и тем, что, например, термин «иньский треножник» в качестве символа древней и редкостной драгоценности употреблен вполне к месту, стало быть, реалии Цветущей Средины (тоже, в общем, от русской культуры довольно далекие) к этому времени были инкорпорированы в язык уже вполне органично. К тому же и куда менее известное ивритское слово *слихот* (покаянные молитвы) применено в высшей степени грамотно и точно – с намеком, видимо, на необходимость общего покаяния населения русского улуса за то, что при всех князьях землепашцы продолжали тупо хлебоборствовать вместо того, чтобы, как подобает всякому мало-мальски порядочному человеку, писать вольнолюбивые стихи. Может показаться удивительным, но, на взгляд переводчиков, глубоко естественно и закономерно то, что у приведенных выше чеканных строк есть в нашем мире немало аналогов. Вот, например, «Поэма конца» Марины Цветаевой (1924): «Так не достойнее ль во сто крат Стать вечным жидом? Ибо для каждого, кто не гад, – Еврейский погром! Жизнь только выкрестами жива! Иудами вер!.. Гетто избраннычеств! Вал и ров. Пошады не жди! В сем христианнейшем из миров Поэты – жида!».

и выпить за шестидесятилетие их улуса вдвоем. От души, но не во дворце, а прямо тут.

– Да, может быть... Но ведь там тоже было интересно. Лучше ведь – и там, и тут. И то, и другое. И Ангелинке все это в радость... Мы так хорошо с нею погуляли по столице, пока ты разбирался с делами.

– Я тоже рад.

– Она получила такие впечатления... На всю жизнь.

– Да, – улыбнулся Богдан в темноту, – я понял.

Почему-то, если начать есть больше, чем всегда, быстро вроде бы наедаешься до отвала – но столь же быстро, куда быстрее обычного, голод снова распускает внутри полные присосок щупальца. Четырех часов не прошло после завершения торжественного обеда, они едва успели вернуться в Яффо и развести по домам патриархов, – и проголодались... Покрутились в окрестностях «Галута» и буквально в двух шагах от гостиницы, прямо на Баркашова, набрали на очаровательный ресторан итальянской кухни. Наугад сделали заказы; Богдан, потерявший по дороге весь хмель из головы и уже успевший съезнова по нему соскучиться, спросил еще рюмку коньяку, строго сказав себе в очередной раз: это – последняя... На сцене, изящно играя обтянутым серебряной тканью бедром, юная певица бойко пела в микрофон почти по-итальянски: «Кванта коста, кванта коста, С постовым такого роста, Коза ностра, коза ностра, Спорить запросто непросто...» Ангелина, от усталости и обилия впечатлений – да и свежим воздухом Иерусалима надышавшись вдосталь – всю дорогу проспала в повозке как убитая; а теперь воспряла и принялась, возбужденная донельзя, описывать Богдану прогулку: «А потом мы зашли туда, где все мужчины такие красивые, такие смешные! Смотрят сквозь тебя, вдаль, и ходят только вот так!..» Не в силах передать увиденное словами, она спорхнула со стула и с уморительной степенностью пошла поперек зала, гордо выпятив живот и надув щеки. Отовсюду на нее смотрели, улыбаясь; Богдану подумалось, что все сразу поняли, кого она изображает – очень уж получилось похоже. «Ангелина! – громко и строго сказал Богдан. – Ты ведешь себя несообразно!» Дочка, смешавшись, прибежала назад, но успокоиться не могла. «Меа-Шеарим, – с улыбкой напомнила Фирузе дочери, – так называется тот район – Меа-Шеарим». «Да! Да! – тараторила Ангелина, едва успевая выговаривать слова; те, будто гоночные повозки на льду, шли юзом, бились бортами, то и дело сминали друг друга. – Меа-Шеарим! Это значит Сто ворот. Я не дразнюсь, пап, я просто показываю! Ты же не видел, а я хочу, чтоб ты увидел! А потом...»

– Тебя что-то гнетет.

Он повернулся на бок и поцеловал ее в теплую шею.

– Нет.

Она помолчала.

– Слушай, Фира, – сказал Богдан. – А может, вам с дочкой на пару-тройку дней совсем в тепло махнуть? Пока я тут разбираюсь. В Эйлат, напри-

мер? Уж в Красном-то море Ангелинка точно покупаться сможет. Раби Нильч говорил – там хорошо, рифы, рыбки цветные... И пустыня рядом, столбы Соломона – помнишь фотографии? Красотища! И эта прославленная придорожная харчевня – «Сто первый грамм»...

– Только нам с дочкой без тебя и болтаться по харчевням...

– А что? Вкусно поесть – само по себе хорошо. Женскому желудку мужчина не обязателен.

– Так-то оно так, – ответила жена из темноты, и Богдан по голосу почувствовал, что она улыбается, – да беда в том, что у любящей женщины желудок отдельно перемещаться не умеет. Куда он – туда и все остальное, что по мужчине скучает.

– Не нравится идея?

– Надо подумать. Цветные рыбки – это, конечно, заманчиво.

Она помолчала сызнава.

– Богдан...

– А?

– Это опасно?

– Что?

Она помедлила.

– Я не знаю, что. То, что ты сейчас делаешь.

– Нет.

Он сначала ответил, а потом постарался обдумать ее вопрос.

– Не опасно, – повторил он. – Только очень горько. Как-то... безысходно...

Она согнула ногу и погладила его обнаженным коленом.

– Ты совсем ничего мне не можешь рассказать? – спросила она.

– Совсем, – ответил он.

– А это надолго? – спросила она.

Богдан помедлил.

– Мне почему-то кажется, что так или иначе все кончится очень скоро, – ответил он. – Просто я еще не знаю, как.

Она прижалась к нему плотней. Длинные черные жесткие волосы ее щекотали ему щеку. От них пахло свежо и сладко.

– Давай спать, – полувопросительно сказала она.

– Давай, – сказал он. – Только я сначала почту сниму.

Там же, 13-е адара, ночь

Еч Арон был добросовестен и обязателен, как и подобает настоящему кубисту. Бог весть, сколько раз и со сколькими он в вечер праздника пригубливал коньяк, но обещание свое сдержал. Материалы и ссылки он послал, едва вернувшись с торжества.

Богдан прочел уже немало работ Ванюшина, но религиозных тем уче-

ный доселе напрямую не касался. К тому же само по себе издание оказалось интересным: Богдан никогда прежде не держал в руках и даже с экрана не просматривал «Ваффен Шпигель» – а, судя по всему, это был журнал весьма авторитетный, престижный. Средостение культуры, гнездо властителей дум. Номер, в котором была опубликована работа Ванюшина, открывался большим автобиографическим эссе тамошнего знаменитого писателя, некоего Цитрона Цюрюкина⁷⁷ «Любите ланды по самые гланды». «Всю жизнь меня призывали любить фатерланд, – писал Цюрюкин. – Отец, задроченный старый мудака, правая рука, видите ли, фон Брауна, только и хотевший от жизни, что донести наше концлагерное говно до пыльных тропинок далеких планет, каждое сраное утро орал: фатерланд, фатерланд! Вожатая в гитлерюгенде, замшелая пизда, изводившая нас по утрам физзарядкой и контрастным душем якобы для нашего же здоровья, компенсировала многолетний недоёб тем, что долбила сорок раз на дню: фатерланд, фатерланд... И так меня эти суки, блядь, достали, что я, с моим свободолюбием, высочайшим культурным уровнем и уважением к общечеловеческим ценностям, просто не мог не написать о ландоёбах...»

Богдан, качнув головой, потянул вниз полосу прокрутки. Одно имечко чего стоит... Сразу вспомнилась нелепая, но смешная считалка, которой научила Богдана еще бабушка. Вот они переженились: Як на Цыпе, Як-Цидрак на Цыпе-Дрипе, Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони на Цыпе-Дрипе-Тримпумпони...

Ладно, Цитрон может подождать. Это их дела. Пусть Европа разбирается как умеет со своей шальной свободой, когда можно все, а фантазии хватает лишь на то, что, мол, если при наци справлять нужду было принято одиноко и в замкнутом помещении, то уж после демократизации достойнее всего делать это прямо посреди Александерплац...

У ордусян есть проблемы посложнее.

Работа Ванюшина называлась «Эстер-цзюань глазами честного человека». Уже то, что автор назвал анализируемый текст не «Мегилат Эстер» и даже не «Книгой Эсфири», а предпочел общеимперское «цзюань» (*kiuan* в европейском написании), хотя слова «цзюань» и «мегила» значат по-ханьски и на иврите одно и то же: «свиток» – говорило о многом. Ванюшин откомментировал едва ли не каждый стих. Богдан просматривал наспех, перескакивая с пятого на десятое – было поздно, он устал, но хотел уже нынче составить себе хотя бы первое беглое впечатление, ощутить не столько текст, сколько чувства человека, который его писал... Минфа был убежден: это – самое важное, а частности воззрений, их рациональные составляющие, которые, быть может, самому пишущему кажутся главными,

⁷⁷ В тексте Х. ван Зайчика для написания этих двух слов употреблена не иероглифическая транскрипция, и даже не китайская фонетическая азбука, а латиница: Zitrone Zurückin. Странная фамилия эта является, по всей видимости, некоей производной от немецкого *zurück* – «назад», «обратно».

на самом деле не столь уж существенны, ибо являются лишь инструментом в руках переживаний. Калямом, а не улемом.

«Эстер-цзюань»: «...И пребывал Мордехай во дворце вместе с двумя царскими евнухами, оберегавшими дворец, и услышал разговоры их и разведаль замыслы их и узнал, что они готовятся наложить руки на царя Артаксеркса, и донес о них царю; а царь пытал этих двух евнухов, и, когда они сознались, были казнены. И приказал царь Мордехаю служить во дворце и дал ему подарки за это. При царе же был знатен Аман, и старался он причинить зло Мордехаю и народу его за двух евнухов царских».

Комментарий Ванюшина: «Невозможно не признать, что свою карьеру наш национальный герой начал, как весьма обыкновенный доносчик. А пресловутый Аман, сделавшийся в веках символом иррационального, физиологического антисемитизма⁷⁸, всего лишь пытался по справедливости воздать Мордехаю за казнь людей, которых тот выдал!»

«Эстер-цзюань»: «...И по смерти отца ее и матери ее Мордехай взял ее к себе вместо дочери... Не сказывала Есфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мордехай дал ей приказание, чтобы она не сказывала. ...И приобрела Есфирь расположение в глазах всех видевших ее. И взята была Есфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его... И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц; и он возложил царский венец на голову ее...»

Комментарий Ванюшина: «Он не только доносчик, но и сводник. Нужно признать: весьма хитрый сводник! Нельзя, по-моему, не задаться вопросом: зачем ему понадобилось с самого начала скрывать национальную принадлежность своей падчерицы? Отчего ему пришла в голову такая мысль? Кто, собственно, антисемит – Аман или Мордехай?»

«Эстер-цзюань»: «...В то время как Мордехай сидел у ворот царских, два царских евнуха, оберегавшие порог, озлобились, и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мордехай сообщил царице Есфири, а Есфирь сказала царю от имени Мордехая. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве».

Комментарий Ванюшина: «Люди, прошедшие нацистские лагеря, рассказывали мне, что таких геноссе, как наш национальный герой, они называли профессиональными стукачами⁷⁹. К тому же он и приемную дочь без колебаний привлек к своему малопочтенному в среде приличных людей ремеслу! Однако мне приходит на ум еще одно соображение, точнее говоря, даже два соображения. Если указанные заговоры имели место в действительности, то что же это был за царь, как он правил, что он творил со своей страной и со своим народом, коль скоро его же соотечественники, приближенные и возвышенные им же самим, то и дело норовили от него избавиться – и лишь чужак еврей⁸⁰

⁷⁸ Так у Х. ван Зайчика: «Antisemitismus».

⁷⁹ Так у Х. ван Зайчика: «Klopfenmann».

⁸⁰ Так у Х. ван Зайчика: «Jude».

раз за разом сохранял этому несомненному тирану жизнь и власть! А если не так – не были ли эти бесчисленные заговоры измышлены самим Мордехаем, делавшим благодаря их раскрытию стремительную карьеру? Должен покаянно признаться: мне стыдно носить то же имя, что этот человек! Я предложил бы всем Мордехам нашего народа переименоваться Аманами и готов подать официально пример такого искупления в ближайшее время, как только откроются после праздников государственные учреждения...»

«Эстер-цзюань»: «...Ты, Господи, имеешь ведение всего и знаешь, что я ненавижу славу незаконных и гнушаюсь ложа необрезанных и всякого иноплеменника; Ты знаешь необходимость мою, что я гнушаюсь знака гордости моей, который бывает на голове моей во дни появления моего, гнушаюсь его, как одежды, оскверненной кровью, и не ношу его во дни уединения моего».

Комментарий Ванюшина: «Вот так молится Эстер перед тем, как донести на Амана. Должен признаться, что я не понимаю: то ли она так и не спала со своим мужем, царем, то ли они с заботливым отчимом уже обрезают и персидского владыку? Но эта женщина и царского своего положения гнушается! Приняла его, обратите внимание, лишь из необходимости. Какова же была подобная необходимость? Спасти соплеменников от истребления? Но Эстер вышла за Артаксеркса в ту пору, когда о заговоре Амана, имевшем целью уничтожить живущих в Персии евреев, никто и не ведал, так как и самого заговора не было до тех самых пор, пока лицемерка Эстер не стала царицей. Возможно, она и с мужем спала исключительно по необходимости? Снова встает вопрос: по какой?»

«Эстер-цзюань»: «...Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. Обратив лице свое, пламеневшее славою, он взглянул с сильным гневом; и царица упала духом, и изменилась в лице своем от ослабления, и склонилась на голову служанки, которая сопровождала ее. И изменил Бог дух царя на кротость, и поспешно встал он с престола своего, и принял ее в объятия свои, пока она не пришла в себя. Потом он утешил ее ласковыми словами, сказав ей: что тебе, Есфирь? Я – брат твой; ободрись, не умрешь; ибо наше владычество общее; подойди. И простер царь к Есфири золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Есфирь, и коснулась конца скипетра, и положил царь скипетр на шею ее, и поцеловал ее, и сказал: говори мне. И сказала она: я видела в тебе, господин, как бы Ангела Божия, и смутилось сердце мое от страха пред славою твоею; ибо дивен ты, господин, и лице твое исполнено благодати».

Комментарий Ванюшина: «Что за подлая женщина! Сначала притворный обморок, затем безудержная лезть в глаза человеку, которого она презирает и ложа которого, как она сама же утверждала накануне в молитве, гнушается. Теперь она, казалось бы, столь богобоязненная, в глаза называет постылого мужа именем Ангела Божия! И Бог это терпит. Скажите по совести: кто хотел бы иметь такую честную, любящую и верную супругу? И такого, если уж на то пошло, Бога?»

«Эстер-цзюань»: «...В месяц Адар, в тринадцатый день его, когда надеялись неприятели Иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами Иудеи взяли власть над врагами своими, собрались Иудеи в городах своих по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зложителей своих; и никто не мог устоять пред лицом их, потому что страх пред ними напал на все народы. И все князья в областях и сатрапы, и областеначальники, и исполнители дел царских поддерживали Иудеев, потому что напал на них страх пред Мордехаем. Ибо велик был Мордехай в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек, Мордехай, поднимался выше и выше. И избивали Иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, городе престольном, умертвили Иудеи и погубили пятьсот человек... И сказал царь царице Есфири: в Сузах, городе престольном, умертвили Иудеи и погубили пятьсот человек и десятерых сыновей Амана. Какое желание твое? Оно будет удовлетворено. И какая еще просьба твоя? Она будет исполнена. И сказала Есфирь: если царю благоугодно, то пусть бы позволено было Иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня, и десятерых сыновей Амановых пусть бы повесили на дереве. И приказал царь сделать так; и дан указ в Сузах, и десятерых сыновей Амановых повесили. И собрались Иудеи, которые в Сузах, также и в четырнадцатый день месяца Адара и умертвили в Сузах триста человек, а на грабеж не простерли руки своей. И прочие Иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих семьдесят пять тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. В четырнадцатый день сего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья».

Комментарий Ванюшина: «Лучше не скажешь. Вот о чем смутно грезят до сих мои соплеменники, вот каков предел их мечтаний: чтобы страх пред ними напал на все народы. Остается утешаться тем, что, согласно одной русской поговорке, бодливой корове Бог рогов не дает. Тут даже нечего разяснять. Чужаки, пришлое племя, взяв под контроль государственную власть, уничтожают коренное население. Если это не геноцид – тогда что такое геноцид? И если мы до сих празднуем совершенный нами геноцид – достойны ли мы называться цивилизованными людьми, или мы по-прежнему первобытная стая, с горем пополам освоившая квантовую механику и юриспруденцию?»

«Эстер-цзюань»: «...Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела силы его и могущества его и обстоятельное показание о величии Мордехая, которым возвеличил его царь, записаны в книге дневных записей царей Мидийских и Персидских, равно как и то, что Мордехай Иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у Иудеев и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего».

Комментарий Ванюшина: «Оказывается, все старо, как мир, все было ради новой подати. Силовая акция устрашения собственного народа завер-

шила его повальным ограблением: кто уцелел, должен был заплатить за то, что не был убит. Кому, интересно, не хватало денег и драгоценностей? Царю? Сомнительно. Эстер, которая в глаза лгала своему Богу, заявляя, что гнушается парадными туалетами и надевает их лишь по необходимости? Это представляется более вероятным. Но ради обновления гардероба вряд ли понадобилась бы целая новая подать. Нет, полагаю, речь идет об удовлетворении возросших appetites победивших евреев. Разумеется, они не простирали руку на грабеж. Зачем? Это хлопотно и негигиенично. Куда удобнее издать от имени царя соответствующий закон и осуществлять его через посредство армии туземных чиновников! Премьер великой державы, каковой была тогда Персия и каковым, безусловно, может считаться Мордехай, открыто гордится тем, что искал добра лишь своему народу и говорил лишь ему во благо. И потом мы еще удивляемся, что к евреям, занимающим высокие государственные посты, относятся с недоверием! Перестаньте веселиться в Пурим, сделайте его днем национального покаяния – и прекратится наконец то постыдное состояние, которое так исчерпывающе и честно описано в Псалме Сорок Третьем: "Боже, Царь мой! Ты отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас; Ты сделал нас притчею между народами!"»

В ночной тишине уставшего от праздника и наконец-то утомившегося Яффо – добродушного, задорного, немного нескладного, в общем, обыкновенного человеческого Яффо – Богдан читал этот воспаленный текст, грохочущий медно и мрачно, безобразно похожий на кухонный скандал двух величавых пророков, вдруг опустившихся до вульгарного толковища о том, кто кому плюнул в кастрюлю с супом. Фразы, как нетопыри, с истошным криком вылетали прямо из жуткой бездны тысячелетий – а сердце минфа сжималось от беспомощности и сострадания.

Как гложет, должно быть, несчастного Ванюшина эта тщетная, безысходная боль! Так, наверное, рвется, уже не в силах биться безмятежно, сердце в миг инфаркта. Так раковая опухоль фанатично прожигает насквозь ни в чем не повинное тело. Боль тоски по совершенству! По какой-то воображаемой, равной для всех справедливости, что должна, должна же быть и торжествовать, и не только в раю, и не только в светлом будущем – вечно, всегда, значит, и в прошлом! Чтобы и там не было крови, не было жертв, не было поражений у проигравших и побед у выигравших, все эти несправедливости надо как-то отменить, иначе нечестно, стыдно, тошно... Чтобы и там была только любовь. Только любовь. Всегда.

Если же нельзя изменить прошлое, надо, по крайней мере, заставить всех испытывать эту бесплодную, ни о чем уже не предупреждающую, просто сжирающую жизнь боль. А того, кто ее, хоть тресни, не испытывает, кто просто занят собой, своими детьми, своей незамысловатой работой, – того объявить бессовестным, бесчестным, объявить, что он таким образом, ни много ни мало, одобряет все сотворенное во времена оны, соучаствует в нем, и заставить, хоть как-нибудь да заставить каяться в давних чужих грехах.

Грехах, совершенных в закопченных трущобах, звавшихся когда-то царскими дворцами, в злых щелях, которые уже захлопнуты, забетонированы...

И только от нас зависит, есть у них какой-то шанс снова раскрыться, гангренозно гноясь, точно старые раны, – или шанса уже все-таки нет.

«Господи, – едва не плача, взмолился Богдан. – Пошли ему хоть день покоя. Хоть час. Ведь он не выдержит... Так исступленно гонясь за светом, человек может наворотить черт знает что...»

А по краю сознания мазнула простая, уже куда более приземленная, почти себялюбивая мысль: и мы потом расхлебывай.

Там же, 13-е адара, начало дня

– Папа, а ты к нам приедешь?

Ангелина одновременно и спрашивала, и озиралась, разглядывая кишмя кишастый путешественниками автовокзал Яффо, и на одной ножке подпрыгивала. Как она, непоседа, сдюжит пять часов сидения в салоне автобуса...

Небо над Яффо кипело от солнца.

– Постараюсь, детка, – сказал Богдан. – У меня дел осталось дня на дватри. Может, завтра вечером... или послезавтра. Последний денек обязательно проведем у моря вместе... Жаль, на Пурим к вам не поспею. Говорят, Пурим – очень веселый праздник.

– Как много в Ордуси всяких праздников! – с удовольствием сказала Ангелина. Фирузе засмеялась.

– Да, – с улыбкой согласился Богдан, – это большой плюс страны, где бок о бок живет столько разных народов. Всегда есть к кому в гости сходить.

– Значит, так, – громко объясняла тем временем симпатичная проводница в коротком платье и зеркальных очках на пол-лица. – Два часа на Мертвом море – там купание, ну, разумеется, лавки... Обратите внимание на косметику, на потом не откладывайте. В Эйлате фирменные магазины «Ахава» тоже на каждом шагу, но на Мертвом немного дешевле...

– «Ахава» значит «любовь», – вполголоса сказала Фирузе Богдану. В ответ он молча поцеловал ее в висок. И в этот миг в его кармане натужно затрещал мелкой дрожью телефон.

– Простите, ребята, – сказал Богдан, вынимая трубку. Фирузе деликатно отвернулась.

Это оказался Гойберг.

– Доброе утро, еч Богдан.

– Доброе утро, еч Арон.

– Вы прочитали? – осторожно осведомился кубист.

– Разумеется.

– И как вам?

– Сложный вопрос, – сказал Богдан. – Не телефонный.

– Но как бы вы поступили?

– Я не имею ни малейшего права вам советовать, еч Арон. Ни должностного, ни человеческого.

– И тем не менее... Мне просто интересно ваше частное мнение. Положение с публикацией довольно щекотливое...

– Знаете, – сказал Богдан. – Бояться лишний раз обнародовать подобный текст – все равно что секретить «Лунь юй».

– Отправляемся! – объявила проводница. – Прошу садиться!

Фирузе, одной рукой придерживая висящую на плече большую дорожную сумку, другой ведя за ладошку Ангелину, двинулась к автобусу, тихо урчавшему, как хорошо покушавший и задремавший кот. Встроились в маленькую очередь; люди один за другим, как костяшки перебираемых четок, скрывались в его прохладных и благословенно сумеречных недрах.

– Мам, а мы маску купим? – допытывалась Ангелина, дергая Фирузе за руку. – Мы нырять маску купим? А? Мам! Там же рыбки!

– Но я, конечно, все понимаю... Знаете, что бы я, может быть, сделал в таком положении? Опубликовал бы как часть ознакомительной подборки текстов из журнала «Ваффен Шпигель». Вот, мол, авторитетный западный журнал, вот очень характерные для демократической прессы материалы... Вместе, например, с эссе «Любите ланды по самые гланды».

Перед тем как встать на первую ступеньку, Фирузе обернулась и помахала мужу рукой. Ангелина тоже обернулась и помахала.

– Да? – с сомнением протянул Гойберг. – Текст, конечно, отвратительный, однако ж... Вам, возможно, это трудно понять, но у нас просто врожденная ненависть к наци и всему, что с ними связано. Боюсь, большинство наших читателей отнесется к эссе скорее с симпатией – ведь при всех его неаппетитных формулировках это все-таки борьба с пережитками нацизма.

– Ну я же сказал, что мне трудно вам советовать, еч Арон, – сказал Богдан. – Просто... Простите, я не очень хорошо знаю, как в иудаизме насчет сыновней почтительности...

– В иудаизме очень хорошо насчет сыновней почтительности, – Гойберг, судя по чуть изменившемуся тону, сразу будто бы принял бойцовскую стойку. – Лучше, чем у многих.

– В таком случае, – примирительно сказал Богдан, – вообще опасаться нечего. Как только человек, для которого сяс – не звук пустой, в первой же фразе увидит нарочито неуважительное, хамское упоминание об отце, ему станет ясно, что это вовсе не борьба с пережитками нацизма, а просто крик на весь мир: вот я какой, самый свободный и разудалый на свете, смотрите и восхищайтесь. Для того чтобы это кричать, подойдет что угодно. Лишь бы всем известное. Не будь нацизма – он бы на что-то другое знаменитое вскарбалкался, чтобы орать оттуда.

Сквозь широкое тонированное стекло Богдан увидел, как над ним, точно на верхней палубе небольшого корабля, располагаются на сиденьях дочь и жена. Ангелина тут же расплющила нос о стекло, глядя на Богдана

со своих высот, и опять принялась махать ему обеими руками. Свободной рукой Богдан помахал ей в ответ. Ангелина стала делать размашистые круговые движения, как бы разгребая что-то в стороны – показывала, как будет плавать. Богдан несколько раз одобрительно кивнул, показал большой палец, завистливо закатил глаза.

– Ну и? – спросил Гойберг.

Богдан помедлил.

– Комментарии к Эстер-цзюань, еч Арон, – это ведь тоже, по большому счету, одно огромное бу сяо. Очень легко сейчас быть добрее и умнее тех, кто жил сто, пятьсот, тысячу лет назад. Прошлое – и отец нам, и мать. Кто не любит родителей, потому что они не идеальны – тот никогда не захочет иметь детей, подсознательно страшась, что они отплатят ему той же монетой. Кто ненавидит свое прошлое – лишает себя будущего. Кто старается, чтобы ты возненавидел свое прошлое – тот старается лишить тебя будущего. Даже если он делает это произвольно, из лучших побуждений. Человеколюбие не в том, чтобы посыпать пеплом голову себе или, тем паче, другим, а в том, чтобы в мире, где за тысячи лет все успели по сто раз обидеть всех, жить как ни в чем не бывало. И только сыновняя почтительность позволяет это уразуметь.

– Вашими бы устами... – сказал Гойберг.

Автобус протяжно зашипел и рычагами, похожими на руки, с неторопливостью уверенного в себе штангиста втянул двери в пазы. Дрогнул. Поехал.

«Может быть, – уговаривал себя Богдан, идя обратно к стоянке повозок такси, чтобы вернуться в "Галут", – Ванюшин хоть немного образумится, увидев, в какой компании оказался в любимом им "Ваффен Шпигеле"... Или им он простит? Даже не то что простит – примет как должное, вообще не обратит внимания? А вот то, что мы повторим этот букет, всего лишь повторим – сочтет нашей гнусностью... Но все-таки может быть, в конце концов, поразмыслив, он...»

Однако в глубине души минфа и сам понимал, что его надежда иллюзорна и тщетна ровно в той же степени, как надежды самого Мордехая.

Тот не образумится. Нет. Пойдет до конца.

БАГ, БОГДАН И ДРУГИЕ ХОРОШИЕ ЛЮДИ

Богдан

Яффо,

Пурим, 14-е адара, утро

Накануне вечером Богдан обнаружил, что западная пресса сошла с ума.

С подачи преждерожденного одиночайтеля Гойберга уяснив, что изобильная, хотя и очень специфически процеженная и перетолкованная информация о событиях вокруг Ванюшина порою появляется на Западе раньше, чем в Орду, минфа по нескольким ключевым словам просмотрел в Сети многие вар-

варские издания. Занятие это не отняло чрезмерного времени, пусть и было не всегда приятным; не единожды шокированный Богдан возносил хвалу Господу за то, что некоторые ценности и моральные нормы успели за пару последних веков как следует пропитать души ордусян. Хотя это и не гарантировало повальной и поголовной добропорядочности (да и как такое можно гарантировать? разве что проведя поголовную лоботомию...), все же Богдан был убежден: подавляющему большинству жителей Ордуси, даже и не верующих, например, в Христа, при виде заголовков вроде того, на который Богдан напоролся в первый же вечер сетевых путешествий по странам демократии – «Христос онанировал в пустыне сорок дней!», – стало бы просто противно. Противно – и стыдно, будто, соприкоснувшись с несообразным, уж тем самым в несообразном и сам поучаствовал. Свобода, конечно, есть свобода, а свобода от сих до сих, ограниченная чиновниками, – уж не свобода, а просто тюремная прогулка, да и обмен информационный тоже может быть либо всеобъемлющим, либо никаким; и остается уповать лишь на то, что воспитанный человек уже безо всякого насилия со стороны, просто сам по себе, будет испытывать гадливость и желание тихо отстраниться, встречая не совсем достойные благородных мужей образчики приволья... Не ярую ненависть, не шумное возмущение даже, не желание все переделать к лучшему – нет, достаточно просто гадливости. А если иначе – тогда беда. Пчела свободно летит от цветка к цветку, муха тоже свободно летит от одной навозной кучи к другой – и никто не в силах заставить их желать поступить иначе, то бишь вопреки собственной природе. Ведь есть люди, которым пакости о тех, кто известен и чтим, – сладостны, ибо так они возмещают умственное и духовное бессилие свое, возвышаются в собственных глазах, становятся вровень с теми, кто вел, да и ныне ведет ту или иную из громадных семей, составляющих человечество. Подобные люди готовы платить тем больше, чем большую гадость кто-то измыслит и поднесет им на блюдечке с голубою каемочкой.

Но, в конце концов, это тоже уж было в веках – слово «хам» неспроста возникло...⁸¹ С библейских времен ничего, в сущности, не изменилось: раб – обязательно хам, а уж хам – непременно в душе раб. Свобода злословия – любимая свобода рабов...

Сродни тому показалось Богдану и подробнейшее освещение теплицских событий. Появившаяся впервые в американском журнале «Армд миррор» жуткая фотография – оскаленный пейсатый ютай наотмашь бьет кого-то, не видно, кого и за что, пожарной лопатой – в течение суток была растиражирована всеми основными изданиями; но и без нее хватало ужасов.

⁸¹ «Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: проклят; раб рабов будет он у братьев своих» (Быт. 9:20–25).

Примирительностью тут и не пахло; оставалось думать, что это у них там заповедь такая: всякую ссору доводить до непримиримой вражды. Можно еще понять жестокость ошеломленных людей в схлестнувшихся толпах; но понять изуверство тех, кто хладнокровно, в тиши кабинетов, с каким-то извращенным наслаждением смакует жестокость чужую, накачивая ею мир – а то, мол, сдуется, как мячик, скакать перестанет, что с него, мирного, тогда проку? – было нельзя иначе, кроме как: чем хуже, тем лучше.

Заподозрил Богдан недоброе еще при входе в гостиницу. Оказалось, в холле его ждали; при появлении Богдана с кресел и диванчиков повскакивали человек с дюжину, не меньше, и, бесперечь Богдана фотографируя, понеслись к нему, топоча и гомоня. Богдан с таким обращением свычен не был. Лицо у него, верно, в первые мгновения было не слишком-то представительное; наверное, снимающим это было только на руку, потому что вскоре Богдан уже увидел в Сети собственные фото: казалось, выбрали самые уродливые и нелепые. «Каковы причины вашего приезда в Яффо?» «Правда ли, что вы выкрест?» «Правда ли, что ваша бабушка по женской линии была ютайка?» «Какие инструкции относительно Мордехая Ванюшина вам были даны в Ханбалыке?» «Сколько вы платите Багатуру Лобо за осуществляемые по вашим приказам тайные акты насилия?»

Слава Богу, Богдан пребывал в худом расположении духа. Будь иначе, он мог бы растеряться не на шутку и начать оправдываться, пытаться что-то объяснить, растолковать: мол, я вообще Багу не плачу... Только того, надо полагать, корреспондентам и надо было. А тут они попались минфа под горячую руку. Не давая воли впитанной с молоком матери учтивости (люди же к тебе обращаются, бегут за тобой, остановись, отвечай, не будь грубияном!) и к месту припомнив виденную в детстве американскую фильму про каких-то очередных убийц, Богдан на любой вопрос, энергично продвигаясь к лифту, наотмашь бросал: «Без комментариев». Вот ведь пригодилось... Правду говорят: знание лишним не бывает.

Спустя полчаса, зайдя в Сеть и коротко ознакомившись с освещением теплисской трагедии, Богдан занялся поисками непосредственно необходимых ему сведений – и аж присвистнул. «Ага, вот я кто», – подумал он, немного очухавшись, и принялся уже без сердца просматривать выжимки из статей – просто как естествоиспытатель, который, равно отличаясь и от пчел, и от мух, обязан воздавать должное и нектару, и навозу.

«...Доверенный агент Александрийского князя, ведущий специалист по внутренним тайным операциям, лютый враг малочисленных народов Ордуской Чухонии, раздавивший в свое время ростки свободы в Асланівськом уезде, доведший до самоубийства мирного борца за права русских Козюлькина, ярый притеснитель сексуальных меньшинств и тайный поклонник фараона Мины, Богдан Оуянцев-Сю, получив секретные инструкции непосредственно в имперской столице, прибыл теперь в Иерусалим... подробнее...»

«...Новый этап травли известного ордуцкого правозащитника Ванюшина... подробнее...»

«...В Ханбалыке распорядились покончить наконец с проблемой Морде-
хая Ванюшина любимыми средствами... подробнее...»

«...Прокуратором Иудеи назначен русский... подробнее...»

«...Ютаи, как всегда, останутся в стороне. Не решаясь расправиться с
Ванюшиным сами, они догадались сделать это руками русских и специаль-
но выписали из Александрии двух самых подходящих для темных дел
особ: хитроумного и беспринципного Оуянцева-Сю, мнящего себя ученым,
и громилу Багатура Лобо, на чьей совести кровь многих и многих невин-
ных жертв... подробнее...»

«...Незадолго до приезда в Яффо заплечных дел мастер Лобо был уво-
лен из органов охраны так называемого ордусского правопорядка за систе-
матические зверства и издевательства над подозреваемыми, а Оуянцев из
органов прокуратуры – за скотоложество. Как сообщают заслуживающие
безусловного доверия источники, он бросил семью и теперь живет с лисой,
вывезенной из страшной русской тайги. И эти люди будут решать судьбу
несчастливого Ванюшина и его незащищенной больной жены... подробнее...»

«А ведь в каком-то смысле все так и есть, – вдруг пришло Богдану в го-
лову, и от этого открытия ему сделалось совсем тошно. – Если в рамках оп-
ределенной системы ценностей – все точно. Курам на смех как точно...
Другой вопрос – что же это за система ценностей, ежели все в ней пред-
стает вот так? И что она делает с людьми?»

И уж только потом он подумал: а откуда утечка?

От столь простой мысли вся тоска, которая накатила было – как всегда на-
катывает тоска на любого мало-мальски порядочного человека, столкнувше-
го с фатальным непониманием, – куда-то делась. Испарилась, как роса на
припеке. Мысль припекла, что правда, то правда – Богдана бросило в жар.

Так. Погодите, ечи. Ох вы, ечи мои, ечи, ечи старые мои... Обниму я вас
за плечи! Нам щебечут соловьи... Так. Песни песнями – а утечка утечкой...

Конечно, пресса знает немало. Это он, Богдан, про прессу мало знает. Ведь
он известная фигура. И мог попасть в поле зрения западных журналистов еще
во времена расследования хищения из патриаршей ризницы – а затем уже по-
шло по нарастающей. Тем более – Асланів... Ладно, ясно. Как узнать про Ко-
зюлькина?.. Да хотя бы из рассказов или просто неосторожных обмолвок за-
падных коллег, которые участвовали в тогдашнем расследовании. Даже про
лис можно было краем уха услышать... хотя бы от ушедшего в дальнее палом-
ничество ненавистника лис... как же его, бишь, звали? А уж потом буйная
фантазия... «Хотя даже тут они в чем-то правы... – подумал Богдан. – В душе
я и впрямь словно живу с лисой... Ведь не отпускает же, прости Господи». Од-
нако пресса имела в виду, конечно, совсем не духовные тонкости...

Но вот, скажем, то, что он приехал в Яффо из Ханбалыка, а не из Алек-
сандрии – это как? Это же надо внутри Ордуси целое расследование про-
вести! Либо следить загода – а с какой стати? Либо иметь доступ... ну, хо-
тя бы к архивам воздухолетных касс...

Сложно это, сложно...

А тогда?

Что может быть проще?

Да что проще утечки-то.

Еч Гойберг прямо дал Богдану понять, что знает о его визите в Ханбалык. Для КУБа выяснять такой пустяк – не проблема, и секрета из той поездки Богдан не делал ни малейшего... а не зря, получается, интуиция подсказала ему на Сяншани изобразить разговор с Гречкосеем как случайную встречу! Потому и отнесся Богдан к словам Гойберга совершенно спокойно. Но вот теперь...

Неужели директор КУБа оттого, например, что в глубине души проникся к Ванюшину сочувствием (как, например, и сам Богдан), – движимый желанием хоть как-то поддержать несчастного правдолюбца и свободолюбца – сделал неверный шаг? Опасаясь, будто Богдан и Баг здесь и впрямь не случайно и выполняют некую негласную миссию, – Гойберг, собственно, дал понять о своих подозрениях с первых же слов – попытался подобным образом подстраховать Ванюшина, обезопасить его от возможных нелицеприятных действий со стороны александррийцев?

Или даже так: не испытывая, в отличие от Богдана, к Ванюшину сочувствия, Гойберг, тем не менее, заподозрил в будущих вероятных действиях Богдана и Бага некое нарушение улусных прерогатив – и таким, в общем-то, косвенным образом постарался, поелику возможно, заранее скомпрометировать любой их самостоятельный шаг и тем снизить, а то и вовсе парализовать активность александррийцев на иерусалимской земле?

Ах, Гойберг, Гойберг...

Господи, как было бы славно просто позвонить сейчас директору КУБа и как друга, как ордусянин ордусянина спросить прямо: драг еч Арон, вы кому-нибудь?.. А он бы ответил: еч Богдан, да как вы подумать такое могли! И Богдан бы ему поверил...

Но эта странная фраза: «Мы здесь и так на довольно странных правах – у себя дома, и все же в значительной степени в гостях. Приглашены из милости...» Что она означала? Может ли одна подобная обмолвка свидетельствовать о том, что человек способен начать какую-то свою игру? Неудовлетворенность существующим положением – насколько она велика?

Не спросишь...

Однако. Интересно жить на свете.

Значит ли все это, что Богдан у КУБа под кубком?

Минфа плохо спал в эту ночь.

А утром, когда он решил начать очередной просмотр, стало еще интереснее.

За окном ликовала средиземноморская весна, сквозь широкое стекло в номер лომилась ослепительная синь небес. Ютаи слегка постились; пост не был тяжелым, всего лишь до вечера, без тягот, потому что праздник не был связан ни с какими былыми тяготами – просто-напросто царица Эстер, перед тем как пойти к мужу просить защиты от Амана, постилась, дабы Бог послал ей удачу, и теперь все следуют ее примеру из благодарности... Рачительные хозяйки, едва продышавшись после хлопот Дня Восхожде-

ния, торопились, сколько успеют до начала нового праздника, подготовиться к исполнению мицвы мишлоах манот⁸². Молодежь предвкушала вечерние увеселения, карнавалы и возлияния: исстари заповедано в вечер Пури-ма пить так, чтоб не отличать Амана от Мордехая...

А Богдан сидел, окаменев, прикусив губу, и глядел на дисплей «Керулена».

«Вам почта!» – сообщил ему ноутбук пять минут назад. И почта, повинаясь клику, прилетела. «Прер Богдан Рухович, это письмо пришло ночью к нам на открытый сайт Управления этического надзора. Мы его не открывали, сразу пересылаем Вам. Оно на Ваше яшмовое имя».

«Я не давала о себе знать все эти годы, чтобы не осложнять жизнь ни тебе, ни себе, ни нашему сыну. Иногда мне это было тяжело, я тосковала по тебе. Следила по газетам за твоей карьерой... Но как это у вас говорят – нечего травить душу. Уходя – уходи. Однако сейчас не могу молчать. Ваша страна отвратительна. Я долго не могла этого окончательно признать, всё сопротивлялось во мне, слишком сладкими были воспоминания... Но как ты можешь! Если ты, кого я помню все же честным, умным и добрым, то ли по долгу службы, то ли по велению ваших ордусских убеждений способен стал – или и всегда был, просто случая не подворачивалось? – принимать участие в травле замечательного человека, не имеющего ни поддержки, ни защиты, значит, ваш мир действительно прогнил. Если ты таков – каковы же остальные? Тирания. Конечно, я не разбираюсь во всех этих ютайских делах, у нас ютаев, кажется, не осталось, у нас свои проблемы, от алжирцев проходу нет... Но это неважно. Один-единственный человек на всю вашу громадную страну говорит правду – и ты среди тех, кто затыкает ему рот. Ненавижу. И никогда себе не прошу, что позволила себя обмануть, задурить себе голову рассказами про Конфуция, про моральный долг, про благородных мужей... Никогда. Прощай. Теперь уже окончательно не твоя, Жанна».

– Здравствуй, идеал, – глухо сказал Богдан, перечитав письмо в семнадцатый раз. – Давно не виделись.

А потом выключил ноутбук. Европейская пресса сегодня может пожить без него. Он уже все понял. Свобода информации – пульсировало в разом отупевшей голове. Будто в череп вбили разбухшее от воды полено. И, кроме полена, ничего не осталось. Свобода информации... Свобода...

Однако времени-то оставалось – считанные часы.

⁸² *Мицва (ивр.)* – это слово значит и «заповедь», и «доброе дело»; сколько удалось уяснить переводчикам, в данном контексте его и следовало бы переводить именно всеми этими словами: заповеданное доброе дело – т. е. не произвольно выдуманное тобою самим доброе дело, которое ты можешь сделать когда угодно, просто под влиянием минуты и по велению души, но строго определенное доброе дело, выполняемое в строго определенной ситуации или в строго определенное время. *Мишлоах манот (ивр.)* – отсылка гостинцев. В день Пури-ма между соседями, друзьями и пр. принято обмениваться небольшими угощениями, причем не менее двух видов – скажем, выпечка и конфеты, фрукты и напиток... Когда друзей много, выполнение этой мицвы может стать довольно времяемким.

«Раскисну потом, – приказал себе Богдан и тут же подумал с некоторой даже мечтательностью. – Ох, как я потом раскисну!»

Смелость равнодушия – страшная вещь. Многое ты стесняешься или не решаешься сделать, боясь показаться бестактным и назойливым, или избегаешь, потому что поступок представляется тебе недостаточно человеколюбивым или не вполне сообразным... А вот после такой пощечины ты можешь все. Становишься всемогущим. Просто это всемогущество тебе самому противно. Равнодушного не покоробит даже, если ему сообщат, будто Христос сорок дней онанировал в пустыне. Равнодушный подумает лишь: ну и что, я сейчас тоже бы это смог.

Богдан достал трубку и набрал номер, еще в день прилета вычитанный в телефонной книге.

Долго не отвечали. Потом раздался хрипловатый женский голос:

– Алло?

– Доброе утро. Могу я поговорить с прежде рожденным Ванюшиным? Легкая заминка.

– Кто его спрашивает?

– Вы меня не знаете. Я литератор. Я хотел бы получить небольшую научную консультацию.

– Мордехаю сейчас не до науки.

– Я могу поговорить с ним? – настойчиво спросил Богдан, подчеркнув голосом «с ним».

– Ни в коем случае. Муж отдыхает.

И в трубке раздалась короткая гудки.

Следовало ожидать.

Собственно, после того, что узнал Богдан из документов и бесед – с директором института в Димоне, размашисто откровенным и очень, видимо, любящим Ванюшина добрым и грузным человеком, с Мустафой, блестящим и весьма симпатичным молодым офицером из отличной семьи (дед его был среди тех избранников Тебризского меджлиса, которые в свое время голосовали за предоставление ютяам убежища в Ордуси), с другими так или иначе близкими к Ванюшиным людьми, – оставалось сложить лишь два и два. Просто в голове не укладывалось, что в сумме может получиться не просто четыре, а четырехугольник. Переживания Ванюшина, набирая обороты, крутились в последние месяцы вокруг двух объектов. День национального покаяния и лунный календарь. Пурим и Луна. Луна и Пурим.

И – прибор.

Изделие «Снег».

Нынче ночью Богдан сложил два и два.

Наверное, он нипочем не сумел бы получить в ответе искомый четырехугольник – если бы не помогла ввечеру демократическая пресса. Умом давно уж вроде бы все понимая, минфа не умел прежде и близко вообразить, что на самом деле может испытывать человек, который годами, безо всякой надежды на то, что положение изменится, живет под огнем безапелляцион-

ных оценок из иной системы ценностей; и до чего можно такого человека в конце концов довести.

Богдан набрал другой номер.

– Привет, Баг.

– Привет, – ответил друг.

– Ты на посту?

– Да.

– Мы не сможем встретиться, как хотели. Давай пересечемся ровно через полтора часа там, где мы в первый вечер разговаривали. Помнишь?

– Да.

– Сможешь?

Короткая пауза: Баг прикидывал.

– Да.

Ланчжун и всегда-то был немногословен, а за работой – подавно. И вдвойне подавно – когда сообразил или почувствовал, что у Богдана что-то случилось и, возможно, он уже под яшмовым кубком.

– Амитофо, дружище, – сказал Богдан.

– Амитофо, – ответил Баг и дал отбой.

Богдан торопливо переоделся и пошел вон из номера. Перед встречей с Багом следовало как следует покружить по городу, провериться. Времени было в обрез.

Журналисты дежурили в вестибюле. Ну, конечно. Повскакивали. Бегут навстречу. Щелк. Щелк. Богдан остановился и дал себя окружить. Терпеливо выждал, пока творцы новостей выкрикнут первые вопросы. Дождался, когда они озадаченно затихнут. Отточенным движением поправил очки.

– Моя лисица меня разлюбила, – звонко и весело сообщил он. – Я буду онанировать сорок дней.

И, коли уж прессе так это нравится, растянул губы в ослепительном долгом чиз-смайле.

Когда минфа шагнул вперед, журналисты молча расступились. Похоже, он их напугал.

Он шел на одной гордыне. Мышцы точно растворились в какой-то кислоте, осталось лишь упрямство. Дай Богдан себе волю – слег бы прямо на пол и лежал. Ничего не хотелось.

Когда он вышел из гостиницы, солнце было черным.

К чему приведет это головоломное расследование и в чем заключалась та его часть, которая пришлась на долю верного одиночателя Богдана – Багатура Лобо, чем закончится история великой любви Мордехая и Магды, будет ли применено изделие «Снег» еще раз или нет – обо всем этом заинтересовавшийся читатель легко сможет узнать, если приобретет книгу «Дело непогашенной луны», которая выйдет в Санкт-Петербургском издательстве «Азбука» осенью 2005 года...



кандидат филологических наук, автор повести «Дезертиры», романов «Чертовое колесо» и «Толмач». Живет в Германии.

СЕКС-НАРЫ, КАНАРЫ

(пляжные заметки)

I

Самолет рейса «Франкфурт–Ла-Пальма» набит под завязку бледными северянами. И за окнами – белое, безразличное ко всему безмолвие. Айсберги облаков. Буранчики снежной пыли. Метет небесная поземка. Странное, безлюдное место, словно Бог изгнал всю живность из этой ледяной долины. Наверно, он, как и всякий тиран, любит карать, ссылать и рассеивать. Людей вышвырнул из рая за пустячок. Падших ангелов не простил, а их главного вожака ввергнул в каторжную адскую щель. Гоняет народы по пустыням почем зря. Карает и милует как заблагорассудится. Насылает спронея тайфуны. Отрыгивается смерчами и цунами. Вообще самолету следует приглушить моторы, чтоб не вызвать его гнева – он явно не любит шума в своей вековечной нирване. И никому не уйти от его последнего презрительного мерзлого молчания, хоть ты взлети выше облаков или уползи в ад.

С высоты полета остров Гран-Канария как раз ад и напоминает. Коричнево-розовая коровья лепешка, плавающая в голубизне. Остров из лавы, слепок преисподней, где всё и вся – без исподней.

Оказалось, что зелени на острове достаточно, но только там, где люди – вдоль моря. А внутренние, необжитые части острова – красные камни, бордовая пемза, розовые скалы. Однако деньги постепенно превращают эти камни в отели, дома, пансионаты, пляжи. Зелень завозится отовсюду. Кактусы, пальмы, агавы, жасмин, еще какие-то ползучие гады-кусты, яркие языки лиан – смесь растений из всяких жарких стран, собранная тут, в зим-

нем саду под открытым небом. А песок привозят с Багамских островов – естественных пляжей у этого куска застывшей магмы нет.

В середине октября – адская жара. Сезон – весь год. В декабре может покрапать дождичек, но ниже +20 не бывает. В обжитой части остров чем-то напоминает Крым лучших времен. Тепло, уютно, хорошо. Куда лучше канать на Канары, чем с «канареек» – на нары!

В лоточках скромные и милые испаночки продают мороженое и соки. Полно туристов из Европы: скандинавов, немцев, англичан. Совсем нет итальянцев и французов (имеющих свои пляжи и амбиции). Мало людей из бывшего Союза. Нет азиатов. Попадают отдельные негры-офени, хотя Африка – вон она, рукой подать, из Сахары дует трехдневный сирокко и доносит песчинки великой пустыни – прообраза нашей земли в скоро-далекие времена.

Крики попугаев – скрежет металла о стекло. Много толстеньких и жирненьких пальм, чем-то похожих на растрепанных сельчанок. А кактусы возле китайского ресторана «Гран-Шанхай» опутаны гирляндами горящих ламп и чем-то напоминают дрессированных львов на тумбах.

На острове все кошки почему-то черные, но предельно деликатны и необъяснимо скромны: держатся в тени, блестят глазами из кустов, никогда дорогу не перебегают, друг у друга корм не отбирают.

Сигареты стоят около 15 евро за блок. Такси, алкоголь, бензин и фототовары дешевы. Видео- и фотоаппаратура дешевле, чем на континенте, однако с полной гарантией, действующей в Европе.

В ресторанах – строго испанская музыка: порой печальная, порой ободряющая. Такой она звучала на фрегатах, плывущих к Новому Свету. А на улицах играют вещи с пластинок «Мелодия»: «Квантанамера», «Билайла», «Марина-Марина-Марина», «О соли мио», «Ку-ку-ру-ку-ку», «Ма-маю-керу»...

Неграм не лень каждый вечер привозить к отелю раздвижные лотки, вытаскивать местную дребедень. Глиняные корсары с мастырьками в клыках. Мигающие мелочи. Часы. Керамические браслеты. Афромаски. Пластмассовые куклы, с урчаньем тужащиеся на унитазах. Зажигалки всех понтов. Цветные лубки, поделки из дерева, железа и керамики. Тут же стеклодув налаживает свой фитиль, будет выдувать статуэтки на глазах у толпы, обалдевшей от жаркого солнца, обильной еды и знойного покоя.

Шофер такси рассказал странную новость: на соседнем острове Лансерот какой-то папа-кокаинист (очевидно, в диком припадке отцовской гордости) откусил у своего четырехлетнего сына мошонку. Мошонку пытались пришить, но тщетно. Папу не убили, а положили на лечение.

Ровно в час ночи посреди городка высаживается десант барабанщиков. Они колотят в барабаны, тамтамы и бонги, пока не посмотрят те, кто спал, и не выйдут из баров те, кто засиделся, чтобы посмотреть, что случилось: «Откуда бой?.. Может, разбой?.. Или прибор?.. Или кого-то ведут на убой?..» Задав адреналиновую трепку, тамтамщики и бонгисты убираются в дюны и дубасят там еще с полчаса.

Гуляющая публика глазееет на все, что движется и издает звуки. Вот болонки цапаются. Негры-разносчики устроили громкое кусалово. Кто-то поскользнулся, упал. Клоуны кривляются. Застывшая статуя-человек с постамента пялится. Пареньки гомонят. Зазывалы лаются: «Это мой лох! Иди на свой мох!» Пронырливые девки малолетки-«нехочухи» спешат в неизвестном направлении по только им известным делишкам. Все интересно зевакам, у которых мозг расплавлен жаром и морем.

На пляже сразу убеждаешься в том, что люди куда привлекательнее одетые, чем голые. Когда человек одет, внимание концентрируется на том, что открыто, что духовно (лицо, глаза) или почти духовно (руки). А на пляже человек открыт весь напоказ. Часто он просто бесформен. Порой даже не сразу ясно, где голова, а где задница: и то, и другое прикрыто газетой и лежит не шевелясь.

II

Хорошая, откровенная книга покойной Медведевой «А у них была страсть» об амбивалентности женской души, о большой зависимости женщин от обстоятельств и собственных капризов – подчас, заходя в ванную, она не знает, что будет делать, выйдя из нее: «Жизнь покажет...»

Есть бляди хитрые, ситуационные, есть бляди бытовые. Ситуационная выжидает в засаде, чтобы оттяпать руку, если получит палец. А бытовая все время в действии: суетится, активничает, ходит, ездит. Она энергична, весела, хорошо выглядит, постоянно подпитываясь спермой и потом разных мужских тел.

– Зачем дала, почему дала?.. Мое тело – кому хочу, тому и даю!.. Тому дала, потому что веселый... У того взгляд добрый, олений... А у этого наоборот, обезьяний – тоже кайф... У кого глаза обманчивы, у того ширинка заманчива...

Этот привлек форсом, другой – торсом, кто-то – морсом, какой-то – мопсом... А вот, у кого больше?.. Толще?.. Длинней и крупней?.. И кто может дольше?.. И что там в Польше?.. Кто кончает как?.. В рот или в кулак?.. Солона или сладка?.. Тягуча ли, жидка?.. – все интересует бытовичку, которая не ждет милостей от природы, а берет их сама, не в пример ситуационнице, ждущей оказии у обочины. У каждой своя тактика.

Впрочем, не от хорошей жизни любопытство у женщин развито куда сильнее, чем у мужчин. Бог сыграл очередную злую шутку – обрек женщину на вечное адово незнание – «не знать, пока не дать». Каков мужчина в постели – неизвестно, все скрыто. Сама женщина видна вся, сразу и полностью. Все достоинства налицо (кроме одного, без особо принципиального значения). У мужчин все как раз наоборот: главное спрятано, а все остальное принципиальной роли не играет. Только отдавшись, можно понять, подходит он ей или нет во всех смыслах.

Делать нечего, надо искать. А эксперименты, как известно, чреваты

ошибками, взрывами, пожарами. Поэтому надо быть не только любознательной, но и предельно осторожной, чтобы не нарваться на бешеного павловского пса, психа-кабана под вечной фрустрой или на больного шакала в потертой волчьей шкуре.

Самок в природе Бог помиловал – облегчил им участь тем, что оставил все решать самцам в т. н. брачных, или любовных, играх (правда, обрек на годичное ожидание течки и случки). И ничего, не ропшут. Может, потому, что говорить не могут?.. Но женщины не молчали. И когда человек окончательно отцивилизовался, женщина получила возможность не ждать годами заветной палки и отдаваться, кому она хочет, а не тому, кто ею овладеет. Но за это расплатилась вечными сомнениями и жизнью по методу проб и ошибок. А выбор, как известно, – мука, от которой погибла не только валаамова ослица, но и многие ее близкие и дальние родственницы.

Восток пришел к невеселому выводу, что единственная гарантия безопасности (= вынужденной верности) – это подвал или гарем, где играют слепые музыканты и прислуживают евнухи без языков. Впрочем, и туда пробирается Сатана на лунном луче, чтобы потешить бабу на своем крепком ключе.

На Востоке считают, что глаза женщины – это один из ее половых органов. Поэтому глаза тоже надо закрывать, сеткой. Говорят, что в Алжире женщинам закрывают повязкой один глаз, отчего лицо теряет симметрию. Один глаз не в силах (или не в состоянии) передать всю гамму чувств, которую можно выразить двумя глазами. Такое лицо не может быть притягательным. Одним глазом флиртовать трудно и даже смешно. У всех одноглазых существ – загнанный, даже злобный вид, к ним не тянет приближаться.

За пляжной стойкой немцы-подростки болтают о том, что жаль, что у женщин не вмонтированы во лбы семафорчики, которые, помимо ее воли, показывали бы: зеленый – «да, хочу, ищу мужчину», красный – «нет, занята», желтый – «и да, и нет, попробуй». Кто-то заметил, что, может, скучно будет. Но все возмущенно зашикали на него. Я тоже подумал, что очень даже весело могло бы быть (не для мужей, правда). Ну, да те наверняка тут же перебили бы все лампы... Впрочем, Бог прекрасно знал, что подобная затея бессмысленна – женщины быстро научатся манипулировать цветами: они всегда очень ловко черное за белое выдавали, а сейчас и подавно всех поголовными дальтониками сделают!..

Думается, что вообще мужья мало что знают об истинных секс-способностях своих жен (как, впрочем, и жены плохо осведомлены о талантах мужей). Между супругами установлены определенные схемы, стереотипы иерархии отношений (как в жизни, так и в постели). Нарушать их хлопотно, а иногда и смертельно опасно (Дездемона). Только в контактах с третьими лицами человек может познать до конца себя, свои возможности, склонности и желания. Там он начинает раскрываться вне стереотипов и стандартов или даже отталкиваясь от них.

Де Ниро в роли итальянца-мафиози кричит: «Как я могу трахать свою же-

ну в рот, если она после этого должна этими губами целовать моих детей?!» Резонно. Но резонно и то, что если не ты – то кто?.. Быстро найдутся желающие ей объяснить и показать это и то, то и это. Любопытство родилось раньше Евы и умрет позже всего. У многих женщин стабильность не в чести. Они знают: стабильность со временем переходит в косность, косность – в стагнацию. Поэтому говорят: с женой – статика, со старой любовницей – механика, с новой – кинетика, а с будущей, воображаемой – метафизика. А в целом брак – это ад, особенно если сам ты демон, да еще и женат на ведьме.

Вообще ревность и верность – понятия-реверсы: там, где кончается верность – вздувается ревность; где стихает ревность – там может начаться настоящая верность.

Кажется, что пар на Канарах больше, чем одиночек. У нас ездили на курорты, чтобы там кого-нибудь зашить, а тут предпочитают со своим станком в прокатный цех переть. И правильно – зачем рисковать?.. Вдруг станков в цеху на всех не хватит?.. Чего даром время и деньги терять?.. Секс сегодня – составляющая европейской системы оздоровительных упражнений, наряду с плаванием, утренней гимнастикой и морскими процедурами.

Партия «зеленых» давно борется за то, чтобы ввести секс как отдельную дисциплину в Олимпийские игры. На следующей Олимпиаде уже можно будет наблюдать состязания вроде парного катания, только без опасных коньков и дурацкого льда, а на матах, матрасах, стульях, брусьях, козлах и шведских стенках.

Играет блюз. Пара – в центре зала. Диктор объявляет: «Поза 69... Поза коленно-локтевая... Поза "ложечка"...» Чьи позы соблазнительнее, органы – красивее (на особом экране крупным планом), объятия крепче, движения обольстительнее – жюри тут же оценивает, в баллах и палках, а компьютер подсчитывает литры виртуальной спермы, вылитой публикой по ту и эту сторону экрана. Отбоя не будет от такого боя! И непременно две программы: вольная (для любовников) и обязательная (для супругов)!

III

Когда проходит мимо лолитка, то сразу хочется застрелиться или повеситься – словом, умереть. Не быть. Или быть – но с ней. Спасибо Набокову, что открыл эту тайну. Что общеизвестно, то уже само собой разумеется. Толстой сказал... Достоевский считал... Пушкин говорил... Раз Набоков писал – принимаем за данное: чем старше мужчина – тем его сильнее тянет к малолеткам. Набоков не побоялся правды, принял на себя ханжеский удар лицемеров, реабилитировал немых мужчин, обнаружив в своем романе, что пределы любви безграничны, а стать женщиной никогда не рано (и, наоборот, никогда не поздно, но это тема иного романа). Да и самим нехочухам роман пришелся по душе: «Если Лолитке можно, почему нам нельзя?» Если раньше терять девство до 16–17 было неприлично, то сейчас неприлично в 14 быть еще целкой. И правильно – чего мучаться?.. Кстати, если

Набокову можно, то почему другим нельзя?.. Тем более что и любой девочке куда уютнее в опытных руках, чем в потных ладонях сверстников, дальше своей головки мало что видящих.

Чем мужчина старше, тем он лучше понимает женщин, больше интересуется их душой, старается вникнуть в суть, а не только в плоть. Чем младше – тем больше занят собой. Чего же за это судить и осуждать?.. Наоборот – поощрять и премии-награды выдавать следует: «Опытный воспитатель» 4-й степени... «Тонкий преподаватель» 3-й степени... «Ласковый педагог» 2-й степени... «Нежный учитель» 1-й степени... Уверен: девочки не останутся в накладе.

Одна такая лолитка-нехочушка каждый вечер стоит перед «Гран-Шахаем», раздает афишки. Расставив ноги и напевая, то она сзади что-то поправит, то спереди что-то потрогает. По бедру пройдет. Грудей коснется. Невзначай то языком по губам проведет. Пальчиками по соскам пробежит. Знает, что за ней все мужчины наблюдают... Так и видишь ее в ванной, где она рассматривает в зеркале свою загадочную молчаливую штучку, из-за которой мужчины льнут и ластятся, как псы к мясу. По пухлым губам лолитки ясно, что и там, внизу, меж ног, должно весьма мягкие крылышки, увлекательные складочки – словом, пирожок... Сиди, смотри, представляй... В эту игру можно играть повсюду. Куда приятнее, чем карты или бадминтон.

Вообще от вида голых тел на пляже в похмельную голову ничего, кроме секса и алкоголя, не лезет. Мозжечок обезумел, искрит. Простата ноет и пускает слезу. А со всех сторон тарашатся зрочки голых сосков. Тупо наблюдают. Ничего не говорят. Ухмыляются про себя, как дебилы за обедом: «Мол, что-то знаем, но не скажем». Или безучастно отворачиваются в сторону. Попав в чьи-нибудь руки или губы, они окрепнут, взбунтуют, взволнованно оживут. А пока упорно молчат. Им на солнце особенно жарко – они самые голые. У женщин с большой грудью больше веса не только в прямом, но и в переносном смысле.

Секс – это доставлять друг другу удовольствие и, в свою очередь, получать удовольствие от того, что другому хорошо. И по теории разумного эгоизма все время стараться делать так, чтобы партнеру было бы все более приятно (тогда и твой выигрыш будет возрастать).

Секс без любви – обычное дело, живет и процветает, но вот любовь не в силах долго жить без секса – она затихает, гложет, высыхает, в человеке включаются механизмы спасения, поиски новой любви. Говорят, что алкоголь – для человека, а не человек – для алкоголя. Работать, чтобы жить, или жить, чтобы работать?.. Секс создан для любви, или любовь – для секса?.. Сразу и не ответишь.

Секс, как известно, бывает разный: хороший, плохой, холодный, горячий, интересный, скучный, занудный, серьезный, чистый, страшный, детский, дикий, грязный, мужской, женский... Он похож на некие воздушные часы, вроде песочных, которые регулярно переворачиваются чьей-то невидимой, но упорной рукой. Это – некая форма, переходящая в содержание, вроде наркотика. Он есть, и в то же время его нет. Что в нем принадлежит телу, а что душе – тоже не вполне ясно, поэтому его можно смело ве-

личать Телодуш или Душатель, нечто с задумчивыми глазами сфинкса и членом кентавра. Словом – загадка сфинктера...

Он все время меняется, как хамелеон, который сегодня никогда не будет таким, как вчера, а завтра не будет таким, как сегодня. При совмещении с любовью он творит добрые дела. Скрещенный с эгоизмом, он злобен. Сплетенный с ревностью – опасен. Соединенный с расчетом – смешон. А случай его с неразборчивостью грозит СПИДом и смертью.

Вот есть мнение, что мужчина и женщина равны и одинаковы. На самом деле они построены по разным меркам и канонам, по принципу антонимии, и не только в анатомии, где все разное: поезд и тоннель, ключ – замок, чашка-ложка, гайка-винтик... Да что там ключи и лохани!.. Сам принцип различен в корне. Что мужчине хорошо – то для бабы смерть. У мужчин здоровая елда – хорошо, у женщины лоханка – плохо. Если мужик долго кончает – это очень хорошо, а если женщина – то очень даже плохо. Если мужчине, чтобы зашить кого-то, надо активничать, хлопотать, ухаживать, клеить, арканить, фаловать, кадрить, цеплять – словом, прилагать силы, время, деньги, то женщине надо только ответить: «да» или «нет», выбрать из предложенного. Поэтому мужчина опять, как всегда, в проигрыше: невозможно начинать осаду каждой видной телки, хлопотать, суетиться. Зато женщине откликнуться на чужие хлопоты особых усилий не представляет. Можно просто кивнуть. Или молча показать глазами: «Да».

Некрасивых женщин много, потому что красота имеет своим законом гармонию, которую любой волосок может разрушить. Некрасивых мужчин нет, потому что их судят по другим канонам. Ни симметрии, ни гармонии от них не требуется – даже наоборот. Лишь воля, твердость, мужественность. Если этого нет, говорят, что мужчина невзрачен.

В разные периоды в женщинах сводят с ума разные вещи. В детстве – лица, влюбляешься в красоту: сам еще чист. В юношестве – груди, губы, пальцы: то, что видно, на что можно спускать и драть. Потом – бедра, ноги: то, что можно ебать. (В зрелости могут добавиться всякие изыски, вроде пальчиков ног, мочек ушей, заушин, век, ноздрей и прочих мелочей.) К полной зрелости начинают по-настоящему волновать сочные ягодицы и преследуют до самой смерти, хотя образ влажной вульвы витает всюду и всегда, как божья кара (иль благословенье).

Мужчина инстинктивно пропускает женщину вперед не только для того, чтобы лишний раз полюбоваться на нее сзади, но и чтобы заслонить, защитить ее. Недаром древнейшая «звериная» поза – и для людей самая верная, удобная и безопасная: женская особь целиком управляема и в то же время недосыгаема для других, что немаловажно при всеядности самки. Впрочем, самка – всегда в выигрыше: она знает, что ее возьмет сильнейший, победитель. И ей, в принципе и по большому счету, все равно, кто это будет. А у людей это далеко не всегда совпадает.

Вечером в центре пристал веселый мулат с карточкой девушки:
– Рашен герл! Вери гуд! О-ля-ля! Олия!

Я жестами показал, что сегодня уже был с женщиной. Мулат вздохнул и развел разноцветными кистями рук:

– Дрaствиу! Олия – вери, вери гуд!

– Ладно, пошли.

В жаркой комнатке с цветными занавесками сидела миловидная и серьезная девушка в мини-сарафане. Аккуратно причесана, похожа на отличницу. Мулат что-то сказал ей по-испански и вышел, прикрыв дверь. Она тихо и вежливо спросила:

– Орал? Анал? Хенд? Южил? Комплекс?

– Тебя тут не насильно держат? – спросил я, косясь на шумные разговоры в передней.

– Нет, я здесь часто работаю. Здесь спокойно, тихо... Я сперва подумала, ты из Италии или еще откуда, – не особо удивилась она родному языку.

– А ты сама откуда?

– Я?.. Оттуда...

В глазах – грусть, усталость, покорность. Я вытащил, что было в кармане, положил на стол и хотел уйти, но она тихо проговорила:

– Подожди... Посиди чуть-чуть... Поговорим... Скучно...

«Чуть-чуть» растянулось до полуночи. Мулата приходилось отгонять кредиткой. Он сообщал из-за двери, что его устраивает только кеш, а банкомат за углом. Я отвечал ему, что, пока не кончу, он не имеет права требовать с меня оплаты, а этого еще не произошло. Он недоверчиво переспрашивал из-за двери, она отвечала по-испански, что правда. Тогда он с ворчанием пропал, а мы продолжали заниматься приятными оздоровительными упражнениями, какие сам Бог велел делать на морском курорте. Что же это за отдых, если не заняться спортом?

И в последний вечер открыл свои плетеные двери китайский ресторан «Гран-Шанхай». Негры-продавалы трещат товаром. Опять ветер колышет стеклярусные бусы, псевдоколье и копеечные серьги. Люди плетутся по своим кормушкам и клетушкам. Тут, на адско-райском островке, проблем немного. Где поесть? Где купить воды, вина и пива? Куда пойти вечером? Где посидеть утром? Что послушать, что полущить? Что покупать, что пощупать? Так должно быть и на всей земле: тихо-мирно, дремно, томно.

А солнце радо, что выжило, наконец, с пляжей всех этих проходимцев, пытающихся за деньги купить его жаркую милость, которая не может быть продана и куплена, а только дарована. Звуки «Квантанамеры» из магазинчика кожи провожают до автобуса, который довезет до «аэропуэрто Гран-Канария».

Улетая, думаешь: «Тут люди из куска лавы сделали рай, а в других местах рай превращают в камни, лаву и пепел! И как было бы хорошо, если б Рыбы моей души лежали тихо, в равновесии! Но нет: жизнь постоянно бьет ластой по весам так сильно, что рыбы разлетаются, кто куда: одна стремглав летит прямо в мозг, другая камнем чешет в преисподнюю, калеча все на своем пути...»

Канарские острова, 2004



автор нескольких рассказов и детективов.
Живет в Израиле.

ЧАП

Она поправила сумочку на плече, глядя на себя в мутное стекло, и вышла, как только поезд притормозил. Двери через секунду закрылись, привычно звякнув за спиной, электричка, подвывая, умчалась прочь.

Рядом с платформой отряд пенсионерок наперебой предлагали ягоды, зелень и семечки. Впереди возвышался ряд унылых пятиэтажек, которые давно собирались сносить городские власти, но так и не придумали, куда расселить жителей. За серыми стенами старых домов раскинулся лесопарк.

Дина неторопливо шла по аллее. Сегодня ее никто не преследовал – так ей казалось. Сегодня в воздухе было спокойно. К концу жаркого лета лес высох, напитавшись теплом и зноем. Она шла по песчаной дорожке, усыпанной пожелтевшими сосновыми иглами и шишками, мелкие камешки перекатывались под каблуками. Она совсем было расслабилась, когда вдруг краем глаза отметила мелькнувшую тень в кустах. Начинало смеркаться – в этот час предметы быстро теряли резкость. Может, никакой тени и не было?.. Но внезапно она почувствовала взгляд в затылок. Шагов она не слышала – остановилась и резко обернулась. По дороге следом за ней трусила крупная рыжая собака. Сообразив, что ее заметили, собака остановилась в шагах десяти, а потом села на задние лапы, склонив набольшую голову, и дружелюбно взбила хвостом маленькую песчаную бурю на дорожке.

– Ты что это, – удивилась Дина. – Идешь за мной?..

Пес широко улыбнулся, вывалив мокрый язык. Он был очень крупным, ростом с овчарку, но всем своим видом будто говорил: не бойся, я хороший, я добрый...

– Если ты голодный, я тебя, конечно, накормлю, – решила Дина, – но

только один раз. Потому что содержать такую большую собаку, как ты, я не могу. Понял?

Он понял, поднялся и медленно пошел к ней, повиливая хвостом и приносясь, чуть опустив голову, вытянувшись стрункой. Дина запоздало испугалась и замерла. Не торопясь, он обошел ее кругом, шумно втягивая воздух подвижным носом, и опять сел – прямо перед ней. Они помолчали с минуту, примериваясь друг к другу, привыкая. Потом пес негромко гавкнул, подняв голову, приглашая продолжить прогулку. Дина сделала шаг, он тут же сорвался с места, забежал вперед, вернулся, обежал вокруг нее, построился слева и чуть впереди, поглядывая на нее весело и немного снисходительно. Во всяком случае, Дине казалось, что он поглядывает именно так.

Аллея вывела их к строящимся каменным коттедгам. Часть из них были почти готовы, другие только поднимались. В дальнем уже светились окна. Пес вопросительно посмотрел на нее.

– Не надейся, – засмеялась Дина, – коттеджи – это не про меня. Я живу во-он там, – она показала рукой вдаль, но пес по собачьей привычке посмотрел на ее руку, а не туда, куда она указывала.

Они миновали строящиеся каменные хоромы и подошли к невысокому деревянному забору, окружавшему запущенный сад. В глубине угадывалась черепичная крыша, чердачное круглое окно и темные стены деревянного дома. За домом опять начинался лес.

– Ну, заходи, – Дина подняла железную щеколду и распахнула калитку.

Возвращаясь домой, она всегда боязливо озиралась по сторонам, прислушивалась к темному саду, заходила к себе с большой опаской. А сегодня спокойно прошла мимо старых яблонь, не вздрагивая от вечерних шорохов и не вглядываясь в сгустившуюся темноту. Пес, как только за ним хлопнулась калитка, рванул вперед, нарушая тишину частым дыханием, обежал сад, потерявшись на мгновение, и уже стоял у дверей, поджидая Дину, переминаясь с лапы на лапу, и словно говорил – ну что же ты? Я уже давно здесь... Она повернула ключ, рассохшаяся дверь скрипнула, пропуская их в дом. Он и тут вбежал первым, исследуя обстановку. Узкая прихожая, небольшая кухня с допотопным холодильником, он сунул нос сначала туда, потом в просторную комнату с телевизором, диваном и круглым столом, наконец в спальню – и вернулся обратно к Дине, помахивая хвостом. Мне это подходит, было написано на его физиономии. С электричеством сегодня перебоев не было, это радовало. Иногда она сидела без света по вечерам. Не то чтобы ей было страшно в темноте – она привыкла, но с электричеством однозначно жизнь воспринималась оптимистичнее.

Пес прибежал на кухню, услышав, что она забрэнчала посудой, и деликатно сел на пороге, поглядывая на плитку.

– Ну вот что, – сказала Дина, – собачьей еды у меня нет. Так что на ужин будут макароны по-флотски. Ты как?..

Он был согласен на макароны, энергично забил хвостом, заулыбался, поводя носом, ловя домашние запахи.

Позже, когда она села перед телевизором с чашкой чая в руках, пес пошел к ней вплотную и, загородив крупным телом пол-экрана, неожиданно заглянул ей в глаза.

– Ты чего? – не поняла она. Он сделал еще полшага, толкнув ее носом под руку. Остывший чай плеснул на колени. Дина поставила чашку на стол и досадливо поморщилась:

– Какой ты неуклюжий, – укорила она пса.

– М-м-м, – прогудел он, не меняя позы. Она неуверенно подняла руку и осторожно провела пальцами по его лбу к ушам. Пес разомлел, опустил голову, упершись ей в ноги, и, кажется, готов был замурлыкать. Дина засмеялась, почесывая его за ушами:

– Такой огромный, а ластишься, как щенок... Как же тебя зовут, а?

Он, ясное дело, не отвечал.

– Смешной какой, – продолжала она, – причапал за мной из леса... причапал. Тебя, наверное, зовут Чап?.. – он сел и склонил голову набок, прислушиваясь к ее голосу. – Я буду тебя называть Чап, нравится?..

Ему нравилось. Он исправно нес караульную службу всю ночь, облюбовав коврик у дверей и время от времени обходя вверенную самому себе территорию.

Утром они позавтракали – Чапу достались вчерашние макароны. Потом он вызвался проводить ее до станции. Дине было жаль бросать пса, они уже успели подружиться, но поезд подошел, и Чап отступил, не делая попыток подняться на платформу. Пока Дина вошла в вагон, пока выглянула в окно – он исчез из виду.

Свой день она проводила в университетской библиотеке, занимаясь картотекой, дыша запахами пыльных фолиантов, иногда спускалась в книгохранилище – в общем, получала массу удовольствия за очень скромную плату.

Вечерами возвращалась домой – в то, что когда-то было дачным поселком, а теперь превращалось в фешенебельный пригород.

Чап ждал ее: кинулся навстречу, распугивая редких пассажиров, едва она сошла на платформу. Дина обрадовалась ему как старому другу, предложила зайти в кособокий домик рядом со станцией с облезшей вывеской «Продтовары» и купить для него, к примеру, колбасы. Он был рад всему: колбаса так колбаса.

Чап бежал впереди, то обнюхивая между делом деревья, то отставая, то опять забегая вперед. Он оказался компанейской собакой, и она и сегодня не ощущала той, ставшей уже обычной тревоги, которую испытывала на этой аллее почти ежевечерне. Утром повторилась та же история – Чап проводил ее на электричку. Вечером встречал на том же месте, так же радостно пристроившись рядом, едва она вышла из вагона. На этот раз она вернулась из города с большим пакетом, в котором он безошибочно узнал ту самую настоящую «собачью» еду.

Однако сегодня он не отбежал от нее далеко, держался поближе, вздыбив шерсть на загривке, настороженно поводя ушами. Дина заволновалась, но никто не вышел из темноты, никто не догонял ее на пустынной дороге – наверное, потому, что она была с Чапом. Зато дома сегодня не было света. Она не удивилась, у нее имелся большой запас свечей – как раз для таких случаев.

– Вот так, Чап, – сказала она, расставляя подсвечники по всему дому. – Сегодня у нас с тобой романтический вечер при свечах. А завтра – выходной, поэтому у нас будет целых два романтических вечера...

Чап легко согласился на романтические вечера, хрустя «собачьей» едой, которую она насыпала в небольшой тазик.

Когда она легла, он вдруг беспокойно закрутился, заходил, цокая когтями по деревянному полу. Потом, поставив передние лапы на подоконник в ее спальне, поводя ушами, смотрел через стекло в темный сад.

– Что там, Чап? – позвала Дина. Он повернул к ней голову, а потом опять устался в темноту, замерев неподвижным изваянием.

Обычно перед сном она обходила дом, проверяя каждое окно, дергала входную дверь, убеждаясь, что она надежно заперта, и даже поднимала телефонную трубку, чтобы услышать гудок и успокоиться: телефон работает. Чап оставался у нее третью ночь, и в третий раз она расслабленно ложилась в постель, расставаясь со страхами.

...Ей снилось, что Они пришли. Будто она плохо закрыла дверь или не закрыла ее вовсе, но Они пришли. Она боялась этого наяву и во сне – во сне особенно. Ее хотят заставить сделать то, на что она ни за что не может согласиться, а Они опять и опять будут приходить и пугать ее до тех пор, пока она не сломается. Когда один из них подошел к ней совсем близко и сел на край постели, она закричала во сне и проснулась.

Была еще совсем ночь. В окно нахально заглядывала совершенно круглая луна, заливая комнату голубоватым светом. Дина повернулась взглянуть на часы... и не закричала только потому, что онемела – сначала от страха, а следом за тем – от изумления. В комнате спиной к ней стоял совершенно голый парень и разглядывал себя в зеркале. И даже ошупывал себя руками. Стройное тело поблескивало в серебристом свете. Дина, задерживая дыхание, приподнялась на подушке и огляделась.

– Чап, – одними губами позвала она. Голый незнакомец вздрогнул и немедленно обернулся:

– А? – хрипло произнес он. Дина резко натянула одеяло до подбородка и нашарила дрожащей рукой на тумбочке коробок. Ломая спички одну за другой, она наконец зажгла все три свечи в высоком подсвечнике и опять схватилась за одеяло. Парень все стоял неподвижно, не сводя с нее глаз. Теперь он повернулся к ней, и Дина, стараясь не разглядывать обнаженную натуру, позвала погромче:

– Чап!..

Собаки не было, когти не зацокали по полу, и она ощутила, как страх поднялся большой волной и зашевелился где-то на уровне желудка. Парень же вдруг сделал шаг по направлению к ней, Дина взвизгнула и закричала во все горло:

– Чап, ко мне!..

– Да я же здесь, – неожиданно прохрипел голый парень, подскочил к ее кровати и, присев на полу, положил ладонь на край одеяла. Она вскрикнула, и, подпрыгнув, забилась в угол, в ужасе уставясь на него:

– Ты кто?!

– Чап, – ответил он, медленно поднимаясь. В голове у нее помутилось, она зажмурилась, потом медленно открыла глаза. Голый никуда не исчез, стоял перед ней, не смущаясь своей наготы и не делая никаких резких движений. Словом, вел себя также непринужденно и дружелюбно, как делал это Чап еще сегодня вечером.

– Чап – это собака, – прошептала Дина.

– Собака, – подтвердил он. И широко улыбнулся, склонив голову набок. Она опять закрыла глаза, но не так основательно – молча рассматривала его из-под подрагивающих ресниц. Парень был рыжий и лохматый. Глаза его казались почти совсем черными, полные губы застыли в полуулыбке, на скулах пробивалась рыжая щетина. На голой груди густо курчавились светлые волоски, тянулись дорожкой вдоль живота... она скользнула взглядом ниже. Ниже растительность была темнее, гуще и еще курчавее. Очень мускулистый и очень худой.

Рыжий разглядывал Дину, не стесняясь и не прячась за ресницами. Она стояла ногами прямо на подушке, вжавшись в угол, короткая ночная рубашка почти ничего не скрывала – скорее, подчеркивала. Одной рукой она тянула рубашку вниз, стремясь спрятать колени, но они все равно были видны, а на светлой ткани выделялась загорелая тонкая рука и напряженно стиснутые пальцы. Она открыла глаза и, осторожно потянувшись, нашарила халат. Парень не шевелился. Кое-как справившись с поясом, Дина почувствовала себя немного уверенней и опять спросила:

– Ты кто?..

На этот раз он не ответил, недоуменно пожав плечами, в глазах читался укор: ну что же ты, опять двадцать пять...

– Ты как сюда попал? – не унималась она.

Он снова пожал плечами:

– С тобой.

У нее закружилась голова. В то, что голый пытался ей втолковать, разум верить отказывался наотрез.

– Повтори, кто ты... – тихо попросила она.

– Чап, – послушно ответил он. И простодушно добавил, опять склонив голову к плечу: – Собака.

В том, как он вертел головой, было столько знакомого, что невероятная правда рвалась наружу, забив фонтаном в ее мозгу. Нет, это было слишком.

Дина с трудом удерживала себя на краю реальности. Если только это можно назвать реальностью. Рыжий мирно стоял рядом, не собирався таять в воздухе, пару раз шумно вздохнул, а потом уселся на пол, не сводя с нее блестящих глаз.

– Ты хочешь сказать... – тихо проговорила она, – что еще сегодня вечером был собакой?!

Она так надеялась, что он поднимет ее на смех и скажет, вот же глупости какие, просто я тут охраняю соседний коттедж, заскучал и пришел тебя поугагать. Но он серьезно кивнул:

– Да. То есть я и теперь... – он вытянул перед собой длинные руки, засмотрелся на них и пробормотал: – Только изменился...

Она истерически засмеялась:

– Но так не бывает!! Этого просто не может быть, понимаешь?!

– Не может, – согласился рыжий. Сморщил лоб и добавил: – Но как-то это... получилось.

Он опустил голову, будто признавая свою ошибку: вот, мол, какая неудачная шутка вышла. Дина потерла глаза руками, потом резко выдохнула и потрясла головой.

– Так, – сказала она решительно – скорее себе, чем ему. И осторожно опустила ноги на пол подальше от него. Что делать и говорить дальше, она не знала. Но не оставаться же в постели, когда тут... когда он...

– Ты боишься меня, – печально констатировал голый, подняв голову.

– Нет, – постаралась она обмануть себя.

– Да, – не согласился он. – А вчера не боялась...

Он был так искренне расстроен, что страх ее начал пропадать, только она не знала еще, как к нему относиться.

– Послушай, – нерешительно предложила Дина, – пойдём пить чай... а?

Он встрепенулся:

– Чай?! – и обрадовался, и вскочил так быстро, что она в испуге отпрыгнула к стене, с грохотом сбив стул. Рыжий отшатнулся и замер на месте с совершенно несчастным видом. И тогда Дина сделала робкий шаг ему навстречу:

– Ты не переживай так... я сейчас привыкну.

В то, что она привыкнет, она не верила ни минуты. Захватив подсвечник, перенесла его на кухню, поставила чайник и обернулась: он стоял в дверях и оглядывался так, будто оказался здесь впервые. Сделал шаг и сел на табурет. Поверхность оказалась прохладной, он вздрогнул и поежился. Дина спохватилась:

– Сейчас, – бочком протиснулась мимо него.

В ее старых джинсах и футболке он выглядел чуть лучше, но совсем замущался и молчал.

– Послушай, а ты... – начала она и тоже смутилась.

Он с готовностью поднял на нее глаза.

– Я хотела спросить... это вот... такое случилось с тобой впервые?

– Да... то есть нет, – признался он, – один раз было. Давно...

Она поставила перед ним чашку и вазочку с печеньем.

– И как же тебя зовут? – помолчав, спросила Дина.

– Чап, – опять отозвался он, а потом спросил: – А тебе не нравится, что я сейчас... такой?

Она задумалась на минуту.

– Я еще не знаю, – призналась, – а тебе самому – нравится?

– Я тоже еще не знаю, – медленно ответил он.

– А ты можешь измениться обратно? – продолжала она спрашивать. – То есть – снова стать собакой?..

Он равнодушно пожал плечами:

– Наверное, могу. Но это получается не нарочно, понимаешь?..

Она кивнула. Понять этого она не могла, но очень старалась просто брать на веру то, что он говорил. А что ей оставалось делать?..

И тут Они опять пришли. Это было не во сне, рыжий внезапно напрягся, ей даже почудилось, что у него задвигались уши.

– А что... – начала она, но он перебил:

– Ш-ш-ш...

Дина побледнела, выронив чайную ложку. Он поднял голову и сказал утвердительно:

– Ты их боишься.

– Откуда ты знаешь? – прошептала она. Он не ответил, посмотрел на нее с сожалением и опять замер, прислушиваясь. Эти уже поднялись на крыльцо и ковыряли замок – теперь она слышала не хуже, чем рыжий. Он коротко взглянул на нее, стремительно поднялся и бесшумно исчез в прихожей. Она съежилась на стуле, угадывая по звукам: вот он повернул ключ и резко распахнул дверь, ее ночные гости громко выругались, потом началась шумная возня, ей даже показалось, что она слышала яростное рычание, но в этом она не была уверена, звуки борьбы, грубая ругань отодвинулись в глубь сада, потом глухо стукнула калитка... Приникнув к окну, она старалась разглядеть детали в пред-рассветной мгле – ей показалось – бегом удалялись две крупные фигуры, ей показалось – вслед за ними несется некая рыжая стрела, напоминающая ее вчерашнего Чапа, но она и тут не была уверена, а только забралась опять на стул с озябшими ногами и дрожа уткнулась лицом в ладони. Сегодня она не одна, но Они все равно добились своего: она опять до смерти напугалась.

Быстрые шаги, скрип деревянного крыльца, дверь хлопнула – и Дина, не выдержав, крикнула:

– Чап! Это ты?! – сейчас она была почти уверена, что он вернулся в образе полюбившейся ей собаки, а все остальное было сном, что он сейчас ткнется ей головой в колени, виляя хвостом. Она не знала, хотелось ли ей такого поворота, но не успела разобраться, потому что он вернулся – в том самом виде, в котором и убежал, хвоста у него не было. Но он сел на пол и уперся лбом в ее стул.

– Они ушли, – сообщил он, тяжело дыша. И, подняв голову, улыбнулся: – Ты назвала меня по имени.

Совершенно неожиданно для себя Дина протянула руку и провела ладонью по его волосам:

– Да. То есть нет, я думала, что это не ты... то есть ты, но... – она запуталась и замолчала.

– Я – это он, – нашелся Чап и засмеялся. – Они тут еще вчера крутились, – сказал он. – Что им надо от тебя?..

Дина молчала, не зная, следует ли ему рассказывать, а главное, не зная, поймет ли он.

– Я потом тебе расскажу, ладно? – решила она.

Но он неожиданно догадался:

– Даже многие собаки абсолютно все понимают, – прошептал он, отодвигаясь от нее.

– Ты обиделся? – расстроилась Дина.

– Конечно, нет, – ответил Чап, и, заметив на руке длинный порез, дважды лизнул его языком.

– Это длинная история. Я тебе потом обязательно расскажу, – пообещала она.

За окном рассвело, первые солнечные лучи забрались в кухню, запутавшись в огненной гриве Чапа. Тут ее наконец догнала усталость. Веки отяжелели, безумно захотелось спать. Он опять поймал ее мысль и поднялся:

– Ты не бойся, сегодня они не придут.

Странно, подумала Дина, я уже и не боюсь. Они не придут, а этот...

– Я с тобой буду, – тут же откликнулся этот.

Она встала и оказалась совсем рядом с Чапом – он был жилистым и высоким, выше ее на полголовы. Дина подалась назад, но наткнулась на стол, чуть не упала и невольно ухватила за Чапа. Он быстро протянул руку ей за спину, поддерживая. Так близко она к нему еще не подходила. От него пахло утренней свежестью и какими-то лесными травами. Причем здесь травы, подумала она. Она понятия не имела, как к нему относиться, можно ли до него дотрагиваться, более того – она все еще не была уверена, что он ей не снится.

– Я настоящий, – немедленно отозвался Чап на ее мысли. Она дернулась, отстраняясь.

Спальня выходила окном на восток и была залита светом. Дина поплотнее задернула тяжелые шторы и с облегчением легла, прислушиваясь. Глаза ее закрывались, но тут скрипнула половица. Чап обнаружился очень близко, прямо перед ее лицом – он опять уселся на пол перед кроватью. Она его уже совсем не боялась.

– Ты что? – спросила она. – Будешь сидеть на полу?

– Я хочу быть рядом, – просто ответил Чап.

Она подумала минуту, потом похлопала ладонью по постели:

– Тогда ложись здесь, с краю. А то меня совесть замучает, – улыбнулась она.

Он проворно улегся лицом к ней, не касаясь ее и не сводя глаз.

– Я даже не знаю, каким ты будешь, когда я проснусь, – сонно пробормотала Дина, – собакой или человеком... и будешь ли ты вообще...

– Я буду, – пообещал Чап зевнув.

Она проснулась и прислушалась к дому, не открывая глаз. Ночные события сначала отступили, а потом внезапно припомнились вплоть до мелких деталей. Неужели это был такой сон?! – восхитилась Дина. Или – не сон? Она осторожно повернула голову – рядом никого, но на одеяле осталось несколько рыжих волосков... или – шерстинок?.. Она помнила, как подвинулась, и он аккуратно лег с краю прямо поверх ее одеяла. Или все-таки все это ей приснилось?.. Дом вел себя спокойно – никаких посторонних ни звуков, ни запахов. Она знала этот дом, как себя, различала голос каждой половицы и кряхтение рассыхающегося шкафа. Ей надоело угадывать – сон был или не сон, она села в постели – и тут же выяснила – никакой не сон. Вот он, Чап – немедленно возник в дверях, услышав, как она пошевелилась. Хвоста у него по-прежнему не было. Только длинные рыжие патлы по плечам. Ее джинсы были ему ощутимо коротки – надо будет отрезать их до колен, подумала Дина. Он улыбался ей так радостно, что она рассмеялась.

– Сколько времени? – спросила она.

Чап недоуменно уставился на нее, склонив голову к плечу, она опять прыснула:

– Ах, да... – и подумала: как многого он не знает.

– Это ничего, – отозвался он на ее мысль. – Я научусь, если ты захочешь.

– Ты умеешь читать мысли, – сказала Дина. – Как это у тебя получается?

– Не знаю, – признался Чап, подходя к ней и по привычке опускаясь на пол. – Наверное, потому что собаки ведь знают не все слова, и если бы они не читали мысли, то вообще плохо бы понимали людей.

– Вот как... – протянула Дина. – Значит, теперь ты и слова знаешь, и мысли читаешь, хитрец?..

Она улыбнулась, но Чап серьезно кивнул:

– Да, теперь я тебя понимаю намного лучше.

Дина вдруг поймала себя на том, что она немного скучает по тому, вчерашнему Чапу. Она еще вечером представляла себе, как они пойдут с ним гулять в лес, который начинался прямо за забором, как Чап будет весело носиться, вынюхивая все вокруг, обегая ее по кругу, исчезая из виду и возвращаясь с неизменной улыбкой. Сегодняшний Чап никак не хотел отделяться от вчерашнего, хотя и приобрел за ночь человеческий облик и речь.

– Ты бы хотела, чтобы я был прежним? – озабоченно спросил он.

– Ну что ты, – быстро отозвалась Дина, боясь его задеть. – Ты мне такой тоже очень... нравишься, – добавила она, запнувшись на мгновение.

– Нет, – покачал головой Чап, – ты сейчас хотела, чтобы я...

– Я не хотела! – перебила Дина с досадой. – Ну что ты хватаешь каждую мысль, это не желание было, я просто представила, как мы могли бы пойти гулять...

– Гулять, – повторил Чап за ней мечтательно. – Хорошее слово «гулять», мне нравится.

– Да ты теперь можешь гулять сам сколько захочешь, глупый! – засмеялась Дина.

– Я уже гулял сам, – напомнил ей Чап.

– Ах, да, – устыдилась Дина. – Значит, ты хочешь, чтобы я с тобой пошла гулять?

– А это можно? – спросил Чап тихо.

– Ну конечно!.. Мы с тобой обязательно пойдем погуляем, если тебе так хочется, только кофе сварю.

Настойчивая трель телефонного звонка заставила ее подняться.

В комнате стоял старый аппарат с круглым диском – Дина давно уже нигде не встречала таких телефонов и не хотела менять свой на новомодные кнопочные трубки.

– Ну, что же ты?! – вместо приветствия услышала она раздосадованный голос Романа. С Романом у нее был роман, который начался месяцев шесть тому назад. Сначала он просто частенько навещал ее в библиотеку. Он преподавал в университете, и для того, чтобы лишний раз зайти в библиотеку, никаких особых поводов не требовалось. Потом они ходили в рестораны, иногда – в театр. Идеальный, думала о нем Дина: основательный, неглупый, практичный. Иногда она оставалась у него – тогда по утрам добиралась до работы за каких-нибудь полчаса. Один раз Роман приехал и остался у нее – и это ей не понравилось. Дом был ее личным, интимным пространством, дом Романа не принял, чувствовала Дина. Возможно, думала она, потом, когда я по-настоящему полюблю его... А сегодня она умудрилась вовсе забыть о том, что они договорились встретиться.

– О, – покаянно произнесла Дина, – Рома, извини. Но тут у меня столько всего...

– Ты забыла, – догадался Роман. – Я звоню все утро, где ты была?..

– Я спала, я не слышала...

– Ты на часы смотрела? – перебил ее он.

– Нет, – честно призналась Дина.

Роман был раздражен, он не любил, когда ломались его планы, и не желал слушать оправданий. Еще вчера они договорились пойти на дневной сеанс – в городе проходил кинофестиваль, и на вечерние показы попасть было сложно.

– Ну хорошо, – решил он. – Раз уж ты такая соня, пойдем на вечерний, постараюсь достать билеты. Я встречу тебя у метро, а после кино поедом ко мне.

Он уже все решил. Он вообще быстро принимал решения, ее Роман. И тут Дина внезапно поняла, что не хочет не только оставаться у него, но и вообще встречаться сейчас у нее нет никакого желания.

– Знаешь что, – решительно сказала она. – Я не смогу сегодня.
– В чем дело? – возмутился он. – Наши планы...
– Послушай, Рома, у меня проблемы... – пыталась объясниться Дина, не желая вдаваться в детали и ссориться.

– Что у тебя могут быть за проблемы?! – насмешливо перебил Роман.
– Личные, – отвечала Дина, и голос ее зазвенел от обиды.
– Ах, вот как!.. Ну что ж, ладно, – Роман бросил трубку, и она еще с полминуты слушала короткие гудки. Почувствовав взгляд, она обернулась: Чап молча стоял в метре от нее.

– Почему? – спросил он, хмурия брови.
– А подслушивать неприлично! – в сердцах бросила Дина, отправляясь на кухню.

Чап остановился в дверях:

– Но я же не подслушиваю, я просто слышу, – бесхитростно признался он. Дина уронила на пол пакетик с кофе, и терпкий аромат поплыл по кухне.

– Что, все слышал? И его – тоже слышал?
– Конечно, – подтвердил Чап.
– Ну и что же мне с тобой таким делать?.. Ты все слышишь, читаешь мои мысли...

Дина опустила на колени и принялась сметать щеточкой рассыпанный кофе.

– Это – плохо? – подал ей совок Чап и попытался заглянуть в глаза. – Ты не хочешь, чтобы я был с тобой? – забеспокоился он.

Досада ее улетучилась, стало смешно – он так старался быть ей другом!.. Она протянула руку и второй раз с момента его преобразования осторожно потрепала его по голове:

– Что ты, что ты, – заверила она, – ты очень хороший, я хочу, чтобы ты был со мной, но как-то все это так... странно.

– А у тебя много проблем, – договорил за нее Чап.

Проблемы были. Во-первых, нынешний Чап – сам по себе являлся в некотором роде проблемой: заговорил, а ведет себя, как ребенок – нет, как собака, поправилась Дина, во-вторых, Роман. Ссориться с ним она совсем не хотела, но от обиды не хотела о нем вспоминать, в-третьих, Они... И перебила сама себя: я об этом потом подумаю, а сейчас – кофе, а потом – обещанная Чапу прогулка. Она помахала рукой перед его носом:

– Эй, Чап!.. Расслабься, я ни о чем не думаю!..

Предосенний лес все еще дышал летом. Только листья начинали желтеть. Под ногами хрустели шишки и желуди. Чап все норовил пуститься в бег, но останавливался, оглядываясь на Дину, приноравливаясь к ее шагу. Она рассмеялась:

– Да ты делай то, что тебе хочется!.. Мы же гуляем!

Он коротко взглянул на нее, отошел на пару шагов в сторону, обернулся и, поймав ее одобрительный кивок, внезапно рванул вперед, разбежался,

высоко подпрыгнул, ухватился за толстую сосновую ветку и повис на руках, раскачиваясь над землей. Дина остановилась перед деревом, задрав голову. Он покачался пару минут, потом разжал руки, мягко приземлившись, и посмотрел на Дину, улыбаясь во весь рот:

– Оказывается, это то, чего я так давно хотел!..

– Вот видишь, – задумчиво произнесла Дина и тоже улыбнулась. – Как легко...

Бросив трубку, Роман позлился еще немного, но, выкурив сигарету, остыл. Так же как и у Дины, у него не было желания ссориться. Ну, вспылит – ну, бывает. Что ж она, не поймет?.. Роман был в ней уверен – Дина и не давала ему поводов для ревности и сомнений. Он был убежден, что является для нее единственным лучом света в том темном беспросветном будущем, которое – он не сомневался – ожидает ее без него. Роман был слишком самоуверен. Потому что сама Дина так не думала. Да, с Романом жизнь стала веселее и приятнее, соглашалась она с собой, но и только. Она вовсе не считала свое будущее беспросветным. Ну и что, что все бывшие одноклассницы давно вышли замуж, родили детей, развелись и вышли вторично... Она долго была одна – после первого скоростного брака она боялась отношений. Она и теперь их боялась, впуская Романа в свою жизнь очень постепенно и очень поверхностно, она медленно привыкала к нему и искренне надеялась, что сумеет полюбить. Остаться одной больше не хотелось – она сыта была одиночеством по горло, хотя и не тяготилась им. Она никогда никого не искала – Роман сам нашел ее. Она восприняла его появление спокойно – ну, должен же, наконец, кто-то появиться, думала Дина... Роману она очень нравилась, правда, немного злила ее сдержанность, которая, как ему казалось, граничила с равнодушием. Ну ничего, думал он, она ко мне привыкнет, все будет так, как хочу я. Он не хотел ее терять... Конечно, сегодня как-то некрасиво получилось, размышлял Роман, а может, и вправду что-то там стряслось?.. Звонить он не хотел и решил взять да приехать без предупреждения. Мало ли – вдруг ей помощь требуется, она никогда сама не попросит, а он ведь благородный человек, он ведь поможет ей... Благородный человек, проезжая мимо метро, обозревал ряд ларьков, торгующих цветами. Нет, решил он. Это будет слишком прямолинейно. Ничего не надо, я же не извиняться еду, а просто так – узнать, как дела и что, собственно, за проблемы, из-за которых она отказалась от встречи.

Дина с Чапом неторопливо вышли к дороге – к дому можно прийти прямо по ней – его уже было видно, или, свернув, срезать крюк через ближайший лесок. Внезапно Чап настороженно посмотрел вдаль – Дина тоже заметила: там, на дороге, в облачке пыли показалась машина. Дорога вела к ее дому. То есть она может привести и к каменным коттеджам, да только сегодня выходной, и на стройках никого нет. Значит, пронеслось у нее в голо-

ве, – едут к ней. Еще через пару секунд она с облегчением узнала машину и повернулась к обеспокоенному Чапу:

– Это Роман, – сказала она. – Ты знаешь, что... ты погуляй сейчас один, хорошо? Нам надо поговорить, понимаешь?

Чап не понимал.

– Почему?..

Машина быстро приближалась, и Дина занервничала:

– Я тебе потом объясню, а пока иди, погуляй.

Не дожидаясь ответа и не оглядываясь, она помчалась бегом к дому в обход дороги. Чап дернулся было за ней, но остановился, наблюдая, как машина подъехала и притормозила, как вышел из нее крепкий светловолосый мужик и направился к дому.

Запыхавшаяся Дина как раз огибала дом, забежав в сад сзади через старый лаз в заборе, который помнила еще с детства – несколько штакетин держались на одних верхних гвоздях. Она оказалась у калитки одновременно с Романом. Он стоял и внимательно разглядывал ее: раскрасневшаяся, растрепанные волосы по плечам, короткий топик, открывающий узкую полоску загорелого живота, длинная цветастая юбка по щиколотку, плоские сандалии на ногах... Ему все это нравилось, но отнюдь не казалось, что ее одолевают проблемы. Дина остановилась, шумно дыша, не произнося ни слова. Роман протянул широкую ладонь, нащупывая щеколду. Войдя, остановился напротив Дины:

– Ну, ты как? – спросил он. – В дом-то пригласишь?

Она кивнула, пошла вперед. Роман потянул носом, двигаясь за ней на кухню:

– Кофе пахнет, – констатировал он. – Угостишь?..

Дина, не скрывая обиды, молчала, но взялась за медную джезву. Роман задел ногой миску, в которую она насыпала вчерашнему еще Чапу хрустики.

– А, – сказал он, – кстати, где же твой бродячий пес?..

– Что? – обернулась она.

– Ну, помнишь, ты говорила, что к тебе прибился бродячий пес.

Дина уставилась на пустую миску и изумилась – неужели утром, когда она спала, Чап ел эти хрустики?! Она ведь совершенно не подумала о том, что ему надо же было что-то есть, и ее кофе с бутербродами, наверное, для него были не слишком существенными.

– Диночка! – вывел ее Роман из задумчивости. – Кофе убежит!..

Она повернулась к плите, успела подхватить джезву, составила на поднос чашки и понесла в комнату. Роман шел следом, поджав губы. Она была неразговорчива, но, впрочем, это не особенно его обескураживало.

– Так в чем дело, Дина, – заговорил он. – Расскажи уж, пожалуйста.

Он смотрел на нее снисходительно, заранее уверенный, что на самом-то деле нет у нее никаких особых проблем, а так, капризы женские, но он с этим быстро разберется. Дина молчала – говорить ей не хотелось, и тогда Роман неторопливо поднялся, подошел, обнял сзади и поцеловал ее.

– Ну, Диночка, дорогая. Не сердись, прошу тебя.

Он легонько приподнял ее, она встала и повернулась к нему.

– Ну, ну... – приговаривал Роман, продолжая обнимать ее и осторожно подталкивая к спальне. Дина не сопротивлялась, решив не ссориться – вот ведь, приехал сам, забеспокоился, все-таки какой... положительный.

– Ну, что?.. Не сердись больше, да, Диночка?.. – уловил он ее настроение, ловко стаскивая с нее топик и одновременно расстегивая пуговицы на своей рубашке.

– Ты мне все расскажешь, про все свои проблемы, мы с тобой разберемся, ну, давай, давай, моя хорошая... – приговаривал Роман, увлекая ее на постель. Она сидела, положив руки ему на плечи, Роман пристроился вполоборота к ней, нащупывая застежку лифчика привычной рукой, и тут... Дина вдруг почувствовала какое-то смутное неудобство и подняла голову. Она оказалась лицом к дверям – там, на пороге, неподвижно стоял взлохмаченный Чап, глядя на нее во все глаза. Дина дернулась, оставив лифчик в руках Романа, и схватилась за топик, стремясь прикрыться.

– Ты что? – рассердился Роман и оглянулся. Чап стоял все так же неподвижно, только ноздри подрагивали.

– Эт-то еще что за явление?! – проговорил Роман, закипая. – Так вот, значит, какие у тебя личные проблемы!..

– Нет, Рома, – отмерла Дина. – Это совсем не...

– Ну конечно, – издевательски перебил он. – Как в анекдоте: это совсем не то, что ты думаешь!..

– Но это действительно так! – оправдывалась Дина.

– Не делай из меня дурака! – Роман резко встал, заправляя рубашку в штаны, и смерил Чапа презрительным взглядом: – Ты кто такой?

Чап вопросительно посмотрел на Дину и промолчал.

– Рома, я тебе все объясню, – начала было Дина, подбегая к Роману, который уже приблизился к Чапу вплотную. Роман, не глядя, отодвинул ее рукой:

– Без тебя разберусь, – рявкнул он и опять уставился на Чапа: – Ну?! – ухватил он его за плечо, выталкивая из спальни.

– Роман, не трогай его! – закричала Дина, пытаясь вклиниться между ними.

– Ага, заступаешься! – обрадовался Роман и сильно оттолкнул ее локтем, не выпуская Чапа. Дина отлетела к стене – они втроем оказались в узком коридорчике, поэтому ударились она не сильно, но тут вмешался Чап, который до этого момента и не пытался сопротивляться. Все также молча он высвободил и выбросил вперед руку, нанося Роману удар. Роман не удержался на ногах и упал, правда, не испугался, а обозлился еще больше: – Ах ты, щенок!.. Я проучу тебя!

– Я – не щенок, – возразил Чап, загоразивая собой Дину, и, сделав шаг вперед, неожиданно крепко прижал Романа к стене: – Уходи. Тебе здесь нечего делать.

И тут Роман испугался – в глазах этого парня нет злости, одно только

спокойствие и уверенность в своих силах. А силы эти у него были – он уже смог убедиться.

– Да кто ты такой?! – прохрипел попавший в тиски Роман.

– Собака, – признался Чап, не разжимая рук.

Дина не выдержала:

– Отпусти его, Чап!.. Рома, не слушай его!.. Он сам не понимает, что говорит!..

– Почему? – повернул Чап к ней голову.

– Да отпусти же его немедленно!! – закричала Дина. – И молчи ради бога!..

Чап отпустил и нехотя отошел чуть в сторону, следя за движениями почти поверженного врага, готовый опять вступить в любую секунду. Наверное, Роман это понял – он стоял, приклеившись к стене. Растерянно глядя на Дину, он прошептал: – Что он сказал?!.

– Да ничего он не сказал! – досадливо ответила она. – Понимаешь, это мой брат... двоюродный.

– Что? – не понял Роман.

– Почему... – начал было Чап.

– Ну, понимаешь, так получилось, – быстро заговорила Дина, оттесняя Чапа. – Я ничего о нем не знала, а тут он вдруг объявился...

– Ладно, – прервал ее Роман. – Все ясно. Брат... – он взглянул на Чапа поверх Дининого плеча. – Могла бы кого-то и поприличнее найти. Или этого хотя бы... причесать, что ли.

– Ты не понимаешь, – устало отозвалась Дина.

Роман распахнул дверь и вышел на улицу. Дина выскочила следом. Роман остановился:

– Мне очень жаль, Дина. Я мчался к тебе, как дурак!..

– Рома, мне не в чем оправдываться, поверь мне!

Открыв калитку, он обернулся:

– Даже если ты говоришь правду, и он – действительно твой родственник, подумай, кого ты пустила в дом. Посмотри на него внимательно, Дина!..

– Я посмотрела.

– Плохо посмотрела. Нашелся охотник за наследством – не видишь?!.

– Каким еще наследством? – оторопела Дина.

– Дура ты наивная. Сама подумай!..

– Ты о чем? – не понимала она.

– Я о доме!.. Сколько тебе за него предлагают?

– Сколько бы ни предлагали, ты же знаешь, я не хочу продавать дом! – взвилась Дина.

– Слышал уже!.. Вцепилась в эту рухлядь!.. Давно бы уступила, и проблем бы не было. Купила бы в городе квартиру, и никакие подозрительные «родственники» бы не появлялись!

– А ты откуда знаешь, что проблемы с домом? – побледнела Дина.

Роман замолк, а она, внезапно сложив распадающийся пазл в картинку,

развернулась и вбежала в дом, захлопнув за собой дверь. Она бессильно опустилась прямо в прихожей, закрывая лицо руками, потому что в глазах защипало. Всклинула раз, другой и разревелась громко и безутешно, как в детстве.

Чап тихонько сел на пол напротив нее, глядя на подрагивающие плечи, и ему страшно захотелось заплакать с ней вместе, но как-то не получалось. Она уткнулась лицом в согнутый локоть и выглядела такой ужасно несчастной, что Чап просто не мог этого вынести. Он осторожно придвинулся к ней еще ближе и легонько коснулся ее руки. Дина всклинула и подняла голову.

– Это из-за меня? – спросил Чап.

Она отрицательно покачала головой, продолжая размазывать слезы по щекам. А он вдруг ощутил ноющую боль слева на уровне груди.

– Не плачь, – проговорил Чап, – я потерялся в твоих мыслях... ничего не понимаю!..

Дина подняла голову – его глаза светились таким отчаянием, что она, всклинув последний раз, прекратила плакать.

– Принеси мне салфетки, пожалуйста, – шмыгнула она носом, – на столе на кухне...

Он сорвался с места, принес и даже сам попытался бестолково промокнуть ей глаза.

– Да ладно тебе, Чап, – забрала она у него салфетку.

– Я потерялся в твоих мыслях, – тихо повторил Чап, опуская голову.

– Ну что ты, что ты, – переключилась она на него, понемногу успокаиваясь.

Дина сидела на диване в комнате – за окном начинало смеркаться.

– Знаешь, я, кажется, дверь не закрыла, – сказала она, – проверь, пожалуйста.

– Это не обязательно, – улыбнулся Чап.

Дина повернулась к нему:

– Иди сюда, – позвала она. – Посиди со мной.

Чап забрался на диван с ногами и оказался совсем рядом с ней, неотрывно глядя ей в глаза, вдруг она опять заплачет – и что тогда ему делать?!

– Я не буду больше, – поняла его Дина. Ей вдруг так захотелось его приласкать, погладить по голове, она даже протянула было руку, но потом отдернула – она до сих пор не знала, не понимала, как обращаться с ним. Она опустила глаза и с особой остротой ощутила невозможность касания. Вот если бы он сейчас был собакой...

– Почему? – удивился Чап, легко взял ее руку и положил себе на голову. Дина осторожно погладила его по волосам.

– Так, да? – спросил Чап. И добавил: – Эта мысль была легкой.

Дина расслабилась и улыбнулась:

– А остальные мысли тяжелые, да?..

– Остальные я не понял, – грустно признался Чап. – Но этот Роман мне не понравился.

– Знаешь, мне он сегодня тоже не понравился, – призналась Дина.

В комнате стало совсем темно.

– Понимаешь, я теперь думаю, что он с Ними заодно...

– Они – это те, что приходили ночью? Почему ты боишься? – спросил Чап.

– Потому что Они хотят отобрать мой дом, – проговорила Дина с трудом и опять всхлипнула. Чап встрепенулся:

– Дина, – произнес он, пробуя ее имя, – не плачь...

– Не буду, – пообещала она.

– Зачем Им твой дом? – продолжал спрашивать Чап.

– Затем, что здесь очень дорогая земля, дом хотят снести и построить очередной коттедж.

Чап удивленно поднял брови. Про цены на землю он ничего не понимал.

– А я здесь выросла, я не могу его продать!..

Оба вздрогнули – телефонный звонок опять прервал разговор. Чап вопросительно посмотрел на Дину. Она не пошевелилась, телефон настойчиво звонил, потом смолк, но через минуту снова разразился раздраженной трелью.

– Надо ответить, – вздохнула Дина. – Это, наверное, мама...

Ничего приятного от этого разговора Дина не ожидала.

– В чем дело, Дина?! – начала мама. – Мне только что звонил Роман...

– Меня больше не интересуется Роман!.. – перебила Дина, но маму сбить сложно.

– Что ты натворила?! Ты потеряешь Романа... Кто у тебя болтается в доме, и вообще, что ты себе думаешь?! Дом пора давно продать, прав Роман – нечего цепляться за рухлядь!

– Мама, прекрати, – пыталась остановить Дина словопоток.

– И не смей затыкать мне рот! – повысила мама голос. – Подумай, что ты делаешь!.. Сидишь в своей норе, я про твою работу, давно надо подыскивать нормальное место...

– Но мне там нравится!

– Глупости! – отрезала мама. – Давно пора подумать о будущем. Немедленно приезжай, нам надо серьезно поговорить!..

– Нет, я не могу, – пискнула Дина и отвела руку с трубкой подальше от уха. Чап удивленно склонил голову к плечу. Мама прострочила очередную порцию, взяв минуту для восстановления дыхания, и в это время Дина, чуть замаявшись, выпалила:

– Ой, у меня там бачок прорвало!.. То есть это кран!.. Ну, в общем, у меня вода хлещет!.. – немедленно дала отбой и глубоко вздохнула.

– Что это было? – спросил Чап.

– Ах, Чап, – усмехнулась Дина. – Ничего-то ты не понимаешь в человеческих отношениях...

– А это – человеческие отношения? – усомнился Чап.

– Еще бы... самые что ни на есть, настоящие.

Чап не понимал. Он зевнул, встал и подошел к темному окну. Так же как вчера, он внимательно всматривался-вслушивался.

– Что там, Чап? – так же как вчера спросила Дина. Но сегодня он ответил: – Пока тихо.

– Ты все-таки проверь, закрыта ли дверь, – попросила Дина. Он проверил, и она услышала, как Чап повернул ключ, – значит, было не заперто, подумала Дина – и не испугалась.

Она лежала в постели – Чап пропадал где-то в темной тишине дома, неслышно переходя от одного окна к другому. Потом скрипнула знакомая половица, и она угадала его рядом с собой, он молча присел перед кроватью.

– Ты что? – спросила Дина.

– Я здесь, – отозвался Чап.

– Я знаю.

– Ты видишь в темноте?

– Нет. А ты?

– Я не вижу, я чувствую.

Дина приподнялась на подушке и протянула руку. Он прижался к ней головой. Как жаль, подумала она, если однажды он снова станет просто собакой...

– Почему? – услышал ее мысль Чап.

– Обещай мне, что этого не произойдет, – попросила она.

– Ты не любишь собак? – огорчился он.

– Я люблю собак, – улыbnулась Дина. – Но с тобой я хочу разговаривать, понимаешь?

– Я понимаю, – отозвался Чап. – Но с собакой тоже можно разговаривать.

– И все-таки обещай...

– Я постараюсь, – серьезно ответил Чап.

– Дина, – услышала она сквозь сон возле самого уха дыхание. – Дина, проснись.

Она сонно повернула голову и запустила пальцы в густую шевелюру наклонившегося к ней Чапа. Но он не отозвался на ласку, наоборот, аккуратно вывернулся из-под ее руки и настойчиво повторил: – Проснись скорее!

Она открыла глаза.

– Что случилось?

Было совсем темно. Ей казалось, она только что уснула.

– Сегодня я могу не справиться с Ними, – прошептал Чап. – Их много.

– Что?! – Дина встрепенулась и села, остатки сна улетучились. – Они здесь?..

– Нет еще. Вставай скорее.

Она подскочила, заметалась по комнате, натыкаясь в темноте на предметы. Натянула на ощупь джинсы. За окном вдруг полыхнуло синевато-белым светом – комната высветилась, и она увидела бледное лицо замершего Чапа.

– Ты что, боишься грозы? – спросила Дина, и ее голос утонул в громовых раскатах. Чап подскочил к ней вплотную, мешая ей завязать узелок на кроссовке.

– Это как раз не страшно, – сказала Дина. Они выбежали на крыльцо. Поднявшийся ветер хлопнул дверью за их спинами. Первые капли застучали по черепичной крыше и жестяным карнизам. Зонтик она не нашла, но схватила с вешалки старый плащ, под которым они уместились вдвоем. Чап, правда, совсем не боялся промокнуть, только вздрогнул, ощутив крупные капли на лице.

Дина шагнула к калитке, но Чап потянул ее в другую сторону, и они выбрались через лаз в заборе в глубине сада. Он остановился на миг, внимательно вслушиваясь в темноту:

– Нам туда.

– Но это через лес! – возразила она. – И там нет никакой дороги!..

– Это ничего, – ответил Чап, увлекая ее за собой. Холодные брызги били в лицо, под ногами чавкала мгновенно размокшая земля.

Чап вдруг резко остановился и сделал пару шагов назад.

– Ты что? – Дина оказалась за его спиной. Намокший плащ бил ее по плечам, и она не могла ничего разглядеть. Чап стоял под дождем, неотрывно глядя назад. Наконец, она справилась с плащом и ветром – ей показалось, что там, откуда они убежали, сверкает затянувшаяся молния. И запах... Чап шумно втянул носом воздух.

– Что, что это, Чап? – забеспокоилась она.

Он развернул ее за плечи, увлекая вперед, не давая опомниться.

Внезапный всполох обрывками выхватил их белые лица, потемневшие волосы Чапа со стекающими с них струйками воды, руку Дины, судорожно вцепившуюся в ткань плаща, который она поднимала над собой, мокрые стволы клонящихся деревьев... В следующий миг небо с грохотом раскололось над их головами и стало падать, разрываясь громовыми гроздьями. Чап прижался к Дине.

– Это просто гроза, – прокричала она. – Я знаю, что собаки боятся грозы, но ты-то не должен бояться!..

Раскаты укатились по верхушкам деревьев, стихая, и под ровный шум дождя Чап пообещал:

– Не буду.

Они подбегали к станции, издалека уже виднелась платформа, подсвеченная желтыми фонарями и отраженная в сотнях луж. Большие круглые часы на привокзальной площади показывали без нескольких минут полночь.

– Через две минуты последняя электричка в город, – проговорила Дина на ходу. Чап кивнул и, подхватив ее под локоть, прибавил шаг. Они поднимались по ступеням на перрон – гудя, поезд приближался, сбавляя ход и на мгновение ослепляя их белым круглым глазом. Чап обернулся – на площадь ворвался, визжа тормозами, черный джип. Он не сомневался, что их с Диной заметили.

Вагон был почти пустой, но, стоя в тамбуре, они видели, как остановившаяся было машина рванула с места.

– Они будут ждать нас на вокзале, – произнесла Дина, отдышавшись.

– А мы куда едем? – спросил Чап.

– В город, – ответила она.

Дождь оставлял на узком окне косые рваные линии, лес пронесся мимо непроглядной черной стеной. Когда они бежали, Дина прикрывалась плащом, а Чап то и дело из-под него выглядывал – и сейчас с него стекала вода.

– Ты же совсем промок, – всплеснула руками Дина.

– Да, – ответил Чап, – но это ничего. – И затряс головой так, что брызги полетели во все стороны.

– Ну что ж ты делаешь! – отскочила от него Дина, засмеявшись и забыв о погоне.

Электричка неслась вперед, останавливаясь на маленьких станциях на несколько секунд, двери с шумом открывались и закрывались, опять быстро набиралась скорость.

– Мы знаешь, что сделаем, Чап? – вдруг придумала она. – Мы с тобой выйдем раньше. И пусть себе встречают нас на вокзале...

Дина уставилась в стекло, и Чап видел ее лицо, как в зеркале, на фоне летящих навстречу темных деревьев.

– Нам скоро выходить, – предупредила Дина. – Если повезет, успеем в метро и на переход.

Чап молчал. Он не понимает, догадалась Дина.

– Дело в том, – начала она, – что в час закрывается метро, а потом и переход на другую линию... Нет, я не могу этого объяснить сразу, ты сам поймешь.

Чап легко согласился. Он всегда легко соглашался с Диной. Ему было ясно, что надо спешить, а этого вполне достаточно.

Они бежали по гулкой пустой площади, разбрызгивая лужи. Дождя не было, впереди светилась синяя вывеска. На ходу нашаривая жетоны в карманах, Дина втянула Чапа за собой через турникет, на эскалатор. Он слегка притормозил на плывущих вниз ступенях, но быстро приноровился к ее шагам, и они сбежали вниз. По пустынной платформе неприкаянно бродили припозднившиеся пассажиры. Дина показала Чапу большой электронный циферблат:

– Вот, видишь? Без пяти час. Мы должны успеть, тогда им нас не найти.

– Понимаю, – кивнул Чап.

– Опасно только через несколько остановок – будет вокзал, а наша электричка уже пришла...

– Ты думаешь, Они спустятся в метро? – сообразил Чап.

– Я не хочу так думать, – ответила Дина.

Подкатил голубой поезд, заскрежетав по рельсам. Они постарались войти в вагон в середине состава, вместе с большинством пассажиров.

На станции «Вокзал» людей было много – но все же недостаточно для того, чтобы затеряться в толпе.

Чап стоял у самых дверей, закрывая собой Дину. Посадка уже заканчивалась, когда он увидел Их – издалека, Они только спускались с эскалатора. Но, похоже, и Они заметили рыжую голову Чапа, потому что вдруг рванули к ближайшему вагону. Чап едва успел отпрянуть, двери захлопнулись.

– Что? – спросила Дина. – Видел?

Он кивнул.

– А Они?.. – Чап опять кивнул.

– Ну, ты что, – закричала Дина, – разучился говорить, что ли?!

На ее голос стали оборачиваться, но обоим было не до зрителей.

– Нет, – серьезно сказал Чап. – Я не разучился. Я не видел, успели Они забежать в вагон или нет.

– А как тебе кажется... могли успеть?

Чап наморщил лоб.

– Могли, – наконец ответил он.

Дина прикрыла глаза. Потом встряхнулась:

– Сейчас нам все равно выходить, Чап. И надо успеть на пересадку. Мы уйдем от Них, если повезет...

Поезд притормаживал, навстречу заскользила станция красно-коричневого мрамора.

– Только не потеряйся, – сказала Дина. Чап улыбнулся:

– Я не потеряюсь!

Двери открылись, они первыми выскочили из вагона. Дина бросила взгляд на очередное электронное табло, равнодушно отмечающее время:

– У нас ровно три минуты! Успеем, Чап! – прокричала она. Они уже бежали по туннелю. Низкий сводчатый потолок, извивы поворотов, разветвления и бесконечные указатели. Дина не смотрела на них – она знала маршрут. Иногда они сталкивались с такими же спешащими последними пассажирами, но их было совсем немного, а потом не стало вовсе. Шаги гулким эхом отскакивали от стен. Дина боялась оборачиваться, Чап держался за ее плечом, он мог легко обогнать ее, если бы хотел. Туннель все поворачивал – и еще, и еще, и еще... Что же это, растерялась Дина.

– Чап, – прокричала она на ходу. – Что-то странное... он не кончается!..

– Это ничего, – привычно отозвался Чап, не отставая и не забегая вперед. – Ты не оглядывайся, – добавил он. – Если что, я тебя догоню.

Дина немедленно обернулась к нему, сбившись с шага и задохнувшись:

– Что?!. Если что?!.

И тут она услышала то, что он давно различал, – глухой топот ног за их спинами. Чап сильно толкнул ее вперед:

– Беги! Быстрее!..

– Я не побегу одна, – закричала Дина, упираясь.

– Я догоню тебя, – повторил Чап, и добавил: – Я обещаю. Беги же! – и опять подтолкнул ее.

Она побежала. Туннель и не думал кончаться. За очередным поворотом она остановилась, твердо решив дождаться Чапа здесь. Колело в боку, она

старалась отдышаться, привалившись к холодной стене. Людей вокруг не было, никто больше не спешил навстречу. Мы давно опоздали, вдруг поняла она, потому что они петляли по этому бесконечному переходу уж очень долго. Что же это случилось, в ужасе замерла Дина, никогда он не был таким длинным. И тут она услышала драку – какую-то особенную драку – рычание, визг, ругань, глухие удары одновременно. Чап не мог издавать один все эти звуки, выплыло откуда-то из подсознания. Она вообще сейчас не могла думать и осознавать – ей стало так страшно, что хотелось зажмуриться изо всех сил и забыть, где она и что вокруг происходит. Таких страшных и нереальных событий в ее жизни еще не было. Страшно – да, бывало. Например, когда она впервые осталась одна, после смерти тетки, и тогда от тоски, одиночества и отчаяния ее спас дом, отзывающийся на каждое ее движение и желание. Еще было очень страшно ходить по вечерам через парк, когда Они начали на нее открытую охоту, когда она вздрагивала от каждого шороха и иногда бежала бегом всю дорогу до дома, а войти в дом боялась еще больше, чем идти по пустой аллее. Все это было страшно, но – реально. Сейчас пугала больше всего необъяснимость происходящего. Ведь то, что творилось в нескольких десятках метров позади нее, осознать было невозможно. Как невозможно было объяснить появление Чапа. Именно с момента возникновения Чапа с ней стали случаться странные вещи. А этот подземный переход со станции на станцию, который она пробегала ежедневно – что стряслось с ним?!. Дина сползла по стене и, присев на корточки, обхватила голову руками. Мне все это снится, убедилась она, а раз так, то надо просыпаться – причем срочно, а то будет поздно. Она заставила себя опять встать и идти, нет – бежать дальше, не думая, не прислушиваясь, не пытаясь что-либо оценить. Это сон, сон, твердила она на ходу.

Рычание, визг и вообще какие-либо звуки отдалились и, наконец, стихли. Она опять повернула, подчиняясь изгибу каменного лабиринта и, наконец, увидела впереди знакомую лесенку – десять ступеней вниз, – и тогда откроется последний прямой участок к пересадке... Если его, конечно, не перекрыли четверть часа назад.

За спиной послышались легкие шаги и учащенное дыхание. Не оглядываясь, это сон, приказала она самой себе, не останавливаясь, сбежала по ступеням – впереди, совсем уже близко, хмурые рабочие готовились перекрыть выход, а рядом, на открывшейся платформе, стоял готовый к отправлению последний сегодняшний поезд. Шаги за ее спиной приблизились, она дернулась.

– Не оглядываясь, – хрипло повторил Чап ее мысленные слова. Она повернула голову, споткнулась, чуть не упала, и он крепко взял ее за руку, вырываясь вперед и заставляя ее бежать еще быстрее. Барьер возник перед глазами – Чап перемахнул низкий заборчик одним прыжком, и ей ничего не оставалось, как повторить этот трюк. Рабочие махали им руками, кричали, пытаясь остановить, но под металлическое предупреждение «двери закры-

ваются» они влетели в вагон, и двери с лязгом действительно захлопнулись за их спинами.

Она упала на клесчатый диван, прерывисто дыша. Поезд застучал по рельсам, разгоняясь, и Дина опять увидела электронные часы. Они невозмутимо показывали то же время, что и те, отмеченные ею при выходе из вагона. Что ж это, подумала она, вся эта беготня по лабиринту не заняла и минуты?! Сил на удивление и оценки не осталось. Кроме них в вагоне находился единственный пассажир – он крепко спал, развалившись на сиденье, и, скорее всего, не собирался просыпаться до утра.

Чап отдышался быстрее Дины. Он стоял напротив нее. На нем был ее старый растянутый свитер с подозрительными пятнами на рукаве. Щека располосована глубокой ссадиной. Ладонь он поднес к губам и слизывал с нее проступившие капельки крови.

– Чап, – произнесла она наконец, – мне все это снится?

Он поднял голову и широко улыбнулся ей.

– Я не знаю, – ответила она. – Но время остановилось.

Он подумал секунду и опять улыбнулся:

– Это ничего, – сказал он. – Главное, мы успели.

Дина взяла его за руку.

– Ты поранился? – испугалась она, наконец заметив на нем кровь. Чап опустил ладонь – она больше не кровоточила.

– Все вокруг ненастоящее. И ты, наверное, тоже... – вздохнула Дина.

– Я – настоящий, – не согласился Чап.

Поезд остановился. Двери открылись, и Дина с изумлением увидела на платформе массу людей, будто они попали в час пик, а не на последний сегодняшшний поезд. Вся эта толпа с шумом и гамом вломилась в вагоны, подминая друг друга, ругаясь, сердясь и толкаясь. Дина обнаружила перед самым носом натруженную руку, сжимающую объемную сумку, и тут же вскочила. Поезд раскачивался, спешил под монотонный гул неизвестно откуда в этот час взявшихся людей. Дина с Чапом оказались плотно прижатыми друг к другу, и, чтобы удержаться, она ухватилась за него. Чап стоял, широко расставив ноги, и покачивался в такт бегущим по рельсам вагонам. Дина подняла глаза:

– Чап...

Он наклонился к ней, прислушиваясь.

– Чап, – сосредоточенно продолжала она. – Повтори – ты точно мне не снишься?..

– Нет, – покачал он головой.

– А как тогда все это объяснить?!

Чап помолчал, склонил по обыкновению голову к плечу и наконец неуверенно улыбнулся.

Не знаешь... вот и я не знаю. Что же мне теперь делать, тоскливо подумала Дина, глядя на их общее отражение в черном стекле.

– Тебе надо ехать домой, – услышал ее Чап.

– Домой? – переспросила она. – Но ведь там...

– Там теперь все в порядке.

– Почему ты так думаешь?

– Я не думаю. Я это просто знаю, – прошептал Чап ей в самое ухо, потом чуть отклонился назад, заглянул ей в лицо и опять улыбнулся.

У нее закружилась голова. Может, от пережитых страхов, а может, от наступившей духоты в так внезапно заполнившемся вагоне. Кто же ты таковой, не то подумала, не то устало проговорила Дина.

– Ну собака же, – опять прошептал Чап, наклоняясь к ней. Волосы его давно просохли и опять были солнечно-рыжими, а темные, почти совсем черные глаза светились недоумением, мол – ну что же ты, ну вот же я, а ты опять...

Голова закружилась еще сильнее, она закрыла глаза и почувствовала, как проваливается в глухую черноту, вяло попыталась вынырнуть, но ее затянуло, завращало в бешеной воронке. Она неотвратно опускалась на вязкое дно...

Полна была видений та зыбкая грань между явью и сном, в которую она погрузилась. Ей чудилось, что ее пытается вырвать оттуда Чап крепкими жилистыми руками, и она даже различала его рыжие лохмы и черные, полные тоски и отчаяния глаза. То вдруг будто мелькало совсем рядом хмурое лицо Романа со сдвинутыми бровями.

Потом она опять летела по нескончаемому подземному лабиринту и почти успевала добежать, но двери захлопывались прямо перед ней, а на опустевшем перроне стоял Чап, склонив голову набок, и говорил – это ничего...

Она находилась на этой зыбкой грани и никак не могла вернуться, да и хотела ли?

...Она поправила сумочку на плече, глядя на себя в мутное стекло, и вышла, как только поезд притормозил. Двери через секунду закрылись, звякнув за ее спиной, и электричка умчалась прочь.

Дина неторопливо шла по аллее. В воздухе было спокойно. К концу жаркого лета лес высох, напитавшись теплом и зноем. Она шла по дороге, усыпанной желтыми сосновыми иглами, мелкие камушки перекатывались под каблуками. Она совсем расслабилась, когда вдруг краем глаза отметила мелькнувшую тень в кустах. Начинало смеркаться – в этот час предметы быстро теряли резкость. Может, никакой тени и не было?..

ТОЧКА
ЗРЕНИЯ



писатель, философ, издатель. Автор десяти романов, среди которых «Зрелища», «Архивы Страшного суда», «Седьмая жена», «Пелагий Британец», «Суд да дело», «Новгородский толмач», а также философских трудов «Практическая метафизика», «Метаполитика», «Стыдная тайна неравенства». Живет в США.

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

О книге Натана Щаранского «В защиту демократии»

Демократия – это, прежде всего, терпимость к любой вере и к любому неверию. Кроме неверия в демократию, конечно.

Неизвестный автор

Натан Щаранский – человек несомненного мужества и глубокой веры. Мужество его было доказано и испытано упорной борьбой за права человека в СССР, девятью годами советской тюрьмы (из них – 405 дней в карцере). Вера же его окончательно сформулирована в недавно вышедшей книге «В защиту демократии. Свобода побеждает тиранию и террор». (Natan Sharansky with Ron Dermer. *The Case for Democracy. The Power of Freedom to Overcome Tyranny And Terror*. New York: Public Affairs, 2004)*. Главные тезисы-догматы этой веры: демократия есть наилучшая форма политического устройства человеческих сообществ, и любой народ может учредить ее у себя сегодня, если другие страны окажут ему правильно нацеленную материальную и моральную поддержку.

* В Израиле давно уже сложилось иное – во многих смыслах – мнение о Щаранском. Оно настолько всеобщее, что настаивать на исправлении этой части авторского текста просто нет необходимости. Кстати, следует отметить, что И. Ефимов лишь мельком упоминает о втором авторе книги «В защиту демократии» – Роне Дермере. Сам Щаранский об этом и вовсе умалчивает. (Прим. ред.)

© И. Ефимов

Вера эта была широко распространена на Западе и до проповеди Щаранского. Наиболее подробно и основательно она представлена в трудах американского мыслителя конца XX века Фрэнсиса Фукуямы. Но книга «В защиту демократии» стала бестселлером, потому что ее объявил своей политической библией самый влиятельный читатель сегодняшнего мира: президент Джордж Буш-младший.

В схеме Щаранского есть та же заманчивая простота, что и в марксистской схеме. Маркс утверждал, что прежние государства были эксплуататорскими, а теперь наступает светлая эра социализма. Щаранский утверждает, что в наши дни кончается эпоха обществ, построенных на страхе (fear society), и начинается эпоха свободных – то есть демократических – обществ (free society). Отсюда следует, что весь демократический мир должен помогать другим народам обрести вожделенную свободу. Маркс обещал, что воцарение социализма на земле покончит с войнами. Всеобщий мир обещает и Щаранский: ведь освободившимся народам не из-за чего будет воевать друг с другом.

С верой и ее догматами спорить бессмысленно. Однако Щаранский – физик по образованию, и он подчиняет свой ум правилам научного естествознания. Он признает, что каждая высказываемая идея нуждается в теоретическом обосновании и экспериментальном подтверждении. Он не говорит: «Богиня истории явилась мне во сне и объявила, что все люди на земле должны жить по правилам свободы». Нет, он приводит множество фактов и событий политической жизни последних лет, которые, как ему кажется, должны убедить всех сомневающихся в правильности его умозаключений. И часто выражает изумление: «Как могут умные и образованные люди – политики, журналисты, историки – не видеть, не понимать того, что столь очевидно мне?».

Из пяти тысяч лет обозримой человеческой истории Щаранский выбирает для рассмотрения и анализа исключительно двадцатый век. Видимо, опыт древнегреческих демократий (которые, кстати, и ввели этот термин), Древнего Рима, итальянских и немецких вольных городов и республик, Новгорода и Пскова не кажется ему поучительным. Политические теории прошлого тоже мало интересуют его. В указателе мы не найдем имен Платона, Аристотеля, Гоббса, Монтескье, Руссо, Бокля, Милля. Физик Щаранский «вырезает» из истории цивилизации крошечную полоску длиной в пятьдесят лет и надеется использовать результаты своего исследования для «научного пророчества» о веках грядущих.

Что же видится ему в ближайших десятилетиях?

Демократия – светлое будущее всего человечества

В начале XX века в мире можно было насчитать от силы дюжину республик, заслуживающих названия демократических. К концу века число их удвоилось, утроилось. О чем это говорит? Конечно, о том, что человечество постепенно осознает преимущества демократической формы правления

и спешит внедрить ее как можно шире. А если демократическое правление где-то не удержалось? Ну, это временный сбой, результат вмешательства темных реакционных сил, тиран, обманом прорвавшийся к власти. Уберите тирана, подавите темные силы, и все пойдет как по маслу.

Почему?

Да только потому, что жажда свободы является неотъемлемым свойством каждого человека. Удалите препятствия, мешающие людям реализовать эту жажду, и они неизбежно найдут и утвердят у себя наилучшую, оптимальную форму политического устройства – демократию.

Убежденность в благотворности политических свобод – всегда, везде, у любого народа, на любой стадии развития – остается главным догматом веры для идолопоклонника демократии. Бесполезно указывать ему на сотни исторических примеров, когда внезапное расширение свобод у народа с низким уровнем правосознания оборачивалось кровавым хаосом, резней, террором и, в конце концов, – еще более жесткой тиранией. Скептики не верят в возможность учреждения демократии в Ираке, Афганистане, Сирии, Египте, Иране? Но ведь скептики так же не верили в возможность демократизации таких традиционно монархических стран, как Германия, Италия, Япония, Австрия, Россия. И что мы видим сегодня?

Щаранский тщательно *сортирует* исторические примеры. Десятки стран Азии и Африки получили демократическую форму правления после ухода оттуда колониальной администрации. Подавляющее большинство их через год-два оказались под властью безжалостных тиранов. Но все эти примеры к рассмотрению не принимаются. Алжирский Бен Белла, египетский Насер, ливийский Каддафи, сирийский Асад, угандийский Иди Амин, родезийский Мугабе, гвинейский Секу Туре и десятки им подобных выброшены из картины.

Возможно, если бы Щаранскому довелось дольше работать в сфере физики, он строже обращался бы с результатами тех исторических «экспериментов», которые человечество проделывает над собой вот уже пять тысячелетий. Вряд ли можно себе представить астронома, который, рассердившись, выбрасывал бы посланные спутником снимки обратной стороны Луны, потому что они не подтвердили его теорию. В сфере же наук социально-политических каждый имеет гораздо большую свободу интерпретации фактов. И, закрывая глаза на многочисленные примеры провалов демократических реформ, Щаранский снова и снова возвращается к примерам успешной, победной демократизации. Раз получилось в Германии, Японии, Италии, Австрии, почему вы – скептики – так уверены, что не получится в Афганистане, Ираке, Иране, Ливане, Саудовской Аравии, Косово, Сомали?

Правление силы и правление закона

В политических спорах оппоненты часто не замечают, что их разногласия уходят очень глубоко, коренятся в разных представлениях о природе

человека. «Каждый человек жаждет свободы», – утверждают идолопоклонники демократии. «Да, это так, – должны были бы ответить им скептики. – Но в еще большей степени он жаждет *безопасности*. Если расширение свобод каждого поставит под угрозу мою безопасность, я предпочту отказаться от такого расширения, потребую ужесточения государственного порядка. Если правление закона не в силах защитить меня от жестокости бандита, от жадности богача, от ненависти соседа, от нетерпимости иноверца, я взмолюсь о правлении силы».

Социально-политическое строительство можно сравнить с возведением дома. Есть дома, в которых стены являются главной опорой, несущей всю тяжесть сооружения. Есть небоскребы, в которых главную нагрузку несут железобетонные конструкции, спрятанные внутри, а стены можно сделать хоть из стекла. Идолопоклонника демократии можно уподобить советчику, который пришел бы к обитателям дома с кирпичными стенами и стал объяснять им, что главное в жизни – иметь как можно больше света. «Прорубите больше окон, впустите свет в свое жилище!» – призывает он. И если жильцы послушаются его, начнут увеличивать число окон, рано или поздно ослабленные стены рухнут, и люди останутся на развалинах.

Именно это произошло во многих странах Европы после Первой мировой войны. Традиционные империи – Германская, Российская, Австрийская, Испанская, Турецкая – расшатывались изнутри революционерами всех мастей и рухнули одна за другой. Возник вакуум власти, породивший хаос, насилие, резню, гражданские войны, голод. Измученные народы мечтали о возвращении социального порядка любой ценой. Они верили, что только сильная власть сможет вернуть им внутренний мир. В междоусобной борьбе наибольшую силу продемонстрировали Ленин, Ататюрк, Муссолини, Гитлер, Франко – они и захватили верховную власть в своих государствах. Точно так же, если бы каким-то чудом Щаранскому удалось завтра учредить демократию в Саудовской Аравии, на первых же выборах, всеобщим, прямым и тайным голосованием, собрав 99% голосов, в президенты был бы избран Усама Бин-Ладен.

Каким же образом странам, победившим во Второй мировой войне, удалось учредить демократический способ правления в потерпевших поражение Германии, Италии, Австрии, Японии?

Секрет заключается в том, что народам этих стран *правление закона* вовсе не было чуждым. В течение долгого времени верховная власть, воплощенная в монархе, использовала закон в качестве главного инструмента регулирования общественной жизни. Конечно, законы, издаваемые монархами, могли быть очень жестокими. Конечно, чиновники, извращавшие законы и пускавшие в дело чистый произвол, должны были появляться на всех ступенях иерархической пирамиды власти. И все же государства эти были основаны на *правовом* принципе. Даже Гитлеру было проще осуществлять геноцид евреев, прикрывая его законодательными мерами. (Сталин, в отличие от него, проводил Большой террор по-разбойничьи, втихаря.) Привыч-

ка подчиняться закону была так сильна в Германии, Италии, Австрии, Японии, что американским и английским оккупационным властям удалось опереться на нее, дать ей созреть, обрести силу. Традиция законопослушности стала тем фундаментом, на котором оказалось возможным выстроить демократический способ правления в этих странах.

В странах же, традиционно управлявшихся *силой*, абстракция закона не имела почвы в народном сознании. Албания, Югославия, Марокко, Алжир, Ливия отбросили блага демократии и вернулись к силовому способу правления не потому, что Энвер Ходжа, Тито, король Хассан, Бен Белла, Каддафи знали какие-то особые секреты установления единовластной диктатуры. Народ смиряется с диктатурой тогда, когда не видит ей альтернативы. Оставшись без жилища, человек, не имеющий ни кирпичей, ни досок, выроет себе землянку и покроет ее древесной корой – лишь бы укрыться от ледящего ветра и диких зверей. Диктатор в глазах измученных хаосом людей – спаситель от вражды всех со всеми. Он может оказаться чудовищем, перебьет без всякой нужды миллионы своих лояльных подданных. Но и отсутствие диктатора чревато таким разгулом этнической, религиозной, классовой вражды, что в какой-нибудь Руанде два миллиона тутси и хуту заплатили своими жизнями за «освобождение от колониализма».

Как помочь воцарению свободы в мире?

Свобода не сможет утвердиться сама в обществе страха, считает Щаранский. Ей необходимо помогать. Прицельное бомбометание и военное вторжение он не то чтобы отвергает, но обходит молчанием. Гораздо более эффективный способ, считает он, – приманивать диктатуры и деспотии торговыми выгодами. Вы расширяете права человека в своем государстве – мы предоставляем вам торговые льготы и кредиты. Называется эта политика английским словом *linkage* – «присоединение». «Линкэдж» упоминается в книге десятки раз. Диктатуры нуждаются в товарах, производимых в свободном мире, – поставьте получение этих товаров в зависимость от расширения гражданских свобод. И тогда деспотии начнут трещать и разваливаться изнутри. Исторический пример – развал Советского Союза.

Но хочется спросить автора: а в каких именно товарах нуждались коммунистические деспотии? В продовольствии для голодающих, в лекарствах для больных, в одежде для замерзающих? Нет, они, прежде всего, нуждались в современной технологии, в электронике, которую не умели производить сами. И все, что им удавалось добыть, шло на совершенствование их арсенала. В конечном итоге расхваливаемый «линкэдж» должен был привести только к тому, что советские ракеты «земля–воздух» могли точнее сбивать израильские истребители над Синайской пустыней. Что советские вертолеты улучшали эффективность обстрела афганских деревень. Что советские танки, ведомые иракскими танкистами, увереннее пересекали границу с Кувейтом.

Много горьких слов обрушивает Щаранский на политику «разрядки», проводившуюся администрацией президента Никсона по инициативе Генри Киссинджера. «В те годы думать, что политика Соединенных Штатов может повлиять на фундаментальное изменение мира за железным занавесом, считалось абсолютно смехотворным... Голуби и ястребы спорили только о том, какая термоядерная стратегия будет более эффективной в деле предотвращения советского нападения» (стр. 100).

И снова: а чем же занималась огромная сеть западных радиостанций, как не попытками изменить коммунистический режим изнутри? Западные туристы, выставки, концерты, фильмы – разве все это не меняло сознание советских людей? И не в эти ли годы произошло нечто неслыханное за пятьдесят лет советской истории: тысячи советских граждан получили возможность покинуть коммунистический рай по израильским визам? И не в эти ли годы была принята американским конгрессом поправка Джексона–Вэника, дававшая эмигрантам из СССР права политических беженцев?

Щаранский утверждает, что Советский Союз рухнул без единого выстрела. (Не сработал ли и здесь все тот же заветный «линкэдж»?) Он забывает, что так называемая холодная война была порой весьма горячей. В Корее, во Вьетнаме, в арабо-израильских войнах постоянно происходило испытание и сравнение американского и советского оружия. Пока оно оказывалось сопоставимым, советские генералы оставались верными слугами коммунистической диктатуры. Но когда в 1982 году, во время Ливанской кампании, израильтяне за два дня уничтожили все сирийско-советские МИГи, не потеряв ни одного своего самолета, многие высокие чины призадумались. А потом американские «стингеры» в руках афганских пастухов заставили советских летчиков летать на большой высоте. А когда в 1991 году в Кувейте американские вертолеты расстреливали ночью советские танки, как спичечные коробки, задумчивость перешла в уныние. И это сыграло огромную роль в решении советских генералов: не поддерживать коммунистический путч в августе того же, 1991, года.

(Точно так же в феврале 1917 года российские генералы, уставшие от поражений, уставшие от правительства, неспособного эффективно управлять страной, отказались поддержать монархию. Как ни парадоксально, можно утверждать, что две великие российские революции XX века – февраль 1917 и август 1991 – были совершены генералами: только не поднявшими оружие, а опустившими его в решительный момент.)

Мысль, что какой-то народ может добровольно отказаться от благ свободы, дика идолопоклоннику демократии. «Разве есть человек, который в выборе между светом и темнотой предпочтет тьму?» – насмешливо спросит он.

Ответ очень прост: есть. Миллионы и миллиарды. Предпочтут тьму баракка, если за его стенами – спящий свет снежной бури хаоса и безвластия.

Фермент правосознания зреет в народной душе очень долго. Одни народы обгоняют, другие отстают в этом важнейшем деле. В Древних Афинах от свержения царей до установления республики прошло около ста лет. То

же самое – в Древнем Риме. В Англии от казни короля в 1649 до революции в Американских штатах – 125 лет. Во Франции от революции 1789 года до республики – 80 лет. В России к 1917 году Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша оставили далеко позади другие народности империи и после крушения монархии сумели создать независимые государства на правовом принципе. Остальные смирились с диктатурой большевиков, потому что не видели ей альтернативы.

Барак построить гораздо легче, чем многоэтажный дом, – был бы топор да лес кругом. Точно так же силовую структуру правления построить гораздо проще, чем правовую, – годится любой человеческий материал. Именно поэтому они легко вырастают даже внутри правовых государств и оказываются такими живучими. Англичане десятилетиями не могут искоренить ирландскую подпольную армию в Белфасте, испанцы – ЭТА в Басконии, Индия – «Тамильских тигров», сикхов, кашмирских сепаратистов (уже два премьер-министра погибли от рук террористов в этой стране), Америка – мафию, Россия – чеченское сопротивление. И, конечно, бесплодными остаются попытки Израиля подавить ООП и ХАМАС.

Щаранский уверяет своих читателей, что и с палестинцами может работать его волшебная формула: дайте народу свободу, уберите нынешних деспотических правителей – и настанет вожделенный мир. Правда, под сурдинку он признает, что понадобится «переходный период» – о, конечно, очень недолгий! – когда палестинцами будет управлять «администрация, назначенная со стороны» (стр. 251). Ну, а если палестинцы откажутся подчиниться этой администрации, как отказались евреи подчиниться Британскому мандату в 1946 году, и тоже начнут террористическую войну против навязанных им правителей?

Нет, Щаранский не говорит: «тогда мы силой заставим их подчиниться нашим светлым идеалам». Впрямую он не предлагает применить шоковый метод насаждения демократии, использованный недавно в Югославии, Афганистане, Ираке, – военную силу. Но он многократно восхваляет–цитирует–ставит–в–пример другим мировым лидерам президента Джорджа Буша-младшего. Президент Буш упоминается в одобрительном плане на тридцати страницах из трехсот. (Недаром ему так понравилась эта книга.) Отсюда можно заключить, что война в Афганистане и Ираке вызывает полную поддержку борца за права человека – Натана Щаранского. А страдания и гибель сотен тысяч людей? О, это неизбежная плата за достижение великой цели: полной демократизации земного шара и – как следствие – наступления всеобщего мира на Земле.

«Случайностями» истории – пренебречь

Насильственная демократизация не удержалась нигде. Ни американское, ни израильское военное вмешательство не смогли положить конец

кровавым распрям в Ливане. Республика Гаити вот уже 200 лет шатается от одной диктатуры к другой. Продовольственная помощь, сопровождавшая военную экспедицию в Сомали, немедленно попала в руки местных спекулянтов, они выбросили ее на рынок по бросовым ценам и разорили сомалийских фермеров, которые в следующем году уже не имели денег на новый посев. «Освобожденное» от сербов Косово превратилось в центр транспортировки наркотиков и проституток из стран Восточной Европы. Марионеточное правительство Афганистана имеет какую-то власть только в Кабуле и Кандагаре; на остальной территории власть местных шейхов контролирует мощнейшее в мире производство опиума и героина. В Ираке идет народно-освободительная война против крестоносцев демократии – американских оккупантов. Когда они, наконец, осознают невыполнимость поставленной перед ними задачи и уйдут, война превратится в междоусобье на три фронта: шииты, сунниты, курды.

И что же делать историко-политическому мыслителю Щаранскому со всеми этими печально неопровержимыми фактами?

Не придет ли ему на помощь все та же физика? Ведь в ней есть такой полезный, научно оправданный прием – отбрасывание маловажных деталей. Каждый помнит задачки, которые мы решали на уроках. В них были такие приятно облегчающие поблажки: трением пренебречь, сопротивлением воздуха пренебречь, воздействие магнитного поля Земли не учитывать и т. д.

И бывший физик Щаранский использует этот прием многократно и уверенно. Решая политико-социальные задачи, стоящие перед каждым рассматриваемым народом, он позволяет себе пренебречь его традициями и предрассудками, остротой этнической и вероисповедальной вражды, уровнем политической зрелости, уровнем правосознания, уровнем промышленно-хозяйственного развития. Тогда все народы оказываются, действительно, на одно лицо. И, планируя их судьбу, можно учитывать только опыт тех стран, где демократизация получилась. А горький опыт провалов демократического правления отбрасывать как случайный и несущественный.

И вот уже готова самая передовая теория-программа всемирной демократизации.

И вооруженные ею политики могут приступить к ее воплощению. Теперь у них совесть чиста, и они смогут пренебречь теми мелочами, которыми они пренебрегают всегда: бессмысленной гибелью тысяч собственных солдат, разрушением городов и деревень, слезами и кровью сотен тысяч мирных жителей.

Моральная ясность

Этот термин – *moral clarity* – встречается в книге десятки раз. Щаранский предлагает использовать «моральную ясность» в качестве главного критерия для оценки политических событий и действий правительств.

Из подтекста понятно, что себя он считает специалистом в этой области и легко берется определить, какое направление заслуживает печати «морально ясного», а какое – нет.

Выбор между свободой и безопасностью стоит перед каждым человеком, живущим в современном государстве. В своей личной судьбе Щаранский мужественно пожертвовал безопасностью ради свободы. Отказавшись лгать и притворяться в угоду всемогущей власти, он обрел внутреннее освобождение. В книге он описывает, какое огромное облегчение это принесло ему. «Как будто непомерная тяжесть, которую я носил годами, была снята с моей души. Внезапно я стал способен думать, не оглядываясь на цензуру, и говорить прямо то, что думал. Даже когда я держал долгую голодовку в тюремном carcere, ощущение свободы не покидало меня» (стр. 64).

Но, подчиняясь догматам уравнилельной ментальности – «Все люди равны!», Щаранский искренне поверил, что такой подвиг по силам каждому и каждому принесет такое же облегчение. Пребывая всю жизнь в противоборстве с жестокой властью, Щаранский и тысячи других революционеров впадают в иллюзию, будто власть – главная угроза и помеха благоденствию человека. Они упускают из вида угрозу, которую представляет для каждого гражданина его соотечественник, его сосед, ненавидящий его за неправильную веру, за преуспеяние, за цвет кожи, за новенький автомобиль, за красивую жену, за здоровых детей. Им кажется: стоит убрать жестокую власть: царя, султана, колониального губернатора, коммунистического диктатора – и в стране настанет мир и благоденствие. Они не хотят помнить, что в освобожденной от царя России казаки кинулись рубить и вешать евреев, солдаты – убивать офицеров, в Турции началась резня армян, в Индии миллионы мусульман и индуистов погибли в междоусобных погромах, в Югославии хорваты, боснийцы, сербы, албанцы потонули в пожаре гражданской войны.

Можно допустить, что Щаранский и другие идолопоклонники демократии не то чтобы сознательно отбрасывают эти исторические трагедии, но честно и бескорыстно заблуждаются. Действительно, они хотят блага всем людям на Земле. Не имея ненависти в собственной душе, они воображают, что и в душах других людей ненависть – это что-то постороннее, чуждое человеку, вызванное горькими обидами и несправедливостями. Для них история Авеля и Каина – не мудрый миф о тлеющей братоубийственной вражде, а пустая религиозная сказка. Их бескорыстное заблуждение порождено высокими моральными принципами – разве можно за это осуждать всерьез?

Но если мы читаемся в книгу Щаранского, мы увидим, что корысть есть. Имя ей: душевный комфорт. Борьба за всемирную демократизацию дает такую же уверенность в себе и своих поступках, как борьба за коммунизм, за расовую чистоту, за освобождение Гроба Господня. Всегда иметь при себе золотой ключик «моральной ясности» и легко отпирать им любую жизненную и историческую дилемму – что может быть благодатнее, что может дать душе более надежный покой и цельность?

В начале книги Щаранский приводит поучительный эпизод. Не имея возможности получить работу в СССР, он в 1970-е годы подрабатывал уроками английского. Чтобы оживить урок, он предложил своим студентам разыграть суд над инициатором «разрядки» Генри Киссинджером. Двум студентам была дана роль обвинителей, двум – роль адвокатов. «Себе я взял наиболее завидную роль из всех – роль судьи, – пишет он. – ...Приговор я вынес заранее: Киссинджер будет лишен американского гражданства, приговорен к высылке в Советский Союз, откуда он будет пытаться эмигрировать, не имея возможности использовать "Поправку Джексона–Вэника"» (стр. 3).

В этой игровой и пародийной ситуации Щаранский невольно выдает свою уверенность в том, что он сумеет в любой ситуации *заранее* вынести правильный приговор. (Моральная ясность! Завидная роль судьи!) И с такой же уверенностью он пишет в заключительной главе: «Формула, которая дала толчок демократической революции в России, имела три компонента: народ, который жаждал свободы, лидеров окружающего мира, веривших, что свобода эта достижима, и политику, связывавшую отношения между свободным миром и СССР со степенью охраны прав человека в этой стране. Эту же формулу можно применять к такой огромной державе, как Китай, или к малой деспотии вроде Зимбабве, к тоталитарно-секулярному режиму Северной Кореи или к религиозной тирании в Иране – результат будет тот же. Она работает в любой стране мира, включая и арабский мир» (стр. 269).

Какая завидная простота! Какая свобода ума от сомнений, души – от сострадания, совести – от угрызений. Можно понять президента Буша: получить такую индульгенцию от человека, прославленного своим мужеством и благородством, – что может быть приятнее. А то, что автор книги сам признает, что не было еще в истории арабского государства, построенного на принципах свободы (стр. 37), так он же и учит, как обходить этот факт. Пренебречь! К тому же тем больше чести будет тем, кто принесет свободу этим народам на крыльях самых современных ракет, на превосходных танках и вертолетах.

Остается только пожалеть бедных, непросветленных политиков старого образца – всех этих Черчиллей, Рузвельтов, Маннергеймов, Бегинов, даже ценимого Щаранским Ариэля Шарона. Оказывается, они напрасно мучились сомнениями, напрасно искали во мраке наилучший путь спасения для своих народов от коричневой и красной чумы, от мусульманского фанатизма. Ларчик открывался так просто! Нужно было всего лишь вооружиться «моральной ясностью» и передовой теорией демократизации Всяя Земли – тогда в мире давно воцарились бы дружба и благоденствие.

Цена свободы

Феномен государства возник в истории не ради охраны прав человека. Государство должно охранять своих граждан от внешних нападений и друг от друга – в этом его главная задача. Успешность выполнения задачи – кри-

терий в оценке действий правительства. Каждый гражданин как бы переверяет свое естественное право на самооборону своему правительству и за это соглашается подчиняться государственному закону. Но кроме законов государственных наши действия ограничены также и нравственно-религиозными правилами. «Не убей, не укради, не лги» – в огромной мере жизнь государства зависит от того, насколько серьезно люди в нем готовы подчинять себя этим заповедям. Чем строже соблюдаются нравственные правила, тем больше свободы могут оставлять человеку писанные законы.

Высокий уровень нравственного самосознания невозможно насадить извне, насильно. Он зреет медленно в народной душе, питается духовными усилиями каждого поколения. Глубокую веру в то, что мой ближний, мой соотечественник должен обладать теми же основными правами, что и я, невозможно вколотить людям в головы ни приказами, ни наказаниями, ни бомбежками. Народ, традиционно привыкший подчиняться только силе, с презрением сбросит правительство, которое, в обмен на внешние подачки, решится начать «демократизацию». Вместо плохого и недемократичного Батисты, Сомосы, иранского шаха Реза Пехлеви, мы получим Кастро, Ортегу, аятоллу Хомейни.

По сути, идолопоклонник демократии не питает к ней большого почтения. В его глазах она – всего лишь одно из многих замечательных изобретений цивилизации, которое можно всучить любому народу так же, как электрическую лампочку, телефон, автомобиль, компьютер. Вся героическая духовная работа, невидимо питавшая десятилетиями рост нравственного чувства в народе, рост правосознания, остается вне поля зрения идолопоклонника. «Уважайте права человека!» – этот призыв он обращает только к правителям, не к подданным. Но как можно призывать к «соблюдению прав» людей, всю жизнь веривших, что права только сила?

В наши дни движение за тотальную демократизацию всего мира набирает мощь в политике, в социальных науках, в журналистике. Не исключено, что нам доведется дожить до такого времени, когда проверка на «моральную ясность» станет таким же необходимым условием существования человека, как когда-то в СССР – проверка на наличие «правильного классового сознания».

Но в одном можно быть уверенным: никогда и нигде устойчивая демократия не возникнет без долгой духовной работы всего народа, просто по приказу новой «исторической неизбежности». Как сказал Гете: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Чтобы власть закона и права смогла оттеснить власть силы, в стране должны громко зазвучать голоса людей, подобных Пастернаку, Солженицыну, Сахарову, Бродскому, Кузнецову, Амальрику, Надежде Мандельштам, Евгении Гинзбург, Наталье Горбаневской. И конечно – Натану Щаранскому, каким он был в пору мужественного противоборства с Голиафом советской власти.



Математик, преподает в Безр-Шевском университете. Ранее не печатался. Живет в Израиле.

HAVA NAGILA!

В российском журнале «Урал» (2004, № 11) опубликована статья известного музыковеда А. Варгафтика (далее – АВ) с замечательно вызывающим названием «Почему нужно запрещать "Хава нагилу"». Уже заглавие взывает к замечаниям, и руки просятся к перу, перо к бумаге... Разумеется, замечания у каждого могут быть свои, могут они и вообще отсутствовать – вот те, которые появились у автора нижеследующих комментариев, в высшей степени рядового потребителя текстов (далее – автор). Чтобы облегчить дальнейшее чтение, мы будем выделять цитаты из АВ курсивом. Следует помнить, что вся аргументация АВ направлена на то, чтобы подвести нас к выводу, указанному в заглавии. Итак, статья открывается словами:

«Большинство воспринимает и ассоциирует еврейскую музыку (впрочем, как и еврейскую культуру) лишь с музыкальными мотивами – "Хава нагила" и "Семь сорок"». Это размашистое выражение заставляет читать дальнейшее более внимательно. Дело в том, что если говорить о еврейской культуре вообще, то имя Шолом-Алейхема известно более широкому кругу, чем какие бы то ни было музыкальные мотивы. Другое дело, что мало кто способен более или менее внятно рассказать что-нибудь о жизни и творчестве этого писателя, так ведь и о песнях этих услышишь немного, практически ничего. Кроме того, слово «еврейский» в этом контексте не вполне определено, что видно даже на примере упомянутых двух песен: большинство (и не только евреев) справедливо соотносит «Хава нагилу» с Израилем, видя в «Семь сорок» нечто одесско-еврейское. Разумеется, здесь не место анализировать сходство и различия культур Леванта и Ашкеназа, но где-то на заднем плане мысль эта должна присутствовать – есть евреи и евреи.

«Никто не понимает и не знает смысла, заложенного в словах и музыке этих песен, остался лишь знакомый до боли набор нот и звуков, к тому же затасканный по кабакам». Здесь можно только добавить, насколько уродливо могут преломиться в сознании человека слова песни на незнакомом языке. Вот два примера для «Хава нагиль»: автору приходилось слышать интерпретацию этих слов как женского имени (есть даже соответствующий песенный текст), а также как призыв к евреям овладеть миром (для простого русского человека ивритский возглас «Хава нагила!» так же непонятен, как чисто русское «Сарынь на кичку!»), и соответствующим образом подогретый ум вполне может услышать в нем призыв к мировому господству). Это что касается смысла слов. Что же до музыки, то для постижения ее «смысла» нужна достаточная музыкальная культура, и именно это делает возможным создание национальных мелодий представителями иной нации. И что за дело широкой публике до того, что она не понимает и не знает смысла, заложенного в словах и музыке, если песня настолько популярна, что ее затаскали по кабакам, – «народу нравится». Кстати, это еще один довод в пользу того, что во многих ситуациях музыка самодостаточна, каждый домысливает смысл, исходя из своих представлений.

«И мало кто даже из евреев в наше время имеет полное и настоящее представление о том, что такое еврейская культура, хоть ее и пытаются по осколкам найти и собрать». Абсолютно верно; ну и что? Мало кто даже из русских в наше время имеет полное и настоящее представление о том, что такое русская культура, даже притом, что это достаточно цельное понятие, не требующее собирания по осколкам. Полное представление – привилегия специалистов, коих всегда мало.

«Объективно существует еврейская общность, хотя бы потому, что евреи живут во всем мире, к тому же постоянно о себе напоминая. Но нужно помнить, что та еврейская культура, которую все хотят вернуть и сохранить, создавалась людьми, не имевшими альтернативы, возникающей сегодня, так или иначе, в убогом и смешном виде перед каждым из нас. Раньше ты был евреем просто по рождению, теперь каждый сам для себя решает – быть ему или не быть им?». Еврейская общность действительно объективно существует, но не потому, что евреи живут во всем мире, а как раз вопреки этому: ее существование более удивительно, чем, например, существование японской общности. Но что такое еврейская общность? Кто такой еврей? Вопросы такой глубины не решаются кавалерийским наскоком типа «каждый сам для себя решает, быть ему евреем или нет». Заявите-ка это раввинатскому суду и послушайте его мнение на этот счет (хотя, говоря между нами, это только его мнение, что еще более подчеркивает сложность ситуации).

«Правда, люди часто делают этот выбор нелепо и смешно, пытаются быть евреями по еврейским праздникам. Но процесс распада и умирания начался не сегодня – давно утерян язык, а вместе с ним постепенно исче-

зает и особое еврейское мышление и мировосприятие. Остается лишь набор неких картинок, слов, нот, за которыми уже ничего, тем более – ничего еврейского, не стоит». Что касается нелепых и смешных попыток быть евреем по еврейским праздникам, то это не более нелепо, чем устраивать праздничный обед не каждый день, а лишь по праздникам. Альтернативой служит либо отказ от еврейства даже по праздникам, либо ежедневное следование обрядам; первое явно нежелательно, второе явно невозможно. Нехорошо называть трагический процесс ассимиляции смешным и нелепым, и стремление быть евреем хотя бы по праздникам все же замедляет этот процесс. Сионистское движение по собиранию евреев началось именно для воспрепятствования этому процессу. Оказалось оно успешным или нет? Что ждет его в будущем, дай ответ – не дает ответа. Эта тема занимает многие большие умы. АВ тоже наблюдает «процесс распада и умирания» еврейской общности, но наблюдает как-то отстраненно, поступая, как хирург, – безжалостно режет правду-матку: и язык-то вы забыли, и в синагогу ходите лишь по праздникам, и полного представления о еврейской культуре у вас нет, да и сама она исчезла вместе с исчезновением еврейского мышления; короче – исход, батенька, летальный. Терапевт бы обратил внимание на то, что все-таки «объективно существует еврейская общность», и поискал способы лечения, все-таки жалко человека. Да, давно утерян язык, но история знает случаи, когда народ «вдруг» вспоминал его. Да, с языком постепенно исчезает и особое еврейское мышление и мировосприятие – может быть, можно замедлить этот процесс? Кстати, одна из таких мер – это как раз вспоминание хотя бы по праздникам, что ты еврей. Есть статьи в защиту идиша, есть обширная литература на идише, есть энтузиасты этого языка, есть масса песен на идише... Автор прекрасно сознает, что перед катком ассимиляции все это бирюльки, однако все мы смертны, но суть жизни состоит в сопротивлении смерти – мысль настолько банальная, что ее трудно назвать мыслью. Суицид не есть наша цель, сопротивляйся! Даст ли плоды такое сопротивление? Никто не знает, но почему бы не попытаться войти в эту же реку ниже по течению? А вдруг удастся! Это одно замечание по поводу гибели еврейской культуры.

Другое состоит в том, что АВ понимает слово «еврей» в восточно-европейском и даже российском смысле. Остается открытым ответ на вопрос о гибели еврейства, если сбудется его хирургический прогноз относительно восточных евреев. Мы еще коснемся этой темы, а пока заметим, что, несмотря на вторичность их культуры во времени, она обладает всеми признаками самостоятельности, ибо основана на совершенно ином жизненном укладе.

А теперь – внимание. Мы намеренно не выбросили из текста оригинала ни одного слова, достаточно объединить все «жирные» куски и прочесть полученный текст, чтобы прийти к логическому выводу. К какому? А вот какому: *«Поэтому и вопрос: "Почему все-таки стоит запрещать "Хава-нагилу", почему – это табуированная лексика?" – хоть и кажется*

провокационным, но ощущается вполне закономерным. И ответ здесь очевиден: "Потому что теперь это уже дурной тон, плохой вкус, дешевка, пошлятина". Но, тем не менее, народ испытывает к этому совершенно необъяснимую тягу, и людям, которые устраивают что-то еврейское, постоянно приходится с этим мириться. Это вполне объяснимо, понятно, естественно и заслуживает внимания хотя бы потому, что надо уважать слушателя и его желание расслабиться». Вообще говоря, запрет «Хава нагилы» уже обоснован, так что статью можно бы и закончить, но она только-только начинается, и АВ считает необходимым разъяснить еще много чего. Похоже, что ему, как и автору, полученный «логический» вывод тоже представляется кроликом, вынутым из шляпы.

Действительно, дополнительные разъяснения необходимы. Прежде всего, дешевку и пошлятину запрещать бесполезно, она пролезет и в окно, и в любую щель: вспомним знаменитого «Черного кота» или «Мишку» с его сакраментальной улыбкой – список легко продолжить. АВ хочется добавить к этому списку «Хава нагилу», и он удивляется, как это народ испытывает к этому «совершенно необъяснимую тягу». Пусть-ка он вспомнит, как можно было схлопотать срок за попытку узнать, как будет на иврите «мама»; пусть вспомнит, как встречали московские евреи Голду Меир, как пытались просто потрогать ее; пусть вспомнит российскую атмосферу времени Шестидневной войны; пусть вспомнит, наконец, часто ли исполняли в кабаках «Хава нагилу» лет тридцать назад. И когда он вспомнит все это, может быть, получит объяснение и «необъяснимая тяга», за которой стоит все-таки чуть больше, чем просто желание расслабиться. Разумеется, отговорка «я тогда еще и не родился» не принимается: в тексте упоминается Исход, 47 степеней нечистоты, другие подробности, так что с памятью у АВ все в порядке. И вообще, его можно успокоить: мода на еврейское не вечна, и репертуар кабаков скоро изменится.

Вернемся к дешевке «Хаве»; мы хотим понять, почему это пошлятина, бяка и дурновкусие. Пока прозвучали только два аргумента: не понимают смысла слов и исполняют в кабаках. Но в российском кабаке можно услышать (пока) и «Атикву», мало ли что заказывают; кроме того, история музыки знает более одного случая, когда неплохие артисты исполняли в кабаках неплохую музыку, способствуя тем самым воспитанию у публики надлежащего вкуса. А вдруг это тот самый случай? Так что это не аргумент. Чуть позже мы обсудим и другой: не понимают слов.

Итак, АВ переходит к предварительным рассуждениям и отмечает четыре «понятных и вполне очевидных вещи» (тут мы уже цитируем выборочно).

1) *«Нет ничего глупее, чем стремление просто слушать музыку, игнорируя ее смысл, текст (если это песня, и там есть слова), подтекст – все то, что в ней и вокруг нее находится».* Далее приводится пример бездумного восхищения музыкой антисемита Вагнера. *«Этой же самой глупости подвержены люди, которые медленно и красиво входят в транс при звуках "Тум балалайки", "Аиде Ше (надо, конечно, «Аидише. – Э. Г.) маме" и со-*

вершенно обыкновенной песни "Давайте веселиться и радоваться", которая на иврите начинается словами "Хава нагила". Для них в этой музыке нет ничего особенного, потому что они не знают и их не интересует, что это такое».

2) «Сегодня каждый из нас является свидетелем и участником завершающегося периода распада общности, именованной восточно-европейским, или российским (русскоговорящим) еврейством».

3) «Не существует художественно ценной еврейской музыки, которая объединяла бы людей. Исключение составляют пошлые случаи, связанные с "Хава нагилой" и "Семь сорок". После того как разрушили Второй храм и разогнали по всему миру еврейский народ, у него не осталось ничего своего, за исключением мелких, чрезвычайно трудно доставаемых пластов синагогального пения. Не сохранилось ни одного инструмента, ни одного достоверного традиционного танца или хотя бы ритма этого танца, ни одного доподлинно известного песнопения, которое всеми бы опознавалось как еврейское».

4) «Все, опознаваемое нами как еврейская музыка, – это всегда больше, чем просто музыка. Одни голые ноты никогда ничего не значат, потому что несут ровно ту информацию, которую любой музыкант может прочитать с нотного листа. На самом деле еврейская музыка – это часть жизни, и никто толком не знает этой еврейской музыки. Главное, что никто из ныне живущих практически ее не слышал, никто не испытал тех впечатлений, не был в тех ситуациях, в которых она была частью жизни».

Прежде чем комментировать эти горькие строки, отметим, что и из них пока не вытекает необходимость запрещения «Хава нагилы». Комментируем:

1) Музыковеду ли не знать, что любой слушатель любой музыки так или иначе накладывает ее на свой жизненный фон: что он слышал, или видел, или чувствовал прежде, что пережил. В этом смысле музыка с текстом (песня) воспринимается легче, просто же музыка иной раз рождает ассоциации, не предусмотренные ее автором. Этот последний случай можно записать в счет недостатков композитора (не нашел, понимаешь, адекватных средств выражения), а можно занести и на счет достоинств (использованные средства воздействовали на более широкий спектр ассоциаций). Дополнительная информация: «А Вагнер-то, оказывается, был антисемит» – одних это может навсегда отвратить от его музыки, на других не произвести впечатления, на третьих воздействовать множеством промежуточных образов – тут нечему удивляться. Прекрасно, когда человек чувствует и музыке, и текст, и подтекст – все идеальное прекрасно, но не всегда достижимо. Но чем-то же тронула и до сих пор трогает слушателя «Хава нагила», раз ее готовы слушать даже в кабаках, даже не понимая смысла. В Израиле этот смысл понимают, и от этого он не становится менее обыкновенным (кстати, в терминологии АВ песня вовсе и не еврейская, а ивритская). Кроме того, утверждения АВ тут несколько противоречивы: сначала он говорит, что песня эта совершенно обыкновенная, а строкой ниже возмущается, что для публики в этой музыке нет ничего особенного, и клеймит ее

(публику) за нежелание проявить интерес. Перевод песни звучит и в самом деле «обыкновенно»:

Давайте веселиться, давайте радоваться!
Давайте петь и ликовать!
Просыпайтесь, братья, с радостью в сердце!

И что же? Это вообще характерная черта старинных еврейских песнопений, хотя сама эта песня отнюдь не старинная: берется «обыкновенная» строка из Танаха, Талмуда или другого традиционного текста, кладется на более или менее бессмертную музыку – и вот вам конфетка, песня из одной строки. Бывает, российские «евреи» начинают петь хором («евену шалом алейхем»), и хотя далеко не все понимают, о чем поют, у некоторых появляются слезы, смывающие кавычки со слова *евреи*; а поют-то они в высшей степени банальный текст: 8, или 12, или 16 раз повторяют «мы принесли вам мир». Ну, принесли, и что? Всякая песня в подстрочном переводе выглядит, как Буратино из-под тупого топора, и это верно, даже если пересказать песню на родном языке «своими словами», лишив ее естественного ритма. Подстрочник не поется, но вот, например, более или менее адекватный эквиритмический перевод, который уже можно петь:

Ну-ка,
Давай-ка, ну-ка,
Давай-ка, ну-ка,
Давай-ка, ну-ка веселей!
Ну-ка,
Давай-ка, ну-ка,
Давай-ка, ну-ка
Давай-ка, ну-ка веселей!
Ну-ка, вставай и пой,
Ну-ка, вставай и пой,
Ну-ка, вставай и пой,
Смейся и ликуй!
Ну-ка, вставай и пой,
Ну-ка, вставай и пой,
Ну-ка, вставай и пой,
Смейся и ликуй!
Другу...
Другу радость...
Другу радость подари-ка,
Другу радость подари-ка,
Другу радость подари-ка,
Другу радость подари-ка,
Подари, подари
На сердце радость.

Что же до музыки, то для профессионала она, может быть, и тривиальна, автор дилетант и судить не берется, – так ее и не исполняют в высоколобых концертах. Автору, например, она нравится и сама по себе, и не только ему: имеются многочисленные исполнения этой мелодии без слов.

Теперь восполним один пробел из статьи АВ: после справедливых сокрушений о незнании перевода и нежелании слушателей узнать что-нибудь о песне самое время было дать им эти сведения – ведь статья предназначена для широкой публики. Итак: считается, что мелодию эту сочинил неизвестный восточно-европейский клейзмер лет 150 назад; возможно, что она была чуть-чуть иной, но если так, то лишь чуть-чуть. Мелодия эта попала к иерусалимским хасидам и стала у них очень популярной, хасиды вообще обожали жизнерадостные мотивы – здесь у нас конец куплета. Второй куплет начинается с того, что молодой латвийский кантор Авраам Цви Идельсон решил побродить по миру и пособирать еврейский музыкальный фольклор. Так как мероприятие это не из дешевых, то его, надо полагать, поддерживал какой-то спонсор, а так как спонсоры абы кого не поддерживают, то, видимо, у Идельсона были какие-то заслуги на канторском поприще. В ходе этого вояжа он оказался в Иерусалиме, где в 1915 году и записал красивую, уже хасидскую, мелодию – здесь опять конец куплета. Шла Первая мировая война, и Идельсона забрили в турецкую армию командовать оркестром (Палестина ведь тогда была турецкой). По окончании войны, в 1918 году, в Иерусалиме был устроен большой концерт, программу которого было поручено составить нашему герою. Для того чтобы стать гвоздем концерта, выбранной им мелодии не хватало слов – что ж, он их придумал. Так она с тех пор и стала исполняться. Умер А.-Ц. Идельсон в 1938 году. Как видим, положение здесь было не совсем обычным: вначале была музыка, и лишь потом явилось слово.

2) К великому сожалению, это правда. Между прочим, этот тезис подтверждает, что для АВ еврейство означает в высокой степени именно восточно-европейское или даже российское еврейство. Для израильтян, даже прибывших из России, это понятие имеет гораздо более широкий смысл: навидались всякого. Поэтому российские рассуждения (подчас панические) о смерти еврейства принимаются здесь с большим скептицизмом: «Это мы-то вымираем? Ну-ну». Во всяком случае, столкновение культур и ментальностей в Израиле дает достаточно тем для исследования процессов взаимного ассимилирования.

3) Здесь АВ однозначно заявляет, что еврейская музыкальная культура кончилась с разрушением Второго храма, то есть около 70 года н. э. Это трагическое замечание начинает приобретать странные черты, когда АВ приступает к аргументации. Мы уже упоминали о том, что для него еврейство означает прежде всего восточно-европейское еврейство. В ходе аргументации выясняется, что слова «прежде всего» здесь лишние:

«...Еврейский народ утратил остаток своего собственного языка, уже не говоря об именах. Многие рассказывают, что идиш для них – это язык, на который иногда переходили либо мама с папой, либо бабушка с дедушкой. Однако на самом деле идиш – это потерянный (открытым остается вопрос: "Навсегда ли потерянный?") способ еврейского мышления». Но идиш, как и его носители, появился несколько позднее гибели Второго храма, веков этак через десять, так что АВ плачет (и справедливо плачет) об умирании более поздней культуры, которая родилась уже значительно позже разрушения Второго храма. Правда, если не осталось нот и инструментов еврейской музыки Средневековья, то что уж говорить о более древних ее пластах. Тут еще остается непонятным, считать ли еврейской культуру в период между разрушением Второго храма и появлением идиша.

Не следует, однако, забывать и о втором (по сути, первом) еврействе – народе Израиля. Человека, видящего из окна стены Старого Иерусалима или Масличную гору, ламентации АВ вряд ли тронут. Он не собирается вымирать, он поет песни как современные, так и старинные, он пытается поспевать за временем и не забывать традиций предков – он живет, ам исраэль хай... Этому обобщенному человеку еще бы приличное правительство, но это уж беда и вина многих народов. Будущее Израиля тоже небезоблачно, но тут уже идет речь о будущем другой еврейской культуры, и остается лишь уповать на известную сентенцию «нам не дано предугадать, чем к нам фортуна повернется».

Отметим один странный вывод из статьи АВ: допустим, мы поддались ее пафосу и исключили из нашего музыкального меню упомянутые выше песни – что взамен? Об этом в статье ни слова, более того – хирургия АВ предписывает полное удаление еврейской музыки, ибо она все равно не еврейская. Ничего себе популяризация на канале «Культура»!

4) Здесь удобно прокомментировать по порядку каждое из четырех грамматических предложений. Первое утверждение незаслуженно приписывает еврейской музыке черту, свойственную музыке любой человеческой общности. Если считать верным второе утверждение, то сразу возникает вопрос: что такое исполнительское мастерство? И почему одним нравится исполнение А, а другим В – ноты-то одинаковые? Автор специально прослушал два десятка исполнений «Хава нагилы» – все разные; есть среди них совершенно замечательные, есть и откровенно пошлые (не о них ли идет речь в статье АВ?). В третьем предложении повторяется мысль первого и четвертого. Да, никто из ныне живущих не был в тех ситуациях, в которых еврейская музыка была частью жизни. Ну и что? Требовать, чтобы они да были (да простится нам этот чисто еврейский оборот), означает требовать неизменности жизненного уклада еврейского сообщества, индивидуум-то живет не очень долго. А как быть тогда с таким монстром, как научно-технический прогресс, который ломает любой уклад? Таким образом, АВ сетует по существу на за-

коны развития природы и общества. Да, они такие, эти законы: нынешние египтяне лишены возможности слушать музыку времен строительства пирамид. Но им еще повезло, а каково шумерам?

Заметим в заключение, что этими мыслями озаботились еще древние иудеи, для чего была создана Устная Тора с ее ключевым понятием галахического постановления. При возникновении новой ситуации (разрушение Храма, изобретение телефона, запрет «Хава нагилы» и т. п.) авторитетные мудрецы, по существу, волюнтаристским путем постановляют: с сегодняшнего дня следует поступать так-то. Всё – с сегодняшнего дня еврей должен поступать так, и эта новая традиция освящена Торой. Так в еврейском мире решается трудный спор между традицией и прогрессом.

Разобранные четыре тезиса и составляют содержание статьи АВ, которая процитирована достаточно широко, но, разумеется, далеко не полностью. Впрочем, остальная ее часть занята примерами из жизни русских и американских евреев (весьма интересными), призванными подтвердить вышеуказанные тезисы. Как мы могли видеть на контрпримерах, далеко не всегда А. Варгафтику это удавалось. В частности, после прочтения статьи возникает сильное желание послушать «Хава нагилу» самому и подарить эту радость другу.





доктор исторических наук, журналист, редактор американского журнала «FrontPage Magazine». Живет в США.

СИМПОЗИУМ: ТЬМА В ПОЛДЕНЬ

Джеми Глазов: Наш симпозиум «Тьма в полдень» (по названию известного романа Артура Кестлера о знаменитых «московских процессах» 1937 года) посвящен новому российскому явлению – возродившейся в массах ностальгии по сталинским временам. Как сообщила недавно газета «Дейли телеграф», в нескольких российских городах воздвигают монументы в память о диктаторе, который в свое время расстрелял и сгноил в лагерях миллионы советских граждан. Что означает эта ностальгия? Возвращается ли Россия к мрачным временам советского тоталитаризма? Связано ли это с попыткой Владимира Путина установить в России свою абсолютную власть? И можно ли загнать джинна российской демократии обратно в бутылку? С этими вопросами я обратился к участникам симпозиума – профессору Гарвардского университета *Ричарду Пайнсу*, который является одним из ведущих мировых специалистов по русской и советской истории, автором 19 книг, последней из которых стала его новая автобиография «Воспоминания незаангажированного»; г-ну *Фредо Ариас-Кингу* – основателю академического ежеквартальника «Демократизация» (журнал о постсоветской демократизации), советнику демократических сил на Кубе, на Украине, в России, Беларуси и Молдове; г-ну *Дику Моррису*, который в течение 20 лет был советником Клинтона, работал с Ельциным, а также с Ющенко на Украине, Юрием Роска в Молдове и помогал нескольким российским антикоммунистическим кандидатам в Думу; г-ну *Юрию Ярым-Агаеву*, бывшему российскому диссиденту и члену московской «хельсинкской группы», возглавляющему нью-йоркский Центр за демократию в России и являющемуся содиректором фонда помощи бывшим политзэкам «Благодарность» (вместе с В. Буковским, Э. Кузнецовым

и Ю. Федоровым); и, наконец, к г-ну *Рамзею Флинну*, журналисту, редактору «Балтийского журнала» и автору книги «Вопль из глубины, или Гибель подлодки, всколыхнувшая мир».

Глазов: Мистер Моррис, в своей недавней статье «На очереди Россия» вы заметили, что «в своих попытках опустить второй железный занавес над бывшим Советским Союзом Путин перешел границы разумного и недооценил силу стремления рядовых людей к личной и общественной свободе». По вашему мнению, попытки Путина повернуть Россию вспять, в былые мрачные времена, обречены на провал, поскольку ему не под силу одолеть дух свободы, вселившийся в сердца русских. «Вся королевская конница, вся королевская рать не может Шалтая, не может Болтая, Шалтая-Болтая собрать», – пишете вы в заключение. Вы явно убеждены, что силы демократизации в России достаточно сильны, чтобы не допустить такого возврата. Как в таком случае вы объясняете возрождение культа Сталина?

Моррис: Статья, о которой вы упомянули, была написана несколько лет тому назад. Тогда я полагал, что силы демократии в России слишком значительны, чтобы противостоять возврату к авторитаризму. Сегодня я в этом уже не так уверен. Я поражен и встревожен тем, как легко Путин кастрировал российскую демократию, подорвав две ее основные опоры – лишив власти губернаторов и ликвидировав одномандатные избирательные округа. Я, однако, продолжаю думать, что Генри Киссинджер был прав, когда говорил, что Россия всегда либо расширяется, либо сжимается. Она попросту не может существовать статично. Наличие в ней большого числа различных национальностей, этнических групп и религий создает огромные центробежные силы, и только путем экспансии Россия может надеяться их обуздать. А все, что находится на «передовой линии» российской экспансии, имеет тенденцию бунтовать и выбиваться из-под российской власти. Поэтому я надеюсь, что движения демократических реформ, охватившие Грузию, Украину и Киргизстан, приведут к усилению аналогичных сил, действующих внутри России, и это, быть может, уведет Россию прочь от путинского авторитаризма.

Другая причина для надежды состоит в том, что относительное экономическое благополучие сегодняшней России неразрывно связано с нефтью. Функционально нынешняя Россия – это та же Саудовская Аравия, только с большим населением. Но зависимость Запада от нефти и высокие цены на нее – явление временное. Уже сейчас в Соединенных Штатах, особенно в Калифорнии, предпринимаются энергичные и смелые усилия по переходу к транспорту на водородном топливе. В широкой печати мало говорится об этом, но губернатор Шварценеггер, используя федеральные, штатные и частные фонды, планирует к 2010 году преобразовать все бензоколонки на главных дорогах штата – чтобы они обслуживали и машины

на водородном топливе. Все, кто пользуется этими дорогами, смогут ездить на водороде. И сам штат будет производить водород и субсидировать продажу машин на водородном топливе. Поскольку жители Калифорнии покупают 20% всех машин, продающихся в Соединенных Штатах, эта инициатива представляется тем хвостом, который сможет вилять собакой.

Глазов: Если проект Шварценеггера способен обрести жизнь, то перспективы, действительно, представляются фантастическими. Как только мы освободимся от нашей зависимости от саудовской нефти, мы начнем выдавать саудовцам по заслугам. Это будет прекрасно. Но сегодня основное внимание, несомненно, привлекает близящееся столкновение демократических движений в Киргизстане, Грузии и на Украине с путинским курсом на ребрежневизацию. Г-н Ариас-Кинг, каким представляется вам развитие событий в этом направлении? И как связано с этим восстановление сталинских памятников в различных российских городах? Будучи сам из России, я отлично знаю, как много тамошних людей тоскует, как это ни патологично, по властной, авторитарной фигуре «отца-спасителя». Как это понимать?

Ариас-Кинг: В свое время, изучая историю возникновения ЧК, НКВД и КГБ, я обращался к некоторым работам Пайпса, чтобы понять это извечное стремление русского народа к так называемому «порядку» и возникающий вследствие этого организованный государственный террор. Это явление возникло задолго до большевистского переворота октября 1917 года. Прискорбно, разумеется, что даже сегодня, после того как преступления Сталина разоблачались так часто, что уже навязли в зубах, начиная еще с горбачевской кампании десталинизации в 1986-87 годах, последние социологические опросы ВЦИОМа демонстрируют несомненное наличие тоски по советским временам и даже по Сталину лично. Я недавно побывал в Москве и встречался с родоначальницей социологических опросов в СССР Татьяной Заславской. Я задал ей тот же вопрос, что вы сейчас задали мне. Эта женщина, один из виднейших архитекторов перестройки, сказала мне, что как раз сейчас пишет книгу на эту тему, и я с нетерпением жду, какие социальные силы она выявит на этот раз. В таких случаях мы всегда склонны кивать на пресловутую «русскую душу», но вполне возможно, что тут действуют и другие факторы.

Я хорошо знаю многих активистов демократических движений, которые свергли деспотические и коррумпированные режимы в различных частях бывшего СССР. И я убежден: обычные люди способны на необычные свершения. Вопреки нынешним настроениям в России, я разделяю оптимизм Дика Морриса. Я недавно встретил его в Мексике, где он помогал малоизвестному деятелю демократического движения по имени Винцент Фокс – помогал от чистого сердца, потому что, по его словам, «это борьба добра и зла». Нашим противником был этакий мексиканский Путин, бывший начальник тайной полиции, на счету которого длинный список преступлений. Он мог рассчитывать на поддержку банков, телевидения, всей государственной машины. На его стороне была также апатия населения.

Наше поражение казалось таким неизбежным (я руководил тогда внешне-политической частью кампании Фокса), что моя коллега советолог Кондолиза Райс и ее заместитель Роберт Зёлик убедили тогдашнего кандидата в президенты Джорджа Буша поддержать мексиканского Путина вопреки нашим громогласным протестам. Мне кажется, что сегодня госпожа Райс повторяет такую же «реал-политическую» ошибку в России.

Украина добилась свободы вопреки Путину и вопреки всем препятствиям. В Молдове демократы не победили так впечатляюще, но и там они сумели принудить коммунистического деспота к более цивилизованному поведению, заставили его обратить лицо в сторону Запада.

Путин уязвим. Во время своей недавней поездки в Москву я был поражен уровнем возродившейся демократической активности. Я не видел такого с начала 1990-х годов. Молодежные организации двух главных демократических партий («Яблоко» и СПС) сотрудничают вполне официально, закладывая основу для будущего сотрудничества самих этих партий. Демократы проиграли на выборах в Думу, но сама эта путинская Дума все более теряет доверие населения.

Россия всегда ухитрялась привлечь к себе внимание всего мира, и я уверен, что и на этот раз она не изменит своей привычки.

Глазов: Г-н Пайпс, разделяете ли вы оптимизм Морриса и Ариан-Кинга? Быть может, и впрямь «вся королевская конница и вся королевская рать» не смогут возродить авторитарную Россию?

Пайпс: Для меня несомненно, что Россия, после краткого заигрывания с демократией и свободной рыночной экономикой, сегодня снова последовательно и неуклонно отступает к автократии и управляемому рынку. Эта тенденция порождена не только политическими амбициями президента Путина и его ближайшего окружения, но и желанием широких масс русского народа. Опросы показывают, что население отождествляет демократию с анархией и выше всего ценит личную безопасность («порядок»), которую она связывает с автократическим строем. Народ хочет видеть во главе страны диктатора, который будет контролировать политику и экономику, чтобы дать простому человеку возможность беспрепятственно заниматься своими личными делами.

Когда президент Путин в своем обращении к Думе 25 апреля сего года назвал развал СССР величайшей политической катастрофой XX века, он всего лишь выразил широко распространенное убеждение. Не забудем — XX век был веком двух разрушительнейших мировых войн, веком Ленина и Сталина, Гитлера, Мао и Пол-Пота. Но в сознании Путина все эти ужасы блекнут в сравнении с бескровным развалом Советского Союза и исчезновением правившей этим государством коммунистической диктатуры.

Причина нынешней популярности Сталина состоит именно в этом типе сознания. Сталин был и остается популярным по двум причинам: он сделал Россию сильнейшей мировой державой, внушив другим уважительный страх перед ней, и он был беспощаден. Беспощадность издавна считается

в России важнейшим признаком «хорошего» правителя: такой правитель должен быть «грозным», каким был Иван Четвертый, этот безумный деспот, которого всегда высоко чтит русский народ.

Я считаю это развитие событий в высшей степени тревожным. Идеи демократии и прав человека могут рассчитывать в сегодняшней России на поддержку не более 10 процентов граждан. Остальные либо презирают эти идеи, либо равнодушны к ним. В этом повинно тяжелое наследие российской истории. Его не так легко будет преодолеть.

Глазов: Г-н Ярым-Агаев, наши выступающие, кажется, разошлись во мнениях – одни настроены пессимистично, тогда как другие все еще сохраняют некоторый оптимизм. А что думаете вы?

Ярым-Агаев: Я оптимист. Но не благодушный, а весьма озабоченный оптимист. Вот как я понимаю ситуацию. Во-первых, коммунизм как мировая идеология рухнул безвозвратно. Ни один правитель ни в одной стране не может его возродить. Если страна в какой-то момент открылась внешнему миру, она сразу включается в глобальный политический процесс, а этот процесс, в общем, направлен в сторону демократии. Этот глобальный процесс всеобъемлющ и со временем одолевает все исторические особенности и этнические характеристики. Любая попытка возродить в России сталинизм или брежневизм окажется безрезультатной, хотя и болезненной. Именно это и внушает мне оптимизм.

Во-вторых, хотя в дальней перспективе направление процесса предопределено, специфический путь каждой отдельной страны не предопределен. А это влияет на многое, что и порождает мою озабоченность. Крах коммунизма не означает автоматическое возникновение демократии, как ошибочно думали западные политические вожди, которые поспешили объявить Россию демократической страной. Россия еще не демократия, ей только предстоит еще стать таковой. У России была возможность обрести демократию. Чтобы реализовать эту возможность, нужно было довести до конца то, что было начато в августе 1991 года. Но эта революция прекратилась, едва начавшись. Россия так и не осудила коммунизм, не отстранила коммунистов и КГБ от власти. Верно, руководители, приведенные к власти радикальными революционными силами, сделали первые шаги в сторону демократии и свободы, но очень скоро вернулись к опоре на старую советскую бюрократию. Этот ретроградный процесс продолжался, дойдя до своего логического конца, когда Россией снова стал править КГБ. Однако старая советская бюрократия не в силах остановить неизбежный исторический процесс. Поэтому можно ожидать новой мини-революции, возможно – на выборах 2008 года или даже раньше.

В-третьих, по аналогичной схеме развивались события и в других республиках. Каждая революция помогала демократизации благодаря тому, что прерывала монархическое наследование власти и включала все более широкие массы в политический процесс. Именно по этой причине я всем сердцем был на стороне недавних революций на Украине, в Грузии и Кир-

гизии. Я не переоцениваю, однако, глубину свершившихся там перемен или степень подлинной демократичности тамошних политических лидеров. В этих странах вполне еще возможен откат в прошлое, за которым, вероятно, произойдут следующие мини-революции. Такой сценарий означал бы общий позитивный сдвиг – хотя и в ходе весьма судорожного политического процесса. Соединенные Штаты могли бы весьма существенно помочь ускорению этого процесса, если бы они решились поддерживать принципы, а не тех или иных деятелей, поддерживать демократизацию, а не стабильность любой ценой. Пока что это не так, и наша ошибочная политика в отношении России не может быть оправдана ни наличием у нее ядерного арсенала, ни нашей зависимостью от зарубежной нефти.

В-четвертых, эта наша зависимость от зарубежной нефти сильно преувеличена. Нефть составляет всего 5% нашего ВВП, и эта цифра хорошо отражает ее реальное значение. Напротив, российская экономика существенно (а саудовская почти всецело) опирается на добычу нефти. Кто же здесь от кого зависит? Если у них исчезнет нефть, мы ощутим лишь небольшой дискомфорт, зато они получат революцию. Более того, у нас есть альтернативный источник энергии, ядерный, намного более эффективный и экологически чистый, дающий возможность произвести все нужное нам электричество. Общие расходы среднего американца на электричество и отопление куда больше его расходов на бензин. Это означает, что с помощью ядерной энергетики мы можем продолжать ездить на наших машинах, пользуясь исключительно отечественной нефтью. Так что ссылка на нефть – плохое оправдание, когда речь идет о поддержке диктаторов в России и Саудовской Аравии.

Глазов: Г-н Финн, каково ваше отношение к высказанным мнениям? В своей книге вы использовали трагедию подлодки «Курск», чтобы объяснить особенности новой, путинской, России, и пришли к выводу, что эта страна сейчас, по вашему выражению, «ресоветизируется». Вы также охарактеризовали правление Путина как «чуть более мягкую, чуть более снисходительную диктатуру». Думаете ли вы, что последние события подтверждают эту вашу точку зрения?

Финн: На короткой дистанции – несомненно, но куда более интересны дальние перспективы. Я всегда считал, что судить о человеческом характере можно лишь на большом временном промежутке, и то же относится к национальному характеру. Существует расхожее мнение, что характер лучше всего проявляется в экстремальных обстоятельствах, и я должен сказать, что мои многочисленные беседы с русскими людьми о нынешнем мрачном периоде их истории дают мне основания для оптимизма в отношении дальних перспектив России.

Но этот оптимизм мне внушает не нынешнее политическое руководство, а молодежь. Настораживающая острая тоска по Сталину пожилой части населения не продержится долго – ее смоят волны свободной информации, гуляющие по нашей планете, и все попытки Путина задавить россий-

ские средства информации, в конце концов, окажутся тщетными. Как и в западном обществе, люди будут получать все больше и больше информации из интернета. Даже китайцы уже поняли, что невозможно контролировать Сеть.

Поэтому, хоть и я согласен с Ярым-Агаевым, что Россия никогда не была и даже сегодня еще не является демократией, я согласен также с Диком Моррисом в том, что касается непобедимой тяги человеческого духа к свободе. Разумеется, я поддерживаю демократические перевороты в пограничных с Россией странах, но вместе с тем я склонен рассматривать их в более широкой перспективе, на фоне недавних событий в Узбекистане и Ливане, где тоже произошли бурные выступления широких народных масс. Представьте себе, что вы смотрите на все это с кремлевской стены. Как бы вы поступили?

Понятно, что российским вождям первым делом приходит на ум соображение, продиктованное инстинктивной реакцией, которая впечатана в их ДНК, – они усматривают во всех этих «оранжевых революциях» заговор и угрозу себе. И что интересно – во всех обсуждениях этих событий, которые происходят в российских средствах массовой информации, российские власти почти никогда не говорят о том, как бы им привлечь этих соседей на свою сторону, став для них привлекательным партнером. А ведь именно так поступали Соединенные Штаты на протяжении почти всего минувшего столетия, до войны с Ираком, и нет причин, почему бы и Россия не могла завоевать утраченное влияние аналогичным способом. Пора перестать клацать клыками! Мне хотелось бы, чтобы новое поколение россиян сумело выработать ту вечно электризирующую национальную идею, в которой Россия так отчаянно нуждается сегодня, и я полагаю, что извечно страшящиеся ее соседи станут иначе смотреть на нее, если эта оживляющая национальная идея будет содержать в себе также уважение к свободе и независимости соседних с Россией стран.

Ариас-Кинг: Я хотел бы напомнить, что Ричард Пайпс, будучи советником президента Рейгана, был в немалой степени причастен к краху советской империи. А Моррис сыграл ключевую роль в предотвращении победы «национал-большевиков» в 1996 году, когда помогал команде Ельцина в его перевыборной кампании. Думали ли они, вступая в политику, что сыграют такую роль?

В сегодняшней России есть много неприметных героев, которые сражаются за сохранение различных человеческих прав и свобод. Недавние и не очень недавние «оранжевые революции» в Болгарии (1996), Словакии (1998), Югославии (2000), Грузии (2003), на Украине (2004) и в Киргизстане (2005) показали нам, что небольшая группа хорошо организованных борцов за свободу может победить не только вооруженную олигархию, но также цинизм и равнодушие огромного большинства рядовых людей.

Подобно таким героям перестройки, как социолог Галина Старовойтова, журналист Юрий Щекочихин или священник-бунтарь Глеб Якунин, не

говоря уже об Андрее Сахарове, то новое поколение, о котором говорил Флинн, почти готово сегодня смести с дороги своего «президента безнадёжности». Верно, условия для действий первой группы были куда благоприятнее – хотя бы потому, что в Кремле находился Горбачев, а не сегодняшний опасный и раздражительный человек. Но зато, в отличие от тогдашней ситуации, ныне русские демократические силы готовы к управлению страной.

Как показали последние статьи в нашем журнале «Демократизация», у России нет иного выбора, кроме как со временем присоединиться к Западу. Да, в ее крови бродит имперская закваска. Но так же обстоит дело со многими европейскими государствами, которые ныне являются членами ЕС. Они вынуждены были отказаться от своих имперских притязаний и былой славы и стать «нормальными» странами. Не так давно и Австрия, и Великобритания, и Испания, и Франция, и даже Польша вели себя так же, как сегодня Россия. Со своим малым (большим, апатичным и все уменьшающимся) населением в 145 миллионов человек Россия не может надеяться в одиночку сдерживать натиск 1,3 миллиарда китайцев и 1,2 миллиарда мусульман в своем мягком подбрюшье.

Сегодня в России существуют три тенденции, которые почти не замечают на Западе. Одна из них была подмечена серьезными русскими аналитиками вроде Валерия Соловья из Фонда Горбачева, который считает, что российские властные элиты, несмотря на отдельные взрывы воинственной риторики, во многом уже отказались от своих имперских амбиций. Они поняли, что потерять на этом пути можно много больше, чем выиграть.

О второй тенденции я уже упоминал. Путин более уязвим, чем это многим на Западе кажется. Эта его уязвимость была предсказана уже более года назад в замечательной, хотя, к сожалению, прошедшей почти незамеченной статье русского ученого Михаила Беляева в нашем журнале «Демократизация». Произведя регрессионный анализ по 89 провинциям России, Беляев обнаружил отрицательную связь между автократией и экономическим процветанием. Иными словами, если в 89 провинциях губернаторы, действующие методами Путина, приносят менее ощутимые выгоды своему населению, то как может быть иначе у самого Путина на общенациональном уровне – особенно в том случае, если цены на нефть или другое российское сырье упадут?

И, наконец, в-третьих, антипутинская демократическая оппозиция выглядит сегодня намного более организованной и более готовой взять власть, чем дискредитированные «красно-коричневые», часть которых, кстати, многими рассматривается в качестве марионетки Путина, призванные придать ему имидж правителя, опирающегося на умеренные слои.

Верно, российские демократы лишены одной важной возможности, которая присутствовала почти во всех других посткоммунистических странах, – они не могут использовать местный национализм, чтобы придать наступательный характер своим либеральным идеям. Но они могут заменить

национализм своим имиджем компетентных менеджеров – особенно если сам Путин все более утрачивает этот имидж, который был его единственной козырной картой.

Пока что опросы общественного мнения действительно показывают, что слово «демократ» в его стереотипном понимании непопулярно в широких кругах – в силу репутации демократов как «теоретиков» с малым практическим опытом. Но тем временем демократы привлекают в свои ряды все больше людей с репутацией компетентных менеджеров. Не случайно людьми, о которых чаще всего говорят как о демократических кандидатах, являются чемпион мира по шахматам и бывший путинский премьер-министр. Этот последний, г-н Касьянов, возможно, сумеет даже создать новую демократическую волну, сумев привлечь на свою сторону умеренную часть нынешней элиты. Как только демократы докажут, что у них есть хотя бы небольшие шансы выиграть, к ним наверняка потянутся умеренные сторонники режима, как это было в 1991 году во время краха СССР.

Ну и что, что Россия никогда не была демократией? Есть такая штука, как переустройство – даже порой весьма резкое переустройство – страны, и эта возможность зависит только от наличия воли (и некоторой удачи, конечно, тоже). Предавший идею демократии Ельцин утратил эту волю, едва лишь получил то, к чему стремился, то есть власть. Он оттолкнул от себя демократов и окружил себя номенклатурщиками.

Вспомните, что в период между двумя мировыми войнами единственной демократией к востоку от Швейцарии была Чехословакия Томаса Масарика. Сегодня в этом регионе целых десять благополучно функционирующих демократий. И Украина, эта «мать городов русских», которая почти никогда не имела государственной независимости, тоже присоединилась к этому списку.

Пайпс: Я по-прежнему преисполнен скепсисом. Демократия сама по себе – едва ли не самый сложно устроенный политический режим, его труднее всего установить и поддерживать. В этом смысле автократия легче всего. Русский народ никогда не имел опыта участия в государственном управлении, он благодушно готов позволить другим управлять собой и государством, лишь бы ему обеспечили минимум личной безопасности и возможность удовлетворять личные интересы. Опросы общественного мнения систематически подтверждают этот факт. Одна российская социологическая институция пришла к выводу, что русские люди настолько не доверяют друг другу, что живут как бы «в окопах». Это не тот тип сознания, который может породить подлинную демократию. Не следует позволять нашим надеждам подменять чужую реальность.

Ярым-Агаев: Странно, когда тебе напоминают о «непобедимом стремлении человеческого духа к свободе». Я был одним из весьма немногочисленных русских людей, которые открыто и настойчиво демонстрировали это стремление на протяжении всей своей жизни. Но, оставляя в стороне эту мелкую личную деталь, повторю, что я оптимист. Есть, однако, разли-

ца между оптимизмом и благими пожеланиями. Оптимист, который верит в возможность позитивного исхода и стремится способствовать его реализации, обязан трезво и четко оценивать ситуацию. В этой оценке следует исходить из наличного политического статуса России: какие силы угрожают слабой зарождающейся демократии в этой стране – антидемократические или авторитарные? В первом случае мы должны поддерживать правительство, во втором – демократическую оппозицию ему. Американская политика в отношении России, направленная на поддержку российского правительства, коренится в неправильной оценке ситуации. На самом деле Россия никогда не была демократией. До 1991 года она была тоталитарным государством, а затем, после короткого переходного периода, стала авторитарией. После роспуска Думы Ельцин правил как авторитар, правда, более мягкий, чем Путин, но, тем не менее, авторитар. Поэтому было бы некорректно говорить о возможном возврате России к авторитаризму, потому что она таковой является. Правильно лишь спрашивать, может ли Россия вернуться к тоталитаризму, и тут мой ответ – не может.

Более важный вопрос состоит в том, может ли Россия стать демократией, и следующий отсюда вопрос – может ли Америка реально способствовать этому процессу? Здесь мы вступаем в область туманных предсказаний, где наличествует большая неопределенность и где на наши ответы существенно влияет наш личный опыт и убеждения. Ричард Пайпс, будучи историком, склонен придавать большое значение национальному характеру и традициям, тогда как я, будучи физиком, убежден, что глобализация и информационная революция уменьшат значение этих факторов и сделают демократию в России более вероятной. Ни одно из этих предвидений не может быть научно доказано, поскольку мы занимаемся предсказанием будущего, а не оценкой настоящего. Это область разногласий, основанных на разном видении ситуации, и хотя я убежден, что Россия может стать демократической страной, и агитирую за поддержку Америкой российских демократических сил, я уважаю мнение тех, кто считает, что эти надежды нереалистичны и что Америка не должна инвестировать в них свой финансовый или политический капитал. Единственное, что для меня неприемлемо – это когда убеждение, что демократизация России весьма маловероятна, становится оправданием для поддержки российских диктаторов.

Если мы примем, что Россия может стать демократией, возникает вопрос, как помочь ей двигаться в этом направлении. И здесь я снова вынужден не согласиться с некоторыми участниками нашего симпозиума, которые говорят об «организованной демократической оппозиции» в России. О, как бы я хотел, чтобы таковая существовала! К сожалению, все известные мне «организованные» структуры в России весьма мало демократичны. Большинство лидеров этих структур или партий выдвинуты на ведущие политические посты еще советским коммунистическим правительством. После этого они успели лояльно послужить авторитарному режиму Ельцина, а те из них, которые были призваны Путиным, продолжают

лояльно служить ему. В качестве правительственных чиновников они не сумели – если вообще пытались – повернуть страну от автократии к демократии. Что касается их личных убеждений, то они стали демократами только тогда, когда это стало безопасно и выгодно. Во время первого гигантского шага России по направлению к демократии, то есть в период ее разрыва с коммунизмом, большинство из них лояльно обслуживали коммунистическую систему, помогая продлить ее существование.

Единственные, кто стоял тогда на демократической стороне баррикад, были диссиденты. Я убежден, что мы и поныне остаемся единственными российскими демократами, доказавшими это всей своей жизнью. Но проблема в том, что большинство из нас находится в изгнании, и, если не считать короткого переходного периода, мы никогда не считались «демократическими лидерами» России. Есть много других россиян, разделяющих демократический образ мыслей, но они пока еще не заявили о себе на политической арене и не создали сколько-нибудь заметных организаций. Именно это делает поддержку демократических сил в России такой трудной задачей. Единственная активная демократическая сила сегодня там – это мелкий бизнес. Мотивация всех этих мелких предпринимателей может быть весьма далекой от чистого идеализма, но это единственные люди, которые исподволь двигают страну в направлении к демократии и эффективно противодействуют тоталитаризму.

Флинн: Следует отметить, что Путин создал нынешнюю автократию в ответ на разочарование народа отвратительными побочными последствиями некоторых весьма извращенных экспериментов с так называемой «демократией». Народ одобрил все его жесткие действия, которые обещали полностью избавить общество от хаоса. Но смотрите, что получилось. Испытав на себе негативные стороны «демократии» вместе с сопровождавшей ее чудовищной коррупцией, люди теперь начинают задыхаться под тяжестью все возрастающего гнета. Поворот к демократии в столь многих соседних с Россией странах является замечательным доказательством растущего неприятия авторитаризма. Говорят, будто в России не может быть «оранжевой революции». Я бы на это не рассчитывал. Посмотрите на российскую молодежь. Все мои многочисленные контакты с ними на протяжении последних лет отчетливо демонстрируют, что они ждут не дождутся, когда все эти старые советские динозавры сойдут со сцены. Меня особенно возбуждают разговоры о возможных реальных соперниках Путина типа бывшего премьера Михаила Касьянова. Даже в разговорах о возможном объединении вокруг арестованного олигарха Михаила Ходорковского наличествует определенная надежда. И политические изгнанники сегодня могут многое такое, чего они не могли в добрые старые советские времена. Так что в целом не исключено, что сама тактика Путина, помимо его воли, сеет семена лучшего будущего для России.

Что касается роли Запада во всем этом, то я остаюсь, как говорится, решительным сторонником помолвки, но с сильным акцентом на взаимность.

Путин человек крайне прагматичный. Кто знает, может быть, он и сам хочет разрешить появление оппозиции, которая имела бы достаточно громкий голос, чтобы время от времени говорить ему «нет». Он может разрешить такую оппозицию, уступив давлению Запада, но может пойти на это и ради интересов русского народа.

Глазов: Последнее слово, господа! Мой вопрос: как, по-вашему, ситуация в России влияет на войну с террором, и скажите, какую политику вы бы рекомендовали администрации президента Буша в отношении России.

Ариас-Кинг: Политика Буша в отношении России кажется мне более или менее правильной, особенно если сравнить ее с политикой Клинтона в отношении Ельцина, которой руководил бывший журналист, весьма доброжелательно относившийся к советскому режиму.

Тем не менее я вижу в политике Буша три недостатка.

Во-первых, установка на то, что враг моего врага обязательно мой друг, ошибочная. После 11 сентября Буш ответил взаимностью на мастерский тактический ход Путина (тот первым позвонил ему с выражением сочувствия) и принял московскую трактовку войны в Чечне как антитеррористической операции. Тем самым он вернулся к дорейгановским временам, когда Америка критиковала поведение России за ее пределами, но не внутри них. В этом плане расширение НАТО на восток (вопреки протестам России) и визит Буша в Грузию были разумными шагами «вовне», но зато антидемократический поворот в самой России, к сожалению, не вызвал практически никакой реакции в Белом доме.

Во-вторых, Вашингтон, кажется, проглотил наживку и поверил, будто альтернативы Путину еще хуже, чем он сам. КГБ (и Путин здесь не исключение) давно пользуется приемом создания фиктивных «претендентов на трон», с помощью которых пугает Запад и вынуждает его поддерживать уже находящегося у власти тирана в качестве «меньшего зла». Так была искусственно раздута фигура Жириновского, выдвинутого из недр самого режима, чтобы на его фоне представить коммунистическую партию как ответственную и умеренную силу. Так же сейчас поступают с Рогозиным. И это срabатывает. Чиновники Европейского сообщества систематически объясняют свою поддержку Путина тем, что альтернативы ему куда хуже.

В-третьих, представляется, что Вашингтон совершенно не готов к возможности падения Путина. Ярым-Агаев прав, когда говорит, что единственные подлинные демократы в России – это бывшие диссиденты. Но это было верно в 1991 году. Сегодня там выросло целое поколение, не запятнанное бывшим членством в компартии и готовое сказать Путину, куда ему катиться с его полицейским государством. Вот, например, в начале июля молодые лидеры «Яблока» и СПС предприняли попытку свержения Лукашенко в Беларуси – и почти преуспели в этом. Но Беларусь была для них всего лишь полигоном. Все попытки Кремля изолировать этих молодых лидеров или заткнуть им рот потерпели неудачу.

Что же касается путинской войны с террором, то его политика может

лишь ухудшить положение. Как утверждает мой коллега советолог Гордон Наш, ограничение автономии в России и демонтаж федеральной структуры порождают тектоническую нестабильность, которая может пробудить 20 миллионов российских мусульман. С другой стороны, Путин примирился с наличием американских баз в Центральной Азии. Впрочем, у него и не было выбора.

Главная трудность состоит в том, что, в отличие от «окошка возможностей» в 1991–1993 годах, сегодня Соединенные Штаты имеют мало рычагов влияния на Россию. Москва больше не прислушивается к конструктивным советам и перестала быть тем потребителем экономической помощи, который в обмен на таковую шел на значительные уступки. Все это создает занятный парадокс: Путин слаб внутри страны и вынужден мириться с американской геополитикой, но в то же время Соединенные Штаты имеют мало рычагов воздействия на внутреннюю политику России.

Ярым-Агаев: Нет никакого сомнения в том, что нынешняя политическая система России представляет собой авторитаризм и останется таковой до тех пор, пока Путин и КГБ пребывают у власти. Американская политика в этом регионе играет весьма существенную роль в деле помощи или торможения демократизации России. Хочу напомнить, что демократическая оппозиция на Украине получила возможность организовать только после того, как Вашингтон перестал поддерживать Кучму и даже призвал к его отставке. Одновременно Америка начала открыто поддерживать демократические силы на Украине. Это очень эффективный «двуединый» способ содействовать демократизации в любом регионе – перестать поддерживать диктатора и начать поддерживать демократические силы. К сожалению, в отношении России дело обстоит иначе. Путин пользуется безоговорочной поддержкой Буша, тогда как демократы ее не получают вовсе. (Я не говорю о поддержке так называемой «лояльной оппозиции», которая является скорее частью путинского антуража, нежели настоящей демократической оппозицией.)

Непоследовательность американской политики в отношении России – лишь часть более общей проблемы. На пятом году президентства Буша все еще остается неясным, что является главным содержанием нашей внешнеполитической доктрины – Глобальная демократическая революция или Война с террором? Нельзя преследовать две эти цели одновременно. Одна должна быть составной частью другой. Но какая какой? Инаугурационная речь Буша оставила четкое впечатление, что главная цель США – глобальная демократизация, но конкретные действия администрации указывают как будто, что война с террором важнее. Эта амбивалентность отягощает нашу политику. Состояла ли наша главная цель при вторжении в Ирак в том, чтобы изгнать диктатора и помочь Ираку стать демократической страной (Глобальная демократизация), или же в том, чтобы найти и уничтожить оружие массового поражения (Война с террором)? Должны мы прекратить всякую поддержку Путина и КГБ и вместо этого поддержать демократи-

ческую оппозицию в России (Глобальная демократическая революция) или же мы должны поддерживать Путина как нашего партнера в борьбе с террором? Кто должен считаться нашим главным союзником – люди вроде меня, которые боролись за демократию и права человека в России против КГБ (Глобальная демократическая революция), или же сам КГБ, эта тайная полиция, которая, среди прочего, специализируется также и на борьбе с террором (Война с террором)? Для меня первичной является Глобальная демократическая революция. На мой взгляд, это самый позитивный, активный и стратегически правильный подход. Достижение этой цели будет означать уничтожение корней международного терроризма. На мой взгляд, нынешняя вспышка терроризма вызвана во многом тем, что мы приостановили рейгановскую революцию и покинули многие регионы вроде Афганистана, позволив, чтобы власть в них захватили антидемократические силы. Разумеется, стремясь к Глобальной демократической революции, мы не должны забывать о сиюминутной угрозе терроризма и обязаны принять все необходимые меры защиты от него. Однако такие действия, при всей их важности, не должны подминать под себя нашу внутреннюю и внешнюю политику, потому что в таком случае эта политика станет чисто реактивной и оборонительной, а наша жизнь – совершенно безрадостной. Напротив, Глобальная демократическая революция – это политика оптимизма и ощутимого прогресса. Эта также политика, которая открывает самые эффективные пути решения проблем нашей национальной безопасности в таких регионах, как Северная Корея, Иран, Россия и Китай.

Флинн: Хотя я отчасти согласен с заключительными замечаниями Ариас-Кинга и Ярым-Агаева, я думаю, что они слишком сурово отнеслись к американской политике в отношении России и не заметили ее изменений за последние полгода. Я полагаю, что наша администрация проявляет досадную неуклюжесть в масштабных вопросах вроде вторжения в Ирак, но ее политика в отношении России, на мой взгляд, вернулась на правильный путь. Колин Пауэлл четко сигнализировал об этом изменении курса во время своего последнего визита в Москву, когда критиковал Путина за его недавние внутривнутриполитические шаги, и наш многоопытный специалист по России Кондолиза Райс красноречиво санкционировала этот новый подход. Было бы замечательно, если бы такие властители дум, как Ариас-Кинг и Ярым-Агаев, оказывали поддержку этой тенденции критического отношения к Путину. Может быть, Соединенные Штаты и утратили стратегические рычаги давления на Москву, но Путин и его люди по-прежнему озабочены тем, как относятся к ним на Западе – возможно, сейчас даже больше, чем когда-либо раньше.

Что касается войны с террором, то расширение района действий – сперва Афганистан, а теперь Ирак – сделало Соединенные Штаты более уязвимыми, поскольку понудило их вступать в союз с сомнительными – авторитарными – режимами вроде путинского. Хотя сам Путин вполне согласился с нашим осуждением афганского движения Талибан, русский народ не

был вполне на нашей стороне. Ошибочное решение о вторжении в Ирак еще более осложнило положение. Ирония судьбы состоит в том, что, будь Путин демократически избранным лидером подлинно конструктивной демократии, он не смог бы поддерживать Соединенные Штаты даже так оглядливо, как поддерживает сейчас.

И это еще более оправдывает нашу нынешнюю политику в отношении России. Государственный секретарь Райс может критиковать Путина, не впадая в крикливую патетику. Точно так же как, будучи вынужденными поддерживать таких автократов, как пакистанский лидер Мушарраф, мы в то же время можем осуждать странную сдержанность его юридической системы в отношении к практике племенных групповых изнасилований. Так же и с Путиным – давайте одобрительно подчеркивать его проявления государственной мудрости, но одновременно дистанцироваться от его жесткой расправы с сепаратистскими движениями в таких регионах, как Чечня. (Усиление дипломатического давления на этом фронте было бы сегодня самым разумным шагом со стороны Кондолизы Райс.)

Но самым главным испытанием для нашего сбалансированного подхода к России должен стать вопрос о стремлении Путина остаться президентом на третий срок. Если окажется, что он или его помощники намерены изменить конституцию так, чтобы дать ему возможность оставаться президентом и после 2008 года, наша администрация, я уверен, найдет достаточно морально весомых аргументов, чтобы отговорить его от такого шага. Такой подход будет способствовать как раз тому, чего хотели бы для России все участники этой дискуссии, а именно – ее присоединения к тому, что Ярым-Агаев назвал Глобальной демократической революцией.

Перевод с английского – Рафаил Нудельман (FrontPageMagazine, July 2005)



социолог, писатель и публицист; с 1984 по 1997 г. – главный редактор тематических программ на Би-Би-Си, ныне – сотрудник российского Института научной информации и Института русской истории (РГГУ). Живет в Англии.

АМЕРИКА У ХРИСТА ЗА ПАЗУХОЙ

Как известно, американские политические партии, в отличие от европейских, изначально не были классовыми или мировоззренческими. Но теперь в американском обществе наметилось противостояние между модернистами и традиционалистами фундаменталистского религиозного оттенка. Это противостояние можно изобразить как классовое, хотя это потребует некоторой умственной изобретательности. Зато характер культурного конфликта это противостояние имеет безусловно. Тут ничего и доказывать не надо: стороны сами подчеркивают культурную враждебность друг к другу и проявляют эту враждебность весьма агрессивно.

Ситуация напоминает Францию XIX века, где содержание политической жизни в значительной мере определялось противостоянием между монархо-клерикальными и секулярно-республиканскими силами. Во Франции тогда клерикалы вели оборонительную борьбу и, в конце концов, уступили. В Америке сегодня они перешли к наступательным действиям. У них нет безусловного большинства, но их много, становится не меньше, а больше, и политическая активность их все растет.

Радикальные критики этой тенденции видят в Америке Буша «теократию». Это, пожалуй, слишком сильно сказано. Это еще скорее метафора. Но политизация религии и клерикализация политики в США заметны. Что происходит и почему?

Начнем с чисто внешних впечатлений. В центре любого большого американского города всегда болтается множество всяких бродяг–бомжей–бищей, профессиональных нищих, патологических попрошаек, инвалидов, уродов, чайников, эксгибиционистов и людей, вдруг оказавшихся в безвыходном положении то ли по своей вине, то ли по вине работодателя. Они

тяготеют к центру, потому что здесь сосредоточены общественные службы и филантропические учреждения, места призрения, включая церкви. Здесь толпа, здесь больше шансов получить милостыню, что-нибудь уворовать, здесь много отбросов, объедков. Здесь бродяжно-нищенствующий элемент может себя показать, что, несомненно, есть его сознательное намерение.

Американские уличные маргиналы бравировать своей маргинальностью. Они не прячутся, не стесняются себя. Они заговаривают с прохожими. Если они не находятся в невропатическом возбуждении или наркотическом угаре, они благожелательно-общительны. Иной раз с оттенком заискивания. А иной раз с оттенком демонстрации собственного достоинства. Они пытаются держаться с прохожим обывателем на равной ноге. Они знают и напоминают нам, что даже как бичи они разделяют со всеми остальными легендарную американскую идентичность, остаются при своих гражданских правах. Они также склонны намеренно шокировать и эпатировать чистую публику. Это некоторый морально-эстетический шантаж. Он существует и в виде гораздо более brutального вандализма, но на витрине зрелого городского версии американского «фронтира» (пограничья) его не видно.

Уличное сообщество социального дна – это пик айсберга. Американская беднота обширна и вовсе не благообразна. Менее опущенная ее часть гнездится в дешевых отелях. Эти отели – просто крыша над головой. Удобства в коридоре. Никаких горничных и завтраков. Большая коммуналка. Отель, однако, есть отель и стоит, например, 120 долларов в неделю, или 500 долларов в месяц. За такие деньги можно снять квартиру в недорогом городе или районе. Но домовладельцы сдают квартиры с разбором, не пуская людей с ненадежным кредитом. Объединившись с группой товарищей, можно снять комнату существенно дешевле, но так устраиваются обычно группы людей, доверяющих друг другу, и пусть с низким и непостоянным доходом, но явно работоспособные, или «наймоспособные» (employable). В идеальном случае – студенты.

Я только что видел все это в Сан-Франциско и Сан-Хозе (Калифорния), и в Портленде (Орегон). Это можно было увидеть и пять лет назад, и десять, и двадцать. Раньше это воспринималось легче: просто как теневая и даже несколько карнавальная сторона американской вольницы: хошь – станешь миллионером, хошь – бродягой; начальства нет, и все можно. Но после повторной (как бы она ни была маргинальна) победы Буша-младшего на выборах наблюдатель невольно смотрит на все это иными глазами.

Обычно злорадные наблюдатели из Европы и их американские единомышленники обращают внимание на несовершенство американской системы социального страхования. В Америке, дескать, легко провалиться сквозь «сеть безопасности». Общество слишком попустительно и безразлично к судьбе отдельного гражданина. Правые либертарины на это говорят, что человек имеет право распоряжаться своей жизнью как ему заблагорассудится, а все меры, защищающие его от возможного падения, искусственны и ведут, в конечном счете, к рабству и насилию, а также к экономическому застою.

Я не хочу впутываться в эти философские препирательства. Я хочу обратить внимание на другую сторону дела. Неумолкающие и возбужденные споры по поводу того, насколько социально безответственно американское государство и должно ли оно быть более ответственным или еще менее, упускают из виду массивную и многозначительную часть реальности. Особенность американского общества, на самом деле, вовсе не в том, что в нем слаба система социального страхования, и не в том, что в нем личность (вроде бы) более свободна и самостоятельна, чем, скажем, в Европе. Главная особенность американского общества состоит в том, что в нем иные агенты социального страхования. Это не государство, а конфессиональные союзы (церкви и секты).

Америка всегда была заповедником всевозможных автономных версий христианства, возникших в ходе Реформации в Европе. На американской земле они размножались почкованием, порождая все более причудливые варианты, комбинирующие произвольно истолкованное христианство с элементами других религий, дорелигиозных верований, современного знания и магии.

Как правило, если не всегда, они берут на себя функцию социального страхования. Будучи жестко организованными «братствами», они требуют от своих членов преданности и предлагают в обмен взаимную поддержку. Не только чисто страховочно-пенсионную и даже не столько ее. Они обеспечивают своих членов моральной поддержкой, кредитом; облегчают им трудоустройство и ведение бизнеса. Они лечат наркоманов – иной раз на удивление успешно, как, например, сайентологи. Секта вылечила от алкоголизма Буша-младшего.

«Андерклассы», «люмпены», «пауперы», «исключенные», «забортники» или как их еще называть, при всей своей внесистемности – в высшей степени системный элемент американского общества и главный объект прозелитствующих конфессий. Не то чтобы эти конфессии подбирали себе неофитов прямо на панели, но огромное (повторяю: огромное!) число индивидов избегают возможности кончить свою биографию на свалке или в ночлежке, присоединяясь заблаговременно к каким-либо самодельным конфессиям.

Проповедники – важный отряд американской интеллигенции. Это довольно пестрая публика. Среди них попадаются искренние пастыри, учителя и образцы для тех, кто хотел бы вести праведный и позитивно-созидательный образ жизни. Их роль в экономическом развитии Америки и эмансипации американского народа была в свое время колоссальна. Но сейчас большинство этих проповедников представляют собой просто психически сильных и склонных к господству людей, предоставляющих простакам духовные услуги в обмен на их лояльность, выражаемую как символически, так и материально.

Теперь они процветают на телевидении. Есть каналы, специализирующиеся исключительно на телепроповедях. Есть проповедники, вещающие с телеэкрана круглые сутки. Когда операторы переводят камеру на аудиторию, стороннего наблюдателя ждет самое неожиданное. В зале сидят при-

лично одетые, опрятные, сытые и антропологически полноценные леги и джентльмены, которых вполне можно было бы принять в другом месте за университетских доцентов.

Один такой доцент расположился рядом со мной в кафе. Он был несколько прогулочно одет и слегка потерт, что, впрочем, делало его даже еще больше похожим на интеллигента в третьем поколении. Он потреблял капуччино. На соседний стул он положил интеллигентский рюкзачок, а на столик – мобильник и еще пару каких-то приборов. И – что превращало его совсем уж в интеллигента – книгу. Я исподтишка разглядывал корешок, пытаюсь узнать, что сегодня, как говорится, «читают в городе». На корешке значилось «Джозл Остин». Это имя показалось мне знакомым, и, слегка поднапрягшись, я вспомнил, где я его только что видел. В ящике – вот где. Так зовут одного из самых сейчас влиятельных телепроповедников. Мой сосед-доцент оказался поклонником виртуоза американской плебейской духовности.

Я хочу сказать, что образ американского сектанта и адепта какого-то носителя слова Божьего никак не вяжется с нашим представлением о людях, попавших в сети религиозной пропаганды. Это не обязательно сельские бабы, одинокие старики или заблудшие овцы, вспомнившие на краю бездны про покинутых ими поводырей. То есть там есть все они, но гораздо чаще это юные души, которые могут быть уловлены любым ловцом душ человеческих. А главным образом это вполне благополучные, хотя, скорее всего, не очень богатые бизнесмены и техперсонал. Это все, кто не способен сам заполнить свой досуг и обеспечить себе психологический комфорт собственными силами. Они же толпятся в приемных психологов, невропатологов и психотерапевтов. Это лабильная и конформная часть населения, то есть огромное большинство: средняя одноэтажная Америка.

Самое многозначительное в этом то, что дремучий религиозный фундаментализм оказывается легко совместимым с американской практичностью-деловитостью, технотронной средой и эмансипированным потребительским стилем. Надежды на то, что приобщение к современному знанию в школе и современным профессиям автоматически делает людей интеллектуально и психологически зрелыми и независимыми, оказываются напрасными. А общество, уступающее инициативу воспитания и социального страхования проповедникам, сектам и церквям, само толкает своих граждан в сети тех, кто предлагает им надежность коллективного существования.

Секты, конечно, не единственная форма коллективности в современном обществе. Существуют кооперация и целая радуга секулярных общин (анархисты, экологи, альтернативники – от геев до панк-рокеров), но успех Буша ясно говорит о том, чья теперь в Америке берет.

Похоже, что эта тенденция весьма устойчива и долговременна. Эволюция государства в сторону меньшей социальной ответственности налицо. И этот процесс, конечно, на руку сектам, особенно там, где они были глубоко укоренены с самого начала, как в Америке. Они заполняют вакуум. А укрепление и экспансия сект, в свою очередь, определяют поведение элек-

тората, в результате чего повышаются шансы персонажей вроде «заново рожденного христианина» Буша-младшего.

Примечательно, что политизация клерикалов намечается и за пределами США. В Британии, например, появился активист этого типа по имени Стив Чак (Chalke). Он видит свою цель в том, чтобы перебросить мост между религией и политикой. Его проповедь по духу близка «неолейборизму» Тони Блэра. Он стремится возбудить гражданские инициативы в сфере воспитания-образования и, особенно, в сфере социальной взаимопомощи. Стало быть, и тут намечается отделение вэлфера от государства.

Парадоксальным образом такая «десоциализация» государства, во-первых, вовсе не означает десоциализации общества, как нас уверяют ее идеологи вроде Маргарет Тэтчер. Просто «социализм» меняет, так сказать, свое месторасположение (локус). И, во-вторых, происходит попятное сращивание церкви и государства.

Заметно ли что-нибудь подобное в России? Если да, то стоит помнить, что Россия не страна множества сект и церквей, как Америка или даже как Англия, а страна, где существует нечто близкое к конфессиональной монополии, и страна, где совместность церкви и государства имеет давнюю традицию и была весьма зловещей в прошлом. Стоит ли напоминать, что советское однопартийное государство было реинкарнацией этого церковно-государственного организма?

Я не решусь категорически утверждать, что функция социального страхования в полном объеме должна быть зарезервирована за государством. Но тенденция переложить социалку на церковь, корпорации или филантропию вызывает известные опасения. Дело в том, что активная социальная функция появляется у государства, когда оно становится демократическим, и возвращение этой функции в частные руки (физическим или институционально-юридическим лицам) неизбежно подрывает демократию.

Конфессиональный плюрализм Америки обеспечивает компромисс между либерально-демократической конституцией и коллективностью человека как животного. Но даже там клерикальная радуга, став большинством, может сильно ущемить права другой половины общества. Что уж говорить о клерикализации в тех обществах, где нет традиции конфессионального плюрализма.

Кто тайно или явно не уважает демократию и свободу, того это даже должно радовать, во всяком случае – ему наплевать. Но те, кто верит в достоинства свободы и демократии, видят в этом опасность. Должны бы видеть.

ДАЛЕКОЕ
БЛИЗКОЕ

кандидат физико-математических наук, прозаик («События и открытия», «Так говорил Сабуров», «Дары нищего», «Изгнание из Эдема. Исповедь еврея», «Роман с простатитом» и др.), публицист и литературный критик. Член российского отделения ПЕН-клуба, зам. гл. редактора журнала «Нева». Живет в России.

БИРОБИДЖАН – ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ*

Ларин не случайно так прочно сплетает проблему еврейского землеустройства с проблемой антисемитизма: как ни раздражало народ то обстоятельство, что евреи не работают на земле, их попытка приступить к такой работе раздражала еще сильнее. И Ларин на десятках страниц пытается убедить, что не так страшен еврей, как его малюют. Да, повторяет он, евреи там-то и там-то пока еще не совсем такие же, как все, но движение-то происходит в сторону нормализации. А индустриализация, всеобщее образование и вовсе уничтожат национальную конкуренцию.

Ларин как истый марксист не догадывался, что главная национальная конкуренция – конкуренция фантомов, конкуренция грез – не может быть уничтожена выравнением социальных статусов, ее может ослабить либо сближение грез, либо их угасание. Не понимая этого, Ларин заполняет многие страницы почти не отражающими сути проблемы, но все-таки интересными цифрами. Объективными, а потому бесполезными, ибо объективность в национальных отношениях играет еще меньшую роль, чем в любовных.

Но все же.

В городском населении евреи составляют около 8%; среди служащих примерно столько же. Следовательно, недовольство служилого слоя, заключает Ларин, направлено вовсе не против «еврейского засилья», а против еврейского равенства. Перебор евреев имеется только в Москве... В це-

* Журнальный вариант книги, которая выйдет в этом году в издательстве «Лимбус-пресс». Окончание. Начало см. в № 9 «NB».

лом же, евреи среди всех городских служащих составляют меньший процент, чем среди всего городского населения.

Чаще прочих профессий евреев до сих пор влечет область коммерции, но это пережитки проклятого царского прошлого. Кстати, в командном составе Красной армии антисемитские настроения почти незаметны, хотя присутствие евреев в комсоставе более чем в два раза превышает их долю среди населения, а в военных академиях так даже более чем в четыре раза – и ничего. Поскольку краскомы по своему происхождению слабо связаны с буржуазией и проходят хорошую политическую выучку.

«К группе служилой интеллигенции примыкает и... группа учащихся в вузах. Ибо пока рабочие и дети рабочих во всех вузах СССР (кроме военных) оставляют лишь менее *одной пятой* части... К мотивам опасения конкуренции в будущем из-за мест тут прибавляются еще жалобы на якобы чрезмерное переполнение еврейскими вузов, которого при царизме не было. При царизме действительно запрещено было принимать в вузы евреев более 5% всех учащихся (а в некоторые вузы даже вовсе не принимали или не более 3%). А в настоящее время, например на Украине, евреи составляют почти целых 26% всех вузовцев.

На первый взгляд величина в 26% может произвести впечатление почти еврейского наводнения в вузах. Но надо вспомнить две вещи. Во-первых, вузовцы рекрутируются главным образом из семей служащих и, во-вторых, из городского населения. В этой и другой величине евреи на Украине составляют, в круглых цифрах, по 23% . А в таком случае 26% в вузах находится в пределах естественного нормального процента, пропорционально еврейскому населению в городах Украины.

...Интеллигентский, служебно-вузовский антисемитизм оперирует обычно также указанием на то, будто евреи составляют очень большой процент в высших правительственных органах... Приведу ввиду этого сводку по некоторым учреждениям об их национальном составе. В подсчеты вошли: ЦК партии и Центральная контрольная комиссия, президиум ЦИК СССР и ВЦИК РСФСР, два Совнаркома – Союзный и РСФСР и, наконец, все председатели губернских и окружных исполкомов и Совнаркомов и ЦИКов национальных республик. Во всю эту головку вместе входят всего 417 человек, из которых евреев 27 человек, т. е. 6% (стр. 64 Сборника ЦИК "К перевыборам советов", М., 1927 г.). Следовательно, среди высшего партийного и советского аппарата евреев имеется 6% – меньше, чем вообще среди служащих и чем в городах в целом.

Далее, недавно опубликован подсчет национального состава членов и кандидатов ЦИКа Союза ССР (издание ЦИК СССР "Состав ЦИК СССР", М., Кремль). Их всего 833 человека, в том числе членов ЦИК 581 человек и 282 кандидата. У нас всего более сотни губерний и округов, значит, от каждой губернии в среднем входит около 7 или 8 человек, в том числе наиболее видные местные люди: секретарь губкома, председатели губисполкома, губпрофсовета и т. д. Это вся основная местная верхушка. В составе всех этих

833 членом и кандидатам ЦИКа Союза евреев имеется только 46 человек, т. е. 5,5%. Таким образом, среди всей верхушки как советской, так и партийной, как центральной, так и местной, процент евреев составляет только от 5,5 до 6%, т. е. даже меньше, чем евреи составляют среди городского населения (8,3%), и значительно меньше, чем среди служащих вообще.

По Москве, на которую со стороны антисемитских кругов особенно много киваний, можно привести (стр. 4 брошюры т. Е. Кочеткова "Враги ли нам евреи", М., 1927 г.) данные о составе на 1 января 1926 г. следующих организаций: в исполкоме *Моссовета* 209 членом, из них 14 евреев, или 6,7%; в *Московском комитете* ВКП(б) 153 человека, из них евреев 17, или 11%; в Московской организации партии 121 700 человек, из них евреев 7 тысяч, или 5,7%. А в населении Москвы евреи составляют 6,5% (по переписи 1926 г.). Наконец, беру еще одну сводку о высших хозяйственных органах (по книге тов. М. Горева "Против антисемитов", стр. 180, М., 1928 г.). В эту сводку вошли все председатели трестов и синдикатов и председатели центральных органов кооперации. Их вместе имеется 248 человек, из которых евреи составляют 25 человек, или 10%. Таким образом, среди высших партийных и советских органов евреи составляют 6%, среди руководителей высших местных органов 5,5% и среди руководителей хозяйства 10%. От преобладания, переполнения, засилья и т. д., как видим, довольно далеко. Свести антисемитские настроения к чрезмерной роли евреев в общественной и государственной жизни СССР, как это хотели бы идеологи буржуазии, оказывается невозможным».

Среди московских нэпманов количество евреев, действительно, ошарашивает. Из средних и крупных лавок и магазинов евреям принадлежало: аптекарских и парфюмерных товаров 75,4%, мануфактурных 54,6%, ювелирных 48,6%, галантерейных 39,4%, дровяных и лесных складов 36%, коженно-обувных 23%, готового платья 14,5%, съестных припасов 69,4%.

Это притом что в населении Москвы евреи составляли лишь немногим более 5%. В целом же среди 5 млн «буржуазии» в СССР евреи в 1927 году составляли примерно 18%. Однако здесь оставалось ждать совсем недолго: «буржуазному антисемитизму» предстояло в ближайшие годы отправиться под нож вместе с самой «буржуазией».

Хуже дело обстояло с рабочими. При проклятом царизме рабочие в лице своих наиболее передовых представителей близко сталкивались с наиболее передовыми евреями главным образом в тюрьмах и ссылках, производя друг на друга самое отрадное впечатление. Советская власть положила конец этой позитивной практике, в результате чего русские и евреи стали соприкасаться своими более отсталыми слоями: малокультурные выходцы из деревень (в 30-м году почти треть населения была неграмотной) столкнулись с наиболее пронирыливыми выходцами из черты оседлости.

Даже среди членом московских профсоюзов «выходки антисемитов» иногда находят сочувствие и не встречают отпора. Часто рабочие, замеченные в антисемитских выражениях, *недостаточно уясняют* себе их контр-

революционное значение. Имеется много фактов, когда в числе антисемитов встречаются *комсомольцы и члены партии*. Особенно распространены толки о еврейском засилье. Широко распространены оскорбительные выпады, передразнивания, насмешки по адресу работающих евреев. Распространено рассказывание разных анекдотов о евреях. Антисемиты-администраторы используют свое положение для травли и выживания евреев. Злостные антисемиты избивают евреев и стараются втянуть их... Выкрики, угрозы и призывы... Преследуют всякого похожего по внешности... Подвергающиеся травле молчат... Отсутствует постановка организованной борьбы... Отмечаются факты примиренческого...»

«Тяжело устанавливать наличие антисемитских настроений хотя бы в части рабочей среды, – вздыхает Ларин, – ведь это для нас вынужденное признание в явном торжестве буржуазной идеологии в рабочих головах».

Бедняжка, как ему хочется общенародное объявить всего лишь буржуазным! Ларин приводит десятки записок рабочего актива, явившегося на его доклад об антисемитизме, – записок, в том числе, довольно любопытных.

«Почему не занимаются хлебопашеством, хотя теперь евреям разрешено?», «Почему евреям дали хорошую землю в Крыму, а русским дают, где похуже?», «Почему евреи раньше жили хорошо и теперь живут так же?», «Почему евреи, приезжая из Бердичева и других городов, сразу получают квартиры, есть даже анекдот, что приехал из Бердичева последний еврей и передал ключи Калинину?», «Почему евреи не хотят заниматься тяжелым трудом?», «Насколько искренне относятся евреи к советской власти и к пролетариату вообще?», «Почему партийная оппозиция на 76% была из евреев?», «Почему евреи везде устраиваются на хорошие места?», «Почему евреев мало на бирже труда?», «Почему их так много в вузах, не подделывают ли они документы?», «Не изменят ли евреи в случае войны и не уклонятся ли от военной службы?», «Почему русский рабочий больше пренебрегает еврейской национальностью, чем грузинской, немецкой и другими?», «Как понимать Энгельса, когда он говорит, что евреи имеют тенденцию приспосабливаться и что к ним нужно подходить очень осторожно?», «Почему раввины помогают еврейским уголовным, как какой-либо МОПР?», «Почему возникла ненависть к евреям в других странах?», «Почему много анекдотов и рассказов как раз о евреях?», «Почему царское правительство относилось хорошо к еврейским колониям до революции?», «Чем объясняется отъезд евреев из СССР, ведь теперь здесь полная свобода?», «Можно ли назвать антисемитом того, который шутя говорит "жид", и как следует относиться к подобным шуткам вообще?», «Почему Бухарин, Сталин и другие члены политбюро никогда не пишут в "Правде" об антисемитизме?», «Почему партия слабо борется с антисемитизмом, партийцы-антисемиты считают это знаменательным?», «Чем объяснить помощь американской еврейской буржуазии еврейскому земледелию в СССР?», «Что делать, если беспартийные рабочие поднимают вопрос об антисемитизме, а партийцы совсем не реагируют?», «Почему антисемитизм развился толь-

ко по отношению к евреям, а не к другим национальностям?», «Что хотел сказать академик Павлов своими словами, что у евреев создалась "рефлексология нахальства"?», «Отыскивать причину антисемитизма следовало бы в самой нации, в ее нравственном и психологическом воспитании», «Нынешнее участие евреев в различных организациях получилось благодаря сознательному регулированию, влиянию парт- и соворганов или же это процесс естественный?», «Почему евреи при приходе в Европу были по преимуществу торговцами и ремесленниками?», «Евреи живут замкнуто, придерживаются особых верований и обычаев, в частности обряда обрезания, что особенно отталкивает от евреев», «Известны ли в истории примеры свирепой ненависти одной нации к другой, подобно антисемитизму?», «Что делать групповику-агитатору, когда собирается большое количество рабочих с антисемитским настроением?», «Почему партия не ведет в газетах кампании против антисемитского течения?», «Почему некоторые евреи любят, чтобы их считали русскими, тоже считают свою нацию нехорошей?»

Последний вопрос особенно прелестен в свете оскорбительных выпадов, передразниваний, выкриков, угроз и призывов. Этот вопрос, пожалуй, и является лучшим ответом на другой важнейший вопрос, относящийся к русско-еврейским отношениям 20-х годов: были это годы распряжения еврейского народа или годы его угнетения? Мой критерий читателю известен: угнетен не тот народ, который потребляет мало жиров, белков и служебных автомобилей на душу населения, а тот, который вынужден стыдиться своего имени. Если русским было стыдно чувствовать себя русскими, значит, это и для них были годы национального угнетения. Если же открыто и с гордостью называть себя русским было опасно, но не стыдно, значит, для русского народа это были годы не распада, отказа от своего народа, а годы накапливания сил и гневной любви к нему.

А гневаться было из-за чего: полной жизни национальной грезе предложили раствориться в свалившейся как снег на голову новой, интернациональной, среди носителей коей приговоренная к исчезновению греза прежде всего различала чужаков, которые в ее системе фантомов веками считались презренными и враждебными. Ее же, кстати сказать, никто презренной не считал – ее считали опасной, а то, что вызывает страх, презирать невозможно. Для народа же самым тяжким испытанием является не всеобщая ненависть, а именно презрение – и его, похоже, русские евреи в годы своего квазиуспеха (успеха для индивидов, не для народа) вкусили от пуза. И напрасно как Солженицын, так и Ларин перечисляют один всяческие еврейские превышения среднего уровня, а другой еврейские сближения с оным – это ничего не говорит, да и не может, как любил выражаться Ильич, ничего сказать ни о национальном подъеме, ни о национальном упадке: ответы на эти вопросы лежат не в цифрах внешнего мира, а в чувствах мира внутреннего. И вот об этом-то, о самом главном, Солженицын не говорит ничего, а Ларин почти ничего: как положено марксисту, он касается самого главного – мира человеческих чувств, мира грез и фантазий – только

случайно. Но когда касается – этот мир то и дело оказывается враждебным по отношению к еврейскому народу.

Не к отдельным, пускай сколь угодно многочисленным прагматикам, которых хоть горшком назови, только дай должность и квартиру, но именно к народу, для которого то, как его называют, может быть, и есть самое главное. А называли евреев – пускай бы ненавидящими, но нет – презрительными кличками. Что совершенный пустяк для прагматика-индивидуалиста и совершенно непереносимое страдание для патриота-коллективиста.

И нельзя сказать, что компартия этим была вовсе не озабочена, нет, она понимала, что евреев ненавидят прежде всего как первых ласточек всего нового уклада. Осенью 1926-го Агитпроп после специального совещания отправил в секретариат ЦК аналитическую записку: «Представление о том, что советская власть мирволит к евреям, что она "жидовская власть", что из-за евреев безработица и жилищная нужда, нехватка мест в вузах и рост розничных цен, спекуляция – это представление широко прививается всеми враждебными элементами трудовым массам. Разговоры о "еврейском засилье"... о необходимости устроить еще одну революцию против "жидов" – эти разговоры встречаются сплошь и рядом. События внутрипартийной борьбы воспринимаются некоторыми коммунистами и всей обывательщиной как национальная борьба на верхах партии. В распространении антисемитизма видна направляющая рука монархических группировок, ставящих борьбу с "жидовской властью" краеугольным камнем почти всех листовок и прокламаций... Не встречая никакого сопротивления, антисемитская волна грозит в самом недалеком будущем предстать пред нами в виде серьезного политического вопроса».

Наверняка все так и было – сомнительна только монархическая направляющая рука: любой великий фантом, дарящий миллионам людей чувство причастности к чему-то грандиозному и бессмертному, и без всякой направляющей руки оказывает отчаянное сопротивление при попытке радикальной его трансформации, граничащей с уничтожением. Антисемитизм – инстинкт самосохранения народа, примитивный и неразборчивый, как все инстинкты, бросающийся истреблять поверхностные проявления опасной новизны, не замечая, что они лишь орудия главной «закулисы» – фантома-соперника, который все равно не исчезнет, если даже перебить всех евреев до единого. Интернациональный коммунистический фантом уже давно разрастался и бродил по Европе, и погибнуть, как все великие фантомы, он тоже мог уж никак не от ненависти, а только от равнодушия и презрения к нему.

Большевики развернули довольно активную борьбу с антисемитизмом, справедливо усматривая в нем, повторяю, лишь боевое острие мощного оружия, направленного на всю их грезу, которую сами они принимали за идею. Они разворачивали и диспуты, и стыдили (сам Горький называл антисемитизм религией дураков), и выгоняли из партии, доходили и до репрессий... Которые любви к евреям, разумеется, не прибавляли. Да и кто кого, между нами говоря, особенно любит? Любим мы только собственные выдумки, а

реальность – лишь в той степени, в какой ее удастся преобразить фантазией, вокруг песчинки факта нарастить светлую или черную жемчужину грезы.

Но рационалисту Ларину приходили в голову только рацпредложения: злостных карать, запутавшимся – разъяснять. Вплоть до того, что водить их на экскурсии – словно в зоопарке, любоваться евреями-трудящимися (трудом, напоминая, считалась только такая деятельность, которая пребывала на самых нижних ступеньках социальной пирамиды). И сам разъяснял неустанно, наивно полагая, что фантом можно разрушить цифрами. Увы (или «к счастью»?) – фантом может быть вытеснен только другим фантомом, сближение наций может произойти уж никак не через сближение их социальных функций (сближение функций вполне способно и усилить национальную конкуренцию), а лишь через сближение их коллективных грез.

За создание новой грезы большевики, впрочем, тоже принялись с чрезвычайным азартом, сумев, в отличие от нынешних либеральных революционеров, поставить себе на службу первоклассные художественные таланты – но они способны были зачаровать только романтически настроенную часть молодежи. Хотя и это было очень много, но далеко еще не все, консервативная часть народа оставалась гораздо более многочисленной, только менее организованной и, пожалуй, менее пассионарной, готовой на смертельный риск во имя грезы. Тем не менее всплеск антисемитизма 20-х был признаком усиления русской национальной грезы, что является необходимой предпосылкой национального подъема или национального безумия, в зависимости от того, на что будет направлена накопленная страсть – на созидание или на месть. Антисемитизм вообще настолько часто является сопутствующим признаком национального подъема, что поверхностные наблюдатели бывают склонны объявлять его причиной или даже целью национальных движений. Хотя это, повторяю, всего лишь побочный эффект. Истинная причина национального подъема всегда какая-то чарующая греза, а антисемитизм возникает уже как следствие страха за ее сохранность.

Статистик Ларин тоже немножко пытался чаровать: все нации сольются в одну, все языки в один – да хоть и эсперанто – уже лет через 20 (в 1949 году) трудящиеся смогут слетать на аэроплане в социалистический Лондон... Такой вот англоц, Страна Советов от Лондона до Ганга...

Но поэзия не его стихия. Ларин предпочитает вновь и вновь перечислять цифры еврейских солдат, еврейских безработных, еврейских нищих – цифры, неизменно превосходящие средний уровень. Еврей не опасен; если он чем-то и отличается от вас, то это наследие царизма, а при нашей национальной политике он становится все более и более неотличим от окружающей среды. Успокойтесь, он даже вымирает: прирост населения среди евреев повсюду оказывается в полтора-два раза ниже среднего, несмотря на «более обильные рождения, так как больше вымирают из-за тяжелой жизни».

«Или взять, например, итоги обследования Одесским Губздравом летом 1925 г. нескольких старых еврейских деревень в *Херсонском* округе с насе-

лением свыше 3000 человек (напечатаны в сборнике "Биология евреев", Ленинград, 1927 г.). Как широко использовали контрреволюционные агитаторы поселение евреев на земле для распространения слухов, что советская власть "на русскую голову" насаждает в лице еврейских земледельцев чуть ли не новых помещиков. Оказывается, по итоговым данным обследования старых еврейских деревень, эти земледельцы отличаются следующим уровнем и особенностями своего быта в отношении жилищ, питания и хозяйственных построек.

Полы в избах земляные у 94,4% и деревянные только у 5,6% семей. *Крыши* соломенные у 45%, глиняные у 28%, черепичные у 11%, железные у 16%. *Внутренние стены* штукатуренные у 1,5% и нештукатуренные у 98,5%. *Сырые квартиры* у 24% и несырые у 76%. *Оконные рамы* одинарные у 95,5%, двойные у 4,5% – иначе сказать, почти у всех даже зимою одинарные окна. При этом *открывающиеся* рамы только у 28% и вовсе неоткрывающиеся у 72%. *Фортки* оконные в квартирах есть у 4,6% и нет у 95,4%. Живут по одной семье в избе 72%, а по 2 и 3 вместе – 28%. *Площадь всего пола* (включая "кухню") на одного человека: у 43% менее 5 кв. метров, у 33% от 5 до 8 кв. метров и только у 24% выше 8 кв. метров, а в среднем для всех 5 кв. метров. Между тем в городах СССР даже у *рабочих* (которые живут теснее интеллигенции и нэпманов) на душу приходится в среднем 6 кв. метров *чистой площади* (т. е. без кухни, коридора и т. д.), а с кухнями и прочим не менее 7 кв. метров. *Высота* стен внутри комнат по санитарной норме должна быть не ниже 2¹/₂ метра. В обследованных еврейских деревнях у 82% семей она ниже 2¹/₂ метра, а достигает этой нормы или превышает ее только у 18%. *Выгребной ямы* – ни одной.

Таковы эти "помещики" уже через ряд лет своего существования на земле. Имеют *умывальники* 7%. Умываются *ежедневно* мылом 30%, вовсе не употребляют мыла 4%, остальные 66% употребляют мыло не ежедневно. Имеют *полотенце*: общее для всей семьи 84,2% и отдельное для каждого человека 0,4%, а вовсе не имеют полотенце 15,4% семей. Меняют *белье* взрослые раз в неделю 71%, реже 13% и вовсе нет белья у 16%. *Спят* на кровати 61%, на кушетках 15%, на деревянных скамьях 8% и на полу и печи 16%. *Купаются* взрослые – раз в неделю или чаще 11%, не реже раза в месяц 14% и реже раза в месяц 74%.

Но всего более показательные результаты дало то же обследование *по питанию*. Принимая во внимание детей и считая нормой для взрослого только 3000 калорий в день (что для земледельцев является исключительно низкой нормой), обследование считало, что норма в среднем для всех *должна была бы* составлять не менее 2¹/₂ тысячи калорий в день на душу. А оказалось, что фактически имеют 29% ниже 1¹/₂ тыс. калорий, 12% имеют от 2¹/₂ до 3000 кал. и только 13% получают более 3000 калорий. Иначе сказать, *питаются ниже минимальной физиологической нормы три четверти семей* (а вернее 87%, если считать до 3000 кал.). При этом *никогда не потребляют* ни мяса, ни птицы, ни рыбы 40%; никогда не потребляют коровьего масла

70%, растительных жиров 35%, сахара 30%, никогда не потребляют ни чая, ни кофе 34%. Понятно из всех этих цифр, какое серьезное, длительное и тяжелое испытание представляет собой "переход на землю" и каково должно быть состояние этой массы, если она все же бешено к нему стремится.



Но фантомы, повторяю, а особенно те, которые ощущают угрозу своему существованию, способны видеть и слышать только то, что мобилизует их на борьбу. И перед большевиками как людьми, принципиально презирающими предрассудки, рано или поздно должен был встать простой вопрос: а стоят ли евреи того, чтобы из-за них ссориться с самым могущественным народом страны? Когда у народа и без того есть тысячи поводов для недовольства. Не разумнее ли насиловать его по-прежнему, убрав у него из-под носа хотя бы, не такую уж и нужную, раздражающую его красную тряпку? (Не путать с красным флагом.)

Я думаю, еврейский вопрос, как и все прочие, был для большевиков, прежде всего, вопросом укрепления их собственной власти: полезны евреи для ее укрепления – приблизим, вредны – отдалим. Подозреваю, что биробиджанский проект не случайно возник на пике народного антисемитизма: он позволял сохранить почти все выгоды (по крайней мере, пропагандистские) и не требовал защиты евреев от какого-то плотно живущего и издавна неприязненного (обладающего укоренившейся системой антисемитских сказок) местного населения – ведь почти всюду оказались бы какие-то свои «палестинцы». Можно, пожалуй, даже сказать, что биробиджанский проект был организованным отступлением евреев из Крыма на Дальний Восток под натиском народного антисемитизма (что с позиции сегодняшнего дня можно расценить только положительно: каково было бы сейчас расхлебывать неизбежные конфликты между, скажем, крымскими татарами и потомками тех евреев, которым удалось ускользнуть от зондеркоманд!).

А выгоды, помимо постоянно подчеркиваемых Лариным хозяйственных и внутривосточных, программа создания автономных еврейских «единиц» сулила еще и международные. Об этом есть и у Солженицына, но Ларин приводит проницательные мнения «врагов» гораздо более обильно.

В октябре 1925-го лондонская «Джуиш кроникл» писала: «Крымский проект, представленный миру в виде самого великодушного и щедрого оказания помощи евреям, имеет целью лишить Англию ее престижа – единственной покровительницы евреев – и поместить Россию рядом, как равную ей соперницу. Крым предположено сделать теперь заместителем Палестины. Зачем посылать евреев в Палестину, столь непроизводительную и не оправдывающую те большие жертвы и неизменно тяжелый труд, которого она требует. Богатая земля Украины открыта для них, и плодородные поля Крыма улыбаются страждущему еврею.

Два зайца, таким образом, могут быть убиты с одного удара. Во-первых,

Москва явится покровительницей русского еврейства и потому может претендовать на моральную поддержку евреев всех стран. Во-вторых, этот план ей ничего не стоит, потому что американские евреи покрывают расход.

Советское правительство достаточно хорошо знает стратегическое значение Палестины в моральном и еще больше в военном смысле в связи с британскими владениями на Востоке, и оно стремится к тому, чтобы предотвратить образование в лице самой богатой и преуспевающей Палестины сильной, сопротивляющейся большевизму крепости, каковой могут ее сделать евреи, если только им дать к тому возможность».

Эмигрантские подголоски, в свою очередь, спешат «разоблачить» советские намерения крымским проектом склонить на свою сторону Америку и ослабить международные позиции Англии. Маститый ренегат *Петр Струве* в № 145 парижского «Возрождения» писал: «Для советской власти этот проект есть экономическая и политическая установка... Но здесь есть еще другая, быть может, еще более опасная сторона: вся эта затея может демонстративно связать еврейство – и русское и международное – с коммунистической властью... Этот безумный план грозит окончательно наложить на еврейство коммунистическое клеймо».

Ему вторит *Милуков* в передовице № 1699 «Последних новостей», заявляющий: «Неизбежно, что [американские] еврейские сотрудники в этом деле явятся пособниками замыслов советской власти и популяризаторами этой власти среди международного еврейства. Аргумент о прочности советской власти уже стал ходячим в среде этой, ибо иначе стоило ли затевать с непрочной властью предприятие, рассчитанное на долгий срок!»

А распространение в Америке представления о прочности советской власти Милукову решительно не нравится. Небезызвестный «*Руль*» в передовой от 1 октября 1925 г. «углубляет» мысль Милукова следующим образом: «Задачи советской власти ясны до прозрачности... Можно будет шантажировать богатых американских евреев угрозой: падет советская власть – и грандиозный погром сметет ею созданные еврейские поселения – значит, надо во что бы то ни стало поддерживать советскую власть. Это хорошее основание, чтобы требовать воздействия на общественное мнение».

А милуковская газета в том же № 1699 кончает так:

«В этом проекте по иронии судьбы встретились большевистский блеф с американским размахом, и в результате скромный в сущности вопрос филантропического масштаба искусственно вырос в грандиозную проблему, вызывающую неосновательные иллюзии у одних и преувеличенные страхи у других».

Советская дипломатия учла эти настроения американского, отчасти конечно и европейского, еврейства и выступила с проектом, делающим честь ее планетарной выдумке. Сотни тысяч десятин бесплатной земли, миллион колонистов... Требуются только деньги – пусть дадут их американские евреи. На этот раз "клюнуло". Слабость американцев к большим цифрам и их полное невежество по части того, что происходит в Советской России, сде-

ляли свое дело. Еврейство Соединенных Штатов ухватилось за этот план, благо – на всякого мудреца довольно простоты.

Большевики надеются завоевать этим планом симпатии еврейского общественного мнения в Европе, а главное – в Америке. *Учитывая влияние американского еврейства, советское правительство надеется таким путем упрочить свои позиции в Соединенных Штатах.* Более того, большевики, сейчас доказывающие неосновательность опасений еврейских погромов, используют всю этот аргумент, когда их положение пошатнется.

Большевикам, конечно, выгодно, чтобы еврейство боялось свержения советской власти. И новые еврейские колонисты могут очутиться в роли своеобразных заложников».

Как один из результатов «крымского политического маневра» советской власти белогвардейцы указывают «советофильскую» ориентировку с 1924-25 гг. не только американской, но и европейской крупной еврейской буржуазии.

Но что интересно, задачу сохранения еврейского народа Ларин–Лурье открыто объявляет *ненужной*. Да, переход еврейской бедноты к земледелию задержит ассимиляцию – и что хорошего? Ассимиляция с 17-го года идет ударными темпами; каждый пятый еврейский брак в РСФСР – смешанный, а в целом по стране – каждый двенадцатый. «В длинном ряде случаев это оформляется и переменной фамилии, чрезвычайно облегченной советским законодательством».

А есть еще и «национальная мимикрия» – заведомый еврей хочет, чтобы думали, что он русский, украинец и т. п. (рабочие постоянно указывают на такие явления и «требуют их объяснения»). Это, разумеется, во-первых, пережитки дореволюционной психологии угнетенной (царизмом, кем же еще, народ ведь всегда ни при чем) нации. Во-вторых, русская культура в глазах еврейской интеллигенции была более высокой, мировой, с громадной литературой – художественной, научной, технической. А потому личностный рост неизбежно связывался с переходом на русский язык, с максимально полным слиянием с русской средой.

Остатки этой рабской психологии сохранились у некоторых евреев еще и сейчас. «И сейчас некоторые евреи, даже коммунисты, страшно рады, когда кто-нибудь скажет: "вы совсем как русский" – словно его по головке погладили». «Обратной стороной этого явления служит также распространенная практика, когда еврей-коммунисты, ни слова не понимающие по-еврейски, иногда полностью перешедшие на русскую или немецкую (в Германии) культуру, упорно продолжают называть себя евреями из нежелания уйти из-под обстрела антисемитов до окончательного искоренения антисемитизма.

Между тем создание сплошных территорий еврейского земледелия создает географическое обособление занимающих их частей еврейского населения. Уменьшается возможность смешанных браков, прекращается расселение сравнительно небольших групп евреев среди громадных масс русских, украинцев и т. д. Наоборот, евреи поселяются вместе компактной массой, образуют в этих местах громадное большинство всего населения.

Делегация пионеров, посетившая в 1929 г. еврейский Калининдорфский район Херсонского округа, рассказывает в своем отчете о русских детях, учащихся в еврейских школах (на вопрос, как тебя зовут, мальчик отвечает: "Лейбеле", и прибавляет: "а по-русски – Лева"). Ибо для одной нееврейской семьи в еврейской деревне нельзя открыть специальную нееврейскую школу.

Сравнительная замкнутость деревенской жизни вообще способствует сохранению национальных особенностей. Особенно, если цепь однонациональных деревень охватывает целый район, хотя бы и небольшой. Между тем при намечающемся темпе перехода еврейской бедноты к земледелию может создаться целый ряд таких районов... Особенно, если район так слабо заселен нееврейским населением, как Северный Крым или Биробиджан. В Биробиджане, например, на площади около 4 тыс. км² имеется всего около 30 000 чел. нееврейского населения. Район закрыт теперь для нееврейского населения.

Если бы смысл создания еврейского земледелия в СССР заключался специально в создании таких небольших национальных единиц для неперенного увековечения еврейского народа как такового – пальцем о палец не стоило бы ударить ради этого *по исторической безнадежности дела*. Основной смысл работы заключается в *переводе деклассирующейся бедноты на рельсы общественно-полезного труда...*

...Процесс ассимиляции еврейского населения будет все ускоряться. Распад религиозного обособления, смешанные браки и т. п. – такие явления должны все нарастать. Самые успехи борьбы против антисемитизма будут облегчать растворение небольших еврейских групп в русском и украинском море людей – вернее, *создание какой-то новой общей амальгамы* из разных наций, населяющих страну, *создание нового народа*. Каким-то процентом в состав крови и культуры этого будущего нового народа войдет и кровь и культура нашего еврейского населения.

Мы ведь не думаем, что каждый нынешний народ будет существовать вечно, как неизменная особая национальная единица. Мы думаем, наоборот, что все народы в конце концов сольются в один народ, а по пути к этому будет совершаться образование новых народов на различных территориях земного шара из населяющей эти участки смеси народов».

И это было вполне по-марксистски и даже по-ленински. Но, пожалуй, без достаточного учета марксистско-ленинской диалектики, которая учила для слияния наций в единое целое прежде всего усыплять их бдительность подчеркнутым признанием их прав на независимое существование. Ларин же, классифицируя евреев заодно с даргинцами и хевсурами и открыто провозглашая их историческую обреченность, немножко преждевременно раскрывал карты, тогда как более политичный отец народов именно в 1929 году написал статью «Национальный вопрос и ленинизм», содержащую серьезные поправки к его дореволюционному установочному труду.

Суть статьи в следующем. Ликвидация капитализма уничтожила и прежние, порожденные им буржуазные нации. Теперь на их месте оказа-

лись совсем другие нации – социалистические, и с ними следует обращаться совершенно по-новому. Вернее, они когда-нибудь, несомненно, все равно сольются в одну, но – только при победе социализма и осуществлении диктатуры пролетариата в мировом масштабе. А победа социализма в одной стране, наоборот, создает благоприятную обстановку для расцвета всех наций, ранее угнетавшихся царским империализмом.

Мало того, даже после поражения мирового империализма пытаться произвести слияние наций путем принуждения означало бы сыграть на руку империалистам, похоронить дело организации сотрудничества и братства наций. Такая политика была бы равносильна политике ассимиляции – политике антинародной, контрреволюционной и пагубной. Кроме того, нации и национальные языки отличаются колоссальной силой сопротивления политике ассимиляции. Поэтому первый этап периода всемирной диктатуры пролетариата будет этапом роста и расцвета ранее угнетенных наций и национальных языков, этапом ликвидации взаимного национального недоверия, этапом налаживания и укрепления интернациональных связей между нациями.

И только когда возникнет единое мировое социалистическое хозяйство, когда нации убедятся на практике в преимуществах общего языка перед национальными языками, национальные различия и языки начнут отмирать, уступая место общему для всех мировому языку.

Да, да, все именно так и написано: люди будут выбирать язык не в силу иррациональной привязанности к языку отцов и матерей, к языку детства, к языку любимых поэтов и писателей, к языку, нераздельно вплетенному в систему любимых грез, а из соображений удобства, хозяйственной целесообразности!..

Нет, марксизм и вправду был разработан какими-то недочеловеками для других недочеловеков! Надо же было додуматься обожествить то, что для любого нормального человека является докукой, от которой он стремится поскорее отделаться, чтобы заняться настоящим своим делом – жизнью в мире воображения, в мире символов и образов. А эти... не знаю, как их назвать... верили, будто главный мир красоты и величия подчинен *хозяйственной деятельности!* Нет, марксизм был, что ни говори, гениальнейшим мошенничеством всех времен и народов: явить миру вечную грезу под маской обыденной скуки!..

Тем не менее картина «первого этапа» у товарища Сталина возникает вполне идиллическая: новым, социалистическим нациям партия считает необходимым помочь оживить и развить свою национальную культуру, развернуть школы, театры и другие культурные учреждения на родном языке.

А что Сталин думал на самом деле? Он не дурак был сковывать себя какими-то принципами, он всегда предпочитал свободу маневра. И если он что-то наговорил про расцвет всего национального, значит, как-то собирался этим воспользоваться. Возможно, даже в экспортном варианте.

И Биробиджан был, по-видимому, одним из таких полезных жестов. В

основном, вероятно, пропагандистским. Компактная, полностью якобы принадлежащая евреям территория, где они могут все начать с нуля, в качестве противовеса сионистской грезе выглядела грезой более заманчивой, чем исконно русско-украинские территории, особая, специально учрежденная национальная единица как нельзя лучше иллюстрировала идею расцвета наций при социализме, тем самым усыпляя бдительность национальных меньшинств во всем мире; при этом национальное еврейское строительство, происходившее где-то в дикой тайге на другом конце света, переставало служить столь острым стимулом антисемитизма. Не знаю уж, к каким временам относится шутка: переселение евреев на Дальний Восток – не осуществившаяся мечта русского народа.

Сталин, по-видимому, тоже был не прочь убрать с глаз долой доставляющий слишком уж много хлопот народец, однако он при его трезвом уме вряд ли верил, что таким путем удастся существенно избавиться хотя бы от излишка населения бывшей черты оседлости (эту проблему, и правда, удалось решить только его стратегическому партнеру – Гитлеру; фюрер же добил и остатки крымского проекта). А вот хоть немного оживить дикий край, укрепить почти безлюдную границу с крайне нестабильным Китаем, вот-вот готовым впасть в зависимость от пассионарной Японии, это было все-таки возможно, причем если выгорит, в значительной степени на еврейские деньги, ибо еврейское квазигосударство еще в большей степени создавало образ Советского Союза как главного заступника многострального еврейского народа.

И потом, аграризация – это было очень уж несовременно, надо было поднимать все разом – сельское хозяйство, промышленность, культуру, чтобы заманить не только еврейскую гольтьбу, но и публику почище. Вот тут-то и встает главный вопрос: понятно, что могло потянуть на Дальний Восток еврейскую рвань – надежда на какой-то более верный кусок хлеба; понятно, что могло привлечь еврейских карьеристов – новые служебные перспективы; но вот зачем туда потянулись еврейские идеалисты?..

Как зачем? Чтобы не оглядываться, не понижать голос, произнося вслух имя своего народа, чтобы, стараясь реализовать свои дарования, не подсчитывать, не слишком ли густо нас здесь набилось, – словом, чтобы, оставаясь евреями, жить, не замечая своей национальности, как здоровые люди не замечают своего сердца. Чтобы жить, как живут все нормальные люди у себя на родине. Которые, когда хотят, гордятся своим народом, когда хотят – оплакивают, когда хотят – кроют его последними словами, но никогда не оглядываются, кто стоит у них за спиной. И всегда чувствуют себя, по крайней мере, ничуть не менее правыми, чем их любые национальные недоброжелатели. А сохранить чувство правоты в одиночку необыкновенно трудно...

Обрести родину – так они понимали нормализацию евреев. А социалистическая греза убеждала их, что можно обрести свой национальный дом, не покидая дома интернационального. Поэтому когда в начале 1930-го были без шума прикрыты евсекции с их так и не выветрившимся чесночным

духом бундовского автономизма, этого почти никто даже не заметил. Да в этих евсектах и всегда-то еврейского люда было раз в 15–20 меньше, чем в стержневой партии. Интернациональной. Общенародной.

Биробиджан. Поэзия и правда

Итак – как это было. Мечты и трагедия Биробиджана.

Судя по всему, если уж не стопроцентным инициатором, то, как минимум, покровителем биробиджанского проекта был председатель ВЦИКа М. И. Калинин. Кстати, еще в 1926 году Калинин на съезде ОЗЕТа говорил об аграризации евреев не только как о чисто хозяйственной, но и как об антиассимиляторской задаче: «Перед еврейским народом стоит большая задача – сохранить свою национальность, а для этого нужно превратить значительную часть еврейского населения в оседлое крестьянское земледельческое компактное население, измеряемое, по крайней мере, сотнями тысяч. Только при таких условиях еврейская масса может надеяться на дальнейшее существование своей национальности».

Сама по себе идея о том, что нация не может существовать без привязанности к «почве», конечно, представляется крайне спорной автору этих строк, настаивающему на том, что истинной «почвой» нации является некая наследуемая система коллективных фантомов, коллективных грез, которые, в частности, еврейство в течение многих веков сохранило и без всякого крестьянства, меж тем как прагматизированные либо люмпенизированные крестьяне являются хранителями «национального духа» ничуть не в большей степени, чем банковские клерки или жэковские сантехники. Однако в добрых намерениях «всесоюзного старосты» сомневаться трудно.

Когда 7 мая 1934 года Президиум ВЦИК СССР принял постановление о преобразовании Биробиджанского района в автономную область, как бы обычную, только еврейскую, Калинин на встрече с рабочими московских предприятий и представителями еврейской печати (28.5.1934) сформулировал несколько положений настолько принципиальных, что они едва ли могли быть «озвучены» без согласования с самым верхом.

«У нас евреев очень много, а государственного образования у них нет... Я думаю, что лет через десять Биробиджан будет важнейшим, если не единственным хранителем еврейской социалистической национальной культуры...»

Биробиджан мы рассматриваем как еврейское национальное государство. Оказание этому государству помощи, особенно на первых порах, очень важно».

При всей бесспорности последнего, в стратегическом отношении слова о еврейском национальном государстве были гораздо более важными. И смертельно опасными для тех, кто мог принять их слишком буквально. В тот момент еврейские романтики были мало способны задуматься о том,

каким образом можно развить еще очень слабое национальное как бы государство, в котором «титупная нация» составляет малозначительное меньшинство, внутри другого государства, конституция которого в самом что ни на есть либеральном духе запрещает предоставлять какие бы то ни было преимущества какой бы то ни было национальности. Поэтому евреи не только советской конституцией, но и либеральными принципами с их доминированием прав индивида были обречены оставаться «равноправным», а потому почти бесправным меньшинством даже и внутри собственного «государства» – меньшинством, почти лишенным возможности проводить собственную национальную политику даже и демократическим путем, если бы в СССР каким-то чудом и возникла демократия.

Сделаться же большинством было для них весьма проблематично – «оптимист», как он себя называл, Калинин выражался так: «Если нам удастся в течение долгого времени каждый год прибавлять в область хотя бы только тысячи по четыре еврейского населения, то это будет неплохо». Однако при таких темпах задача образования компактного крестьянского населения в несколько сотен тысяч растянулась бы на десятилетия, если не на века. Тем не менее евреев-идеалистов и это не испугало: они ждали почти 2000 лет, так что могли потерпеть и еще полсотни-сотню. То обстоятельство, что даже и при таком оптимистическом прогнозе большая часть еврейского (и притом наиболее преуспевающего) населения окажется за пределами их «государства», тоже не казалось слишком уж парадоксальным. Но вот опасности оказаться не слишком значительным меньшинством внутри собственного «национального государства» они явно недооценили.

...К 1928 году численность населения Биробиджанской области составляла около 32 000 человек; к концу же 1932 года, после первых переселенческих подвигов оно возросло приблизительно до 44 500. Из них русские составляли около 67%, украинцы около 7,7%, корейцы около 9,5%, китайцы – 1,7%, а евреи – 11,4%. В итоге евреям наступал на пятки даже плодотворный корейско-китайский блок, не говоря уже о славянском, менее плодотворном, зато составлявшем три четверти общего населения. То есть через четыре года в области оказалось немного больше 5000 евреев – можно прикинуть, сколько лет потребовалось бы при таких темпах для того, чтобы им сделаться национальным большинством (не говоря уже о грезившихся Калининуп сотнях тысяч еврейского крестьянского населения).

Вот несколько характерных цифр: в 1929 году было запланировано переселение 3000 семей, т. е. около 15 000 человек – в реальности же приехало около тысячи, а осело на месте лишь немногим больше половины. С жильем и всяческим обустройством было настолько туго, что ОЗЕТ, при всем его желании загрести как можно больше колонистов, рекомендовал направлять в Биробиджан преимущественно одиноких людей. Это смягчало жилищную проблему, зато существенно отодвигало и без того проблематичное превращение евреев в национальное большинство хотя бы в собственном «национальном государстве».

Крайне острой сделалась и проблема «обратничества» – возвращения обратно в европейскую часть Союза из-за невыносимых бытовых условий. Так, например, из 3231 человека, прибывшего в Биробиджан в 1931 году, осталось в нем несколько меньше половины. В 1932 году (возможно, в связи с ухудшением положения на Украине) произошел резкий подъем переселенческой активности – приехало 14 000 человек; но в этом же году две трети уехали обратно. В 1933 году планировалось прибытие 25 000 евреев, однако прибыло в восемь раз меньше. В 1934 году вместо ожидаемых 10 000 прибыло чуть больше половины. В целом из 19 000 приехавших в Биробиджан евреев осело там 7000 человек. В значительной степени такой масштаб «обратничества» обуславливался тем, что КомЗЕТы и ОЗЕТы на местах ради отчетности гребли кого попало, вплоть до сотен заведомых инвалидов.

Но и без того в столь низком коэффициенте полезного действия не было ничего удивительного. Как и повсюду, биробиджанский «большой скачок» являл собой весьма впечатляющую картину свершений и провалов, величайшего напряжения и жалкой неумелости, четкой организованности и неправдоподобной безалаберности, пропагандистской трескотни и бескорыстного энтузиазма. В итоге же, например, в базовом 1928 году планы по жилищному, дорожному и прочему строительству были выполнены где на треть, а где и на десятую долю.

Руководство района объясняло провалы спешкой, наводнением, нашествием сибирской язвы, запоздалым прибытием тракторов, малоснежной зимой, отсутствием проезжих дорог – и все это соответствовало действительности. Попутно можно сообщить, что в районе не было ни одной средней школы, отсутствовали детские сады и ясли; на все десятки тысяч квадратных километров и десятки тысяч хотя и очень редких, но все-таки жителей имелось лишь две больницы на 25 коек, два врача и четыре фельдшера. В столице новой Земли обетованной, на полустанке Тихонья, переименованном в город Биро-Биджан, проживало 623 человека. И вот этот-то Биробиджан намеревался прозвучать более чарующим призывом, чем легендарный Иерусалим! И что по-настоящему удивительно, нашлись взрослые люди, ощутившие его именно так! К началу 1932 года в Биро-Биджан переселилось 469 евреев из стран Европы и Америки (и этот народ еще считают народом рационалистов и прагматиков!).

Но основную массу переселенцев составляли так называемые «нулевики» – безработные с нулем в кармане, которых пытались, в соответствии с марксистской теорией, вовлечь и в промышленность, коей в Новом Израиле тоже не было. С горя им позволили вернуться к той кустарной деятельности, которой они занимались до наступления эпохи исторического материализма. При всех природных катаклизмах едва ли не важнейшим тормозом переселения оставался все-таки недостаток финансирования, тем более что весьма значительную часть имевшихся в их распоряжении скромных сумм КомЗЕТ и ОЗЕТ расходовали на пропаганду, справедливо, хотя и

не по-материалистически полагая, что дело, требующее самопожертвования, не может закрутиться без коллективной грезы.

В итоге переселенцев на Дальний Восток кредитовали значительно хуже, чем переселенцев в Крым и на Украину, которым помогали «Агроджойнт» и другие еврейские благотворительные организации. Колонистов же, отправлявшихся в Биробиджан, иностранные еврейские организации, по крайней мере вначале, не поддерживали. Исключением являлся, пожалуй, лишь американский ИКОР («Идише колонизация орбайтер») – нечто вроде американского ОЗЕТа, помогавший не только деньгами, но и людьми, создавшими успешную коммуны и впоследствии почти поголовно истребленными.

По-видимому, отсутствие иностранной помощи в значительной степени объяснялось тем, что правительство с самого начала не заявило о некоем заманчивом квазигосударственном статусе новой административной единицы, то есть не догадалось создать чарующий фантом, соответствующий ожиданиям еврейских мечтателей. Однако энтузиастов это, возможно, только подогревало.

Зато советскую власть их присутствие настораживало все больше и больше: Сталин постепенно выкорчевывал все конкурентные грезы, насаждая единый монополистический фантом – образ себя самого; для этого было необходимо истребить или запугать до оцепенения прежде всего идеалистов, романтиков, способных грезить о чем-то бесконтрольно. Осенью 1935 года Совнарком принял постановление о порядке въезда из-за границы трудящихся-евреев на ПМЖ в ЕАО: въезд разрешался лишь тем, кто принял гражданство СССР, обладал полезной квалификацией и физическим здоровьем и вдобавок дал подписку проработать там, где велит начальство, не менее трех лет. Но даже при этих настораживающих условиях с 1934 по 1937 год из-за границы в ЕАО прибыло свыше 1500 таких «полезных евреев». И, тем не менее, именно по ним пришелся один из главных ударов 37-го года, когда Сталин решил террористическим путем осуществить унификацию коллективных грез. Истребляемые романтики писали ему душераздирающие письма: я всю жизнь служил коммунистической идее, сидел в тюрьмах, добровольно приехал строить социализм... Сталин, читая подобные исповеди, должно быть, только вдумчиво кивал: ага, значит, ты именно тот, за кого я тебя принимал, тебя-то мне и надо. Ему и нужны были именно идеалисты.

Однако ту морковку, которой их завлекали – еврейское национальное государство в государстве интернациональном, – Советы, тем не менее, до поры до времени старались представить как можно более аппетитной. Калинин на уже упоминавшейся встрече в мае 1934 года посетовал, что из ЕАО евреев вернулось больше, чем осталось, но тут же поманил новой грезой: вот если бы, дескать, в ЕАО собралось тысяч сто евреев, можно было бы перекрестить ее аж в целую автономную республику. Республика – это слово больше двух лет чаровало еврейский слух. Но уже в ноябре 1936-го

Сталин почел излишним возбуждение чрезмерных еврейских мечтаний. В речи о проекте Конституции СССР он сформулировал три необходимых условия, без которых автономная область не может сделаться республикой: во-первых, республика не должна быть окруженной со всех сторон территорией СССР, во-вторых, национальность, давшая республике имя, должна представлять в ней более или менее компактное большинство, а, в-третьих, население ее должно составлять не менее хотя бы миллиона.

При оптимистическом прогнозе о прибавлении еврейского населения по 4000 ежегодно, срок достижения такого порога составлял 250 лет. Однако в году, последовавшем за учреждением ЕАО, 1935-м, в Биробиджан прибыло 8344 человека, причем 90% из них были евреями. К концу этого года доля еврейского населения в ЕАО оказалась самой высокой за всю историю ее существования – 23%. В 1936-м году в ЕАО приехало более 6500 переселенцев, из которых осело 45%, зато в 1937-м правительство запланировало переселение целых 17 000 евреев, но приехало лишь немногим более 3000. Хотя этим и занялся самый страшный и могущественный институт – НКВД, отчасти взявший в свои руки функции и КомЗЕта, и ОЗЕта, руководители которых были почти поголовно уничтожены вместе со всеми, кто в глазах Сталина хотя бы теоретически был способен на какие-то, даже самые, казалось бы, безопасные, но несанкционированные грезы.

В итоге, после образования автономной области с 1934 по 1937 год в нее переселилось 23 000 человек, из которых осело приблизительно две трети. Результат, если учесть мизерность ресурсов, может быть, даже и неплохой. При всей бедности и безалаберности были достигнуты и довольно серьезные, по тогдашним меркам, экономические результаты. Разумеется, сельское хозяйство развивалось в рамках так называемого колхозного строя: к 1934 году ЕАО вышла на первое место в Дальневосточном регионе по уровню коллективизации – 89,9%. Особенное доверие здесь внушает нехватка последней десятой доли процента – не 90, а именно 89,9! При этом на 50 обычных колхозов приходилось 6 еврейских.

Из сегодняшнего дня невозможно разглядеть, чтобы в них что-то делалось как-то особенно по-еврейски, экзотическими были, похоже, только имена коллективных хозяйств: Бирофельд, Валдгейм, «Ройтер Октябрь», Ленинфельд...

Не знаю уж, к какому времени относится анекдот – обмен телеграммами между Москвой и Биробиджаном. Москва: «Организовывайте колхоз». Биробиджан: «Колхоз организовали. Высылайте людей». Тем не менее к концу 1937 года в ЕАО насчитывалось целых 22 переселенческих колхоза с общим населением 6380 человек (рост по сравнению с 1934 годом более чем в три раза). За это же время их посевная площадь увеличилась в 5 раз, а раскорчеванная даже в 6,5. Для серьезного читателя, находящего вкус в бухгалтерской «материалистической» истории, все возводящей к производительным силам, можно было бы привести массу по-

лезных сведений о вспашке паров, зяби, яровизации и удобрениях, о пчеловодстве и рисосеянии. Однако пишущего эти строки как профессионального творца грез больше занимает история психологическая, история зарождения и борьбы человеческих страстей, неотделимая от истории коллективных иллюзий.

И тогдашнему государству, в отличие от нынешнего, нельзя отказать в определенной мудрости: оно ни на миг не забывало творить, насаждать и поддерживать выгодные для себя иллюзии. Именно тогда, когда у крестьян была окончательно отнята земля, а у евреев последние и без того сомнительные шансы на самостоятельность, 28 августа 1936 года еврейские переселенческие колхозы и колхозники получили государственные акты на вечное пользование земель, написанные на «государственном» еврейском языке. В соответствующем постановлении ВЦИК СССР говорилось, в частности, что, наконец-то обретя государственность и землю, «колхозники-евреи успешно овладевают техникой социалистического земледелия, поднимают урожайность полей... и на деле опровергают всякую буржуазную ложь о невозможности для еврейского населения освоения труда в сельском хозяйстве».

Прочно поддерживалась и другая фундаментальная иллюзия: во всех наших провалах виноваты враги... Это и впрямь действовало: если где-то дошли куры или завалился сарай – это объяснялось происками троцкистско-бухаринских выродков и – тут бы всем насторожиться! – *буржуазных националистов*. Ибо под последнюю рубрику уже мог быть подведен всякий, кто понимал еврейскую государственность как возможность проведения в жизнь хоть каких-то специфически еврейских интересов.

...Но, тем не менее, и область, и город явно развивались. В марте 1937 года рабочий поселок Биробиджан был преобразован в город. Население же в этом новом городе с 1934 по 1939 год росло такими темпами: 7500, 13 000, 19 000, 26 600, 32 600. При всех нехватках и неизбежном советском бардаке жить становилось бы все-таки, пожалуй, лучше и веселей – если бы не кошмар 37-го. Трудно подсчитать, кого истребляли больше – русских или евреев (в процентном отношении по стране они шли примерно на равных). Похоже, это мало кого волновало: верхи стремились избавиться от всех, кто был способен если даже не действовать, то хотя бы фантазировать самостоятельно, низы (а это были все остальные) старались доказать свою исполнительность. Как и повсюду, вчерашние изобличители становились изобличаемыми, и, если даже забыть о гуманности и морали, все равно производит жуткое впечатление один только хозяйственный урон: в области, где на счету был каждый работник, истреблялись сотни и тысячи специалистов. С 1936 по 1938 год были репрессированы более 7500 человек – пропорция серьезной войны: в 1939 году население области составляло 135 000 человек (из них евреев 16,2%, то есть около 17 500). Председатель облисполкома историк И. И. Либерберг, еще в 1935 году обвиненный в национализме за попытку придать еврейскому

языку статус официального в Еврейской области, был расстрелян, первый секретарь обкома М. П. Хавкин, один из многих комиссаров в пыльных шлемах, выдержал все пытки и – с выбитыми зубами и дважды проломленной головой – был приговорен к 15 годам заключения в Певеке, на рудниках которого никто больше года не выдерживал. Но Хавкина спасла его исконно еврейская полузабытая портняжная профессия: он начал шить кители для охранников, а потом организовал «меховое производство». В этой вполне типичной истории экстравагантна лишь такая деталь: жена Хавкина Софья Павловна получила срок за попытку отравить фаршированной рыбой Кагановича, когда тот в качестве почетного гостя посетил Биробиджан в 1936 году.



С культурой в ЕАО происходили сходные вещи: на гребне первой волны создавались национальные школы – в начале 1933 года в Биробиджанском районе действовали 6 еврейских школ на 300 учеников, 5 корейских (520 учеников), 1 украинская (51 ученик), 2 «туземных», в которых обучалось 47 гольдов... И если в 1928 году в районе был один клуб, то к моменту образования автономной области их было уже шесть. За этот же период количество киноустановок увеличилось с одной до четырех, библиотек – с одной до десяти. Масштаб, конечно, нищенский, но рост все-таки налицо. С осени 1930 года начала выходить тиражом 2000 экземпляров на двух языках районная, а затем областная газета «Биробиджанская звезда» («Биробиджанер штерн»); половина тиража распространялась в районе, а половина в СССР и за границей.

В 1932 году в районе было открыто отделение «Дальгиза», печатавшее свою продукцию на идише. Тогда же начали свою литературную деятельность биробиджанские писатели Бузи Олевский, Арон Кушников, Тевье Ген, Моисей Гольдштейн. С 1931 года в Биробиджане жил и работал Э. Казакевич, начинавший бравурными стихами:

Перрон Биробиджанского вокзала!
Взошла твоя счастливая звезда.
Ни водокачки, ни большого зала
Тут не было,
Но были поезда.
Серdito отдуваясь, привозили
Они народ со всех концов России.
Вот едут Тунеядовка и Шпола,
Вот Витебск, Минск, Одесса и Лугин,
И на вокзале тяжко стонут шпалы,
Висят гудки,
Протяжны и туги.

Никак нельзя обойти прозаиков Бориса Миллера и поэтессу Любовь Вассерман, ибо судьбы и тексты биробиджанских писателей и поэтов привлекательны в качестве предметов особого исследования. Поскольку родину создают не кочегары и не плотники, а поэты, ибо родина – это система грез, интересно было бы изучить поподробнее, какими грезами биробиджанские творцы были очарованы сами и пытались очаровывать других. И хотя больших талантов, если не считать Казакевича, среди них открыть не удалось, их попытка создать родину из ничего остается уникальной и поучительной. Судьбы же их по-настоящему драматичны. Сталинский удар на них обрушился из-за того, что они с предельной добросовестностью исполняли свое дело – воспевали новую декретную родину. Но воспевали как нечто отдельное, особенное, ибо никак иначе ничего воспеть невозможно. Невозможно заразить кого-то своей любовью к человеку, профессии, народу, области, постоянно приговаривая, что они ничем не лучше других. Невозможно и оплакать свое отдельное горе, будучи поставленным перед необходимостью постоянно оговариваться, что и у других горе несколько не меньше. А именно этого и требовала советская власть.

Она требовала романов и поэм в таком примерно духе: наконец-то сбылась тысячелетняя мечта еврейского народа о собственном государстве – хотя в дружной семье советских народов повсюду живет одинаково уютно. Наконец-то мы можем писать на своем родном языке – хотя он, конечно, ничем не лучше великого и могучего русского языка. Мы должны собрать все силы – хотя без поддержки великого и могучего русского народа у нас все равно ничего не получится. Наши парни сражаются, как истинные наследники Самсона – хотя, впрочем, Илья Муромец ничем ему не уступит. Горе наших матерей, потерявших своих сынов, безмерно – хотя и не более безмерно, чем горе русских, украинских, белорусских, узбекских, татарских и всех прочих матерей.

При всей смехотворности этого канона, поэтов и писателей карали именно за отступления от него.

Нет, я не утопист, я вовсе не жду от власти неземного совершенства, всякая власть обязана заботиться прежде всего о сохранении общественного целого даже и в ущерб отдельным его частям, и вполне можно понять, что в военные годы, требуя от самого сильного народа страны чудовищных жертв, власть стремилась как можно больше льстить ему и как можно меньше его раздражать (если только этого не требовали ее собственные интересы). С этой точки зрения объяснимо даже то, что массовые истребления евреев во время войны советская пропаганда дипломатично именовала массовыми убийствами «мирных советских граждан». Но если так может рассуждать политик, то поэт, национальный поэт так чувствовать не может, поэзия рождается эмоциональным порывом, а не дальновидным расчетом.

Все это, собственно, доказывает только то, что попытка создать с нуля национальное государство меньшинства внутри национального государства большинства была обречена на заведомое поражение. Причем обречена

не только тоталитарно-коллективистскими, но и либерально-индивидуалистическими принципами.

Это было время, когда советская власть в полном соответствии с правилами «real politics» снова решилась «сдать» евреев, чтобы не сердить своего стратегического партнера Адольфа Алоизовича Гитлера, чтобы отнять у него пропагандистские козыри, позволяющие отождествлять большевизм с еврейством, а также чтобы осуществлять беспрепятственную мобилизацию русских воодушевляющих фантомов, без поддержки которых было трудно рассчитывать на победу над своим страшным союзником. И это было, надо с горечью признать, так по-человечески... Мало кто способен поступать иначе, когда его собственная жизнь поставлена на карту. Хотя от мечты о том, чтобы люди сделались иными, от этой мечты, я думаю, все равно не надо отказываться: лишившись этого фантома, мир делается еще более ужасным.

Формально образование на еврейском языке не ликвидировалось, но постоянно тем или иным способом затруднялось, так, чтобы желавшим его получить требовались какие-то экстраординарные серьезные мотивы. Однако именно мотивы быстро угасали – с такой очевидностью перекрывались социальные перспективы для детей, желавших обучаться на родном языке. К 1940 году были закрыты все высшие учебные заведения на еврейском языке в Киеве, Минске и Москве. Не хватало учебников и – после 37-го года – преподавателей.

Унификация, неизбежно принимавшая облик русификации (а чего еще, не эстонизации же!), отсекала виды на будущее внутри хоть сколько-нибудь развитого еврейского мира, и еврейские папы и мамы, понимая, куда дует ветер, сами начинали отдавать детей в русские классы, открывавшие нормальные перспективы. Даже те, всегда немногие, идеалисты, которые готовы были обречь своих детей на прокладывание тяжелого самостоятельного пути еврейского народа, оказывались в столь незначительном меньшинстве, что партийное начальство могло с полным основанием ссылаться на нехватку желающих для развития сколько-нибудь полноценного образования на еврейском языке.

Но это еще были только цветочки...



Картина Биробиджана во время войны в основном сходна с привычной картиной советского тыла: энтузиазм, непосильный труд, жертвования, недоедание на грани голодной смерти... Притом что в те годы громче всего зазвучали призывы именно к русскому народу (Сталин осуществил открытую мобилизацию русских грез, справедливо полагая, что в случае победы, которая без их поддержки весьма сомнительна, он сумеет удержать их в узде). Еврейский народ сделался одним из тех немногих народов, чье имя было использовано в пропаганде, предназначенной для западного слуха (внутри же страны постарались убрать хотя бы с глаз долой эту

красную тряпку, которую и без того постоянно совала населению под нос гитлеровская пропаганда: вы воюете из-за евреев, вы защищаете евреев... Лучше уж и впрямь массовые убийства евреев обтекаемо называть убийствами «мирных советских граждан»). В мае 1942 года в Москве состоялся митинг, послуживший прелюдией к образованию Еврейского антифашистского комитета (ЕАК). Известные в Союзе и даже в мире советские евреи обратились к евреям всей планеты с призывом приобрести для Красной армии 1000 танков и 500 самолетов. В ответ из ЕАО поступила телеграмма о сборе денег в количестве 7 700 500 рублей, в том числе на строительство танков и самолетов 489 700 рублей и теплых вещей для фронта на сумму 65 523 рубля.

В 1944 году на фоне общего горя и нужды руководство области решило отметить десятилетие со дня образования ЕАО, и в благодарственном обращении к Сталину среди стандартной патетики была использована пара специфически еврейских образов: Самсон, пожертвовавший собой ради уничтожения врага, «львиное сердце Маккавеев»... И это через несколько лет припомнили первому секретарю обкома Александру Наумовичу Бахмутскому в качестве проявления еврейского буржуазного национализма.

Всего же во время войны погибло свыше 7000 жителей ЕАО, а по последним данным, даже свыше 8000; среди погибших было 884 еврея, 3218 русских и 1020 украинцев. Желаящие могут посчитать, соответствовало ли это процентной норме. Но что интересно: сохранился отчет военкома, в котором он докладывал, что от мобилизации никто не уклоняется.

Тем не менее антисемитский фантом выглядит совершенно иным. Анекдот: в Биробиджане установлен памятник неизвестному солдату Мойше Рабиновичу. «Почему же "неизвестному", ведь есть имя и фамилия?» – «Да, но неизвестно, был ли он солдатом». Впрочем, в детстве я слышал еще более дружелюбный анекдот – в военкомате новобранцам задают вопрос: «Вы как собираетесь воевать?» Иван: «Я буду сражаться за двоих». Абрам: «А за меня Иван будет сражаться».



Новый секретарь обкома ЕАО А. Н. Бахмутский, похоже, сочетал искреннюю преданность делу Ленина–Сталина с наивностью, заставлявшей его верить, будто Сталин может допустить какое-то не совсем фиктивное единение еврейского народа вокруг каких бы то ни было, пускай и сверхсоветских, но все-таки в какой-то степени еврейских ценностей. Вместе с председателем облисполкома М. Н. Зильберштейном Бахмутский задумал повысить статус ЕАО до уровня автономной республики. В ответ на их письмо Совнарком РСФСР в январе 1946 года издал постановление в экономическом отношении совершенно не обнадеживающее, зато содержащее важный символический жест: направить в ЕАО 50 учителей и 20 врачей непременно еврейского происхождения. Было также снова разрешено изда-

вать десяти тысячным тиражом газету «Биробиджанер штерн», за годы войны свернувшуюся до одной странички внутри русскоязычной газеты.

Однако в апреле того же года Бахмутский узнал, что Сталин в его просьбе решительно отказал. Но Бахмутский, возможно, благодаря все той же наивности, был смелым человеком: он решил использовать личное знакомство с Молотовым, Кагановичем, Маленковым, а также с председателем ЕАК Михозлсом, навлекая этим смертельную опасность и на себя, и на него: Сталин, повторяю, убивал даже за одни только грезы о самой призрачной независимости.

Бахмутский же осмелился не только через местную печать, но и через газету ЕАК «Эйникайт» («Единение»), читавшуюся десятками тысяч евреев не только в СССР, но и за рубежом, систематически пропагандировать ЕАО как своеобразный центр не только еврейской экономической деятельности и культуры, но и как центр еврейской государственности.

Хозяйственная деятельность в ЕАО и после войны являлась чисто советским коктейлем успехов и провалов, только с нарастающей долей последних. Мысль о том, что неплохо бы повторить довоенный опыт, приманив в область хоть какую-то поддержку американского еврейства, в экономическом отношении для руководства области была столь же естественной, сколь опасной в отношении политическом: связь с Западом, низкоклонство перед Западом!.. Связь с Западом – к тому же с Америкой! – действительно существовала: еще в 1935 году, после прихода Гитлера к власти, был создан Американско-Биробиджанский комитет «Амбиджан», намеревавшийся добиться у советского правительства разрешения на устройство в Биробиджане некоего убежища для евреев Восточной и Центральной Европы, над которыми нависла – мало кто догадывался даже, насколько ужасная – опасность. Помощь американских евреев при этом гарантировалась. Советское правительство, по крайней мере, на словах, пошло навстречу, но сионистски настроенная часть американского еврейства постаралась расстроить этот договор. Забытый богом уголок среди тайги и болот, под боком у Японии и под рукой у Сталина, и впрямь казался не самым уютным местом на земле – если не знать о подступающих рвах и газовых камерах. 37-й год, несомненно, весьма сурово прокатился бы по этим западным гостям, однако в живых среди них осталось бы все-таки гораздо, гораздо больше. Но дальновидность не свойственна человеку, если даже он еврей...

В 1936 году «Амбиджан» все-таки переселил в ЕАО около ста еврейских семей, но в 1937 году советская сторона предложила приостановить иммиграцию до выяснения международной обстановки. Обстановка прояснилась только 22 июня 1941 года – «Амбиджан» начал оказывать СССР систематическую помощь настолько заметную, что даже заслужил благодарственную телеграмму маршала Жукова. А между Биробиджаном и «Амбиджаном» постепенно развилась такая нежная страсть, что председатель облисполкома М. Н. Зильберштейн, забыв, что у советских собственная гордость, начал посылать «Амбиджану», словно в Госплан, заявки на

ткани, продукты, токарные, фрезерные, строгальные, сверлильные станки, слесарные и столярные инструменты, электропровод, электролампы, музыкальные инструменты, котлы, паровые турбины, электрогенераторы... Впоследствии это называлось унижительными подачками американских евреев. Но главная неловкость возникла из-за еврейских детей-сирот, которых Биробиджан не был готов принять в таком количестве, на какое рассчитывал «Амбиджан».

Впрочем, и без сирот этот союз не мог кончиться добром – главное, американские благотворители запросто говорили и писали о ЕАО как о будущей республике, а Сталин такой самодеятельности очень не любил. В 1948 году началась борьба с «безродными космополитами», что еще более ослабило желание среднего еврея оставаться евреем – практически во всех смешанных семьях детей стали записывать в более безопасную национальность; процент «формальных» евреев в ЕАО неуклонно снижался.



Об уничтожении ЕАК написано довольно; поэтому здесь достаточно сказать: разумеется, никакой шпионской деятельностью «еврейские антифашисты» не занимались, но что касается несанкционированных грез, то таки да, грезили. Вступались за отдельных евреев, вообразили себя представителями несуществующего народа... Который, возможно, раздражал Сталина еще и тем, что отказывался вести себя в соответствии с его теориями – труп отказывался разлагаться. Кстати, и новая власть, после смерти отца народов отменившая расстрельные приговоры, все-таки посмертно попеняла еаковцам за их бестактное поведение – за попытки «некоторых из осужденных» присваивать себе несвойственные им функции: вмешиваться в решение вопросов о трудоустройстве лиц еврейской национальности, возбуждать ходатайства об освобождении заключенных евреев из лагерей. И вообще – мелькали.

ЕАК и в самом деле находился в фокусе международного внимания. Но кому в столицах было дело до того, какими демагогическими зверствами отозвалась эта кампания в ЕАО! Мощным катализатором послужило и осложнение отношений с государством Израиль, воссозданным на канонической Земле обетованной и отказавшимся служить советским плацдармом на Ближнем Востоке. Энтузиазм, с которым советские евреи восприняли его героическое рождение, не мог не усилить в советских вождях не лишнее оснований чувство: сколько еврея ни корми...

Все, что связывалось со словом «еврейский», «еврейское», в ЕАО теперь именовалось буржуазным национализмом – как, впрочем, и во всей стране. Однако особенностью ЕАО было, пожалуй, обвинение А. Н. Бахмутского в попытках создать в ЕАО еврейскую элиту. Что он, судя по всему, действительно пытался сделать. Тогда как подбор кадров по национальному признаку и в самом деле был нарушением не только сталинской

конституции, но и вообще либеральных принципов, запрещающих принимать во внимание национальность граждан. Ну, а что без такого подбора, без создания дополнительных стимулов евреям оставаться и становиться именно евреями, а не просто «советскими людьми», область и не могла сделаться еврейской – так и не нужно. Довольствуйтесь названием. А потому и экспозиции по еврейской истории из краеведческого музея должны быть изъяты.

После показательных изобличений и тщетных покаяний («Я кроме семилетки и ФЗУ, по существу, никакого образования не имею») в театре имени Кагановича А. Н. Бухмутский был исключен из партии. Напрасно он, глотая слезы, повторял: «Мне всего тридцать восемь лет. Поверьте мне. Только не исключайте».

Первые слова нового, присланного из Москвы первого секретаря обкома П. В. Симонова, обращенные к ожидавшему его шоферу (кстати, еврею), были таковы: «Ну так что, расхулиганились здесь еврейчики? Ну ничего, мы порядок наведем».

Новое истребление начавшей было формироваться государственной, хозяйственной и культурной элиты ЕАО, в отличие от 37-го года, планомерно осуществлялось теперь уже по национальному признаку. Во всех обвинениях ключевые слова были одни и те же «буржуазный», «националистический», «сионистский», «космополитический», «проамериканский». В центре города жгли тысячи книг на еврейском языке – это были книги репрессированных писателей, а заодно и просто «устаревшие по содержанию» и «излишние». А сами биробиджанские писатели...

Писатель Борис Миллер (Бер Срульевич Мейлер) был обвинен в том, что в его патриотической пьесе «Он из Биробиджана» земляки, встретившись на фронте, поднимают тост сначала за Биробиджан и только потом за товарища Сталина. В итоге – десять лет. И то сказать: в газете «Биробиджанер штерн» Б. Миллер опубликовал список евреев – Героев Советского Союза. Не могу устоять перед соблазном процитировать протокол его допроса.

Следователь: Почему список озаглавлен «Честь и слава еврейскому народу»? Вам разве неизвестно, что это определение – «еврейский народ» – противоречит национальной политике партии и правительства?

Миллер: Термин этот, хоть он и противоречит марксистско-ленинскому определению нации и народности, систематически употребляется в еврейской печати.

Следователь: Вы сознательно опубликовали этот список?

Миллер: Сознательно. Я вообще не представляю, как можно что-то делать несознательно.

Хорош...

Любовь Шамовна Вассерман, родившаяся в Польше, приехавшая в

Красный Сион из просто Сиона, имела неосторожность сочинить стихотворение, в котором были такие строки:

Биробиджан – мой дом,
И песнь моя о нем.
Люблю свою страну – Биробиджан.

Следователь: Признаете, что оно националистическое?

Вассерман: Да, потому что в нем допущено такое националистическое выражение: «Люблю свою страну – Биробиджан».

Следователь: Значит, признаете, что вполне сознательно проповедовали национализм?

Вассерман: Нет, не признаю. Потому что стихотворение мною опубликовано не было, и никто его не читал. Когда я написала это стихотворение, я поняла, что оно националистическое.

В итоге те же 10 лет, отштмпелеванные тем же 31-м мая 1950 года. А в 1952 году А. Н. Бахмутский был приговорен к расстрелу, замененному после его клятвенного письма Сталину двадцатипятилетним заключением. Бахмутский вышел на свободу в 1956 году, за месяц до XX съезда, сорокашестилетним, но уже безнадежно больным человеком. И век свой доживал в полной безвестности. Любопытно, кстати, что синагога, вызывавшая особый патриотический гнев («Для синагоги нашли помещение, а для ДОСААФа не можете!»), была закрыта уже после смерти Сталина, в ноябре 1953 года.



Антисемитизм пировал в еврейском «национальном государстве» еще более пышно и разгульно, чем в остальном Союзе.

Еврейское переселение практически прекратилось. Условия, которые теперь предоставлялись переселенцам, могли бы соблазнить разве что каких-то еврейских энтузиастов – однако для энтузиазма было меньше всего оснований. Зато хоть как-то обеспечивались жильем «спецпереселенцы», среди которых было немало реальных пособников Гитлера, помогавших ему осуществлять окончательное решение еврейского вопроса в Западной Украине, Белоруссии и Молдавии.

С колхозников в ЕАО сдирали последнее – как, впрочем, и везде: нормализация была осуществлена на все сто. Вплоть до того, что, как и повсюду, планы по сельскому хозяйству, при всей их убогости, почти никогда не выполнялись. На трудодни давали буквально по несколько пригоршней пшеницы; денег почти не платили, да на них нечего было и купить, поэтому, кто мог, бежали из колхозов кому куда удавалось. Со второй половины 1949 по 1955 год в ЕАО не было построено ни одного промышленного предприятия, ни одного клуба, библиотеки, школы, детского сада. Сущест-

вовавшая промышленность пребывала в упадке, и, похоже, мода месяцами не выплачивать зарплату началась уже тогда.

О национальном же достоинстве могли помнить только безумцы.



В Большой советской энциклопедии, куда, как известно, попадают лишь самые выверенные знания, в 1952 году черным по белому было пропечатано: евреи не составляют нации.

Еврейской нации не было, а еврейская область все-таки была, напоминая известный анекдот про Вовочку – как же так: ж... есть, а слова нет?

Знаменитое «дело врачей» отозвалось в ЕАО больше остервенелой риторикой и бредовыми слухами, чем реальными репрессиями, поскольку всех, «кого надо», уже переувольняли и пересажали. А избавляться в массовом порядке от врачей, которых и без того не хватало, только из-за их еврейских фамилий – до этого антисемитское беснование дойти не успело или не решилось.

Готовилась ли массовая высылка евреев за Урал – достоверных доказательств нет, но слухи такие ходили. И в них очень даже верили. А коллективные фантомы...



После смерти Сталина политика партии по отношению к евреям пользовалась в основном методом замалчивания: вы сидите тихо – и мы вас трогать не будем, только не лезьте в государственную элиту; делайте вид, будто вы такие же, как все, и мы будем делать вид, что вы такие же, как все. Только неприличного слова «еврей» в печати употреблять не станем. (И вам же будет лучше.)

Биробиджан в конечном итоге не сделался ни огромным гетто, как опасался Илья Эренбург, ни какой-то особенной фабрикой ассимиляции, как с горечью констатировал Борис Миллер. Это была область как область, с 1967 года Еврейская ордена Ленина. Правда, с 1970 года с евреем во главе. Евреев там осело все-таки погуще среднего (около 9% населения Биробиджана и около 0,7% всех советских евреев), но в номенклатуре их почти не было. И в коллективных грезах русского народа они тоже не присутствовали. И в грезах еврейского народа, я думаю, тоже, а дух народа – это и есть его коллективные грезы. Даже в тех сферах народного духа, где обретаются анекдоты, мне попался только один третьесортный экземплярчик. Брежнев летит в Биробиджан, а самолет из-за сложных метеоусловий садится в Китае. Брежнев выходит, всматривается в публику и спрашивает: «Ну что, жида, пришурились?»

Биробиджан выпал и из еврейской, и из русской истории – время от времени, правда, всплывая, когда требовалось поубедительнее заклеить международный сионизм.

Напрасно старались.

С наступлением для истинно русских патриотов свободы слова выяснилось, что все равно никто не забыт и ничто не забыто. На сайте Агентства Русской Информации можно прочесть, например, такой диалог.

«– Почему-то многие считают, что это гениальная сталинская политика – создание Еврейской автономной области в Биробиджане? А это, на мой взгляд, тоже совершенно неадекватный подход. С какой стати какой-то человек своим субъективным решением решил отдать часть русской земли кому бы то ни было. Мы, в общем-то, понимаем, что он создал Еврейскую автономную область в пику Израилю, для того чтобы часть евреев переселить туда. Но, тем не менее, это не должно нас, русских, вводить в заблуждение.

– Утверждать, что Сталин был русским националистом, как это пытаются некоторые деятели от компартии, можно только в горячечном бреде. Коба просто разыгрывал русскую карту. Сначала он опирался на русский национализм, чтобы наказать Гитлера, потом делал жесты в нашу сторону, пытаясь бороться с евреями в руководстве страной. Но даже высылка картавой диаспоры в Биробиджан была пронизана ложью – действительно, это русская земля, с какого такого дела мы будем дарить кому-то такой кусок суши?»

Так что свободной земли, как и предрекал Жаботинский, нет и на самом дальнем востоке. Не отсидитесь!



Уроки? Пожалуйста.

Урок первый: создание национального государства «малого народа» внутри государства «большого народа» – дело заведомо невыполнимое.

Урок второй: в критических ситуациях даже нейтральная власть не станет из-за «малого народа» всерьез ссориться с «большим».

Урок третий: чем в более отчетливую и обособленную социальную группу выделяется «малый народ», тем более удобной мишенью он становится.

Sapienti sat. Умные поймут. Жаль только, что они и среди любого национального меньшинства составляют тоже меньшинство.

Но все же конец мой еще не конец?..

Сегодня упоминания о Биробиджане встречаются хотя и тоже редко, но все-таки гораздо чаще прежнего. То промелькнет по телевизору, что там открылась новая синагога, то попадетя на глаза еще более оптимистическое сообщение, что биробиджанское акционерное общество «Тайга–Восток» начало выпуск еще трех видов водки с национальным ароматом, или, если хотите, душком – «Еврейское счастье», «Бедный еврей» и «Рабинович», присоединившихся к уже завоевавшим сердца потребителей русским национальным напиткам «Шабатная», «Хасидская», «Фрейлахс» и «Еврейские штуч-

ки»: это обнадеживающий пример не ассимиляции еврейства, но зарождения новой, синтетической культуры, взявшей лучшее у обоих народов.

И тем не менее... Сохранится ли Биробиджан в еврейской истории? Иными словами, накоплен ли им сколько-нибудь заметный поэтический потенциал, ибо все непоэтическое обречено кануть в писаную историю. Чаще всего история Биробиджана воспринимается как история обманов и расправ, и этого добра в ней и впрямь более чем достаточно. И все же... Обманутый романтический порыв, обманутая бескорыстная любовь – это вечная поэтическая тема, не хватает только своего Шекспира. Или пускай уж Ростана.

А способен ли Биробиджан сыграть какую-то реальную роль в жизни хотя бы только русского еврейства? Весьма сомнительно. Все, конечно, зависит от количества и качества живущих там романтиков, но едва ли им удастся увлечь своими грезами кого-то из тех, кто там не родился.

Да что говорить о судьбе Биробиджана, когда остается более чем туманным и будущее остатков российского еврейства, насчитывающего даже неизвестно сколько тысяч душ, ибо границы этого множества до крайности размыты; едва ли не ббольшая его часть по внешним, сталинским признакам (язык, территория, общая экономическая система) относится к русскому народу, а по внутренним, главным (преданность грезам) образует какую-то новую смесь, смесь не генотипов (это дело десятое), но – фантомов.

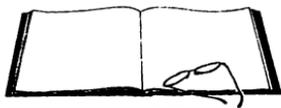
Так ведь сближение наций и происходит только через слияние грез, через возникновение общей грезы, способной чаровать и тех, и других. Так вот, русские и еврейские грезы – сливаются ли они во что-нибудь гармоничное или продолжают вести в наших душах непримиримую борьбу? Мне представляется очень интересной и, возможно, даже открывающей путь к слиянию фантомов идея известного петербургского этнолога Натальи Васильевны Юхневой: российское еврейство сложилось в новую историческую общность, новый субэтнос русского народа, именуемый «русские евреи».

И чтобы осознать себя таковым, русским евреям не хватает только специального самоназвания. Если же на вопрос о национальном самоощущении допустить не два ответа, «русский» и «еврей», как это обычно делается, а добавить промежуточную рубрику «русский еврей», то количество тех, кому именно этот ответ приходится по душе, оказывается весьма значительным.



Прощай, Биробиджан! За те месяцы, что я читал и писал о тебе, я свыкся с тобою и даже успел полюбить эти слова: Лондоко, Облучье, Биракан... Так что, по крайней мере, один человек в России некоторое время будет грезить о тебе.





историк, публицист, автор более десятка книг и множества статей. Живет в Израиле.

ИОСИФ БРОДСКИЙ И МОЯ СУДЬБА

В молодые годы имелся у меня друг Владилен Травинский. Был он отставным милиционером, потом журналистом, автором популярных книжек про Африку. Владька обладал удивительным природным талантом – организатора общественных сил. Вокруг него всегда крутилась куча интереснейших людей, и был он так «притягательно» устроен, обладал таким чутьем на перспективные таланты, что задерживались эти люди в его кругу надолго. Я без конца посещал съёмную квартирку Травинских на Пионерской улице и оказался к той компании «сопричастен»... Через Травинского познакомился с Борей Стругацким, с Мишей Шемякиным и с другими впоследствии весьма известными людьми...

Однажды Владька принес в редакцию «Звезды» десяток стихов, написанных ручкой на листиках – едва ли не автографы неизвестного поэта. Откуда он их добыл, я не спрашивал – думаю, через Сэнди Конрада (Александра Кондратьева). Было это, кажется, в конце 1959 либо в начале 1960 г. Проглядев их, я понял с первого мига, что передо мной стихи поэта, о каком мечтает любое поколение. Там были юношеские стишки, которые Бродский потом всячески скрывал от публикаций, – о них и его поэтический учитель Евгений Рейн как-то помянул: «обычные геологические вирши»... Верно, но ведь Рейн сам, причем сразу, с первого прочтения, почувствовал необычность личности автора, особость ее, ни на кого из пишущей братии в Ленинграде не похожую, – потому и обратил на него внимание, потому и выделил сразу...

Прощай. Позабудь и не обессудь.
А письма сожги. Как мост.

Ну, не соединял никто тогда любовную лирику с таким образом – «как мост»! Это прозвучало, как взрыв, как нечто из совершенно другой сферы. Из стихов про войну, что ли... И тот, и другой жанр были нам привычны, но смешение их вызывало эффект «балдежа»... Стих кончался так:

Я счастлив за тех,
Которым с тобой, может быть, по пути...

От этого внезапного сомнения – «может быть» – мы приходили в возбуждение. Как выразился потом Яков Гордин, «успели вскочить в этот поезд»!

Каким Бродский показался поначалу? Боюсь, сегодня это не понятно никому... Мы жили как бы во вполне нормальном мире, в Пространстве Социализма, т. е. в обществе, задуманном как гармоническое и, следовательно, в принципе бесконфликтное. Стихи Бродского вырывали нас из бесконфликтного житейского пространства, из пошлости нормального быта, и мы вдруг вспоминали, что существует Время, Дух, Бог. Нас как бы предупреждали, что есть предел у обычных желаний и похоти – имя ему смерть, что существуют варианты иной жизни, чем наша прыгучая суета советских сует... Иосиф славил Язык, который им якобы водил, но на самом-то деле – я об этом никогда не посмел бы при жизни ему сказать в лицо – он *учил* советских (и не только их, как выяснилось в итоге) читателей по-иному *жить*... Сам же он в это никогда – даже перед смертью – не смел, да и не желал верить!

Кто-то сравнивал его с «укротителем кобр», скрывавшихся в наших – юнцов и девиц – душах. Волшебной флейтой вызывал страсти из тьмы наших тайников – заставляя души танцевать перед ним...

Помню, в той, первой читанной мной подборке были «Пилигримы». Поразительно новым словом звучал для нас этот стих – восславление не активных строителей мира, к чему нас уже приучили футуристы, конструктивисты, соцреалисты (Маяковский, Луговской, Тихонов, Сельвинский)... Бродский открыл, что соль мира сего тает в чудаках, в юродивых на обочине жизни, в тех, кто «гуляет сам по себе». Ну, в киплингских кошках!.. Еще помню из той подборки «Стихи о Мигуэле Сервете»: этот исторический персонаж завораживал меня со школьной парты, еретик, которого сожгла не католическая инквизиция, а враги ее, протестанты, те, коих инквизиция истребляла... Намек на судьбы любых одиноких упрямцев!

...Травинский приносил и более поздние стихи Бродского (запомнилось «Каждый пред Богом наг, жалок, наг и убог»). Лично же познакомился я с Иосифом вполне случайно – вроде бы в «Звезде», куда он зачем-то забрел. Потом уже мы виделись в Публичной библиотеке – на широкой площадке (перед входом наверх, к читальным залам, и – вбок, в Рукописный отдел), там обычно собирались «говорунуы» – обменяться мнениями и информацией. Помню, стоим мы троим – с историком Борисом Коганом и Дмитрием Балашовым, впоследствии писателем-историком, а тогда моим коллегой-аспирантом... Подходит Иосиф, молча, почти сонно слушает байки. Не

вмешивается он в беседы мудрых историков... А мы заливаемся, хвосты распускаем, пытаясь друг другу понравиться. Боря Коган говорит: «А вот есть такая гипотеза: пирамиды в Центральной Америке выстроили пропавшие десять колен Израилевых...» Слышу странный звук сбоку: Иосиф встрепенулся. Сказал неожиданное «О!» и – снова замолчал. Вялости как не бывало – совсем другое, живое лицо!

...Забавный эпизод был примерно через год: вместе с Травинским мы сработали сценарий – для фильма «Николай Кибальчич» (режиссер В. Мельников). Лента эта получила хорошую прессу, первую категорию и все прочие причиндалы. Вызвал меня в «Леннаучфильм» редактор В. Кирнарский: «Миш, с тобой хочет поговорить заслуженный режиссер» (кажется, фамилия его была Гайворонский). У «заслуженного» оказалась просьба: «Надоело работать со старыми авторами. Хотелось бы получить сценарий от какого-нибудь молодого таланта. Вы можете сказать, кого в Ленинграде стоит пригласить на студию – из талантливой молодежи?» О, на это я всегда был готов! И начал петь гимны своим приятелям, нуждавшимся в работе, в куске хлеба, каждую характеристику завершал, естественно, координатами – адресом и телефоном. Под конец сообщаю: «Самый талантливый человек в городе – Иосиф Бродский. Если бы вы смогли помочь ему, это было бы истинное благодеяние. Совсем молодой человек, среднюю школу не кончил, подрабатывает в геологических партиях рабочим, в семье его считают пропащим... Если бы вы смогли дать ему какой-то заработок... Поверьте, никого лучше, никого талантливее в Питере не найдете!» И далее разливаюсь соловьем, ибо почувствовал – клюет! Я искренно не понимал, что есть люди, которые не могут писать на заказ, творить вопреки избранному жанру или выработанному стилю... Я был движим желанием помочь таланту «пробиться» в советское кино!.. Режиссер слушал, слушал, а потом говорит: «Адрес и телефон его не нужен. Бродский – мой племянник. Мы в семье, действительно, считаем его пропащим, но раз уж такой человек, как Вы, его цените...» Потом я начисто забыл этот смешной разговор, а вспомнил его случайно, через много лет, когда в 1973 году Владимир Марамзин прислал мне три тома сочинений Бродского для написания предисловия. В одном из них я и увидел текст сценария (если не ошибаюсь, «Сады Павловска»). В редакционном примечании (видимо, Марамзина) говорилось, что по этому сценарию был-таки снят фильм, который получил высокую оценку начальства – но с оговоркой: Комитет кинематографии рекомендовал студии «Леннаучфильм» переделать весь закадровый текст! Все-таки у них служили молодцы в главке, люди с чутьем! Ведь имя Бродского вовсе не было тогда запретным. И известным не было – никому, кроме горсточки питерских любителей рукописной поэзии. Но чиновники в Москве, восхищаясь сделанной лентой, учуяли-таки в тексте неизвестного никому автора чуждый им душок. И попросили – убрать! Что на свой лад, конечно, доказывает: они тоже были люди талантливые! В своем, разумеется, деле.

Я вскоре встретился с Кирнарским, и он, усмехаясь, рассказал, как труд-

но ему пришлось с новым сценаристом, как, придя на просмотр, Бродский гаркнул: «Это вы – редактор? Вас надо распять на экране!»

...Оговорюсь сразу: никогда я не был, что называется, накоротке с Иосифом. Поэтому возникают в памяти лишь странные, как бы случайные сценки. Вот на выпускном вечере в Токсовской заочной школе я кричу «во весь голос» своим ученикам-железнодорожникам: «Запомните, все мы живем в эпоху Иосифа Бродского! Запомните это имя сегодня!» Они смеются: ну, выпил учитель, ну, с кем не бывает! Еще помню, как в квартире у Травинского Иосиф впервые прочитал «Шествие». Считалось это действие неким событием: ведь первая большая поэма Иосифа! (Или я ошибаюсь? «Авраам и Исаак» были написаны раньше или позже? Не помню уже, но точно помню – «Шествие» воспринималось нами именно как первое сочинение Бродского в крупном жанре. Этакие «бродские» «Руслан и Людмила»!) Народу набилось – от стены до стены (я-то – как свой – посажен был просто на пол...). Иосиф читал нараспев, как шаман на камланиях, я не улавливал почти ни слова. Но четко помню свое разочарование: поэма мне решительно не понравилась... Запомнилось же действие вот почему. Во время антракта Иосиф вдруг сказал: «Ребята, сейчас я буду читать жутко антисоветский кусок». Уж тут-то я вслушивался в его «пение» изо всех сил (любил антисоветчину, что уж...) – но не услышал ни одного крамольного слова...

Думаю, та читка и сыграла роковую роль в его судьбе. Не может такого быть по тогдашним временам, чтоб в столь многолюдном «незаконном сборище» у ГБ не нашлось хоть завалыщего информатора! Информатор, конечно, тоже ничего не разобрал в заунывном чтении, но зато услышал, что там есть «жутко антисоветский кусок». После такого донесения, думается, и началась разработка операции по удалению вольнодумца из города – «за тунеядство». Гебисты не идиоты, и когда у Бродского появились «нарочные» с ордерами на арест и обыск, то, конечно, те, кто скрывался за их спинами и планировал комбинацию с «тунеядством», были убеждены: у столь плодовитого автора не может не найтись каких-то антисоветских строк. «Игра» велась по сценарию «социалистической гуманности»: можем, мол, упрятать его лет на пять лет за антисоветчину, но ограничиваемся ссылкой... Гуманисты же! Не сталинские времена... Что-то в этом роде говорили в правлении Союза писателей Ефиму Эткинду, когда он вступился за Бродского: мол, лучше бы вы благодарили органы за их гуманный подход. Но этот номер у них не прошел: Ефим справедливо возразил, что «гуманность у КГБ не в заводе», слава Богу, мы эти органы знаем, и если бы что-то нашли у Бродского политическое, то не смолчали бы, даже если бы и не упомянули об этой находке в приговоре... Нет, органы принципиально ошиблись в оценке объекта своей операции, они были введены в заблуждение обычным их профессиональным недостатком – излишним доверием к оперативной информации. В сущности, даже такой неопытный в конспиративных делах человек, как я, выигрывал у них многие игровые ситуации лишь за счет самой примитивной дезинформации «оперативных источни-

ков». В этом пункте они, обычно люди донельзя недоверчивые, делаются наивными, ну, как дети! На чем и ловятся...



В 1963 г. мне, конечно, хотелось пойти на суд над Иосифом. Но я, скажу откровенно, боялся. Только что женился, очень любил молодую жену, а себя, конечно, я тоже знал: если появлюсь там, то не сдержусь – во что-нибудь вляпаюсь и сяду вслед за Иосифом. Так оно, по сути, и получилось, но – десять лет спустя! Где-то моя бывшая боязливость вызрела гнойником и вот – нарыв прорвался в тот самый момент, когда я предложил Марамзину написать о Бродском свою статью-предисловие.

...После ссылки Иосифа мы более с ним в Питере не встречались. С моей стороны не было позыва – Иосиф попал в разряд знаменитостей, и, соответственно, я стал его избегать. С его же... Думаю, как ни странно, он тоже охладел ко мне, потому что не забыл истории со сценарием. Иосиф, как мне видится, принадлежал к той породе, что не прощают ни дальним, ни ближним попыток помогать, тем паче – в «пробивании». Многое в этом чувстве, по-моему, сгустилось: возможно, страх соблазна польститься на успех (тоже ведь – был человек)... И еще – отстраненность таланта, изначально ощущавшего свое превосходство над окружающими, неприятие покровительства тех, кого он ощущал мелкотравчатыми, – своих доброжелателей-«удачников», которым повезло в карьере, но ценой немалой – приспособились люди к житейско-советской модели поведения (аналогичный тип гения я иногда наблюдаю в истории – скажем, таким был Рихард Вагнер. Как этот гений обошелся со всеми своими «благодетелями» – с дирижером Бюловым, с баварским королем, с Мейербером, да и с теми евреями в мире музыки, что открыли его, восхищались, ахали и возносили до небес «мало кому известный талант»... Такого Вагнера и Бродские не прощают).

К сей мысли я пришел много позже, в 1988 г., в Штатах, в Амхерсте, куда привез меня в гости к Иосифу весьма энергичный Юз Алешковский. Иосиф казался мне теперь не диковато-отчужденным юношей, как в Питере, а простым и благожелательным человеком, что называется – хозяином положения. Едва ли не первое, что выговорил он при встрече после многолетней разлуки: «Миша, ты привез что-нибудь свое в Америку? Может, хочешь, чтоб я порекомендовал в свое издательство?» Сам бы я ни о чем его не попросил, не так воспитан, но раз сам предлагает... Со мной была рукопись «Путешествия из Дубровлага в Ермак», и через день мне позвонили из «его» издательства... Ничего из проекта не вышло, что и закономерно (не американская это книга!), но запомнилось, с какой охотой и удовольствием он оказывал свое покровительство. Вот тут была его истинная стихия! А обратный вариант – он не терпел...

Но, повторюсь: в промежутке от ссылки и до выдворения из Союза мы близко не соприкасались – только в аудиториях, только на читках. Однако

в эти именно годы я сделался, как это тогда называлось, «активистом самиздата». Новые стихи Иосифа доставал мне коллега-приятель В. Марамзин, он вообще был главным источником моего неподцензурного чтения. И, как говорится, я «находился все время в курсе»...

Когда поэта выкинули из России, мы побаивались, что он как творческая личность кончился навсегда. Как ему писать на великом уровне, утратив языковую стихию, «дикое поле» русской лексики, утратив читателей, чувствовавших все оттенки бесконечного ряда культурных ассоциаций, да и просто лишившись страстей, которыми он от нас заряжался, – независимо от того, понимал ли свой исток сам поэт. «Там» он окажется чужим, «там» – кто же оценит Дух! (Я, как видите, отнюдь не скрываю уровень нашего понимания – мировой ситуации вообще, поэзии в частности. В конце концов, мы были типичными советскими молодыми людьми, нафаршированными молвой о том, как бедовали за границей писатели-эмигранты, особенно всякий поэтический молодняк...) Короче, судьба Иосифа виделась оборванной на высшей точке творческой дуги. Мы не сильно, видимо, отличались в понимании ситуации от наших сверстников из КГБ, только цели у нас были противоположные: они-то хотели этой высылкой задушить голос поэта, а мы беспокоились о том, чтобы сохранить его для будущего, для истории (в историческое бессмертие поэзии Бродского мы, действительно, уже тогда верили).



В 1972 г. я переехал в новый жилкооператив Союза писателей на Новороссийской улице. Писателей там жило сравнительно немного, а, в основном, купленные в доме квартиры предназначались для их детей. Моя семья сдружилась с молодежным кружком, который крутился в доме вокруг Вахтиных (семьи сына лидера тогдашней ленинградской «молодой прозы», основателя группы «Горожане» Б. Вахтина) и Маши Эткинд, дочки профессора Ефима Эткинда.

Примерно через год, весной 1973 г., в пустой гостиной Дома писателей я повстречал Владимира Марамзина, тоже одного из лидеров ленинградской «молодой прозы» и участника «Горожан».

В СССР действовала стихийно сложившаяся сеть распространителей «самиздата». Марамзин был одним из ее ленинградских «резидентов». Именно от него я регулярно получал «самиздатские» рассказы, романы, документы, статьи. Где добывал их сам Марамзин – представления не имею, но по прочтении все получаемое я должен был аккуратно возвращать. Однако и Марамзин тоже не знал, что полученные от него экземпляры я относил надежному человеку – машинистке Людмиле Эйзенгардт и распечатывал в пяти копиях. Четыре продавал знакомым, каждую за 20% от общей стоимости работы машинистки (листы перемешивались, чтоб качество любой копии оказалось одинаковым, себе же за «организаторскую работу» в качестве гонорара брал первый экземпляр). Сеть была неуловимой. Повторяю: Марам-

зин ничего не знал о моих «клиентах», я был для него только читателем; в свою очередь, я тоже не поручусь, что кто-то из моего «кооператива» не делал со своего экземпляра еще пяток копий – уже для своего круга...

Итак, я встретил Володю в Союзе писателей. Он сообщил: «Пришло письмо из Штатов. Иосиф Бродский стал большим человеком...» И показал мне письмо, где рассказывалось об американских успехах Бродского. Подпись Володя закрывал рукой (нравились Марамзину конспиративные игры! Позднее, прямо лучась от удовольствия, майор КГБ Рябчук сообщал: «Это было письмо от Киселева! Киселева!»).

Потом Володя сказал: «Собираю все, написанное Иосифом. Он уехал без единого листка. Мы решили, пока стихи не потерялись, собрать их – у баб, у родных, друзей, приятелей... Сделать собрание сочинений. Как положено: с комментариями, датировками, расшифровками посвящений... Он оказался жутко плодовитым автором! Три тома мы собрали. Еще два сейчас добираем – стихи на случай, в подарок, детские, переводы, записи разные... Все ерунда, но для полного собрания и это необходимо. Трудность в том, что никто не берется написать предисловие. Не потому, что боятся ко-го-то, но боятся – ответственности».

(Я не знаю даже сейчас, кто конкретно тогда входил в марамзинское «мы». Точно наличествовал литератор Михаил Мильчик: уже позже, сразу после обысков у меня и Марамзина, Миша пришел к нам в дом и рассказал о своем участии в «проекте» – рассказал, разумеется, не в квартире, а на лестничной площадке, у лифта. От него я впервые и услышал, что все тома Бродского «уже там, там!»). А недавно довелось читать, что все публикации «российских» стихов Бродского опираются сегодня на так называемое «марамзинское собрание»).

Надо сказать, что примерно с 1971 г. я не мог пробиться в печать. Никуда! Пробуя вырваться из этого, на свой лад, мистического невода (мне в голову не приходило, что мной уже интересуется КГБ!), я пробовал себя все в новых и разных жанрах – например, вместо прозы и публицистики писал сценарии или внутренние рецензии. Марамзин про мои «пробы пера» знал, и в его реплике: «Никто не берется писать» – конечно, таился некий косвенный вызов в мой адрес. Я его так и понял и сам предложил написать нужную для собрания сочинений вступительную статью.

Летом 1973 г. Марамзин прислал мне на дом требуемое для работы «сырье» – три тома, основной корпус лирики Бродского.

...Сегодня известно, что к тому времени о Бродском уже писали мастера на Западе, включая великого англоязычного поэта Одена. Но в Союзе мы об этом абсолютно не подозревали. Молодым питерцам Бродский виделся как «самиздатский» поэт, то есть как стихотворец, существующий вне нормального литературного процесса. И теперь – прочувствуйте мою задачу, ту, что отпугнула прочих «кандидатов»: мне виделось, что я окажусь первым в истории исследователем творчества великого поэта! (Помню, с какой дрожью – не в переносном, в буквальном смысле слова – я снабдил в этой

статье Иосифа таким эпитетом. Ощущалось жуткой, хотя неизбежной дерзостью – присваивание подобного звания современнику.) Возможно, я действительно оказался первым исследователем Бродского в России? Статья, авторские экземпляры которой хранятся в архиве ЛенУКГБ, надеюсь, даст профессиональным исследователям поэтики слепок того, как воспринимались ранние стихи Бродского неким «голосом из хора шестидесятников».

Конечно, начинающему критику делать профессиональный разбор поэзии Бродского было «не по чину» – я быстро это понял. Но как отказаться от задания? Подвести Марамзина, сорвать выход пятитомника, спастись... Нет. Требовалось нащупать, каким образом литератор М. Хейфец мог оказаться читателю интересным в качестве автора вступления к первому собранию сочинений великого поэта. И я решил, что единственно возможный для меня путь – не углубляться в профессиональный анализ его стихов, а рассказать читателю, как исторически возник в Ленинграде феномен поэзии Бродского. Почему в блестящем созвездии питерской школы (С. Кулле, Г. Горбовский, А. Городницкий, Е. Рейн, А. Кушнер, Л. Лосев, В. Уфлянд, В. Британишский, Б. Стратановский, В. Лейкин, Т. Галушко – я называю первые всплывшие в памяти тогдашние имена) Иосиф считался бесспорно номером Первым.

Нет смысла излагать содержание написанной статьи: перескажу общую идею. Суть сводилась вот к чему. Иосиф Бродский – поэт неполитический, не антисоветский, исторически преходящие явления, вроде советской власти, его не интересуют вовсе. Но любой поэт живет среди современников. Хотя считает себя орудием Языка, но ведь Язык – творение народа, и Ленин был прав: «Жить в обществе и быть свободным от общества – нельзя». Никакой башней, отгораживающей Творца от суетности и пошлости мира, нельзя оборвать его связи с людьми – через тот же Язык, к примеру. Допустимо, например, что поэта Бродского в 1969-70-х гг. действительно увлекла специфическая литературно-творческая задача – сымитировать «Римский цикл» Марциала или Катутла – без каких-либо политических аллюзий. Но почему в глубинах его подсознания возникла именно эта творческая идея и именно в то время? Ход рассуждений был таков: после оккупации Чехословакии в окружавшем Бродского обществе рухнула, вернее сказать, растворилась стержневая коммунистическая идеология (в ее различных, в том числе оппозиционных советскому режиму вариантах). В коммунизме имела своя внутренняя логика и этика, свойственная такой системе идей. Оккупация малой коммунистической страны коммунистической империей являлась феноменом, ну никак не укладывавшимся в азы коммунистической этики. Акцию такого сорта идеология вынести, не сломавшись, не могла – ни при какой погоде! После 1968 г. в СССР осталась жить голая имперская идея захвата и покорения чужих народов – в ее незамутненно державном виде. Бродскому, естественно, дела не было ни до коммунизма, ни до империальности, но поэт не мог не ощутить глубинный сдвиг в обществе, в коем жил этот Орган мира сего. В «Римском цикле» невольно даже для создателя отразилась грядущая гибель ленивой, пошлой, сгнивавшей от бездуховности и потери моторных идей империи.

Естественно, мой тезис доказывался цитатами и сравнительным анализом стихов – «до» и «после». Именно фрагмент, посвященный Чехословакии, позднее инкриминировался мне (сам я «следственный» анализ моей статьи не видел, но нет оснований отвергать его правильность: статья, несомненно, была антисоветской). Поэтому, когда она оказалась в руках заказчика (Марамзина), тот элементарно (и естественно!) испугался: «Миша, нас всех посадят, и культурное начинание будет погублено». Я мог, конечно, рисковать – но собой же, а не им и всей компанией. Поэтому согласился на его предложение переделать статью – «деполитизировать», как впоследствии деликатно выразился следователь В. П. Карабанов. Но усилия что-то сделать, что-то изменить кончались пшиком: то ли не под силу оказалось написать литературоведческую статью, то ли просто неинтересно мне было переделывать... И я совершил неосторожный поступок: стал показывать рукопись знакомым литературоведам и писателям, которые могли дать какой-то совет насчет ее «переработки». Сколько-нибудь полезную идею не подсказал никто, но вот информатор органов среди них нашелся...

Давал я читать рукопись, например, Маше Эткинд. Не без задней мысли, врать не буду – надеялся, что если статья Маше понравится, она, возможно, покажет ее своему прославленному отцу. Ефим Григорьевич считался в тогдашнем Питере лучшим знатоком поэзии вообще и поэзии Бродского в частности. Расчет сработал – однажды Маша прибежала к нам: «Приехал папа, хочет с вами поговорить».

Так мы встретились с Ефимом Эткиндом в первый раз.

Профессору статья понравилась, причем настолько, что он не ограничился устной похвалой, а приложил к моему тексту исписанный с двух сторон листок – собственную рецензию. Однако имелось у него существенное возражение – собственно, его мы с ним тогда и обсуждали. Эткинд писал, что, со слов самого Бродского, знает: имперскую сущность коммунистической державы поэт осознал не в 1968 г., а в 1956 г., после Венгрии. При всем уважении к авторитету Эткинда я исправлений в свой текст вносить не стал. Ибо, если даже принять как факт, что Бродский нечто подобное Эткинду говорил (наверно, так было!), я-то анализировал тексты поэта, а не устные его сообщения о себе. И мной явственно ощущался сдвиг в мироощущении поэта после 1968 г., а не ранее.

Но я сделал две роковые, как выяснилось, ошибки. Гордясь высокой оценкой профессионала-литературоведа, приколотил его рецензию к первому экземпляру своей рукописи. И – позвонил Марамзину: видимо, бессознательно стремясь к реваншу за отказ от моей рукописи (все мы, человеки, слабы!), похвастал по телефону: «Сочинение прочитал Машкин отец, и оно ему понравилось». Но телефон-то Марамзина уже был «на кнопке», как я понял впоследствии, а, значит, невольно я дал ЛенУКГБ дополнительную и важную для них информацию.

Другой оплошностью было то, что я показал рукопись соседу по дому, поэзику В. Он был человеком неплохим, но, увы, слабым и развращенным

близостью к властям и вытекавшими из государственного подкупа писательскими привилегиями. В тот день, когда он возвратил мне рукопись, я как раз и заподозрил в нем внештатного сотрудника органов. Но, как ни глупо это звучит, не придавал своим подозрениям особого значения. Ну, стукач, но не идиот же он, не станет закладывать соседа, приятеля, с которым вместе детей выгуливает? Что, не найдет объекты для доносов менее близкие, менее опасные для себя? Я рассуждал как бы вполне разумно – но в том и таился роковой просчет моего обычного подхода к жизни. Люди часто не в состоянии рассчитать выгодную им самим линию поведения; именно неразумность (иногда даже безумие) – самая неподрастная особенность человека.

Через некоторое время я узнал от врача В. Загребы, что Марамзин, устав дожидаться нового варианта статьи (а, может, разуверившись в моей способности ее написать), заказал предисловие другому человеку (помнится, Загреба назвал мне фамилию автора – поэта Игоря Бурихина). Это стало сильным моральным облегчением для меня: теперь я мог больше не биться над исправлением текста, который изначально изготавлялся именно таким, каким я мог и хотел его сделать. Другой человек исполнил всю необходимую общественную работу – слава Богу! Я положил все отпечатанные на «Электрооптима» экземпляры статьи в архивный ящик своего письменного стола и... забыл о них. (Замечание в скобках: Марамзина, видимо, мучили некие комплексы относительно отвергнутого им заказа, и он обещал все-таки позже передать мой текст в редакцию самиздатского журнала «Евреи в СССР». Так я впервые узнал о существовании сего органа. Интересно до сих пор, по этой или по какой-то другой причине, но к моему «делу» ЛенУКГБ сочло нужным подключить редактора «Евреев в СССР» профессора Александра Воронеля? По делу он, однако, прошел сравнительно благополучно, как и Ефим Эткинд, – всего лишь выдворен из СССР.)



Утром 1 апреля 1974 г. меня будит жена: «Мишка, к тебе пришли».

Возле подушки возвышается крепкий мужик.

– Мы к вам из КГБ, Михаил Рувимович, – и сует под нос книжечку: «Старший лейтенант КГБ Егерев». С ним был лейтенант КГБ Никандров, кто-то еще и, как бы выразиться... их понятия.

Странно – но я нисколько не удивился. Смотрелось, как в кино.

– Райка, кинь трусы, – с такого возгласа и началась моя тюремная жизнь.

Практически в тот момент я начисто забыл про давнюю статью о Бродском. Ну, лежит что-то в архиве... Во-первых, не принята заказчиком, следовательно, это документ личного писательского архива. По меркам того времени – неподсудный феномен. И вообще я просто забыл, о чем писал полгода назад! Работал много, успел сделать куда более опасную рукопись. Настолько опасную, что ее, единственную, замаскировал в столе. Только ее обнаружения и боялся! Но гебист Никандров подержал ее в руках и... отло-

жил в сторону. Так началась моя удивительная «везуха» по части обыгрывания КГБ (ее завершением стало появление в парижских издательствах двух книг, написанных в зонах и ссылке).

Когда гебисты извлекли из брюха письменного стола «Бродского», я, правду сказать, забеспокоился, но не о себе, а об Эткинде. Вот – замешал постороннего человека в дело! Гебисты были обрадованы находкой, но как-то тихо растеряны... Меня после обыска не арестовали, хотя по канонам должны были вроде... Из чего был сделан вывод, что меня не арестуют. Как выяснилось – ошибочный: увели в следственный изолятор через три недели.

В тот трехнедельный промежуток мы встретились с Эткиндром второй раз. Он приехал на Новороссийскую и увел меня погулять в парк Лесотехнической академии, находившийся напротив нашего дома. Обсуждалась некая юридическая тонкость...

Я изложил ему тактику, избранную мной на допросах (меня уже несколько раз допрашивали – «как свидетеля»): мол, ходил советоваться с разными специалистами, как мне «деполитизировать» статью, следовательно, с точки зрения закона правонарушений не совершал – не распространял сочинение, а напротив, хотел обезвредить... Эткинд, соответственно, тоже ни в чем не должен считаться виновным: когда ему дали статью, он же не знал ее содержания и читал текст как консультант по поэтике, а когда прочел – указал на ошибки. Но ситуация нашей «посредницы», Маши Эткинд, выглядела юридически уязвимой: она-то статью дала читать отцу, т. е. совершила чистый криминал «распространения с целью подрыва и ослабления»... И мы договорились с Ефимом, что вовсе не будем упоминать про участие Маши в деле: сохрем, что отдал я ему статью лично, напрямую...

Я не понимал серьезности собственного положения, тем более – ситуации Эткинда. Ну, прочитал он мою статью, так что из того?

– Понимаете, – объяснял мне в парке опытный собеседник, – они не в состоянии понять, что мы действуем как свободные люди – каждый сам по себе. У них существует издательство «Советский писатель», и у нас должен быть «Антисоветский писатель»! У них есть их авторы, вы – наш автор, у них составители, значит, Марамзин – наш составитель, у них главный редактор Лесючевский, у нас я – главный редактор...

Сейчас, оглядываясь назад, я полагаю, что мой арест явился следствием просчета ЛенУКГБ, как и дело самого Бродского по обвинению в тунеядстве. Узнали о подготовке пятитомника, получили через В. черновик-предисловие («мы имели ксерокс», выразился на допросе полковник Л. Барков – тогда я впервые и услышал этот термин, до того про ксерокопирование не знал ничего, только про фотокопии). Они имели, видимо, закордонную информацию, что пять томов «уже там, там» – и, как выделось, обладали полноценным фактажом для привлечения меня к суду. Обнаружили некое домашнее вольномыслие, позволявшееся по тем временам либеральничавшими властями, а прямой контакт с заграничными «центрами», что было строжайше запрещено! Изъятие из моего архива *всех* экземпляров статьи о

Бродском явилось большим разочарованием для следотдела ЛенУКГБ. Из-за чего меня, наверно, и оставили на три недели на свободе... Но информацию перепроверили и, когда подтвердилось, что предисловие «там», за кордоном, – решили брать! Роковым для расчетов начальства оказалось, как мне виделось потом, на допросах, обстоятельство, что предисловие-то оказалось не моим, а бурихинским...

Конечно, моя статья была несомненно антисоветской – в этом пункте я с органами не спорил и не оспариваю их мнение и сегодня. В конце концов, я не был ребенком и понимал, на что иду («Посадят тебя, Мишка», – говорила мне жена, прочитав статью о Бродском. «Пусть посадят», – ответил я и точно помню, вполне сознательно принимал такой вариант судьбы). Тем не менее, согласно самими же властями придуманным правилам юридических игр, некое «домашнее вольномыслие», не выходявшее за рамки личного круга знакомых, вроде не подлежало наказанию по суду – об этой позиции объявил «городу и миру» генсек Брежнев. И еще, по их же, советскому, закону, если человек отказался от «преступного намерения» до того, как про его правонарушение успели узнать власти, – наказанию по суду он тоже не подлежал. Вот по этим, предложенным ими самими правилам игры я и вел партию со следствием – не без успеха, признаюсь. Первое: сумел скрыть свое участие в распространении «самиздата» (изобразил, будто являлся пассивным покупателем рукописей на «свободном рынке»). Скрыл «самиздатский кооператив» (о нем не узнали ничего). Второе: статью изобразил черновиком (каким она фактически и оказалась), который под влиянием советов Эткинда и Марамзина я лично забраковал. Потому нигде и не напечатана...

Важной ошибкой следствия я считаю нечаянную проговорку старшего лейтенанта Карабанова, юриста тонкого и умного: пытаюсь убедить меня рассказать правду о том, как статья попала в руки к Эткинду, он сказал: «Остальные свидетели нам не так интересны, но про Эткинда и Марамзина мы должны выяснить все точно». Тут я понял, кого именно намечено ввести мне в «подельники» и, соответственно, – как построить линию защиты.

Вторую ошибку допустил другой следователь, майор Рябчук: «Эткинд – ваш интеллектуальный соавтор», – заявил он на допросе. Так вот, значит, на каком основании и в какой роли Ефима собираются привлечь к суду? Теперь я мог планировать свою контригру юридически грамотно.

Третьей ошибкой ГБ оказалось помещение меня в одиночную камеру почти на весь срок следствия (за исключением краткого периода, когда ко мне посадили «наседку»). В одиночке было время и возможности мысленно проработать все оттенки следовательских вопросов, выявить их систему и, таким образом, предугадывать их последующие шаги и подкидывать свои якобы открытые ответы.

Признаю: в КГБ работали умные и талантливые юристы, но в избранном мной дебютном варианте они при правильной игре обречены были на поражение. Я ведь объяснял, что да, мол, написал антисоветскую статью, но под влиянием ее оценок, в первую очередь Марамзина и Эткинда, от

преступного замысла сам и отказался. Эткинд указал на фактическую ошибку? Указал! Конечно, профессор критиковал меня не так, как это сделали бы в райкоме КПСС, но – он критиковал! Исправить статью, согласно его критике, я не сумел – потому сам, добровольно отказался от публикации. И Эткинд куда как в этой ситуации виделся хорош, но и я тоже...

И тут убедился, что даже профессионалы в их системе играют по системе Остапа Бендера. То есть когда партию можно выиграть, они проведут миттельшпиль по правилам и с блеском («я чту уголовный кодекс!»). Но когда придется проигрывать (а всегда выигрывать не дано никому – во всяком случае, никому из смертных), в эндшпиле украдут с доски ладью или вломят оппоненту доской по глупой голове. Честно признаюсь, я был поражен бесстыжим беспределом – и мое презрительное возмущение этими игроками отразилось в ехидном «посвящении» им первой лагерной книги – «Место и время».

Будучи в следственном изоляторе, я понятия не имел, что тогда творилось на воле: прочитал об этом через 6 лет в книге Эткинда. Признаюсь, *post factum* был восхищен тем контекстом, в который заочно мое имя вставляли. Вот навскидку две цитаты. Юрий Вячеславович Кожухов, профессор истории СССР, член-корреспондент Академии педагогических наук, проректор ЛГПИ по научной работе: «Вопросы Эткинду я бы задавать не стал. Двойственности тут нет – это тактика врага. Он на своей позиции стоит давно и твердо, начиная с 1949 г. и кончая 70-ми годами, когда эволюция неизбежно столкнула его с такими подонками, как Солженицын, Хейфец, Бродский и др...» Исаак Станиславович Эвентов, профессор кафедры истории советской литературы: «Я почти не соприкасался с Эткиндром... Он стал духовным отцом для проходимцев, молодых антисоветчиков, распространителей Самиздата. Эти энергичные молодые подпольщики – Хейфец, Марамзин – смотрели на Эткинда... Он был в известной степени знаменем какой-то части молодых людей, которых т. Брежнев... назвал сорняками» (Записки незаговорщика. Лондон: ОРІ, 1977. С. 64–65). Пикантность ситуации усугублялась тем, что если Эткинда-то я практически не знал и даже советами, которые он мне дал, пренебрег, то как раз с Кожуховым и Эвентовым был знаком неплохо: у первого дома бывал, второй считался в аспирантуре моим научным руководителем – так что чисто формально именно он и должен был прославляться в Ленинграде как мой «духовный наставник»...

Следствие велось по следующей методе. Сначала я отказывался говорить – и тогда следователь осторожными вопросами «наводил» меня на того или иного свидетеля. «Михаил Рувимович, – говорил он, – вы же видите, что про имярек мы все равно знаем все нужное. Так что для свидетеля нет особой разницы, назовете вы его или нет: я все равно буду обязан его вызвать. Но если у меня нет ваших показаний, то он, конечно, откажется – "знать, мол, ничего не знаю" ... Для вас разницы нет: у нас имеется письменная рецензия Эткинда, есть и пометки Марамзина на рукописях, и этого вполне хватит прокуратуре, чтобы вас обвинить: два свидетеля – достаточная норма. Но для самих свидетелей разница выйдет немалая: я ведь могу сообщить на их место

работы, что они – недобросовестные свидетели... Они – люди творческого труда, живущие на доходы от договоров. Вы думаете, после такого сигнала с ними будут заключать договоры? А почему я должен их жалеть? У них своя работа, у меня – своя. Я же не прошу их давать ложные показания, наоборот, вы видите, я заинтересован только в одном: чтоб они подтвердили то, что происходило на самом деле! Но своей ложью они мешают мне исполнять мою работу. Почему ж я не имею права мешать им в их делах?»

Логика «паразитирования на нашей порядочности» (выражение, услышанное позже, в зоне, от украинского поэта В. Стуса) подействовала на меня. После освобождения мне приходилось слышать всякие легенды о пытках и всем прочем... Думаю, с точки зрения профессиональной морали пытки в ГБ могли в принципе существовать («зачем подследственный мешает нам работать?»), но как раз в общении со мной это оказалось бы для КГБ совершенно излишним инструментарием. Ибо я, действительно, сразу понял: засудят они меня или нет, это не зависит ни от каких показаний свидетелей или моих собственных, гебистов все показания интересовали чисто технически – свидетели должны «озвучить» (как сейчас говорят) оперативную информацию (которую суду поставлять не положено). Если на следствии кто-то что-то лишнее ляпнет, следователи его болтовней, конечно, воспользуются – почему ж нет? – но реально только одна оперативная информация считалась достоверной – на правах языческого предрассудка! Узнав, что в подельники ко мне намечено оформить двоих людей (Эткинда и Марамзина), а для остальных судебные кары не предусмотрены, я посчитал важным вывести из-под внесудебных ударов тех, кто подвергался опасности из-за моего бывшего легкомыслия. Потому вариант, предлагаемый следователем, смотрелся выгодным для меня – по многим параметрам. Первое: такой ход позволял оставить за пределами внимания КГБ друзей, читавших рукопись, но почему-либо не попавших в поле зрения оперативного надзора (Вахтиных, Коробовых, врача А. Ланского, моего соавтора Ю. Гурвича и его жену и многих других). Второе (и главное в тактике): признав «причастность» тех, кого следователи будут «припирать» моими показаниями, я вынуждал ГБ показывать знакомым текст моих показаний. Но коли следователю не требуется свидетеля «садить», то ведь ему безразлично само по себе содержание показаний, а только наличие таковых – чтоб убедить их «закрыть оперданнные». Поэтому я неизменно излагал, как тот или иной свидетель «давал мне отпор», «призывал отказаться от замысла» и пр. Следствию по-своему это выгодно, ибо давало возможность продемонстрировать в суде, какая у нас хорошая советская писательская публика и какой я отщепенец, если не внял предостережениям стольких хороших людей...

Разумеется, всегда выигрывать – не получается. Где-то я «проколотся», назвал кого-то, про кого следователь, оказывается, не знал (например, писательницу Марию Рольникайте). Но где-то «проколотись» и профессионалы... В целом, видится, что следствие я выиграл: удалось убедить, что с показаниями, которые есть против Эткинда или Марамзина, тащить обоих в суд – невыгодно. Санкцию на возбуждение дела против фигуры с такой

международной известностью, как Эткинд (он был не только мэтром в сфере поэтики, но крупнейшим в Союзе знатоком французской культуры, соответственно, человеком, популярным во Франции), Лубянка давала Большому дому, конечно, с неременным условием, что дело подготовят основательно и юридически чисто. Судить и сажать такого деятеля без улик представлялось даже Андропову нежелательным (сегодня-то я знаю, что Андропов был с Эткиндром знаком еще с войны). Возмутительная кампания, развязанная против Эткинда в Союзе писателей и на ученых советах, вроде бы должна была завершиться не высылкой профессора в Париж (пустили шуку в реку, называется), а внеслужебной командировкой в иную зону – в секретные места Мордовии или Пермской области. Но с набранным в итоге следственным материалом думать о процессе оказалось невозможно – пришлось трубить отбой! Заменить Дубровлаг Парижем...

Ход следствия тормозился, однако, определенной технической проблемой. Оперативный отдел, видимо, давно вел наблюдение за Эткиндром. Вот пример: кто-то им донес, что Эткинд дал мою рукопись артисту Сергею Юрскому, который готовил тогда программу из стихов Бродского. Майор Рябчук уверенно мне про это рассказывал, и, признаюсь, я был здорово польщен! Велико же было мое разочарование, когда через много лет я встретился с Юрским. Он приехал на гастроли в Израиль – я пошел к нему за кулисы, чтобы спросить, правду ли мне говорил в 1974 г. Рябчук, и артист твердо ответил: нет, ничего такого не было, ничего моего он не читал, они его тогда вызвали на допрос, «я им так прямо и ответил»... Может, у Эткинда мелькнула некая мысль, может, он озвучил ее дома, при включенных микрофонах, да тут же и забыл – мало ли что приходит в голову, а идея-то была зафиксирована в оперативно-наблюдательном деле как свершившийся факт! Поскольку «припереть» Юрского моими показаниями они не могли, он остался в ситуации «недобросовестного свидетеля», и вот – ведущего артиста БДТ пять лет не выпускали на сцену...

Любопытный психологический феномен: Юрский и в Иерусалиме отказывался мне верить, когда я объяснил ему эту механику. Понятно: человек может смириться с наказанием, даже суровым, если действительно в чем-то виновен. Но никак не может допустить, что, будучи, как говорится, «ни сном, ни духом», его – по «неисповедимой в нашей стране силе тайного доноса» (А. Солженицын) – выкидывают ни за что из театра – на годы... А ведь намекал ему главреж БДТ Товстоногов: «Пойдите в Большой дом, спросите, что они имеют против вас» – а Юрский не мог в такую абсурдную чушь поверить...

Но среди оперативных сведений, которые они собрали в квартире Эткинда, была точная информация о том, кто передал профессору мою рукопись. Маша! Следовательно для «зачистки» дела требовалось информацию «закрыть» свидетельскими показаниями. А я, конечно, уперся: как договорились с Эткиндром, все долбил свое – мол, все из рук в руки профессору отдал...

На одном из последних допросов Карабанов меня «расколол».

– Михаил Рувимович, я искренно не понимаю вашей позиции. Вы види-

те, что я ничего не придумываю – я не предполагаю, я точно знаю, что вашу статью Эткинд получил из рук Марии Ефимовны. В остальных случаях, когда вы понимали, что имеется информация, которой я точно владею, вы соглашались сотрудничать со следствием. Почему же именно в случае с Марией Ефимовной этот вариант не работает? Вот что меня беспокоит. Что вы такое особое в этом случае можете от нас скрывать?

– Ладно, Валерий Павлович, постараюсь объяснить. Давайте чисто гипотетически предположим, что вы правы. Вывод? Мы с Эткиндом находимся в прежней позиции, но Маша-то, несомненно, будет обвинена в «распространении». Зачем мне такие показания?

– А, понял... Что ж, по-своему логично. Но поймите вы и мою логику. Мы не заинтересованы в аресте Марии Ефимовны. Только этого не хватает: на скамью подсудимых рядом с вами сажать молодую женщину с грудным ребенком... Никому это в органах не нужно. Но и невозможно закрыть дело, пока имеется явное расхождение оперативных данных со свидетельскими показаниями. Есть еще обстоятельство, не известное вам. Уже принято решение разрешить семье профессора Эткинда выехать в Париж. Но пока ваше дело не закрыто, они будут сидеть на чемоданах в Ленинграде. Как только суд кончится, Эткинды выезжают во Францию, это точно. Вы не против им в этом немного помочь?

– Я хочу им помочь. Но не могу, Валерий Павлович. Над Марией Ефимовной в случае, если я приму как данность вашу гипотезу, может повиснуть обвинение по «семидесятке». Нет!

– А если предположить, что она не читала вашу статью? Зачем, на самом деле, ей читать? И, не знакомясь с содержанием, только узнав из заголовка, что статья о поэзии, о Бродском, отдала отцу как чисто литературоведческое сочинение. Тогда никакой ответственности она не несет...

– Пожалуй, такую версию можно обдумать.

Через некоторое время мне дали очную ставку с Машей. Какая оказалась редкая умница – мгновенно схватила суть новой ситуации, хотя и не понимала, зачем я изменил намеченный заранее с Ефимом план действий. «Мишину статью читала? Зачем? Это поэзия, а у меня грудной ребенок...» Врала с настоящей женской естественностью, так легко, так быстро, что мне казалось – даже следователь начал ей верить, будто не он сам всю эту историю для нас придумал...

Но вот показания согласованы, следователь разрешил «поговорить о бытовых делах», пока он сидит за пишмашинкой – оформляет протокол очной ставки, глубоко погружившись в текст. А сам, конечно, ушки наострил – вдруг интеллигентные простачки проговорятся о чем-то важном, думая, что он их не слушает...

– Как дела дома? – спрашиваю.

– Все по-прежнему.

– Как (называется чье-то имя)?

– Нормально.

- Как В.?
- В Париж уехал.
- Гонорар получил?
- Да.

Ничего интересного, правда? И следовательно ничего интересного не слышит... И УСЛЫШАТЬ не может – потому что при словах «гонорар получил?» я яростно тычу в грудь рукой. И Машка сразу поняла! Это была самая важная для меня в то время информация – сообщить на волю, кто же в нашем доме стукач. Пусть не поверят (не поверила, как выяснилось позже, даже моя жена) – но уж психологию-то писателей я знал хорошо: больше при В. откровенничать никто не будет. Береженого Бог бережет...



Я получил шесть лет: четыре зоны и два – ссылки.

Мое дело вызвало неожиданный общественный резонанс. До тех пор молодая литературная школа в Ленинграде рассуждала так: трудно жить и работать при этой власти, но Россия – единственное место в мире, где способен творить русский писатель. Что бы ни было, здесь всегда сохранялся шанс работать творчески и одновременно зарабатывать на жизнь – переводами, дубляжом фильмов, халтурками на малых студиях, внутренними рецензиями. Сама идея отъезда из СССР выглядела духовно порочной – если исключить, конечно, возникновение еврейского национального сознания в чьей-то литературной душе. Тогда считался допустимым отъезд. Но таких случаев было ничтожно мало. Кажется, в 1973 г. я получил вызов из Израиля. Узнав об этом, Боря Стругацкий сказал:

– Дезертирство это, Мишка! Мы держим фронт. Сплошной линии нет, каждый сидит в своем окопчике. Но я всегда знал, что где-то за горизонтом в своем окопчике сидит Мишка. И – было легче держать оборону. Сейчас ты дезертируешь. Езжай. Твой выбор. Но мне – будет труднее...

Когда же я рассказал о вызове Юрию Осиповичу Домбровскому, он откликнулся так:

- Значит, меня одного оставляете?
- Но здесь я никому не нужен.
- Вы не нужны здесь только тем людям, которые сами тут никому не нужны. А России вы нужны.

Я повздыхал... и остался.

Так же мыслили мои сверстники – участники литературного процесса. И Бродский так же: перечитайте-ка его предотъездное письмо Брежневу. И Марамзин – тот, даже выйдя из зала суда, не собирался эмигрировать: «Что русский писатель будет делать на Западе?» Но когда через шесть лет я вернулся в Ленинград, застал там литературную пустыню. Уехали почти все знакомые литераторы, причем не только изгои, но даже люди, признаваемые властями. Город опустел!

Я вовсе не связывал пустошь со своим делом: слишком скромное место в литературной жизни города занимал. И осознал случившееся, только много позже прочитав тексты Сергея Довлатова. Мы с ним практически не были знакомы (изредка раскланивались в Союзе писателей, и все). Тем не менее я упомянут четырежды в его собрании сочинений. Вот, к примеру, цитата из «Заповедника»:

– Я не поеду. Пускай они уезжают, – говорит жене герой повести «Далматов».

– Кто они? – спросила Таня.

– Те, кто мне всю жизнь отравляют. Вот пусть они и едут.

– Тебя посадят.

– Пусть сажают. Если литература – занятие предосудительное, наше место в тюрьме... И вообще за литературу уже не сажают.

– Хейфец даже не опубликовал свою работу, а его взяли и посадили.

– Потому и взяли, что не опубликовал. Надо было печататься в «Гранях». Или в «Континенте». Теперь вступитья некому. А так на Западе могли бы шум поднять.

– Ты уверен?

– В чем?

– Что Миша Хейфец интересуется западную общественность?

– Почему бы нет? О Буковском писали. О Кузнецове писали... Еще раз говорю – не поеду.

– Объясни – почему?

– Тут нечего объяснять... Мой язык, мой народ, моя безумная страна... Как раз березы меня совершенно не волнуют.

– Так что же?

– Язык. На чужом языке мы теряем 80% своей личности. Мы теряем способность шутить, иронизировать. Одно это меня в ужас приводит.

Как всякий истинный писатель, Сергей уловил глубинные мотивы в психологии наших коллег: «Просто я не мог решиться. Меня пугал такой серьезный и необратимый шаг. Ведь это как родиться заново. Да еще по собственной воле. Большинство людей и жениться-то как следует не могут».

Но в финале повести герой уезжает-таки в Штаты!

...После моего дела множество питерских молодых литераторов, у кого оказалась возможность уехать по израильской визе, покинули СССР. В Мичиганском университете продолжал профессорствовать Бродский, в Дартмутском колледже стал профессором Лев Лосев, в парижской Сорбонне – профессор Ефим Эткинд, в редакции парижского «Континента» и «Эха» работал Владимир Марамзин, в редакции иллинойского «Эрмитажа» – Игорь Ефимов. В «Новом американце» стал редактором Сергей Довлатов.

А в Иерусалимский университет зачислили нового сотрудника – Михаила Хейфеца.



кандидат философских наук, культуролог, автор большого числа статей и эссе, а также книг «Конец стиля» и «След». Живет в США.

СУДЬЮ НА МЫЛО!

Таким негодующим кличем футбольные болельщики в мои времена реагировали на решение рефери, если почему-либо стадион считал его несправедливым. О футболе мы сегодня говорить не будем; но о мыле речь зайдет. Еще одно предупреждение: тема у нас будет самая что ни на есть русская, но начнем издалека – из Западной Европы.

Недавно в «Нью-Йорк таймс» появилась статья Крэга Смита под названием «Страх перед исламистами способствует росту правых партий в Европе». Тут, прежде всего, нужно сказать, о каких правых партиях идет речь: не просто о консерваторах, каковыми в Германии, скажем, считаются христианские демократы, а в Соединенных Штатах – республиканцы. Нет, в этом заголовке, как явствует из дальнейшего текста, под правыми понимаются крайне правые, вроде Национального фронта Ле Пена. Сам автор сразу об этом и пишет:

До недавнего времени правые партии Европы привычно ассоциировались с фашистскими коллаборантами и корнями уходили, как считалось, в эпоху нацистской оккупации Европы. Сейчас к ним пришли, приходят, идут совершенно иные люди.

Какие же иные? А вот, скажем, на сторону правых партий переходит еврейское население европейских стран. Крэг Смит посылает свою корреспонденцию из Антверпена и сопровождает ее, натурально, местными деталями. К примеру: в Антверпене расположен крупный центр торговли бриллиантами, владельцы которого, преимущественно евреи, напуганы ростом

мусульманской преступности в этом районе. Ситуация обостряется израильско-палестинским конфликтом, находящим отзвук и здесь. Недавно мусульманские демонстранты в Антверпене сожгли чучело ортодоксально-го еврея, а чуть позже еврейского юношу-хасида ранили ножом.

Это, повторяем, местный колорит. Но Крэг Смит в «Нью-Йорк таймс» отнюдь не чуждается обобщений:

От Свободной партии в Австрии до Национального фронта Франции и Республиканцев в Германии европейские правые политические течения усилили свое влияние в последние годы, главным образом по причине растущего беспокойства, вызванного подъемом исламистского экстремизма среди мусульманского населения этих стран. Этот страх питается угрозой терроризма, растущим уровнем преступности среди мусульманского населения и обостряющимися культурными конфликтами с растущими мусульманскими анклавами. Отражение этого процесса в Бельгии – подъем партии За фламандские интересы, получившей на недавних выборах четверть голосов – по сравнению с десятью процентами в 1999 году.

Крэг Смит беседовал с главой партии Фламандские интересы господином Девинтером. Их беседа – точная копия любой такой, возможной в европейских странах, затронутых мусульманской эмиграцией.

Мусульманское население европейского континента ныне составляет 20 миллионов человек – большой рост в сравнении с тем временем, когда в послевоенной Европе, испытывавшей недостаток в рабочей силе, появились первые иммигранты из Турции и Северной Африки. Но к 1980-м годам экономические трудности и рост безработицы стали создавать напряжение между мусульманами и коренным населением. Ситуация обострилась тем, что по законам многих западно-европейских стран приезжие рабочие получили право выписывать свои семьи, и это создало новый, куда сильнейший поток мусульманской эмиграции в Европу: не забудем, что Коран позволяет многоженство.

Мы были очень наивны, – говорит г-н Девинтер, имея в виду тогдашнюю либеральную политику. – Терпимость – это ахиллесова пята Европы, а исламские иммигранты – это троянский конь.

Вот еще новый повод для беспокойства: обычно мусульманские иммигранты присоединяются к левым европейским партиям соответствующих стран, тем самым, конечно, усиливая их. Но сейчас возникло новое явление: рост исламского фундаментализма приводит к созданию самостоятельных организующихся мусульманских политических структур. Это уже не просто резерв старых европейских социалистических партий, но автономная и бросающая новый, небывалый вызов политическая сила Европы.

Не обходится и без курьезов. В статье Крэга Смита рассказывается об одном бельгийце: Жан-Франсуа Бастен, которому сейчас 61 год, обратился в ислам и сделал свой дом местом сбора радикальных исламистов. Он стал активным деятелем новой экстремистской партии Юных мусульман. Его сын находится в турецкой тюрьме по обвинению в участии в теракте, совершенном в ноябре 2003 года, в результате чего погибло свыше 60 человек.

Жан-Франсуа Бастен говорит, что акт 11 сентября был справедливым возмездием Западу, а Усаму Бин-Ладена называет современным Робин Гудом. Он красит бороду и носит арабские одежды, тюрбан. Уверен, что исламская теократия когда-нибудь да установится в Европе.

Это, конечно, курьезное исключение среди европейцев, и сам по себе Жан-Франсуа Бастен никого испугать не способен. Но ведь речь идет о неких массовых процессах, выходит с уровня индивидуальной психопатологии на уровень социологии. Крэг Смит свою статью в «Нью-Йорк таймс» заканчивает следующим образом:

По словам Девинтера, от четырех до пяти тысяч коренных жителей покидают Антверпен каждый год, и от пяти до шести тысяч эмигрантов неевропейского происхождения ежегодно поселяются в городе. По его прогнозам, в течение десяти лет люди неевропейского происхождения составят более трети населения Антверпена.

«Процесс идет очень, очень быстро, – говорит Девинтер. – Возможно, что это конец Европы».

Конец в данном контексте – категория будущего времени. Но вот давайте поговорим о прошлом – и тогда, кстати, дадим слово одному русскому, в высшей степени известному человеку.

Речь пойдет не более и не менее как о Федоре Михайловиче Достоевском. В «Дневнике писателя» за сентябрь 1876 года, то есть во время резкого обострения так называемого восточного вопроса и начала русско-турецкой войны на Балканах, Достоевский опубликовал небольшую статью «Халаты и мыло». Великий писатель высказался так:

...как-то раз... в заграничной прессе появилась странная вещь: в горячих, почти фантастических представлениях принялись воображать, что станет со всем миром, если уничтожить Турцию совсем и выдвинуть ее обратно в Азию. Выходило, что будет беда, страшное потрясение. Предсказывали даже, что в Азии, где-нибудь в Аравии, явится новый калифат, воскреснет вновь фанатизм, и мусульманский мир низринется опять на Европу. Более глубокие мыслители ограничивались лишь мнением, что взять-де и выселить этак всю нацию из Европы в Азию – вещь невозможная и вообще немислимая.

Великий русский писатель весьма находчиво высмеивает подобные опасения, приводя прецедент из истории Государства Российского: завоевание Казанского царства Иваном Грозным. Только овладели городом, пишет Достоевский, как внесли в него икону Божьей Матери и отслужили молебен, затем основали православный храм – и отобрали оружие у мусульман; «а царя казанского вывезли, куда следовало – вот и все; и все это совершилось в один даже день».

А сейчас эти татары торгуют халатами и мылом, и никакой угрозы от них не исходит: так сказать, мирные и счастливые подданные Российской империи.

Теперь нужно сделать в точности то же, уверяет Достоевский: поставить крест на Святой Софии, отобрать у турок оружие, запретив дальнейшее ношение такового, – и все устроится.

Ну, вот и все обеспечение тишины – и уверяю, что больше ровно ничего и не надо. Прошло бы немного – и турки тот час же принялись бы нам продавать халаты, а еще немного – и мыло. И, может быть, даже лучше казанского... Одним словом, ровно ничего бы не вышло, кроме самого хорошего и самого подходящего, и, повторяю, ни единого даже турчонка не пришлось бы выселить из Европы...

Нынешний читатель не может не заметить, что ситуация в Европе, да равно во всем мире несколько изменилась с тех пор, как великий русский начертал «Дневник писателя». К примеру, если раньше турки в Европе – это было немногочисленное сравнительно мусульманское население Балканского полуострова, входившего в состав Османской империи, – то сегодня, как мы видели из только что приведенной статистики, в Европе – по всей Европе, и особенно в Западной Европе, проживает двадцать миллионов мусульман. Одним турчонком, увы, не отделаться, дорогой Федор Михайлович.

Но Достоевский этим не ограничивается, он продолжает – допуская даже, что какая-то злокачественная реакция последует со стороны магометан:

И на Востоке ничего бы не произошло. Калифат-то, пожалуй, и объявился бы где-нибудь в азиатской степи, в песках; но, чтоб низринуться на Европу, в наш век потребно столько денег, столько орудий нового образца, столько ружей, заряжающихся с казенной части, столько обозов, столько предварительных фабрик и заводов, что не только мусульманский фанатизм, но даже самый английский фанатизм не в состоянии был бы ничем помочь новому калифату.

Ну что тут скажешь? Посмеяться над классиком мировой литературы, воспользовавшись тем, что слишком уж легкой мишенью он предстал через сто с лишним лет, – так не до смеху. И не то что над Достоевским

смеяться негоже – а вообще не до смеху. И кто ж мог думать, что этому самому «калифату» даже и не придется низринуться на Запад, а Запад сам придет и поклонится – за нефтью. И даже никаких ружей, заряжающихся с казенной части – страшное оружие! – не понадобится: во-первых, ружей этих сейчас во всем мире залейся, а во-вторых, их и не надо: достаточно, как выяснилось, спички, чтоб взорвать европейский авиалайнер. Со спичками, со спичками воевать приходится, спички искать! А если еще вспомнить, что потомкам калифата вот-вот в руки попадет атомное оружие – так тут уж совсем Достоевского забудешь!

С другой стороны, читаешь вот такой «Дневник писателя» – и предаешься сладкой ностальгии по блаженным временам. Хорошо жили самоуверенные европейцы! Сплошной прогресс предстоял: шутка ли, по железным дорогам ездили! Телеграммы посылали! Кохову запятую изловили! Ружья, заряжающиеся с казенной части, придумали – страшное оружие! Просвещенное человечество ускоренным маршем двигалось к пулемету – и к мировой войне 14-го года, после которой Оттоманская империя и впрямь пала.

Вот сейчас ее остатки и *обустраивают*. Таскать вам не перетаскать, как говорится в одной старинной книге.

Есть в нынешнем русском языке такое выражение: с точностью до наоборот. Пошлое выражение, но что еще скажешь, читая подобные страницы из Достоевского?

Дело, конечно, не в том, что в 1877 году Достоевский не мог видеть политической конфигурации, возникшей через полтора года. Никто не мог видеть, даже те мудрецы, которые уже тогда сомневались, возможно ли будет выселить турок из Европы. Кто б мог подумать, что их не выселять, а вселять понадобится? Понятно даже то мироощущение передового человечества викторианской эры, которое называлось европоцентризмом. Времена меняются – и мировоззрения с ними.

Настораживает и даже возмущает другое. Справедливо гордясь паспортной пропиской великого писателя в России, нынешние русские все еще готовы подбирать за ним любой сор. Сколько раз говорилось, писалось и доказывалось, что о Достоевском нельзя судить по «Дневнику писателя». Что в писателе не политическая идеология важна, а художественная картина мира, ему предстоящая. Но ведь до сих пор многие, слишком многие в России готовы видеть у Достоевского именно это: крест на Святой Софии и прочие глупости, выдавая отбросы и пыль прошлого за некую «русскую идею». Достоевский-де великий *православный* писатель! Утешает одно: Достоевский все равно им не по зубам, и замарать его не удастся: отмоет.

А Константинополя нам не нужно: обходимся же без Севастополя.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ СЕГОДНЯ

Лев Толстой – фигура, настолько устоявшаяся в своей мировой славе, что лишний раз напоминать об этом даже как бы и нескромно. Зайдите в любой американский книжный магазин – и на полке *фикшнс* и *литерачур* вы всегда найдете его книги. Он, что называется, *ин принт* – всегда в печати. Какие тут особые мероприятия потребны?

Но есть сегодня один, и вовсе немаловажный повод вспомнить о Льве Толстом – вспомнив опять же, что он был не только великим художником, но и очень интересным и, главное, влиятельным социальным мыслителем. Нельзя сказать, что и сегодня соответствующие его мысли и проекты актуальны; но он остается вполне актуальным как тип мыслителя, способного – если не прямо – то косвенно высказаться о многих современных проблемах. Причем остро высказаться. Поставим вопрос ребром: а как бы сегодня реагировал Лев Толстой на происходящее в мире? Какую бы он позицию занял в том конфликте, который стараются не называть, а все-таки проskalьзывает, – конфликтом цивилизаций?

Есть весьма серьезные основания думать, что Лев Толстой мог бы и не быть на стороне Запада. Тем более что Запад теперь очень уж разный, и о единой его позиции говорить не приходится. Сразу же вынесем за скобки самый острый вопрос – об 11 сентября: Лев Толстой был противником насилия, и этот акт террора он бы не одобрил. Но, с другой стороны: а много ли он и часто ли выступал против русских революционеров-террористов? Против пресловутых столыпинских галстуков – да, выступал, и очень ярко, в навсегда запомнившемся тексте: повесьте, мол, меня вместо этих молодых идеалистов, намыльте петлю и стяните на моей стариковской морщинистой шее.

Ну да ладно, перипетии давней русской революции – не 17-го даже, а 1905 года – дела, очень уж в прошлое отошедшие. Но вот неожиданно появился сюжет в новейшей российской истории, который Толстому был очень даже знаком, в котором он, можно сказать, активно участвовал: кавказские войны. Тут нас не должно интересовать, как молодым артиллерийским офицером Толстой в этих делах участвовал. Но вот что ни за какие скобки вынести нельзя – так это его позднейшую, стариковскую опять же повесть «Хаджи Мурат». А ну-ка, попытаемся поставить вопрос: за кого Толстой в этой повести: за князя Воронцова, наместника Кавказа, или за Хаджи Мурата?

Понятно, что этот вопрос с чисто литературоведческой точки зрения не очень корректен: великий писатель тем и велик, что готов принять все стороны. Он видит красоту и поэтому – правоту на любой стороне, на любой тропинке бытия, в любой ее былинке (вспомним знаменитый красный тарник). И нельзя ведь сказать, что Хаджи Мурат у Толстого – злодей: он –

рыцарь, воин, самурай, если хотите; кто уж в повести злодей, так это даже и не Воронцов, а Шамиль. Но Толстому не чужд тот строй жизни, который противопоставлен европейцу англоману Воронцову, и быт чеченских дуванов ему ближе русско-кавказской имитации европейского бомонда. Ему нравится, как давно уже известно, патриархальная простота. Балы же ему, как пушкинской Татьяне, не нравятся.

Ну и может ли забыть – не скажу русский, но любой, подчеркиваю *любой* чеченец – одну знаменитую сцену из «Хаджи Мурата»?

Я не буду повторять соответствующего описания: это похоже уже не на Льва Толстого, а на сообщения сегодняшних газет. Но вот какой абзац из этой главы стоит привести:

Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.

Прежде чем предаться дальнейшим ламентациям и рефлексиям, зададимся вопросом: а не испытывали ли подобных чувств жители Нью-Йорка, увидев развалины башен-близнецов? Только один – и только этот вопрос.

Как говорится, в эту игру могут играть двое.

Тем не менее у Толстого – и именно у Толстого – можно найти широко разработанное и ярко выраженное учение о лживости всей современной цивилизации, об излишествах утонченной культуры, даже о ненужности литературы – коли ему даже Шекспир с Вагнером не пришлось по нутру! И, наоборот, Толстой, особенно поздний, тяготел к тому, чтобы собственное творчество (коли он продолжал им заниматься – а он продолжал) строить по моделям простонародной литературы. Говоря по-нынешнему, он оправдывал масскульт, действовал по Лесли Фишеру (впрочем, я не уверен в том, не Фишер ли все это выудил у Толстого). Великолепная писательница Татьяна Толстая, на правах однофамилицы, что ли, взялась великого деда-всеведа разоблачить: так сказать, редуцировать к хаванине. Получилось, как спор молодых вегетарианцев в «12 стульях»: попробовал бы Толстой написать «Войну и мир» на рисовых котлетках! Так и Татьяна Толстая говорит, что упадок творчества позднего Толстого – следствие вегетарианской диеты. Особенно ее возмущает «Фальшивый купон» – вещь сильно новаторская. И неужели она не читала таких поздних вещей Толстого, как «Корней Васильев»? Будем считать выпады Толстой шуткой, причем неудачной.

Лев Толстой сильно чувствовал новые культурные возможности и испытывал к ним отнюдь не праздный интерес. Он, например, оценил кино. А я почти уверен, что Толстой полюбил бы молодого Хемингуэя, с его эстетикой изысканного примитива. Такие тяготения к изысканному примитиву были свойственны и Толстому.

Но ведь эта тяга, уже и мировоззрительно сублимированная, составляет суть того, что называлось толстовством. И здесь люди чуткие ощущали некие новые возможности. В. И. Ленин, например. Его статья о Толстом – вещь значительная. А в революцию люди еще более чуткие так и прямо обвинили толстовство в культурном погроме, устроенном русской революцией.

Сильнейший здесь текст – одна глава из статьи Николая Бердяева «Духи русской революции». Стоит процитировать его обширно:

...толстовство в широком, не доктринальном смысле слова очень характерно для русского человека, оно определяет русские моральные оценки. ...Толстой уловил и выразил особенности морального склада большей части русской интеллигенции, быть может, русского человека вообще. И русская революция являет собой своеобразное торжество толстовства. На ней отпечатлелся и русский толстовский морализм и русская аморальность. Этот русский морализм и эта русская аморальность связаны между собой и являются двумя сторонами одной и той же болезни нравственного сознания. Болезнь русского нравственного сознания я вижу прежде всего в отрицании личной нравственной ответственности и личной нравственной дисциплины, в слабом развитии чувства долга и чувства чести, в отсутствии сознания нравственной ценности подбора личных качеств. Русский человек не чувствует себя в достаточной степени нравственно вменяемым, и он мало почитает качества личности. Это связано с тем, что личность чувствует себя погруженной в коллектив, личность недостаточно еще раскрыта и сознана. Такое состояние нравственного сознания порождает целый ряд претензий, обращенных к судьбе, к истории, к власти, к культурным ценностям, для данной личности недоступным. Моральная настроенность русского человека характеризуется не здоровым вменением, а болезненной претензией. Русский человек не чувствует неразрывной связи между правами и обязанностями, у него затемнено и сознание прав, и сознание обязанностей, он утопает в безответственном коллективизме, в претензии за всех. Русскому человеку труднее всего почувствовать, что он сам – кузнец своей судьбы. Он не любит качеств, повышающих жизнь личности, и не любит силы. Всякая сила, повышающая жизнь, представляется русскому человеку нравственно подозрительной, скорее злой, чем доброй. С этим особенностями морального сознания связано и то, что русский человек берет под нравственное подозрение ценности культуры. Ко всей высшей культуре он предъявляет целый ряд нравственных претензий и не чувствует нравст-

венной обязанности творить культуру. Все эти особенности и болезни русского нравственного сознания представляют благоприятную почву для возникновения учения Толстого.

Бердяев здесь негодует на любимого им Толстого. Он писал: мы любим Толстого, как родину. Но в 18-м году, когда писались «Духи русской революции», можно было на родину и рассердиться. А значит, и на Льва Толстого, который давно уже предчувствовал и не скрывал этих предчувствий, что скоро Вагнеры и Шекспиры пойдут с молотка. «Тащи в хату пианино, граммофон с часами!» Линия, так сказать, одна: программа и тактика.

И совершенно в том же духе – в толстовском духе – высказался тогда еще один гений русской литературы – Александр Блок.

Есть такой нынче даже и затасканный вопрос: возможно ли искусство после Освенцима? А вот русские гении этот вопрос сумели задать еще до Освенцима: нужно ли искусство, когда впереди Освенцим? А ведь Лев Толстой очень этот вопрос чувствовал.

И тут я бы вспомнил еще одного яркого русского толстовца – Михаила Зошенко. Ныне усилиями многих литературоведов (главным образом А. К. Жолковского) доказана прямая связь – и стилистическая, и мировоззренческая – Зошенко с Толстым. И связь эта – тут уж я добавлю – чисто опытного характера. Оба писателя видели войну. Зошенко же даже ту, что была пострашней наполеоновских. Сочетать вонь окопов с какой-нибудь шанелью-уриган становилось гнусной ложью. Два эти мира не должны сосуществовать. Вот Зошенко и поднес своей даме букет цветов, обернутый в портянку. И это показалось даже смешно.

Мы же не будем забывать, что Михаил Михайлович Зошенко был очень печальным человеком.

Как ни крути, а Бердяев в «Духах» написал о Толстом едва ли не то, что Ленин. Тут совпадение не оценок, а предмета. Бердяев неоднократно повторял, что Толстой, будучи ярким индивидуалистом, совсем не чуток к проблеме личности. Личность у него растворяется в роевом чувстве жизни. Толстым владеет иступленная эгалитарная страсть: вот та самая, что введена была позднее в поговорку героем Михаила Булгакова: все поделить! Идеал Толстого – безличный коллективизм. Вот он и осуществился в русской революции. «И подобно тому, как у Толстого, в русской революции это максималистское отрицание исторического мира рождается из иступленной эгалитарной страсти, – пишет Бердяев в той же статье. – Пусть будет абсолютное уравнивание, хотя бы это было уравнивание в небытии».

А вывод Бердяева звучит совсем уж неутешительно:

Необходимо освободиться от Толстого как от нравственного учителя. Преодоление толстовства есть духовное оздоровление России, ее возвращение от смерти к жизни, к возможности творчества, возможности исполнения миссии в мире.

Бердяев не раз говорил о себе, что его оценки очень часто были продиктованы особенностями момента, были слишком реактивными. Действительно, стоит взглянуть на 3-й том его сочинений, где собраны его статьи о русских религиозных философах и где редакторы очень умело объединили первоначальные и позднейшие суждения автора о том же предмете, чтобы убедиться, что оценки Бердяева смягчались. Он не забыл и не хотел забывать, что мы любим Толстого, как родину. Что в самом лице Толстого неразличимы и неразъединимы породистость аристократа и грубость мужика. (Позднее Освальд Шпенглер проникновенно напишет, что земельный аристократ всегда мужиковат, а крестьянин всегда царствен: подлинные короли Лиры жили под стрехами крестьянских амбаров.) И вот что важно вспомнить в писаниях Бердяева о Толстом, когда дело не дошло еще до нигилистической и апокалиптической революции: Бердяев понимал и умел высказать правду толстовского отношения к так называемому историческому христианству. Вот, например, из статьи 1911 года, написанной сразу по впечатлению от гениального, как говорит Бердяев, толстовского ухода:

Ветхозаветная правда Толстого нужна была изолгавшемуся христианскому миру. Знаем мы также, что без Толстого Россия немислима и что Россия не может от него отказаться. Мы любим Льва Толстого, как родину. Толстовский анархический бунт нужен был миру. «Христианский» мир до того изолгался в своих основах, что явилась иррациональная потребность в таком бунте. Я думаю, что именно толстовский анархизм, по существу несостоятельный, — очистителен, и значение его огромно. Толстовский анархический бунт обозначает кризис исторического христианства, перевал в жизни Церкви. Бунт этот предвещает грядущее христианское возрождение.

Все-таки разные это были сюжеты: отлучение от церкви величайшего из русских людей и разгон пасхальной демонстрации 1918 года. В марте 18-го многое можно было простить православию, многое забыть. Но как-то попутно забылось и главное, что силился сделать Лев Толстой в православном христианстве: он был почти состоявшийся русский Лютер. Он переводил бытовое православие в протестантский реформационный лад. То, что этот колоссальный ход сорвался, было величайшей трагедией русской истории, — куда значительнейшей, чем Никонианский раскол.

А теперь и вспомнить можно, что принес протестантизм Западу, наряду с величайшими своими достижениями: идеей религиозной свободы и свободного индивидуального исследования истины. А принес он некоторое неоспоримое оскудение культурной жизни. Лютер, Кальвин и Цвингли в сравнении с великими папами Ренессанса кажутся чуть ли не российскими доморощенными скопцами, Кондратиями Селивановыми. (Впрочем, исключим отсюда Лютера, как известно, женившегося и сделавшего из этого акта событие мирового значения.) Западная культура не исчезла в протес-

тантизме, но – подсушилась, утратила роскошные краски былых времен. Это вот и было то, что нес России Лев Толстой.

Русские гиганты философского ренессанса начала XX века не обладали одним необходимым условием для адекватного суждения о Льве Толстом: они очень уж увлеклись модной тогда идеей о Церкви как соборной истине. Протестантская тема ушла из порядка дня. (А ведь тема была, была в России – и, как теперь выясняется, сильно думал об этом величайший из великих – Пушкин.) Вот этого измерения толстовского русские тогдашние гении не увидели в Толстом. Вот потому и получилось, что вместо русского протестантизма получился русский большевизм (интересующихся этим вопросом отсылаю к исследованию Александра Эткинда «Хлыст»).

Мы уже упоминали великое имя Освальда Шпенглера, говоря о Толстом и сегодняшнем его звучании. Эта тема требует развертки. Известно, что Шпенглер в своей трактовке Толстого удивительно совпал с той интерпретацией, которую дал величайшему из русских Бердяев в «Духах русской революции». Толстой у Шпенглера, как и у Бердяева, оказался неким протобольшевиком. Это надо процитировать:

Толстой – великий выразитель петровского духа, несмотря даже на то, что он его отрицает. Это есть неизменно западное отрицание. Также и Гильотина была законной дочерью Версаля. Эта толстовская клокующая ненависть вещает против Европы, от которой он не в силах освободиться. Он ненавидит ее в себе, он ненавидит себя. Это делает его отцом большевизма. ...Толстой – это всецело великий рассудок, «просвещенный» и «социально направленный». Все, что он видит вокруг, принимает позднюю, присущую городу и Западу форму проблемы. Что такое проблема, Достоевскому вообще неизвестно. Между тем Толстой – событие внутри европейской цивилизации. Он стоит посередине, между Петром Великим и большевизмом. ...Ненависть Толстого к собственности имеет политэкономический характер, его ненависть к обществу – характер социально-этический. Его ненависть к государству представляет собой политическую теорию. Отсюда и его колоссальное влияние на Запад. Каким-то образом он оказывается в одном ряду с Марксом, Ибсеном и Золя...

Шпенглера, при всем его поражающем сходстве с Бердяевым в отнесении Толстого к предтечам большевизма, как сейчас говорят, надо делить на четыре – а то и на восемь. Он очень следит за несгибаемостью своей концепции: культура, мол, – органический и религиозный строй бытия – перешла в сухую рационалистическую цивилизацию с техникой, но без религии, вне любой органики. И Толстого он старается представить как имитатора культуры: дворянское происхождение, мол, обязывает, отсюда его народничество, религиозная проповедь и прочее, но душа его принадлежит большому городскому миру новоевропейской цивилизации. Это несомненная стилизация Толстого, и особенно если мы вспомним, что говорил сам

Шпенглер о так называемых магических религиях – иудаизме, исламе и христианстве, в которых индивидуальное движение духа совершенно немислимо, ибо всякое духовное движение уже есть действие Бога на человека. В магических религиях главным свойством будет как раз то, что русские религиозные деятели начала века – и не без святоотеческой традиции, конечно, – называли соборностью. Истина познается соборно, она и есть согласное движение коллективной народной души. Кстати сказать, западную, романо-германскую культуру, Шпенглер не считает христианской – именно в силу напряженного развития в ней личностного, так называемого фаустовского начала. Ну а в таком случае толстовский так называемый большевизм можно очень даже без больших затруднений вывести из русской христианской традиции – особенно если вы не считаете себя связанным единospасающей истиной христианства. Это, кстати, и делалось – уже последующими русскими гениями советской формации, главным, да, пожалуй, и единственным из которых был Андрей Платонов. Его чевенгурцы – органический – не разорвать! – синтез христианства и большевизма, апокалипсиса и нигилизма (что и есть христианство в русском его варианте – о чем писал не кто иной, как Бердяев). И недаром умные критики, допуская даже искренность платоновского большевизма, слишком уж много в нем христианства видели. И это было правильное видение.

Ну а теперь вернем Толстого в современность, в нынешний день. С кем вы, мастера культуры? – зададимся проverbsиальным вопросом. И Толстого мы «Аль-Каеде» и фундаменталистскому исламу не отдадим. Конечно, он написал «Хаджи Мурата», и его герой – настоящий герой. Но он написал и «Кавказского пленника», в котором обаятельный русский офицер Жилин даже девчонку-чеченку развлекает, строя ей какую-то игрушку – пляшущих на воде куколок, каковую игрушку при желании можно ведь и за схему гидроэлектростанции выдать. Жилин – западный человек, то есть, другими словами, русский. И другое, куда важнейшее, не было ясно тогда, в относительно патриархальные толстовские времена. Ну что такое взять выкуп за Жилина и Костылина? Мелкая игра, по-сегодняшнему не стоящая свеч. Истина ведь в том заключается, что сегодня международный терроризм связан – или, по крайней мере, хочет себя связать – с международным преступным бизнесом. В Латинской Америке он себя уже и связал: все эти марксистские «сияющие пути» – не более чем поставщики наркотиков. На Ближнем Востоке дело серьезнее: нефть. И что бы ни говорили о международном империализме, прикидываемом ныне мирной овечкой глобализации, кто из культурных людей не предпочтет какой-нибудь Эксон «Аль-Каеде»? Усама создает из себя образ мусульманина-идеалиста, врага Большого Сатаны – Соединенных Штатов. Но ведь о таких еще Гоголь писал: аренды, аренды хотят эти патриоты! А Лев Толстой никогда не был на стороне грязного бизнеса.

Недавно американские солдатики, одурев от непривычной колониальной службы, застрелили по пьянке тигра в Ираке. Можно увидеть в этом

деянии некий символ, тем более что Хлебников считал тигра живым портретом мусульманина. Но не будем сходить на фельетон: ситуация намного сложнее, и в нынешней конфронтации Льва Толстого – офицера-артиллериста – мы оставим себе.

Из пушек мы будем стрелять даже не по тиграм.

УФА КАК ТРЕТИЙ РИМ

Вновь возник и заставляет говорить о себе Александр Дугин – лидер так называемого Общероссийского общественно-политического движения «Евразия», даже и в политическую партию зарегистрировавшегося. Это второе уже заметное его появление на общественной арене. Впервые Дугин объявился в горбачевские еще времена и был довольно активен в первые постсоветские годы, когда он издавал два журнала. Один назывался «Элементы», на его страницах разворачивалась идеология некоего фундаментального консерватизма с претензией на интеллектуализм, этакий модифицированный Константин Леонтьев. Но, помимо культурного почвенничества, журнал этот был замечен другим – проповедью некоего мягкого фашизма, догитлеровского, или, как его в те давние, догитлеровские годы называли, голубого фашизма. Гитлер и сам одно время был таким голубым фашистом – до того как начал агрессивную внешнюю политику. Солидные западные политики и даже мыслители поначалу относились к фашизму вполне терпимо, особенно к итальянскому. Муссолини одно время вообще был культурным героем. О нем позитивно писали такие киты европейской мысли, как Бертран Рассел и Николай Бердяев. Какого рода надежды связывались с этим антилиберальным и антибуржуазным движением, дает представление книга Бердяева «Новое Средневековье». Потом оказалось, что лекарство горше болезни. И вот Александр Дугин в журнале «Элементы» стал подносить фашизм так, как будто никакого Гитлера и не было, не было кошмарного опыта нацистского тоталитаризма и Второй мировой войны. Писал в основном о Франко, о португальском Салазаре, чуть ли об Антонеску. Об адмирале Хорти писал. Дугин делал вид, что занимается невинным культурным почвенничеством, чуть ли не краеведением. Культурность в нем действительно чувствуется, он человек, что называется, грамотный, видно, что читает на иностранных языках. В нем вообще многое чувствуется. Помимо «Элементов» Дугин одно время издавал эфемерный журнальчик под странным названием – точно не помню: то ли «Милый друг», то ли «Милый лжец», в общем, что-то определенно ми-

лое. Эта маньеристская ужимка наводила мысли на нечто из девятнадцатого века, на каких-нибудь венских или берлинских урнингов (слово нынче не употребляемое). Тогда же, помнится, «Элементам» дал интервью Александр Проханов, снабдивший текст своей фотографией в одних трусах. Это действительно было мило.

Теперь Дугин не говорит ни о Салазаре, ни об адмирале Хорти. Он объявил себя евразийцем. Я не могу похвастаться детальным знанием его сочинений, но вот в большом тексте на его сайте в интернете 7 марта – своего рода пресс-конференции – Дугин ни разу не сказал о том, что евразийство – это не его программа, не его идеология. Может быть, он и в самом деле выдает за свое детище духовное движение русских эмигрантов двадцатых годов? Эти старые идеи Дугин просто-напросто приспособливает к новой политической обстановке – действительно небывало новой с самого момента большевицкой революции, когда зародилось само евразийство – первое и настоящее. Интересно, что Дугин ни разу не назвал также имени Л. Н. Гумилева, который возродил евразийские идеи в подсоветской литературе (именно литературе – научный элемент в евразийстве есть, в основном у Н. Трубецкого, но он незначителен, евразийство прежде всего – идеология с претензией на политическую программу). Впрочем, о плагиате говорить не приходится: эти идеи достаточно широко распространились, даже приобрели некую анонимность, вроде того, как говорить о Дионисе и Аполлоне можно, не упоминая уже имени Ницше. Я на этот момент нажимаю с другой целью: напомнить, что Дугин отнюдь не мыслитель по природе, а просто довольно начитанный человек, снedaемый политическим честолюбием. Сначала попробовал архаический фашизм, теперь нашел нечто более актуально звучащее – но все с одной целью: оправдать видимостью четкой программы собственные политические амбиции. Даже, может быть, и не политические, а просто амбиции. Он хочет быть заметным. И, конечно, человек, живущий в стеклянном доме, неизбежно будет заметен.

Старое евразийство оказалось удобным для текущего политического момента по причине роста в нынешнем российском обществе антизападных настроений. Россия находится в тяжелом кризисе, вызванном десятками лет пребывания в коммунистической системе, – отнюдь не происками Запада, не заговором Пентагона и ЦРУ с целью разрушить потенциально-го противника. Но психологически такая антизападная реакция понятна: легче списать беды на воображаемого врага, чем задуматься над собственными просчетами (не будем говорить – грехами). Всяческие теории заговоров удобны тем, что необыкновенно упрощают мир, позволяют его понять, не особенно умственно напрягаясь. В таком сознании крах всего-навсего коммунизма воспринимается как результат обдуманной и десятилетиями реализовавшейся стратегии исторических врагов России, российской государственности как таковой. Именно в эту точку бьет Дугин, именно этот предрассудок культивирует. Он пишет в интернете:

Мы проиграли в холодной войне. Не важно как – хитростью, соревнованием в экономике или в идеологической борьбе, но наши противники нас победили. И естественно в планы победителей не входит, чтобы для России было хоть какое-то будущее. Не от того что нас победили «плохие люди». Победители и есть победители, плохие ли, хорошие ли – не имеет значения. ...Вы осознаете, что делают победители, когда они захватывают город? Неужели они вежливо раскланиваются с побежденными, занимаются гуманитарной помощью? Нет. Они грабят, убивают и насилизуют. Вспомните Псалтырь – «На рецех Вавилонских»... В Псалтыре речь идет о войне духовной, а в жизни образы претворяются в кровавую плоть. И почему вы решили, что холодная война – исключение? ...Запад, США действуют по логике «Горе побежденным».

Это клише, идущее, действительно, от библейских времен, Дугин подносит как некую вечную истину политики – геополитики, как он любит выражаться (а термин этот более чем сомнителен). Укоренелость предрассудка вовсе не есть свидетельство его истинности. Ничто не может быть более предрассудочным, нежели представление об американской внешней политике как о войне с последующим непременным добиванием уже поверженного противника. Америка вообще никакой войны с СССР не вела, она занималась сдерживанием потенциально и актуально-агрессивного коммунизма. Американская внешняя политика – всегда и только оборонительная, у нее, строго говоря, вообще нет внешнеполитических целей. СССР развалился сам, сам себя победил, сам себя высек. Вот так же нежданно-негаданно произошла Февральская революция в семнадцатом году, которой никто не ожидал, даже противники царского режима. Обвальное падение режимов происходит потому, что они упорствуют в нежелании реформироваться, а потом выясняется, что никакая реформа уже ничему не поможет, что пережившую себя систему нельзя оживить. Другое дело, что многочисленные западные политики, генералы-стратеги и эксперты задним числом пытаются себе в заслугу поставить этот не ожидавшийся так скоро крах видимо могучей империи. Это обычные бюрократические игры, общие для всех систем. «Горе побежденным», которое вспоминает Дугин, – это горе побежденных: им некого винить в своем поражении. Америка в семнадцатом году большевицкого режима в России не устанавливала. Даже как-то неудобно повторять такие банальности. Дугин, однако, никаких неудобств не испытывает, повторяя противоположные стереотипы.

Кстати, по поводу добивания поверженного противника. Добивала ли Америка Германию и Японию после 1945 года – реальных своих врагов в только что закончившейся войне? Она их восстанавливала и насаждала в них демократические институты, чтобы сделать в обозримом будущем своими союзниками. Что и произошло.

То, что больше всего понимающего человека отталкивает в Дугине – по-другому сказать, самое отталкивающее в Дугине, – это неправомерная и

недобросовестная попытка применить не им созданную культурфилософскую доктрину к нуждам сегодняшней политики, к мелкой злобе нынешнего дня. И отсюда же: культурные различия несходных цивилизаций, определяющие неравномерность и неконгруэнтность их развития, представить в качестве некоего военно-стратегического плана, долженствующего одну из этих систем разрушить, победить и покорить.

Но если держаться этих сопоставлений, тогда получится, что победившая система – просто-напросто лучше, коли она оказалась сильнее, жизнеспособнее. Зачем противопоставлять нечто «атлантизму» (термин у сегодняшних евразийцев занявший место прежнего Запада), искать некую ему альтернативу? Победы, разоружи врага его же оружием – восприми его систему (если же такое восприятие произойдет, то, как учит опыт, и побеждать не придется, будет не новое противостояние, а интеграция).

Вот тут начинается собственно евразийство, а не мелкотравчатые его дугинские модификации. Основная мысль – России не найти себя, коли она будет следовать западным, «атлантистским» моделям, такие имитации ее ослабляют, обрекают на крах, внутренне раскалывая, ибо низы и верхи русской культуры живут в разных измерениях – первые в органической, почвеннической, вторые – в чужой, заимствованной культуре. Запад в России – это псевдоморфоз, употребляя термин Шпенглера (зависимость от коего евразийцев бесспорна). Россия пала в семнадцатом году, потому что пыталась быть в одной связке с Западом, говорили первоевразийцы, – и в большевицкой революции они видели здоровую реакцию народных низов на этот неестественный симбиоз. Большевики всем хороши, только у них идеология неправильная, говорили евразийцы. Задача – сохранить государственную форму, созданную большевиками, но наполнить ее другой, правильной идеологией, которую они и предложили.

Как на этот исторический контекст проецируется Дугин? Он-то имеет дело с ситуацией, когда очередной российский крах был обусловлен самими большевиками, их системой. Значит, получается, они не сумели овладеть правильной идеологией. Ее-то и предлагает нынешней власти Дугин в виде старого евразийства. Тем более что у нынешней власти – и тут пойнт Дугина! – нет старых большевицких идеологических предпосылок, она идеологически нейтральна, ее можно и нужно ковать. Отсюда его реверансы в сторону Путина, которого его, дугинские, вопрошатели всячески поносят, а Дугин, наоборот, защищает, говоря о безвыходности его нынешнего положения. Нету у него сейчас реальной силы, говорит Дугин. Сила же появится, когда Путин овладеет единственно правильным учением, толкователем которого выступает на сегодняшний день Александр Дугин. Он себя предлагает в идеологи – выдвигает ту самую русскую идею, о которой еще Ельцин подумывал. Дугин ищет себе место в правящей команде, считая, что ей не хватает именно идеологии. Прав ли он в этом расчете или нет – дело десятое. А первое дело – достоинство самой этой идеологии. Вот о чем нужно говорить.

Система идей евразийства настолько известна, что о ней и говорить не хочется. Знающие люди понимают, что это провальная система, провальная идеология – как, собственно, провальна всякая идеология. Любая идеология тоталитарна – то есть выступает как система, в которой все вопросы не только решены, но и предрешены посылками, априори, аксиомами этой идеологии.

Моментом тотализации в евразийстве выступает природа, сама география. Жизнь культур, говорили евразийцы, определяется чисто физическим, географическим расположением той или иной страны, государства. География – носитель культуры. Истории нет, нет человека, который делает историю, – есть безличные процессы, определяющие движения народов, как движения ветров или песчаных бурь. Как писал позднее советский евразиец Лев Гумилев, история так же стихийна, как ритм полетов саранчи. То есть, строго говоря, событий в истории нет. А еще точнее: события возникают тогда, когда люди – непредставимые и непредсказуемые существа – пытаются стать чем-то большим, чем саранча. Когда, допустим, Россия пытается стать Западом. То есть любое событие, любая история – по определению катастрофичны.

Поэтому евразийцы выдвигают проект остановки истории при помощи переориентации ее на географию. Хорошо и правильно будет тогда, когда люди осознают свою принадлежность к географии, к климату, к зоологическим видам, вроде той же саранчи.

Вот почему, между прочим, так фальшиво звучит заголовок дугинского материала в интернете: «Будущее России зависит от нашей воли». В системе идей евразийства нет места никакой человеческой воле. Какая воля у саранчи? Только темный инстинкт. Если же дать религиозную проекцию этой установки, то никакое христианство тут невозможно, в том числе православное. Это, скорее, ислам. Вспомним, что само слово «ислам» означает «покорность». Вот туда и тянут евразийцы Россию, и если в начале XX века можно было считать, что мусульманство способно к ассимиляции в православии, то какому безумцу придет в голову говорить об этом сегодня? То есть как раз такой безумец нашелся: это Александр Дугин. Недаром он говорит об Иране с придыханием в голосе.

В этой системе – Россия не Европа, но и не Азия, а Евразия. В самом выборе этого слова присутствует укорененность в факте. А факт, как знают все философы с начала человечества, – это не истина. Потому что истина, будучи понятием чисто человеческим, всегда предполагает не только фактичность, но и долженствование. Евразийцы говорили, что истина России определяется, диктуется, роковым образом создается самим фактом ее географического положения, и в близости русских, скажем, к тюркам, и в этом, мол, больше культурных перспектив, чем в опытах Петра по приобщению России к Европе.

Эта тотальная детерминированность евразийской картины мира породила, естественно, тоталитарный характер проекта. У них есть текст под названием «Евразийство в систематическом изложении», где этот тоталитарный характер доктрины представлен в полном свете. Главная мысль – о

симфоническом характере всякой подлинной общности, о включенности человека в систему, представляющую его куда более адекватно, чем он сам может себя представить. Отсюда – характер политической системы, предлагаемой евразийцами: это идеократия – проект общественного устройства, осуществляемый правящей партией. Важно только одно – чтобы партия обладала правильной идеологией. Основа такой идеологии для евразийцев – православие. Они считали, что вечная истина православия совпадает с тенденциями духовного развития азиатских компонентов Российской империи. Строго говоря, это и есть евразийство. Границы Евразии совпадают с границами Российской империи, без тени сомнения заявляют они.

Вот самое безответственное заявление евразийцев, данное в подкрепление их мысли о религии как основе всякой культуры, включающей и формы государственности, в их случае – о православии. Как же соотносится оно с прочими религиями евразийского региона?

Проблема упрощается благодаря тому, что в Азии перед нами не еретическое упрямство, а языческая немощь. Обращаясь к язычеству, христианство призывает не столько к покаянию и самоотречению, сколько к саморазвитию, ибо не искажаемое саморазвитие язычества и есть развитие его в христианство, а развиваться язычество, в противоположность ереси, не отказывается. Надо не уставать подчеркивать родство азиатских культур с евразийской и их давнее интимное взаимоотношение, до сих пор достаточного внимания к себе не привлекавшее.

Вопрос: какую православную перспективу видели евразийцы, если, говоря о возможностях православия как скрепляющего культурного фактора, они не думали ни о чем, кроме так называемого язычества? Неужели язычеством они называли мировые религии буддизм и ислам? Вот пример идеологического ослепления высококультурных людей, какими были первые евразийцы.

Азия для них, получается, это так называемые инородцы Российской империи. Тут они жаждут увидеть некую перспективу.

...глубоко знаменательно, что Емельян Пугачев, стоя под знаменем старообрядчества, отвергающего «поганых латинян и лютеров», не находил ничего предосудительного в объединении с башкирами и прочими представителями не только инославного, но даже иноверного Востока... Будущее и возможное православие нашего язычества нам роднее и ближе, чем христианское инославие.

Правильно: в такой Азии увидеть больше нечего, кроме башкир в качестве одного из базисных элементов строительства подлинной России – Евразии. Католицизм и протестантизм, или, как говорит нынче Дугин, демонстрируя знание старой терминологии, папешество и люторство, – пустяк по сравнению с Салаватом Юлаевым. Впрочем, может, у Дугина, как человека в иную эпо-

ху вступившего, иной образ башкира может возникнуть – Рудольф Нуреев.

И тут нельзя не процитировать единственно научно ориентированного деятеля евразийства Николая Трубецкого, увидевшего проблему танца как критерий суждения о детерминантах культуры.

Такое же (евразийское) своеобразие представляет и другой вид ритмического искусства – танцы. Романо-германские танцы отличаются обязательной наличием пары – кавалера и дамы, танцующих одновременно и держащихся друг за друга, что дает им возможность производить ритмические движения одними лишь ногами, причем самые эти движения, «па», у кавалера и дамы одинаковы. В русских танцах ничего подобного нет. Пара необязательна, и даже там, где танцуют двое, эти двое не принадлежат непременно к разным полам...

Как я понимаю, это должно быть отнесено к так называемой соборности русского духа. В таком случае Рудольф Нуреев явно выпадает из этой обязательной формулы башкирско-русской культуры. С другой стороны, пары ему, конечно, нет – где еще, кроме Башкирии, найдешь такого гения. А то, что он сбежал из этой Евразии на Запад, к папешникам и люторам, к делу, видимо, не относится.

Есть одна действительно важная тема, связанная с выступлениями Александра Дугина. Это тема о природе политики. Должна ли политика определяться духовно-культурными установками, или она есть оппортунизм по преимуществу, сиюминутная тактика, а если и стратегия, то определяемая не идеалами, а интересами? Ориентируется ли она идейно – или ситуативно? Есть ли и должны ли быть в ней некие «вечные истины»? Грязное ли дело политика по определению, или все же она должна быть чистой?

Дугин отвечает на эти вопросы так:

Я думаю, что политика есть продолжение духа. Если дух грязен, то и политика грязна, если дух чист, то и политика чиста. У нас ложный образ политика как шоумена или чиновника. Политика в России оторвана от идей, наши политики меняют идеи, как костюмы. Это исторически понятно, но такой подход обречен. Нам нужны запасы идей и соответствующие политики. Я убежден, что в политику должны приходить люди нового типа... Ранее я полагал, что моя роль ограничивается генерированием политических идей. Но, как оказалось, уже через час идеи извращаются до неузнаваемости. Опыт 20 лет в российской политике заставил меня, наконец, выступить в роли лидера с опорой на большое количество убежденных соратников и последователей, которые делегировали мне свое доверие.

Посмотрим, получится ли из Александра Дугина политический лидер, сумеет ли он создать партию, весомую в электоральном процессе. Первое впечатление говорит, что вряд ли это ему удастся. Идеи его, хотя не новые

и заимствованные, все же достаточно сложны для массового избирателя. Ему эта культурфилософия ни к чему. Массовый избиратель может отреагировать на тему о российском величии (известная апофегма: «за державу обидно»), но державные амбиции в его сознании вряд ли увяжутся именно с евразийским проектом. Державность для массового избирателя как раз в обратном – подавлении всяческих «чурок», а не в единении с ними в построении некоей чаемой культурной модели. Посетители его сайта уже выражают недоумение по поводу его связи с Нухаевым, как сказал один из этих посетителей, «спонсором чеченских бандитов».

Представим, что Дугин пришел к власти и реализует свою программу. Попытка восстановления СССР на основе новой, религиозно-православной идеологии – а это и есть дугинский проект – не сплотит евразийский континент, а окончательно его расколется. Когда Дугин действительно выйдет на политическую арену, его оппоненты все это старательно объяснят электорату. И тогда он не получит поддержки даже в Уфе.

ВОРЫ И ПОЭТЫ

Бродя по интернету, я обнаружил интересный материал в январском номере журнала «Знамя» за 2003 год. Обнаружил, как кажется, запоздало, но все же решил поговорить об этом: обсуждаемая тема относится к разряду вечнозеленых, как говорят в Америке, и, похоже, долго не перестанет быть актуальной для России. Это тема о русской интеллигенции. На этот раз она берется журналом в новейшем политическом развороте: обсуждается вопрос о расколе в среде либералов. Понятия «либерал» и «интеллигент», как известно, почти полностью совпадают. Раскол, как выясняется, идет по линии отношения к нынешней российской власти. Новация в том, что многие из интеллигентских либералов – едва ли не большинство – становятся на сторону власти. Другим кажется, что такая позиция принципиально неприемлема, что с русской властью у либеральной интеллигенции нет возможности сотрудничать, так было и будет. Естественная в России либеральная позиция – оппозиция. Вопрос неизбежно углубляется: существуют ли в России либеральные потенции вообще, свобода как национальный путь, движение по которому может быть мыслимо только как общенациональная, то есть, в конце концов, государственная политика? Сочетаемы ли не просто интеллигенция и власть, но Россия и свобода, или последняя навеки останется всего лишь интеллигентской мечтой, не терпящей прикосновения власти – отвратительной, как руки брадобрея? Или, с

другой стороны, не есть ли лик чаемой свободы всего-навсего физиономия Березовского, по-модному небритая?

Представим полярные точки зрения. Семен Файбусович:

Наши либералы-государственники утверждают, что только сильное государство способно защитить личность, обеспечить ее права и свободы. Вроде, похоже на правду. Но вот заковыка: когда такое или что-то подобное говорит условный западный либерал, он под сильным государством разумеет равный для всех закон, соблюдение которого государство хочет и может гарантировать, – и именно таким опосредованным образом гарантирует права и свободы своих граждан в своей стране. У нас же дело с точностью до наоборот: в лучшем случае можно говорить не о культуре, а о культуре закона – он по-прежнему никому не писан. Государство использует оную культуру вполне произвольно и выборочно, в том числе для борьбы с неугодными гражданами, в том числе как инструмент давления и подавления, а граждане, даже самые лояльные и сознательные, при всем желании не в состоянии соблюдать все законы, а потому в принципе могут быть стукнуты культурой в любой момент – и живут с сознанием этого (или это у них в подсознании).

Противоположную позицию наиболее остро сформулировал Александр Агеев:

Родовые качества [интеллигенции] – политическая безответственность, мышление стереотипами и нежелание считаться с исторической реальностью. ...Решиительно неважно, как относится «либеральная интеллигенция» к действиям Путина. Путин и его правительство пока что с завидным упрямством продолжают развитие «либерального проекта», от которого три года назад отреклась интеллигенция. К «либеральности» разве что добавлены черты «консерватизма» – такое ощущение, что Путин и его команда тщательно проштудировали труды П. Б. Струве (хотя бы его классическую «Патриотику»). Это очень достойный вариант либерального проекта, и он планомерно осуществляется... Что имеет против этого сказать «образованное сословие»? Только то, что Путин – бывший чекист и, следовательно, втайне мечтает восстановить советскую власть. Если бы все условия в России находились на этом уровне понимания происходящего, советскую власть можно было бы восстановить хоть завтра. И либеральная интеллигенция вернулась бы наконец в единственную соприродную ей среду.

Агеев исходит из того, что интеллигенцию и не спрашивают, что делать, никто из деловых людей ее мнениями не интересуется и в ее сотрудничестве не нуждается. У нее вообще нет организации и организованности, внутренней структурности, позволяющей говорить об имманентных реакциях, движениях вообще и расколе в частности. Либеральствующая интел-

лигенция – пассивная куча (едва ли не мусора), верхушку которой периодически сдувают те или иные ветры истории.

Агеев упоминает имя П. Б. Струве... Следует напомнить, что, по мнению Струве, высказанному хотя бы в сборнике «Вехи», русская интеллигенция в той форме, в которой она существовала к моменту написания «Вех» (начало XX века), – исторически случайное образование, схождение которого на нет возможно и желательно. Несколько формул Струве:

Интеллигенция в русском политическом развитии есть фактор совершенно особенный: историческое значение интеллигенции в России определяется ее отношением к государству в его идее и в его реальном воплощении: идейной формой русской интеллигенции является ее отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему: В безрелигиозном отщепенстве от государства русской интеллигенции – ключ к пониманию пережитой и переживаемой нами революции. Отрешившись от безрелигиозного государственного отщепенства, [интеллигенция] перестанет существовать как некая особая культурная категория: в процессе экономического развития интеллигенция «обуржуазится», то есть в силу процесса социального приспособления примирится с государством и органически-стихийно втянется в существующий общественный уклад, распределившись по разным классам общества.

Последняя мысль Струве (хотя со ссылкой на другого автора), по существу, выражена и в выступлении Дениса Драгунского, сказавшего, что интеллигенция – это интеллектуалы в нерыночных средах. Значит, когда они в эти среды интегрируются, то и исчезнут в специфическом своем русском качестве противогосударственных оппозиционеров и печальников горя народного. А необходимую реформу ведет сейчас в стране именно власть, подчеркивает Агеев.

Перспектива как бы определена, и беспокоиться вроде бы не о чем: поддерживайте Путина и его команду, не думайте о Березовском и Гусинском (Людмила Сараскина: «НТВ так же похоже на свободу слова, как фальшивый заяц из лапши на кролика в собственном соку»), и все будет в порядке: вы растворитесь, как сахар в чае. Однако исторический опыт учит, что в России доверяться власти – дело опасное. Мысли, выраженные Файбусовичем, списать в архив нельзя. А коли будет сохраняться несправедливая власть – вариант очень возможный, – то сохранится и противогосударственная интеллигенция. В этом сюжете ощущается не случайность, а необходимость, некая русская судьба.

Откуда это пошло, этот русский порочный круг? Отвечая на этот вопрос, вспомним для начала опять же Струве, на этот раз не «Вехи», а «Из глубины», сборник 1918 года:

...один из замечательнейших и по практически-политической, и по тео-

ретически-социологической поучительности и значительности уроков русской революции представляет открытие, в какой мере «режим» низвергнутой монархии, с одной стороны, был технически удовлетворителен, с другой – в какой мере самые недостатки этого режима коренились не в порядках и учреждениях, не в бюрократии, полиции, самодержавии, как гласили общепринятые объяснения, а в нравах народа или всей общественной среды, которые отчасти в известных границах даже сдерживались именно «порядками» и «учреждениями».

Получилось, что опыт второй революции подтвердил слова Гершензона из «Вех», написанных после первой: знаменитые слова о штыках и казнях власти, единственно охраняющих нас от ярости народной.

Но тут другой вопрос: а почему все же возникало общее движение интеллигенции и народа, почему интеллигенция бывала в России не только либеральной, но и революционной, радикальной? Нет ли у них – интеллигенции и народа – общего корня, общего, так сказать, дела, кроме известного народолюбия, народничества интеллигенции, комплекса вины перед народом?

На этот вопрос тоже давались уже интересные ответы. Самый интересный – у Г. П. Федотова.

В замечательной статье 1938 года «Русский человек» Федотов выделяет два фундаментальных типа русских – интеллигент и московский служилый человек, портрет левого и правого русского:

Возьмем левый портрет. Это вечный искатель, энтузиаст, отдающийся всему с жертвенным порывом, но часто меняющий своих богов и кумиров. Беззаветно преданный народу, искусству, идеям – положительно ищущий, за что бы пострадать, за что бы отдать свою душу. Непримируемый враг всякой неправды, всякого компромисса. Максималист в служебной идее, он мало замечает землю, не связан с почвой – святой беспочвенник (как и святой бессребреник), в полном смысле слова. В терминах религиозных, это эсхатологический тип христианства, не имеющий земного града, но взыскующий небесного. Впрочем, именно не небесного, а земного. Всего отвратительнее для него умеренность и аккуратность, добродетель меры и рассудительности, фарисейство самодовольной культуры. Не трудно видеть, что этот портрет есть автопортрет русской интеллигенции. Не всего образованного класса, а того «ордена», который начал складываться с 30-х годов XIX века.

Применительность такой характеристики в отношении советской интеллигенции оспорил А. И. Солженицын, отметивший, прежде всего, исчезновение качества жертвенности в советском так называемом образовании. Это верно, но ставить это в минус интеллигенции нельзя, ибо за советское время она столько натерпелась сама, что прерогатива «горя народно-го» перестала быть связанной исключительно с «низшими» классами, с

простонародьем: не станешь требовать жертвенности – от жертвы. Но у Федотова прослеживается куда более глубокая, чем в советское время, более традиционная и более фундаментальная связь типа интеллигента с одной из важнейших характеристик народного бытия – с типом русского религиозного искателя, странника:

...здесь мы имеем дело не с прямым влиянием из народной глубины, а с темной, подсознательной игрой народного духа, которая в судьбе отщепенцев и мнимых апатридов повторяет черты иного, очень глубокого и вполне народного лица. Отщепенцы, бегуны, странники – встречаются не только наверху, но и внизу народной жизни. В них живет по преимуществу кенотический и христоцентрический тип русской религиозности, вечно противостоящий в ней бытовому и литургическому ритуализму.

Здесь интеллигентское отщепенство, которое Струве называл безрелигиозным, связывается как раз с типом русской народной (естественно, не церковной) религиозности. Важна, однако, не содержательная мотивировка этого качества, а самая структура его, установка сознания, независимая от того или иного мировоззрительного наполнения. Таких кенотических странников изобразил Платонов в «Чевенгуре», а исповедуют они коммунизм – идею, владевшую также интеллигентскими теоретиками. Но чевенгурцы увидели у Маркса самую его кенотическую суть – враждебность к земной реальности, к «имуществу» под маской социалистического переустройства общественного производства и потребления. Им мотивировки не нужны, они, так сказать, обнажают прием. Кенозис, тяготение вниз, отвержение культуры – качество христианское, лучше сказать первохристианское, христианская архаика, – этот кенозис внутренне, тайно агрессивен, и периодически эта агрессивность прорывается наружу. И тут нам вспоминается еще одно наблюдение Струве – о генетической связи интеллигенции с древним казачеством как силой противогосударственной и противокультурной, «воровской». Ворами раньше называли всяких уголовных преступников, антисоциальный элемент как таковой.

Нынешний – советский и постсоветский – интеллигент может быть как угодно внешне преуспевающим и высококультурным профессионалом, но в своем качестве противника государства и власти он обнаруживает связь с этим архаическим кенозисом. Не удивительно, что ему прежде всего внутренне враждебен другой выделенный Федотовым русский тип – московско-го служилого человека.

Вот какими словами дает Федотов «второй тип русскости» – портрет правого русского:

Это московский человек, каким его выковала тяжелая историческая судьба. Два или три века мядли суровые руки славянское тесто, били, ломали, обламывали непокорную стихию и выковали форму необычайно стой-

кую. Петровская империя прикрыла сверху европейской культурой московское царство, но держаться она могла все-таки лишь на московском человеке. К этому типу принадлежат все классы, мало затронутые петербургской культурой. Все духовенство и купечество, все хозяйственное крестьянство, поскольку оно не подтачивается снизу духом бродяжничества или странничества. Его мы узнаем, наконец, и в большой русской литературе, хотя здесь он явно оттеснен новыми духовными образованиями. Всего лучше отражает его почвенная литература – Аксаков, Лесков, Мельников, Мамин-Сибиряк. И, конечно, Толстой, который сам целиком не укладывается в московский тип, но все же из него вырастает, его любит и подчас идеализирует. Каратаев, Кутузов, Левин-помещик – это все москвичи, как и капитан Миронов и Максим Максимыч, – пережившие петровский переворот московские служилые люди. Николаевский служака, которому так не повезло в обличительной литературе, представляет последний слой московской формации.

В этой классификации Путин без зазора включается в московский тип, хотя сам он из Питера, даже из «Ленинграда». Продолжая эту параллель, можно сказать, что он из тех «служак», из тех служебных структур, которым так не повезло в отечественной обличительной литературе.

Обсуждение в журнале «Знамя» темы о расколе в либералах значимо потому, что воспроизводит основную русскую тему – противостояние, лучше, пожалуй, сказать рядоположение двух основных русских духовных типов. И в том, что эта дихотомия обозначилась сейчас в либерализме как таковом, в «левом русском портрете», тоже ведь нет ничего принципиально нового: это отдаленное эхо старого раскола между западниками и славянофилами (хотя, конечно, эта линия разделения совсем не полностью совпадает с линией, разделяющей федотовские «правый» и «левый» русские портреты). Славянофилы тоже ведь были либералами; в любом случае, власть им не сильно доверяла.

Но в этих неладах славянофилов с властью был один любопытнейший мотив, обретающий актуальное значение, явственно звучащий в сегодняшних разговорах, образец которых представлен журналом «Знамя». Его как бы бессознательно демонстрирует Агеев. Нужно вспомнить славянофильскую теорию государства и земли, их представление о внеполитическом и внегосударственном строе русской народной души. Знаменитый славянофильский, Константином Аксаковым выброшенный лозунг: государству – силу власти, земле – силу мнения. Надо привести соответствующую мысль текстуально:

Государству – неограниченное право действия и закона, Земле – полное право мнения и слова; внешняя правда – Государству, внутреннее право – Земле; неограниченная власть – Царю, полная свобода жизни и духа – народу; свобода действия и закона – Царю, свобода мнения и слова – народу.

...Славянофилы в теории государства и земли высказали некую темную, кривую, неадекватно выраженную, но истину о России. Неадекватность в том, что эту внегосударственность и внеполитичность русского народа, в его противоположности «публике» (еще одна аксаковская оппозиция), славянофилы сильно идеализировали, даже мистифицировали, представив эти качества свидетельством прирожденного христианства русской души. А христианство в их системе оценок было оценкой, понятно, положительной, верховно плюсовой. Они не задумывались о проблематичности этой характеристики, самого этого строя души. А между тем отсюда и можно вести, помимо каратаевской благостности, всяческое «казачество» в смысле Струве, то есть антигосударственный и антикультурный анархизм. Можно даже сказать, что христианство этому природному анархизму русской души давало позитивную санкцию, высокую мотивировку.

Непонимание этих сложных связей и взаимодействий приводит к большой путанице в осознании многих русских проблем. Пример такой путаницы демонстрирует Рената Гальцева, повторяющая на страницах «Знамени» старый славянофильский миф о Европе, утратившей христианство, и о России, его сохраняющей, и сетующая на то, что в постсоветской России не удалось организовать христианско-демократическое движение. Если же принять во внимание то, о чем мы только что говорили, то получится, что история России всегда была неким «христианско-демократическим движением», с анархическим отщепенством которого вынуждена была бороться власть. Отсюда и пошло, между прочим, огосударствление русской церкви, долженствующее быть понятым как дополнительное средство борьбы с христианским анархизмом народа. Христианство в России не сумели включить в культурный контекст – потому что такого контекста и не было, не было культурной традиции, на Западе шедшей еще из античности. Когда Бердяев писал о нерешенности в православии проблемы культуры, он это самое и имел в виду, только выразился дипломатично, потому что сказать то же самое прямо он не мог, не поставив под сомнение собственную духовную эволюцию к православию – та же мода начала прошлого (XX-го) века, которую повторила русская интеллигенция в застойные семидесятые годы.

Выходит, что гипертрофия власти – это инстинктивная реакция русской жизни на собственную же стихийность, анархичность, неуправляемость. И как говорил Константин Леонтьев, слова «реакция» бояться не надо, способность к реакции – это признак живого организма, не следует этому слову придавать подчеркнуто политический оттенок. Тем не менее этот имманентный конфликт сил дезорганизации и порядка, запрограммированный в структурах российского бытия, породил инерционное движение власти в сторону именно политической реакции. Соблюсти в этом конфликтном процессе необходимую меру – громадное искусство, владение которым определяет значимость того или иного русского политического деятеля, правителя, если угодно – царя.

Интересное рассуждение на эту тему я обнаружил у поэта Д. Самойло-

ва. Он задумался над словами одного из героев солженицынского «Красного колеса»: «Важен не строй государства, а строй души» – и написал следующее:

Первый вопрос: можно ли сравнивать строй души со строем?.. Одно-го ли порядка эти явления, чтобы можно было сказать, что в каком-то одном ряду содержание души сопоставимо с общественным устройством? По этому типу можно сказать, что важен овес, а не холера.

...Возможно сопоставление строя души со строем и в обратном случае: если предположить, что в его устройстве отражено устройство души.

Но тогда какой души? Чьей конкретно?

Видимо, тогда уже не одной конкретной души, а души всеобщей, некоей одной народной души, в которой слияны отдельные личные души. Какие же свойства этой души были точно отражены в российском самодержавии, в крепостном строе, в бюрократической иерархии российской державы?

Или, может быть, устройство души всей Руси потому и выше строя, что отражено в нем неполно или искаженно?

Ответа на все эти вопросы не дается, но замечателен самый анализ вопроса, детализация проблемы. Ответ же можно дать такой: в России строй государства не отражал строй души, а противостоял ему. Или если отражал, то в прямом, а не в метафорическом смысле – как отражают врага.

Что и требовалось доказать: народ и власть в России – враги. Вернее, даже и доказывать не требуется – это общеизвестный факт. Важно только понять, что у этой вражды со стороны власти был резон. Вот Струве это и понимал, за что был ошельмован либеральной интеллигенцией. Только сейчас начинают понимать самого Струве, что, по мнению А. Агеева, свойственно скорее команде Путина, чем либеральным интеллигентам.

У нас, однако, нет резона становиться на чью-то сторону окончательно, делать однозначный и бесповоротный выбор. Та русская стихия, которую принято называть антикультурной (контркультурной, по-нынешнему), – она же, в другом повороте, есть источник всякой культуры. А если не всякой, то, по крайней мере, художественной. Это известная оппозиция культуры и цивилизации. Зачем же отказываться от русского художества? Это понимал Блок (стихия как культура). Это понимала Цветаева:

Я свято соблюдаю долг,
Но я люблю вас, вор и волк.

ДАЙДЖЕСТ



автор ряда юмористических книг, сценариев и многочисленных публикаций. Лауреат премии журнала «Юность» и других литературных премий. Живет в России.

СТРАНА-ДЮЙМОВОЧКА*

Путевые заметки

Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство.

Александр Пушкин

Люблю отчизну я, но странною любовью. *Михаил Лермонтов*

Кого люблю, того и бью. *Русская народная пословица*

Самая дешевая гордость – гордость национальная.

Артур Шопенгауэр

Прелесть каждого путешествия – в возвращении.

Фритьоф Хансен

Большое видится на расстоянье...

Сергей Есенин

1

Что я знал о Дании перед поездкой? Знал, что есть такая страна. Уже – хорошо. Что находится она недалеко от Петербурга. И что похожа на Петербург: тоже на севере, тоже пять миллионов и тоже много каналов. В общем, туманная такая страна.

* «Нева». 2005. № 6.

Капли датского короля зачем-то вспомнил. Когда я был маленьким, я думал, что это капли, которые падают с короля.

2

О том, что я еду в Данию, мне сообщили за три дня до отъезда. Я понял, что пришло время начинать учиться английскому языку, и позвонил по телефону своему знакомому профессору:

– Можно ли изучить английский за три дня?

– Можно, – сказал профессор. – Но для этого надо сначала изучить греческий, латинский, итальянский, испанский, португальский, немецкий и французский.

Поскольку времени у меня было мало, я успел выучить только одну фразу: «Я говорю по-английски со словарем». Звучало, конечно, как признание одинокого сумасшедшего. Которому больше не с кем говорить. Типа: «Я спросил у ясеня».

Что касается других языков, то я довольно свободно говорил по-французски. Хоть и не понимал, что говорю.

Вообще, изучение языков мне давалось всегда легко, особенно на ранней стадии, благодаря некоторым закономерностям, которые я заметил в произношении. Я заметил, что каждый язык что-то напоминает:

Английский – жевательную резинку.

Испанский – дуэль на рапирах.

Французский – полоскание горла. И носа.

Немецкий – марширующих солдат.

Польский – жарящуюся картошку.

Арабский – кашель.

Китайский – мяуканье.

Японский – сюсюканье с ребенком.

А русский не напоминает ничего. Свой язык – как воздух: не замечаешь, какой он, потому что только им и дышишь.

В Дании с вами говорят на том языке, на каком вам удобней. Каждый датчанин знает несколько языков: английский, немецкий, датский и остальные скандинавские – обязательно. Некоторые знают французский. Плюс для разнообразия – итальянский или испанский. Ну, и для развлечения – какой-нибудь экзотический: например, русский.

– Вы говорите по-французски? – спрашивают они меня по-французски.

– Чего? – отвечаю я.

– По-французски говорите? – спрашивают они по-английски.

– Ась?

– По-французски могёшь? – спрашивают они уже по-русски.

– А, по-французски! – восклицаю я на ломаном русском. – Да, конечно! Я учил французский в школе номер сто семьдесят один и могу говорить по-французски с любым, кто учил его в той же школе.

3

Перед поездкой в Данию мне велели заполнить анкету. В графе «Были ли

вы за границей, и если были, то где?» я написал: «Нет» – и перечислил страны, в которых не был. То есть все страны мира.

4

За границу я поехал не для того, чтобы лучше узнать их, а для того, чтобы лучше узнать нас.

В одном поезде со мной в Данию ехала группа питерских школьников. Они ехали на две недели, а я – только на одну. Поэтому каждому школьнику обменяли в два раза больше денег, чем мне.

Неудивительно, что иностранцы о нас говорят: «Русский человек – самый культурный. Всегда скажет "спасибо", вместо того чтобы заплатить деньгами».

Конечно, и у них есть свои проблемы. Например: где лучше провести отпуск – в Монако или на Гавайских островах? Или: что подарить жене? Потому что у нее все есть. И даже больше, чем думает муж.

На финской границе в вагон входит служащий: «Порнография, наркотики, водка?..»

«Нет, чашечку кофе, пожалуйста», – отвечает сидящая рядом со мной дама.

Действительно, зачем нам их наркотики, когда у нас вся пища – наркотики?!

После проверки мы вздохнули и, облегченные (наполовину), двинулись дальше.

Пейзаж за окном не изменился. Изменилось только его название.

Проглядели Финляндию.

Проспали Швецию.

Проснулись в Дании.

5

Почти все датчане – тонкие и длинные. Это мы растем вширь, а они растут вверх. Чем больше у человека денег, тем менее калорийную пищу он ест.

Помню, я спросил у польского крестьянина:

– Почему вы так много выращиваете картошки?

Он ответил:

– Чтобы и мужику было с кого драть шкуру!

6

В Копенгагене я жил в квартире мэра. О том, что Том – мэр, я узнал только через несколько дней. На приеме в мэрии.

Небритый, в джинсах, тридцати лет, любитель рок-музыки, на работу ездит на велосипеде. Не знаю, сопровождает ли его кортеж полицейских на самокатах со звонками и сиренами, но в мэрии Тома охраняет полиция. Но только в мэрии.

Вообще большинство жителей Копенгагена ездит на велосипедах, хотя все обочины забиты машинами. Но на машинах, как правило, ездят только за город или в пригород.

– Зачем загрязнять свой город?

И, конечно, воздух в Копенгагене – как в лесу. Вдобавок на всех машинах –

фильтры. Если бы наша машина появилась в Копенгагене, ее водителя сразу бы оштрафовали за отравление окружающей среды. Или загнали бы выхлопную трубу в салон.

Хоть Том и не миллионер, часть своей зарплаты он жертвует на разные благотворительные нужды. Например, на ремонт исторических зданий.

7

Я видел, как они ремонтируют. Здание накрывается мешком, и ни один датский кирпич не упадет ни на одну датскую голову. А если и упадет, то не разобьется. В отличие от наших кирпичей, которые не такие твердые, как наши головы.

8

Я брожу по вечернему Копенгагену. Разноцветные огни купаются в каналах. Гида у меня нет. А есть гидра. Стройная высокая блондинка Хелен, студентка медицинского факультета, сотрудник медицинского журнала плюс – невеста Тома.

По вдохновению датчане не женятся. Женятся они, как правило, после тридцати.

Для того чтобы не жениться, есть все условия.

В Дании дети, окончив школу, сразу отлепляются от родителей. Конечно, родители могут им выделить полдома и полмашины. Но датчане считают, что дети должны сначала попробовать раскрутиться сами. Ребенок женится только после того, как обзавелся собственной квартирой, крепкой работой и своей головой. Датчане любят обстоятельность, обстоятельно любят.

Отлепляются дети еще и потому, что у них другой распорядок дня. И другой распорядок ночи. Другой звуковой барьер.

Отдых для взрослых – это когда тихо, а отдых для детей – это когда шумно.

Их добрачная любовь прочней нашей брачной. И даже – внебрачной. За десять лет их неофициальной любви наш человек успевает три раза развестись и триста раз изменить, регулярно получая за измены то по левой щеке, то по правой – в зависимости от того, кому он изменил: жене или любовнице.

Ведь у нас как?

Любить кого-нибудь надо? Надо. А где? У него дома – родители. У нее – тоже, да еще собака и брат-каратист.

Поэтому чтобы поцеловаться, едешь на электричке в лес, захватив палатку, рюкзак, котелок и дрова.

Конечно, с милым рай и в шалаше, как вспоминала вдова Крупская. Но только – первые два часа. А потом рай превращается в ад. И даже хуже, чем в ад. Потому что нет горячей воды. А есть только дождь, комары и каша в обоих котелках.

В Дании сначала дружат, потом любят, а потом женятся. А у нас сначала женятся, потом любят, потом дружат, потом ненавидят, а потом разводятся, хотя и продолжают жить вместе.

Чем больше людей живет в одной комнате, тем меньше они любят друг друга. Для любви нужно не столько время, сколько пространство.

Датские котелки варят хорошо. Датские дети сразу после школы заводят свой дом. В крайнем случае – квартиру. На худой конец – комнату. Проблема подворотен отпадает сама собой. Чем больше домов, тем меньше подворотен.

Сидишь у себя дома и любишь, кого хочешь: хочешь – друга, хочешь – родителей, хочешь – родину. А в итоге – всех сразу.

9

На следующий день мы договорились с Хелен встретиться около Копенгагенского университета. Старейший университет, но не самый старый в Дании. Основан в 1479 году королем Кристианом I. Учиться в нем можешь сколько угодно: можешь – учись три года, а не можешь – учись тридцать лет.

Экзамен сдаешь тогда, когда чувствуешь, что готов. Полная свобода.

Хелен подошла к университету ровно в 19.00, как мы и договаривались. Датчане славятся своей пунктуальностью. Датчанин может назначить вам свидание в любое удобное для вас время и в любом удобном для вас месте на поверхности земного шара. Датчанин точно знает, где проведет отпуск через десять лет, что будет делать через двадцать лет и что с ним случится в конце жизни.

Жизнь россиянина полна неожиданностей, хотя и однообразна.

Датчане – хорошие ученики. А россияне – хорошие учителя. Датчане учатся на чужих ошибках, а россияне на своих ошибках учат чужих.

Я подошел ровно в 19.13.

Речь сразу пошла о точности и планировании.

– У нас все делается по плану, – сказал я. – Если объявили, что завтра отключат воду на неделю, значит, ее действительно отключат на неделю. Более того, могут и перевыполнить план. Отключить ее на месяц. С мая по август. Для профилактического ремонта. Пока дети не вернулись из летних оздоровительных лагерей. Как будто взрослым мыться не обязательно.

Хелен меня не понимает. Если бы начальник какого-нибудь датского ЖЭКа повесил такое объявление, оно превратилось бы в его завещание.

– Кто отключает? – не понимает меня Хелен. – Ты что, не платишь за воду?

– Нет, плачу.

– Так почему отключают?

– Для ремонта водопровода.

– А, он у вас всегда портится летом! Какая точная техника!

Мы заходим в маленькое кафе. В Дании все кафе маленькие. Но зато их много. Чем их больше, тем они меньше.

Я предлагаю выпить за нашу технику:

– Как говорит наш сантехник: «Кто рано встает, с тем бог поддает!»

– А кто такой сан-техник? – спрашивает Хелен.

– Это и есть наш бог, – отвечаю я. – Бог нашей техники. Сан-техник. То есть святой техник. Питается исключительно святой водой.

– А где он ее берет?

- Жильцы ставят.
- Как это – ставят воду? Она что, твердая?
- Да, – говорю. – Крепкая.
- То есть ее покушал – и становишься крепче?
- Наоборот, – говорю. – Жиж. Шатаешься после нее.

Хелен говорит:

- У испанков лучше вино.
- У испанцев, – поправляю я.

Что датчане делают хуже россиян, так это говорят по-русски.

– Мужчина, – объясняю я, – испанец. А женщина – испанка. Испанцы и испанки. Датчане и датчанки. Французы и французенки. Русские и русские.

- У вас что, нет разделения на мужчин и женщин?
- Есть, но оно не бросается сразу в глаза.

У нас определить, мужчина ты или женщина, легче ночью, чем днем. А днем можно определить только по силе. У женщины сумки тяжелей.

Женщины у нас красятся почти все. Старые – чтобы быть моложе. Молодые – чтобы быть старше.

У нас накрашенная женщина – это красавица. А у них накрашенная женщина – это клоун.

Косметикой у датчан пользуются в основном проститутки.

У датчан другие понятия о красоте. Красота – это здоровье. Поэтому все направлено на то, чтобы человек был здоровым. Все, что делает человека здоровей, очень дешево. Фрукты, овощи, лекарства, спорт – на дотации государства.

У нас это все дороже. Потому, наверно, и живем меньше. По продолжительности жизни мы опережаем только Африку. И только Центральную.

Датская женщина не носит платье. Женщина в платье, в пальто, на высоком каблуке – неделовая женщина. В платье, в пальто, в туфлях трудно делать широкий шаг, неудобно жать на педаль. Поэтому датская женщина – в брюках, в шортах, в куртках, в кроссовках.

Сумок в руках тоже нет. Носить сумки – слишком унылая функция для датской руки. Поэтому сумка висит на плече. Или за спиной – сумка-рюкзак. Или сумка на поясе, пристегнутая к ремню. У мужчин иногда маленькая сумочка на ремешке вокруг запястья, как говорят у нас, – «потаскушка».

10

Наше главное богатство – это наши ресурсы: лес, вода, уголь, нефть, женщины.

Наша женщина – то же горючее: выполняет самую тяжелую работу, загорается от одного неосторожного движения мужчины и очень высоко ценится на Западе.

Уникальное смешение наций на территории нашей страны вывело уникальный тип женщины, в которой есть все лучшее от каждой нации. (Это, правда, не означает, что все худшее от каждой нации – в нашем мужчине.)

11

В Дании не любят революций. Ну, была у них одна революция, да и та сексуальная. Причем обошлась малой кровью. Хотели заинтересовать население в собственном воспроизводстве, поскольку мало народу. Но результат, как всегда, обратный. Самые горячие мужчины по-прежнему – в жаркой Азии, потому что там самые стыдливые женщины: не снимают чадру даже во время обеда.

12

Как-то я получил письмо: «Что делать, если моя "жена – это прочитанная книга"?»

Я ответил: «Пользуйтесь публичной библиотекой».

Публичные дома в Дании разрешены: чтобы все проститутки были под колпаком.

Кроме того, благодаря публичным домам намного меньше стрессов, изнасилований и венерических заболеваний.

13

Герда, подруга Хелен, приехала на велосипеде и прикатила под уздцы второй. Оказывается, мы едем на пикник. Чтобы мне было понятней, Герда называет велосипед бисиклетом. Для бисиклетов вдоль улиц специальные дороги – между пешеходной и автомобильной. Есть и велосипедные стоянки: металлические скобы, вделанные в асфальт. Датчане шутят, что тещу надо хоронить так, чтобы ее зад торчал из земли: велосипед удобней ставить.

14

На улице, где живет мэр, я видел, как брали грабителя. Седому интеллигентного вида громиле две полицейские женщины надели с извинениями наручники. Я думаю, они его нашли по визитной карточке, которую он предусмотрительно оставил на месте преступления.

Грабят и воруют, конечно, в каждой стране. Разница лишь в том – что, как и сколько.

У нас вором считается только тот, кто ворует не со своей работы.

15

Мы с Хелен перешли на другую сторону улицы.

– Интересно, – говорю я, – вы переходите дорогу только на зеленый свет. Даже если нет ни одной машины.

– А у вас разве по-другому?

– Ну, мы, в общем-то, тоже переходим дорогу на зеленый свет. А на красный мы перебегаем.

Причем умудряемся еще перевести на красный свет какую-нибудь старушку.

Но это нарушения, которых могло бы не быть. А есть нарушения, которых не может не быть. В Ленинграде или в Москве иногда попадается такая широ-

кая улица, что невозможно успеть перейти ее на зеленый. Тем более – пожилой старушке. Поэтому опытная старушка начинает переходить на красный. Когда вспыхивает зеленый свет, она еще только на середине. А когда снова вспыхивает красный свет, она мысленно уже прощается с белым.

Мы с Хелен садимся в автобус. Обычный рейсовый автобус. Но датский. Внутри – ковровые дорожки.

В Данииходишь в автобус только после того, как пробынешь компостером специальную картонку. На ней указан час, когда ты вошел. И этот битый час можно ездить бесплатно на всех автобусах города. Правда, транспорт хоть и лучше, чем у нас, но дороже.

На следующей остановке входит датская старушка. Я встаю и уступаю ей место:

– Сит даун, плиз, бабушка!

Весь автобус оборачивается и смотрит на меня не как на джентльмена, а как на донкихота.

Оказывается, в Дании джентльмены никому не уступают место, потому что там места хватает всем.

Я вспоминаю наши автобусы.

Наши автобусы – как мужчины у женщины: то нет ни одного, а то вдруг появляется сразу несколько.

Наш автобус – это клубок проблем: сначала его никак не дождаться, потом не влезть, а потом не вылезти.

В общем, с нашим автобусом лучше не связываться. Быстрее – пешком.

16

Мокрое утро Копенгагена. Здесь надо отложить авторучку и взять акварельные краски.

Хелен шагает, как Петр Первый. Ноги в крикливых рейтузах распахивают длинное пальто, как конферансье – занавес.

Тонкие губы ни о чем не спрашивают. Только – ответ на мой немой вопрос.

На стене вдруг вижу родную российскую надпись – «Beatles». Музыка объединяет всех, кроме соседей.

Наше искусство они знают плохо.

Спрашиваю их:

– Кого вы знаете из русских писателей?

– Достоевский и Лев Толстой.

– А – из артистов?

– Борис Ельцин.

Кроме Ельцина, в Дании обожают Горбачева. Он – на обложках, майках, штанах. Помнят еще и Брежнева. В редакции одной газеты я видел плакат: на фоне советских танков и вертолетов в афганской пустыне – Леонид Ильич, раздетый по пояс, в руке пулемет, на лбу черная повязка, и подпись – Рэмбо.

Наша жизнь им непонятна. Как, впрочем, непонятна и нам самим. Просто опыт позволил нам приспособиться к нашей жизни. Наш долгий опыт – к на-

шей недолгой жизни. На Западе до сих пор считают, что коммунальная квартира и совмещенный санузел – это аттракционы в парке отдыха, нечто вроде пещеры ужасов и комнаты смеха. Наша реальность – для них фантастика. А их реальность – фантастика для нас.

17

В Дании любят абстракционизм. Абстрактные работы – в офисах и квартирах. Музей современного искусства в Хумлебэке, пригороде Копенгагена.

Главное – не повесить картину вверх ногами. Зритель-то не заметит, а автор может обидеться.

Вторая трудность – придумать название. Название абстрактной картине придумываешь дольше, чем ее пишешь.

Третья трудность – цена. Назначишь слишком высокую – никто не купит. А назначишь слишком низкую – подумают: мазня.

18

Кто первым сказал, что Запад загнивает? Как всегда – Шекспир. «Прогнило что-то в Датском королевстве».

Я – в замке Эльсинор. Об Эльсиноре мне известно только то, что там жил и работал Гамлет. Но и этого достаточно. Гамлет, принц Датский, принципиальный датчанин.

Гамлет – это обнаженная шпага, обнаженная мысль, обнаженный нерв. Точней, все в обратном порядке.

Гамлетовский монолог – это диалог с самим собой. Бой со своей тенью. «Эх, была не была!» – воскликнул Гамлет, что в переводе на староанглийский означает «Быть или не быть?».

В своих трагедиях Шекспир раскрывал мир внутренностей человека. Если бы американцы снимали кино по «Гамлету», они назвали бы его «Убийца родного дяди» или «Отец, вылезающий из гроба». Фильм ужасов. У нас такого жанра нет. Зачем нам выдумывать ужасы, когда достаточно выйти на улицу. Или включить новости.

19

Одеваются датчане просто. У нас – чем ты богаче, тем больше на тебе накручено. А у них и миллионер, и безработный – все в кроссовках и джинсах. Даже старички и старушки.

Такое чувство, что датчане не умирают. Все спортсмены. Все худые. Только раз встретил толстого. Полчаса говорили с ним на ломаном английском языке, пока не выяснили, что он тоже русский турист.

За границей живет 20 миллионов наших. Кем же они работают? Конечно, среди них есть большие писатели, музыканты и ученые. Но в основном наши ученые работают там инженерами, инженеры – рабочими, а рабочие – безработными.

Правда, безработный у них имеет столько же, сколько у нас три инженера, хотя и он, и они валяют одного и того же дурака. Только у нас непонятно: ин-

женер мало получает, потому что валяет дурака, или валяет дурака, потому что мало получает.

Почему дипломы наших врачей ценятся там как макулатура? Потому что наши врачи ничего не могут. Не могут отличить белокровие от плоскостопия, ожирение от беременности, уснувшего от усопшего.

Они даже мужчину от женщины могут отличить только по паспорту.

У нашей медицины только два диагноза: все, что выше шеи – О-ЭР-ЗЭ, а что ниже – ОТ-РЕ-ЗЭ. Вместо горчичников используем утюг, вместо банок на спину – поцелуи, вместо клизмы – ершик, а против СПИДа у нас одно оружие – плакат «СПИД, сдавайся!»

20

На потолке королевского дворца – гербы земель, входивших когда-то в состав Датского королевства: Гольштейн, Лауэнбург, Шлезвиг, Фарерские острова, Гренландия, Исландия, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Норвегия, Швеция, Англия...

Таллинн – в переводе «датская крепость». Копенгаген – в переводе «купеческая гавань».

21

Копенгаген и Петербург – крупные порты. Отличаются они тем, что в Копенгагене живой рыбы – как грязи, а у нас – только грязь и никакой живой рыбы.

Зато наши химики первыми создали искусственную рыбу: наливаешь в стакан водку и пиво – и получается ерш.

Датчане долго не могли меня понять: «Ерш?! Как же он в стакане живет?!»

Знаменитый завод «Туборг». На дубовом столе – группы разноцветных и разновеликих бутылок с пивом. Главное в пиве – это пена. Туборжец кладет на пену монету. Монета не тонет.

Я не знаю по-датски, мой сосед не знает по-русски. После того как выпили, вдруг стали говорить.

Хмель – лучший переводчик.

– Крепкие напитки у нас пьют только по праздникам, – говорит мой сосед.

– У нас тоже пьют только по праздникам, – говорю я. – А праздник у нас тогда, когда есть что выпить.

В разговор вступает хозяин:

– Наш завод выпускает пять миллионов бутылок пива.

– В год? – спрашиваю я.

– В день, – уточняет хозяин.

Вся страна – 5 000 000. И один день завода – 5 000 000. Повальная автоматика. Несколько сотен рабочих. Следят только за тем, чтобы не было брака. Если бутылка или банка с браком, ее зацепляют какой-то клюшкой и сдергивают с конвейера.

– Неужели вы столько выпиваете?! – спрашиваю я, начиная девятую кружку.

– Нет, часть идет на экспорт.

– Ну, уж баночное, наверно, себе оставляете?

– Как раз наоборот – баночное экспортируем. Зачем засорять банками свою страну?

Напившись, мы поем. Датчане любят петь. Как, впрочем, и все другие народы.

На обратном пути от «Туборга» я увидел человека, который нес из магазина десяток бутылок. Причем все в руках: под мышками и между пальцев. Одна вдруг упала. Он наклонился за ней – с боем посыпались другие! У него осталась только одна целая бутылка. Что бы вы сделали на его месте? Зарыдали бы, застрелились или написали бы жалобу, почему не выпускают бутылки из бронированного стекла? Не знаете. А он сделал вот что. Он рассмеялся и сам грохнул оземь последнюю!

Приехав домой, я рассказывал знакомым: «Пропагандировал наш образ жизни – пил водку без закуски».

22

Быть русским сейчас модно. Многие там увлекаются сейчас русским. Да и не только там, но и здесь. Русские тоже хотят быть похожи на русских. И не потому, что это нравится Пьеру Кардену. Мода на нас – это не мода на наши станки, вещи, пищу (даже русская водка западного производства крепче и вкусней). Им нравятся наши очи черные, красный рок, павлопосадские узоры и непорочность, как им кажется, русских дев. Мы для них – экзотика. Как для нас экзотика – пальмы, слоны и танец живота.

Их любовь к нам не так глубока, как наша к самим себе.

Они нас любят, потому что все больше о нас узнают. Они все больше о нас узнают, потому что нас любят.

23

Что они знали о нас раньше? То, что русские не хотят войны и потому усиленно вооружаются.

Что знают они теперь? То, что пилот-любитель может на германском аэроплане перелететь тихонько нашу западную границу и сесть на Красной площади. То, что нашей ракетой могут сбить иностранный пассажирский самолет. То, что наша подлодка может взорвать саму себя.

24

Еще осмелюсь сказать, что мы никогда не помогали арабам.

Если бы мы хотели помочь арабам, то продавали бы оружие только Израилю. Воевать таким оружием, которое мы продавали, не может никто в мире, кроме русского солдата, который с голыми руками шел на фашистский пулемет, винтовкой отбивался от «мессершмиттов», с гранатой полз на «тигра», с ножом в зубах плыл за эсминцем.

Что это за сообщение с театра военных действий? «Арабские ракетные установки, тяжелые минометы и артиллерия при поддержке авиации и флота подвер-

гли массиванным ударам территорию Израиля. Жертв и разрушений нет». Еще бы, если на снарядах белой краской выведено: «Смерть немецким оккупантам!»

Если самоходные орудия настолько приучены ходить сами, что их не могут остановить даже водители.

Если торпеды движутся только по течению.

Если полевые минометы оснащены морскими минами. А посему берешь миномет в руки, делаешь на лице страшную мину и меташь его в противника!

И на какую голову рассчитаны противогазы, что, когда их наденешь, стекла для глаз оказываются на ушах?!

Сейчас, конечно, все изменилось. Сейчас наше оружие лучше, чем то, которое мы выпускали в свет сорок лет назад. И воевать таким оружием может даже тот, кто воевать не умеет.

Но изменились, конечно, и наши друзья. Не знаю, хороший ли друг – бывший враг, но точно знаю, что самый опасный враг – это бывший друг.

Ракеты, которые мы продавали годами, могут вернуться к нам бесплатно и в считанные минуты.

25

Ни в одной стране не придают такого огромного значения национальности, как в России. В России национальность – это характеристика, профессия, звание, награда, клеймо, диагноз, алиби, обвинение и наказание – в зависимости от национальности.

Только в России два родных брата могут иметь разную национальность. Причем оба – близнецы.

Только в России, допустим, чукча может пожаловаться: «Меня обозвали чукчей!»

Только в России употребляют выражения типа – «лицо мордовской национальности». А какой тогда национальности у него другие места?

Только в России существует кавказская национальность. Нигде в мире вы не встретите, к примеру, лиц гималайской, килиманджарской, тьянь-шаньской или фудзиямской национальностей.

Только в России, когда еврей хочет сделать приятное, ему говорят: «А вы совсем не похожи на еврея!» Или так: «Сколько ни встречал евреев, первый раз вижу такого порядочного!» Или еще лучше: «Хороший ты человек, хоть и еврей!»

Только в России вопрос: «Какой вы национальности?» – звучит так же, как вопрос: «Что вы делали в ночь с такого-то на такое-то у себя дома?»

Когда того же еврея спрашивают: «Какой вы национальности, Давид Исакыч?», он надолго задумывается, пытаясь исподлобья определить национальность того, кто спросил.

Впрочем, иногда еврей пытается забыть, какой он национальности, но всегда найдутся люди, которые ему об этом напомнят.

Всегда найдутся люди, которые уже составили на каждого человека досье еще до его рождения. Хотя это нетрудно, если составлять досье на всю нацию целиком.

«Эти – жулики. Все апельсинами торгуют, цветы разводят».

«Те – конокрады. Видите? Совсем коней в России не осталось!»

«А вон те работать не хотят. Все на скрипках играют, книжки пишут. Ребенку еще пяти нет, а его уже на скрипочку водят, с детства учат дурака валять!»

Национальность в России – как жена: ее так же хочется сменить, когда она начинает тебе изменять. Ингерманландец хочет стать вепсом. Вепс – финном. Финн – гражданином Финляндии. А еврей – кем угодно, только не евреем.

– Ваша национальность?

– Нееврей.

Кстати, женитьба всегда была удобным способом изменить если не национальность, то хотя бы фамилию. Я знал одного еврея, который сказал своей русской невесте перед свадьбой:

– Ты возьмешь мою фамилию, чтобы она не пропала. А я возьму твою, чтобы я не пропал.

Но еврею мало, что он русский. Он хочет стать русским в квадрате. Русский еврей всегда хочет сменить свою фамилию, даже если она русская. На какую? На другую русскую. Зачем? А вдруг спросят, какая у него фамилия была раньше!

Отличительная черта еврея – смотреть далеко вперед. Еврей знает, что, когда открывается какое-нибудь еврейское общество, это делается для того, чтобы антисемиты не гонялись за каждым евреем по отдельности, а могли накрыть всех сразу.

Поэтому еврея в еврейское общество не заманишь ни калачом, ни мацой.

Впрочем, смотреть вперед – черта всякого россиянина. Россия всегда живет будущим, потому что у нее нет настоящего, в отличие от Америки, которая живет настоящим, потому что давно уже в будущем.

В Америке нет национальностей. Трудно себе представить негра, который бы числился белорусом. В Америке – все американцы. Как в Дании – все датчане. Дания – это европейская Калифорния. Если ты живешь в Дании и говоришь по-датски, ты – датчанин. Если ты не говоришь по-датски, ты не датчанин. Заметьте, не испанец, не кореец, а именно не датчанин.

Когда немецкие фашисты оккупировали Датское королевство, они, чтобы выявить евреев, приказали им нашить желтые звезды. Первыми, кто нашил себе желтые звезды и вышел с ними на улицу, были король и королева. Они были настоящими датчанами.

26

Но я бы не сказал, что Дания уж очень от нас отличается. Ну, только размерами. А так в принципе все одинаковое. Инопланетяне и дикари вряд ли бы заметили у нас отличия. Те же люди – голова, два уха. При встрече жмут друг другу руки. Тело прикрывают одеждой. Живут в домах, окна из стекла. Машины о четырех колесах. Чтобы поддерживать в организме жизнь, едят еду, пьют питье, вдыхают воздух. Размножаются способом деления – на мужчин и женщин. В конце жизни все-таки умирают.

Разница в нюансах.

Они говорят: «Копенхавн», а мы говорим: «Копенгаген».

У них за все платят, а у нас или переплачивают, или берут бесплатно. Мы удивляемся, как они живут, а они удивляются, как мы еще живы. Дания – иностранное государство, а Россия – странное.

27

В Копенгагене я видел плакат – русский мужик с ножом и пистолетом – и подпись: «Welcome to Russia!» («Добро пожаловать в Россию!»).

28

В Копенгагенском университете я читал по-английски свои юмористические миниатюры. Все очень смеялись. Оказалось – над моим плохим английским.

29

Листаю альбом Херлуфа Бидструпа. Путевые заметки датского художника. Он пишет: «В Чехословакии много красивых девушек». Листаю дальше. «В Москве много красивых девушек». «В Болгарии много красивых девушек». «Как много красивых девушек в Румынии!»

Листаю и думаю: а ведь Бидstrup прав! В каждой стране много красивых девушек. Как, впрочем, и некрасивых.

30

Что меня больше всего поразило в Копенгагене. Ночью тихо, как в лесу. Соседи имеют право подать на тебя в суд, если после одиннадцати вечера ты громко спускаешь воду в туалете. Я даже думаю, они могут подать на тебя, если после одиннадцати ты слишком громко кричал: «Караул! Грябят!»

31

Болтаю с русской продавщицей в магазине зонтиков. Она говорит:

– О! Дождик пошел. Сейчас зонты раскупят.

И точно – вмиг разобрали все зонты.

Через полчаса дождь кончился.

Кучи зонтов валяются на скамейках, на земле, в урнах. Как будто зонтичный дождь прошел.

32

Дания – как Даная: на нее падает золотой дождь. Способов заработать деньги – бесчисленное множество.

В Копенгагене я видел человека со скрипкой в руках и шапкой у ног. Шапка была пуста. Он настраивал скрипку. Это было утром. А вечером я увидел его опять. На том же месте. Он все еще настраивал скрипку. Но шапка уже была полна денег.

Я спросил его, почему он так долго настраивает свой инструмент. Неужели требования к уличным музыкантам в Дании столь высоки?

– Нет, – улыбнулся он. – Просто я не умею играть.

Только в чужой стране можно почувствовать, как любишь свою. Никто так не тоскует по своей родине, как эмигрант.

Того, о чем я пишу, я датчанам не говорил. Это я говорю своим. А им я сделал только один комплимент: «Копенгаген – лучший город в мире, – сказал я, – после Петербурга».

Датчанам это понравилось. Вежливость не должна переходить в лесть.

Я не стал вдаваться в подробности. Не стал говорить, что Копенгагену отвожу четвертое место, а первые три – Петербургу. Точней Петербургу, Петрограду и Ленинграду.

И не только потому, что мой отец родился в Петербурге, мать – в Петрограде, а я – в Ленинграде.

Я не стал им говорить, как я люблю мою финскую землю.

Немецкие шпили, итальянские колонны, русские купола, египетских сфинксов – в центре.

И оранжевые сосны, седые валуны, темные озера – вокруг.

И гранит вдоль рек наверху и вдоль тоннелей внизу.

Снег осенью.

И дождь зимой.

Город-сон.

Город-корабль.

Город, восставший из топи блат.

Блатной город.

Восстающий всегда против тьмы – будь это тьма врагов или тьма ночей.

Белые ночи – наши питерские сны...

34

Прощай, Дания, моя добрая знакомая! Здравствуй, Россия, моя прекрасная незнакомка! Ни одна страна не меняется так за несколько дней, как Россия.

35

Человек с большими деньгами не обязательно богат. Когда я возвращался из Дании, таможенники долго во мне копались. Не понимали, почему я так мало с собой привез. Не догадывались, что у меня почти все в голове.

Копенгаген–Петербург



писатель, журналист. Из семи романов, написанных после отъезда из России в 1975 году, наиболее известный «Русофобка и фунгофил» был экранизирован британским телевидением. Редактор и ведущий радиобозрения «Уэст-Энд» Русской службы Би-Би-Си и автор лондонского еженедельника «The Times Literary Supplement». Живет в Англии.

НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ*

Эссе

Окна нашей кухни выходят на главную улицу. Я пью кофе и смотрю из окна на автобусную остановку. Кого тут только не увидишь. В этом лондонском районе («богемно-фешенебельном», по определению советского страноведческого словаря, и от этого его название Hampstead хочется транскрибировать как Хамстыд) пел в свое время соловей Китса, Олдос Хаксли обдумывал идеи бравого нового мира при тоталитаризме, Йетс сочинял тут зловещие стихи о страшной красоте, рождающейся в потоках ирландской крови, а местные социалисты за кружкой пива в два счета могли доказать, что Солженицын – платный агент ЦРУ. Двойников этих персонажей до сих пор можно встретить на автобусной остановке. Подошел клерк в полосатом костюме с чемоданчиком «дипломат». Домашняя хозяйка с седыми кудряшками, как будто у нее вместо головы кудрявый пудель с острой мордой в платке. Тут же – интеллигент в твидовом пиджаке с газетой. Девица на пособии, накрашенные губы, сигарета в одной руке, а другой она трясет детскую коляску с двумя детьми разного цвета кожи. Негр – голова в косичках растафари – в форме билетера из метро. Еврей в ермолке из синагоги по соседству. Все они друг к другу не имеют отношения, но понимают друг друга с полуслова, с полужеста этой уличной жизни: они – часть повседневной рутины этой цивилизации, часть очереди на двухэтажный автобус. И вдруг: странная процессия. Так выглядят леприки-прокаженные или слепцы.

* «Нева». 2005. № 6.

Они появились в нашем районе лишь в этом году: женщины закутаны с ног до головы в черный саван с прорезью для глаз – иногда в очках, – как близоручие призраки из царства мертвых. Рядом с ними обычно семят призраки поменьше – это дети, а впереди вышагивает глава семьи, неся впереди себя свой живот, хозяин, босс, тиран в феске со сталинскими усами. Впрочем, они явно не из Грузии. Я не знаю, откуда они. Из Йемена? Эритреи? Из Алжира? Кувейта? Кто они: берберы? бедуины? эфиопы? мавры? Они для меня все – на одно лицо, как китайцы. Это политические беженцы, их тут поселили за государственный счет, то есть за счет налогоплательщиков, то есть за наш счет. Их соплеменники, те, кто живет в Лондоне за свой счет, предпочитают другую сторону лужаек старинного парка Регента (Regent's Park), за углом от нашего дома. Там в результате давних политических интриг много лет назад мусульманам разрешили возвести центральную и главную мечеть Лондона. Мечеть с гигантским золоченым куполом – точная копия мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Каждую осень я восхищаюсь созревшим плодом диких каштанов (по-английски – «конкерс»): эти орехи в зеленом футляре кожуры, как будто запасные отлакированные карие глазницы какого-то прекрасного мертвого монстра, они падают с перегруженных ветвей осенних каштанов и отпрыгивают с цоканьем, приземлившись на тротуар или гаревую дорожку лондонского парка. В пищу эти шедевры природы не годны, по-моему, даже свиньям. Их можно лишь держать для красоты на каминной полке или швыряться ими, как расшалившиеся дети. Английские школьники играют в «конкерс» следующим образом: привязывают каштан на веревочку и, используя его как ядро на цепи, пытаются расколоть им каштан противника. Выигрывает, естественно, владелец самого крепкого каштана.

Этой осенью, в очередной раз наблюдая с лавочки в парке «войну» школьников, вооруженных каштанами, я заглянул в валяющуюся на лавочке консервативную газету «Daily Telegraph», где и вычитал удивительные факты о роли каштанов в военной истории Англии. Дело в том, что во время Первой мировой войны у англичан возник дефицит ацетона, необходимого для производства артиллерийского пороха. Перепробовали все что можно, и все без толку, пока в министерство обороны не обратился с рационализаторским предложением некий еврей с кафедры химии Манчестерского университета. Еврей придумал, как производить ацетон из обыкновенных диких каштанов. Все население заставили собирать этот удивительный плод, годный, казалось бы, только для игры в войну среди школьников. Никто не понимал, зачем собирают эту дребедень. Но эффективность производства ацетона из каштанов оказалась настолько велика, что британское правительство не осталось в долгу. Еврея-химика звали Хаим Вайцман; он был известным сионистом, и его инициатива по созданию еврейского поселения в Палестине была встречена доброжелательно британским правительством, выступившим с декларацией Бальфура в 1917 году, заложившей основы сионистского государства, и, в конце концов, способствовала созданию государства Израиль в 1948 году. Хаим Вайцман стал пер-

вым президентом этого государства, построенного, таким образом, не только на песке Иудейской пустыни, но и на английских каштанах.

Более того, школьная игра в «конкерс» по раскалыванию каштанов в наши дни трансформировалась в палестинскую традицию швыряния камнями (не без библейского, конечно, влияния). Когда пересекаешь парк Регента с юга на север, в сторону моего дома, видишь террариум Лондонского зоопарка по соседству. Он построен в виде искусственных скал; они высятся впереди – справа – неким Синайским архипелагом на горизонте и вместе с мечетью – слева – создают иллюзию того, что ты в Палестине. В летние дни газоны и аллеи запружены черными саванами, похожими на гигантских черных птиц. Они беседуют друг с другом по мобильным телефонам. Сидят, как галки, на невидимом телефонном проводе. Сравнение с птицами пришло мне в голову не случайно: над территорией Лондонского зоопарка высится гигантская сетка авиария – для редких птиц. Гуляя по каналу, проходящему через территорию зоопарка, начинаешь задумываться: а не похожи ли горные козлы на бедуинов, а священный ибис, с его длинным клювом до земли, на раввина? Или же все-таки ибис похож на египетского копта, в то время как на еврея похож круторогий баран?

Англия – страна, где всех любят классифицировать: и по вторичным половым, и по первичным расовым признакам. Чего тут больше – зоологии или расизма? А в бесконечных переспросах о твоём российском прошлом – больше любопытства к этническому курьезу или симпатии к одиночке-чужаку? Отбиваясь от назойливо повторяющихся вопросов насчет собственного происхождения, я (переиначивая ответ Набокова насчет того, каков его родной язык) стал отвечать любопытствующим, что у меня еврейская душа, русский ум, а сердце – английское. «Если судить по тому, сколько вы пьете виски, печенка у вас ирландская?» – тут же последовал вопрос. Ваше происхождение – занимательная тема для сплетен. А вот в виде какого всемирного заговора вы представляете себе свое личное светлое будущее – дело не наше, не общественное дело.

В мое время иностранец, получающий британское подданство, не должен был заявлять о своей лояльности британскому государству, армии, флоту или англиканской церкви. Но он должен был присягнуть на верность королеве: «защищать жизнь Ее Величества и Ее законных наследников». Больше ничего. Эта клятва – своего рода посвящение в рыцарское звание. Отныне я – сэръ Зиник. (Все мы в Англии немножко сэры – от сырой серой погоды?) Можно поставить подпись под юридически заверенным обязательством, а можно поклясться на Библии. Я, всегда уклонявшийся от личной ответственности, решил переложить ее на плечи Бога, и адвокат принес Евангелие. Но я сказал, что при всей моей безответственности не хочу перекладывать столь серьезные личные обязательства на плечи *чужого* Бога. Адвокат забегал по конторе, но обнаружил из Ветхого завета только томик-переплет с книгами Исхода и Пророков. Вполне уместно для клятвы еврея, вступающего в новое подданство. На них я и поклялся. Верности Ее Величеству, а не каким-то государственно-идеологическим абстракциям. Так мне казалось. Но в этом и кроются казуистика и трюк английского мышления: дело в том, что Ее Величество – это и бри-

танская армия, и налоговая инспекция, и англиканская церковь. И, тем не менее: никто не может сказать, как эти категории связаны и в чем выражается твоя готовность их защищать?

«Чего они тут делают, в Англии?!» – возмущаюсь я, местный патриот, мусульманским семейством в черных саванах и масках – в духе пира во время чумы – на автобусной остановке. «Почему они не переоденутся во что-нибудь более нормальное?»

«Во что? В твид, вроде фермера или университетского профессора? Или в комбинезоны новых хиппи? Должны ли они прокалывать себе ноздри и носить кольца в пупке, как новые панки? Или же натянуть на себя полосатый пиджак клерка из Сити? Или переодеться во все черное из Jigsaw, как люди на модных вернисажах?» Выясняется, что местным, англичанам, вся эта эфиопская и мусульманская экзотика нравится. Они не чувствуют угрозы. Они уверены, что все это эвентуально переродится во что-то третье. Мой собеседник в пабе, Джим Болдуин, сказал мне в разговоре на эту тему: «В двадцатые годы евреи из Ист-Энда выглядели точно так же, никакой разницы: все одеты странно, в черных лапсердаках, все кричат, ходят по улицам всей семьей, толпами». Вот так вот. Чтобы не думали, что вы особенные. А вдруг семейство на автобусной остановке вовсе не мусульмане, а все те же евреи, но только из бедуинов, берберов, эфиопов, мавров, арапов Петра Великого? Недаром же в истории иудаизма все лже-Мессии обращались в магометанство!



Паб «Сток сена» (рядом с автобусной остановкой), где происходил этот диалог, когда-то был баром при старинном боксерском клубе. Сейчас от клуба остался тренажерный зал. Здесь местная интеллигенция пытается избавиться от складок на животе. Но все помнят и то, что здесь во время гастрольных матчей в Лондоне любил тренироваться Кассиус Клей, он же Мухаммед Али. Он был знаменит своей гениальной способностью возникать и тут же исчезать перед взором соперника по рингу. Прыжок – и из американского чемпиона по боксу, *enfant terrible* либерализма, он превратился в мусульманина, воинствующего борца за права униженных и оскорбленных. Чего тут было больше: желания выпрыгнуть из негритянского гетто или же узнавания себя в большой идее? Может быть, мусульманство с его синтезом общинного иудаизма и христианского индивидуализма как раз и спасет нас – и от эгоцентрического одиночества, и от тоталитарной коллективности в мире, напоминающем боксерский ринг?

Нет географии как таковой. Она связана всегда с нашей памятью, с идеологической картографией прошлого. Слева от столба со знаком автобусной остановки – китайская аптека. Одновременно это и клиника – «Центр традиционной китайской медицины», читаем мы на фасаде витрины с огромными стеклами. За стеклами иногда можно разглядеть, как под руководством косоглазого человека люди медленно разводят руками в разные стороны – видимо, в недоумении от того, какие дикие деньги им придется платить за эти странные жесты. За

дополнительную плату пациентам еще при этом вставляют иголки в самые непредсказуемые места тела. Но для меня слово «Китай» связано вовсе не с альтернативной медициной, а со сталинской песней: «Русский с китайцем – братья навек... Сталин и Мао слушают нас». И дальше, припевом: «Москва – Пекин, идут вперед народы... под знаменем свободы... Сталин и Мао слушают нас».

Я не бежал из России: ни от шашки казака, ни от охранки. Хотя отъезд подразумевал полный отрыв – от друзей и семьи, города и языка (всего того, что называется жизнью), это был как уход по собственному желанию с работы: без уголовного наказания, но с лишением выходного пособия – советского гражданства. Я вывез свое прошлое, включая свой архив, без особых травм и мстительных чувств. Но Лондон вместо Москвы предстал как участь – после долгих метаний подsunутая судьбой идея жизни: ее могло бы и не быть, но, однажды приняв ее, уже ничего не изменишь. Как всякий раб собственной судьбы, я склонен идеализировать местную жизнь, где я оказался по личному выбору. Я многие годы зарабатывал на жизнь театральной критикой и знаю по опыту: чем дороже билеты в театр, тем больше энтузиазм зрителей – они аплодируют при любой возможности и громко смеются малейшей шутке. Потратив такие деньги на билет, не хочется разочаровываться в спектакле.

Я страшный консерватор. Лев Николаевич Толстой (в новелле «Дьявол») говорит о том, что самые непримиримые консерваторы – это вовсе не какие-нибудь старые генералы, а молодые неоперившиеся энтузиасты: лишенные собственной идеи и личного образа жизни, они хватаются за чужой, уже готовый, проверенный отцами идеал и защищают его с чиновничьим рвением от каких-либо перемен. То же самое с эмигрантами, вообще с новоприбывшими, как со всякими новообращенными.

Я спешу заявить о своей верности и преданности местным традициям. Но эти традиции существуют лишь как детские воспоминания тех, кто с этими традициями давно расстался в своей теперешней жизни. Искать потерянный идеал в чужом детстве? Наши идеальные представления – фантазии – о стране нашего будущего пребывания застывают во времени с момента нашей эмиграции. Я склонен поэтизировать нечто, что выглядит привлекательно в блестящей обертке прошлого, и не различаю новых идей в безобразном облике настоящего. Идеальная Англия навечно застыла у меня в сознании в виде Шерлока Холмса с трубкой в зубах, читающего том Диккенса на втором этаже красного автобуса, с полицейским бобби, объясняющим, как пройти к Биг-Бену и заодно получить политическое убежище, или с фермером в твидовой кепке, пьющим кружку эля перед пабом на лужайке, наблюдая игроков в крикет. Бритоголовые футбольные болельщики, разбивающие сегодня бутылки о головы иностранцев, или же толпы фашистов, сторонников сэра Освальда Мосли, маршировавшие в недавнем вчера по улицам Ист-Энда, – все это случайно и нетипично, всему этому нет места в моем сознании, тоскуящем по старой доброй Англии of warm bear and village cricket. Те иностранцы, пришельцы, новоприбывшие, кто – в отличие от меня и моих друзей – не вписываются в эту идеальную картинку Англии, подлежат депортации. «Чего они тут делают, в Англии?!»

Но любой англичанин скажет вам, что никакого «английского типа» вообще – нет. Подражать некому. Передразнивать некого. Ассимилироваться – непонятно среди кого? Английский тип – всемирный: тут представлены все типы. Если ты устал от Лондона, ты устал от жизни. Если есть на земле какой-то человеческий темперамент, его непременно можно обнаружить у Шекспира или Диккенса. Но в таком случае не поддается общей классификации и тип чужака на этих островах. Мой знакомый, Мартин Дьюхерст из университета шотландского города Глазго, признавался однажды, что он, вдвойне иностранец – как англичанин среди шотландцев и еще как славист, – тоскует по родному городу Лидсу с той же остротой, что и, наверное, евреи по Иерусалиму. Каждый в этом мире – эмигрант, и надо лишь смириться с собственной чуждостью, лелеять ее как нечто уникальное. Может быть, нет никакого британского наследия: как все живое, оно постоянно меняется, творится на глазах, уничтожается, чтобы возродиться в иной форме.



Во всякой стране с четко выраженной религиозной или идеологической физиономией, где всегда есть невидимое большинство (чей голос игнорируется мыслящим громко вслух меньшинством), ты подозреваешь о том, что страна думает о тебе не так, как тебе хотелось бы. Ты начинаешь беспокоиться оглядываться. Ты хочешь стать и невидимым, как все, но одновременно и самым заметным, то есть выдающимся, точнее, особым, не как все. Короче, хочешь, чтобы все принимали тебя за своего, но при этом держали за избранного. Мы так привыкли. Быть евреем в России – это привилегия: потому что быть не как все всегда было привилегией в России. И в России – советской России с ее официозной эгалитарностью, уравниловкой и плебейством – твое еврейство просто переносило тебя автоматически в иной класс избранных. Казалось бы, Англия была лишь продолжением этого ощущения привилегированности. Ведь сюда – в отличие от Израиля и даже Америки – пускают не всех. Мы тут – на особом положении. Би-Би-Си, Форейн офис. Но лишь в Англии мне впервые в жизни дали понять, что еврейство – это не статус. Только тут я ощутил двойную исключительность – точнее, исключенность: и как еврей среди христиан, и как русский среди англичан. Но сводится эта разобщенность все к той же предсказуемой разнице – акцентов речи, стиля и манеры мышления – всего того, что называется классом. Об этом говорил Олдос Хаксли в своем эссе «За границей в Англии» – о разной классовой принадлежности как о другой стране, о духовной отчужденности и одновременно сосуществовании разных миров на этом небольшом острове, как будто своей ментальной пестротой повторяющих бывшую имперскую разноголосицу культур. Оригинальные идеи и форма носа – все это очень любопытно, но к какому классу вас причислить, сэр эмигрант?

В России ты был куда-то заранее причислен. Или тебя пытались куда-нибудь приписать. И, сражаясь с этой печатью в паспорте твоей души, ты бессознательно уходил от главного вопроса: кто ты наедине с собой? Этот вопрос

возник лишь в связи с отъездом, с отрывом от компании друзей-приятелей, где этот вопрос вообще не мог возникнуть: там просто все были свои. Чтобы уехать, надо было объявить себя евреем, и не только по паспорту. И тут стало понятно, что быть евреем в России – значит быть причисленным к какому-то заговору в прошлом (распятию Иисуса Христа), из чего следовало, что ты – часть будущей конспирации (убийство царя-батюшки, сионистский заговор или международная банковская система). Еврей в России, в Европе – это всегда гость из будущего, вестник грядущей катастрофы. В Англии эти утопические катастрофы, заговоры и конспиративные махинации, подшитые зловещей идеологической подкладкой мирового еврейства, никто никогда не воспринимал всерьез. Даже если все евреи заодно, ну и что? Что вы с этим предлагаете делать? Отремонтировать старые газовые печи? За чей счет? Налогоплательщиков? Не смешите. Идеологические воззвания встречаются англичанами зевком. Чего тут больше – от лени устоявшегося быта или от протестантского скептицизма в отношении всякой идейности? Может быть, кто-то и предпочел бы, чтобы тебя не было поблизости. Но если уж ты здесь оказался, то себе дороже от тебя избавляться. Надо как-то организовываться. А зачем? Тем более начнешь избавляться от неприятных тебе типов – придется избавиться и от тех свобод, которых ты добился потом и кровью для себя самого.

Это не значит, что вас тут любят. Почему мы хотим (как и ирландцы), чтобы нас все на свете любили? Должно быть право на ненависть: но эту ненависть ты должен держать при себе. Ее тут и держат при себе. Это опыт общезжития. Это и опыт самодостаточности: никто никого не собирается перевоспитывать. Взгляд обращен внутрь себя, чтобы не выдать ничего лишнего, не оскорбить собеседника смелой потайной мыслью и одновременно не впустить в свой хрупкий внутренний мир. Все вокруг для такого островитянина – пришельцы: это остров внутри острова. На этом острове ты – меченый. Ты везде видим. Ты белый негр. Тебя всегда узнают: по легкой загнутой носу, по растянутости большого рта, по коротким ногам и низкой посадке тела. И, узнавший, ты ждешь неизбежного вопроса: «Вы еврей?»

Вопрос о моем происхождении воспринимается мной как завуалированное оскорбление. Этот вопрос подразумевает, что я всегда воспринимаюсь с приставкой «не». Все остальные на свете живут своей повседневной жизнью, они часть какого-то острова жизни – острова, но большого. В то время как я не островитянин. Я все время оглядываюсь назад, мой глаз косит в сторону, через Ла-Манш, сквозь замочную скважину в железном занавесе. Я оглядываюсь на Россию. Один из крайне реакционных героев викторианского писателя Троллопа говорит, что человек, не знающий, что делали его предки в четвертом поколении, недостойн называться джентльменом. А если ты не джентльмен, то и не ожидай по отношению к себе джентльменского отношения. Моя историческая память о России дотягивает лишь до прадедов, да и то главным образом по материнской линии. Не от мезальянса ли в поколении дедов и бабушек (одни предки были из семьи лесопромышленников, с арендованным поместьем, с тройками и балами, а другие – из плебса, столяры и аптекари) и возникла моя расщепленность?

Я вполне свыкся с тем, что меня называют евреем. Но я не хочу быть таким, каким меня хотят видеть те, к кому у меня нет ни грамма ни физической, ни метафизической симпатии. Мой отец стал коммунистом без моей подсказки. Я не знаю ни одной фразы на языке идиш, хотя моя бабушка могла бы и просветить меня на этот счет. Но предки об этом не позаботились. Я в детстве любил «дедушку» Сталина и «дедушку» Ленина не меньше, чем своих родных. Какое отношение я имею к широкополым шляпам, пейсам и лапсердакам хасидов и ортодоксальных иудеев? В их экзотической внешности, кстати, нет ничего специфически еврейского: как объясняла мне профессор Нехама Ляйбович, знаток талмудического иудаизма, хасидские одеяния – это просто вариант модной одежды средневекового Парижа: туда из польского местечка ежегодно посылались эмиссары, чтобы следить за модой, пока цадик в один прекрасный день не скончался, и вся коммуна так и застыла на парижской моде в год его смерти. Мне любопытно и приятно наблюдать еврейские свадьбы – от Нью-Йорка до Гибралтара, и не только потому, что они – с водкой и танцами – как будто эмигрировали только что из России. (То, что в Европе и Америке называют еврейской едой – бублики с селедкой, это меню, естественно, исконно русское, но завезенное на Запад евреями.) Но эти свадьбы и молитвы для меня не ностальгичны, как, скажем, для английского еврея: для меня праздник – это на 1-е Мая или 7 ноября, с салатом «оливье» на столе и парадом на Красной площади. У меня нет никаких сантиментов по поводу пасхального «Исхода из Египта». География исхода для меня – это аэропорт Шереметьево.

Я не чувствую близости ни к ортодоксальным лапсердакам, ни к элитарному твиду Альбиона не потому, что я – еврей, или не потому, что я – недостаточный еврей, или, наоборот, потому что я склонен симпатизировать мусульманам. Я – чужак именно потому, что я не еврей и не мусульманин из здешних. Я как бы никто. Я, скорее, чувствую себя наравне с алкашами на пособии в местном пабе – они в каком-то смысле приближаются к типу социалистического разгильдяя, знакомого мне с детства.



Точно напротив моего дома, справа от автобусной остановки, – книжный магазин. Одновременно это еще и центр с лекционным залом. «Центр фрейдистского анализа» – написано на фасаде. Номер этого дома – 76. Мой номер – 67. Зеркальное отражение. Я живу напротив, через дорогу от своего подсознания. В этом подсознании еще не заглушены ночные звуки в двенадцатиметровой комнате, где мы жили вчетвером – папа, мама, моя сестра и я, а периодически еще ночевал и дедушка. Можно себе представить, как звучал в моем подростковом воображении каждый скрип раскладного дивана, каждый сдавленный вздох. Мы родились в оргии – в ее фонетической версии по ночам и в идеологической раздвоенности на личную интимность и общественную дидактику днем.

В те годы отец время от времени удалялся из нашей коммуналки в квартиру

своих родителей. Там стоял его письменный стол, и он считал это место в комнате родителей своим рабочим кабинетом. Когда моя тетка (сестра отца) вернулась в Москву со своим демобилизованным мужем и поселилась в квартире дед с бабушкой, письменный стол убрали, и это как бы лишило отца его рабочего места. Моих родителей возмутило то, что с ними никто не проконсультировался на этот счет. Сюжет – склочно-советский. Состоялся суд, и отец выиграл дело. Но это право на жительство надо было подтверждать: ночевать хотя бы раз в неделю или что-то вроде этого. На ночевку в стане врага отсылали меня – ребенка дошкольного возраста. Меня клали на раскладушку, и в темноте я слышал разговоры своих родственников: они говорили страшные вещи про маму и папу; но я должен был молчать и делать вид, что я сплю. Они знали, что я не сплю, и слова становились все более и более ужасными. Я затыкал уши, зарывался с головой под подушку. Ничего не помогало. Не помогает и до сих пор.

Это и было мое первое изгнание из рая, моя первая эмиграция. Я думаю, у каждого есть вспомнить нечто похожее. Но это не значит, что между подобными детскими эпизодами-испытаниями на верность и преданность и состоянием отчужденности в будущей взрослой жизни была какая-либо причинно-следственная связь. Параллель в логике – да, но связь? Совершенно необязательно. Общность между людьми в определенный период жизни не означает, что эта общность была до этого или повторится в будущем.

Когда героев Джеймса Джойса призывают к героической жертвенности во имя ирландской истории, они отвечают явно с авторской интонацией в голосе: «Это не моя история. Это – ваша история». Нас пугают: «наша» история в один прекрасный момент становится «вашей» историей. Но подобное утверждение могут сделать обе стороны спора. Зло, конечно, побеждает чаще, и «жидов» бьют всех подряд вне зависимости от их метафизических воззрений. Но это не значит, что я должен стать идолопоклонником той версии истории, которая зиждется на интуитивной убежденности в непобедимости злого начала в человеке: чем в таком случае эта концепция еврейства отличается от сатанизма?

Есть ли Бог? И если есть, как я ему должен служить? Или мы все служим одному Богу? Как я должен относиться к тем, кто не знает имени моего Бога? Есть ли у него одно имя, или их много? Распинал ли я вместе с остальными евреями Иисуса? Не уверен. Но этот вопрос должен задавать и каждый христианин. Должен ли их задавать еврей? Кто такие евреи? Может быть, нынешние евреи – это всего лишь протестантская секта средневековой Европы, вообразившая себя библейскими иудеями? В связи с гонениями на эту секту, не принявшую ортодоксального христианства, члены этой общины пережились друг на друге, и в результате в течение столетий выработался даже определенный физиологический – «еврейский» – тип, разный, естественно, в зависимости от народов, стран и континентов, где возникала эта секта. Но и общее сходство угадывается; в конце концов, профессия (чтение книг) накладывает отпечаток, и в этом нет ничего оскорбительного: рыбак рыбака видит издалека. Однако каждый ловит свою рыбу. Для евреев создано вроде бы государство Израиль. Но большинство евреев почему-то туда не едет. Спросите раввинов,

стоящих вне сионистского движения, и они вам скажут, что это – один из очагов спасения еврейских беженцев, а вовсе не та Святая земля, куда все евреи будут возвращены с приходом Мессии. Опять что-то не то, что-то не совсем так. Кому, действительно, нужно место на земле, где за каждую пядь орошаемой почвы язычники и идолопоклонники как оголтелые убивают друг друга, всякий от имени и по поручению собственного бога? Какое отношение мои предки имеют к палестинским баранам?

Я – еврей, но я – не ваш, я – другой, не Байрон, нет, еще неведомый, не до конца описанный изгнанник, чья душа не подлежит регистрации (и репатриации) по паспортной системе. И никто не знает, какой из евреев – с душой, а какой – с душком. Почему я должен причислять себя к религии, существующей без храма, без трона божия, без кола и без двора? Иудейское царство для религиозного еврея наших дней – это Библия и талмудические законы. Идея слова как указания к действию была подменена идеей интерпретации слова как единственного занятия на свете. Это религия людей, знавших, что Иерусалим земной разрушен, перенесен на небо, и лозунг «В следующем году – в Иерусалиме!» подразумевает всегда следующий, а не нынешний год...

Поглядите на книги тех, кто называет себя религиозными евреями, – на их талмудические ритуалы: их бесконечная казуистика как будто задумана именно для того, чтобы их невозможно было до конца исполнить – и тем самым приблизить срок прихода иудейского Мессии. Всякая иллюзия обретения подобного религиозного идеала безжалостно развенчивается. При этом предается остракизму и всякая попытка отказа от этого вавилонского ритуала (то есть желание осесть и вжиться в местную жизнь, забыть о возвращении в несуществующий Иерусалим, перестать быть подвластным их Талмуду). Получается, что современный иудаизм – это сплошная апологетика невозвращения: на родину, домой, к собственному храму, к собственному Богу. Это – карманная, переносная книжная версия духовной неустроенности, религия вечного плача на реках вавилонских, перманентной эмиграции, возведенной в мистический культ.

Есть много людей на свете, кто рвется в посредники между нами и Богом. Они хотят, чтобы все было просто. Они знают, как служить Богу, и готовы поделиться с нами своими знаниями. Это билетеры наших божественных маршрутов. Они готовы раздавать нам паспорта и путеводители по новой жизни. Не надо. Потому что не все так просто, как им хотелось бы. Путеводителей по этим маршрутам просто не существует, потому что некоторые из них плохо кончаются, а сами маршруты периодически меняются. Обозначены лишь автобусные остановки.



журналист, киносценарист. Живет в Германии.

СВИДЕТЕЛИ ОПРАВДАНИЯ*

Вперед, вперед шагают батальоны...
Зовет труба! Победы близок час!
Сегодня нам Германия внимает,
А завтра мир, весь мир услышит нас!
«Хорст Вессель» –
Гимн штурмовых отрядов.
Орды баранов прут,
Шествуя на закланье,
Бьют барабаны, бьют,
И кожа на них – баранья.

Б. Брехт. Классовый враг

Уезжая в Германию, я заранее знал, что судьба наверняка сведет меня с теми, чье детство и юность пришлось на те злосчастные и роковые тринадцать лет, которые Провидение отпустило «тысячелетнему Рейху». Так оно и случилось. Их оказалось даже больше, чем я ожидал, этих людей. Все они, слава Богу, не были видными функционерами партии, тайной полиции или других властных структур. Но они, скажем прямо, были далеко не изгоями этого времени, этого уникально бесчеловечного режима. И, признавая справедливость многих обвинений в адрес нацизма, они, тем не менее, по-прежнему убеждены, что их детство и юность не были вовсе лишены «разумного, доброго, вечного». Мне не хочется с ними спорить – смешно было бы занимать-

* «Новое время». 2005. № 5.

ся идейным перевоспитанием людей, доживающих свой век. Тем более что я говорю о хороших людях – неглупых, работающих, душевно отзывчивых, жизнерадостных и попросту честных. И тем более, что их убеждение отчасти справедливо. Да, они бездумно, по-обывательски вписались в тогдашнюю действительность – как миллионы других – и если невольно поступились своей духовной независимостью, то других своих житейских достоинств держались крепко. Они – часть народа, который, как принято говорить, достоин того правительства, которое у него есть. И который, стало быть, ответствен за ошибки и преступления своих правителей. Но этот же народ в неменьшей степени ответствен и за великие свершения, подаренные человечеству его светonosными умами и талантами. Люди, о которых я сейчас говорю, воплощают это извечное и неизбежное противоречие не менее наглядно, чем исторические личности. Три скромных примера этой констатации я и хочу привести здесь.

Меня познакомил с нею мой бывший московский ученик, а ныне мюнхенский житель и немецкий режиссер Дима (Дмитрий) Попов. Уже тогда – четыре года назад – ей было под семьдесят, но она превосходно выглядела и успешно управляла своим *praxis* (частной клиникой). Два года назад она продала ее.

Она потомственный врач. Отец был «легочник», хорошо известный в Мюнхене. Мать же... Но о матери речь особая. Доктор медицины Иоганна Хаарер была в тридцатые годы не просто известным педиатром – известнейшим. Автор книги, которую нацистские власти рекомендовали – а это в те годы было почти равносильно приказу, – иметь в каждом доме, где собираются заводить ребенка. Поскольку рождение здоровых арийских детей было официально объявлено одной из важнейших политических задач – существенной частью той самой «национальной идеи», – книга «Мать и ее первый ребенок», доступно, емко и наглядно освещающая все аспекты взращивания младенца от рождения и до года, вдруг оказалась в числе идейно и политически актуальных книг. Автор был всячески поощряем, хотя чешское (по матери) происхождение слегка царпало иных партийных бонз. Кстати, доктор Хаарер, будучи все же немкой, неплохо владела чешским языком, благодаря чему ее дочь и моя приятельница Анна неплохо говорит... по-русски. Этот парадокс произошел просто. Когда бабушке и матери надо было сказать при детях что-то «недетское», они говорили по-чешски. Умная девочка как-то попросила бабушку поучить ее чешскому языку, на что умная бабушка сказала: «Чешский язык хороший язык, но это язык небольшого народа, и он вряд ли тебе пригодится, а вот русский – это серьезно. Это самый важный славянский язык. Займись им!»

Иоганна Хаарер подтвердила в глазах нацистских идеологов свою высокую политическую репутацию рождением пятерых детей. Став таким образом еще и образцовой «немецкой матерью», за что была удостоена почетной награды – ордена *Deutsche Mutter* III степени (равнозначно нашей «Медали материнства»). В биографии книги – и впрямь замечательное пособие для молодой матери – было два занятных момента. В первом издании на обложке была фотография автора с двумя своими первенцами-близнецами. Однако те самые вышеупомянутые ревнители расовой чистоты обратили внимание, что

девочка (это и была Анна) в отличие от брата мало смахивает на арийку – смугла, темноволоса, и потому во втором издании был оставлен только мальчик – белокурый, светлоглазый. А в третьем вообще заменили семейную фотографию снимком некоей мамы с классически арийской внешностью, нежащей на руках столь же безупречное дитя... В наше время книгу переиздали – она, естественно, не утратила актуальности, – но, разумеется, без того вступления, которое Иоганна Хаарер по совету тогдашних редакторов предпослала деловому содержанию. В этом предисловии, как и положено, говорилось все о той же национальной задаче – о том, что гражданам новой Германии, как никогда, нужно здоровое и многочисленное потомство, что грядет время, когда потребуются заселение новых земель, что плодovitость – долг немецкой женщины и т. п.

Нельзя сказать, что мать Анны, как и отец, совершенно не ценили того внимания, которое оказывал им правящий режим. Конечно, они были относительно равнодушны к политике, занимались своим извечно благородным делом, но душевный и физический подъем, который переживала тогда страна, захватил и их. Отец брал детей на демонстрации, на все главные празднества, радовался вместе с ними, когда удавалось просочиться в первые ряды нарядной мюнхенской толпы, осатанело-восторженно встречающей кортеж фюрера. Дети, сидя на руках у отца, махали флажками и, подобно взрослым, вскидывали правые ручки. Путь кортежа был устлан цветами. Цветы были всюду – в руках, в лацканах баварских курток и пиджаков, на шляпах, на балконах, на подоконниках раскрытых окон, на фонарях, на лошадиных гривах. Гирлянды, венки, букеты. Такое трудно забыть и трудно разлюбить.

Как-то, уже в семидесятые годы, Анна пошла вместе с подругой, такой же немолодой, как она, в один из мюнхенских кинотеатров на какой-то американский фильм. В программе сеанса была еще небольшая документальная лента, в которой фигурировал довоенный Мюнхен во время одного из приездов Гитлера. Анна увидела улицу и место, где она с этой самой подругой и другими девчонками стояла когда-то в толпе, радуясь празднеству. Слегка подзабывшись, она стала взволнованно обращать внимание подруги на увиденное: «Посмотри! Посмотри! Ты узнала?! Вот-вот... Вот здесь мы стояли с цветами! А потом побежали на другую сторону!» Ее реакция была замечена. Молодой парень, сидевший сзади, громко сказал, полуобернувшись к своим спутникам: «Вот нацистки! Вот они – эти две!» Перепуганная подруга зашептала: «Замолчи! Замолчи! Давай уйдем скорее!» И, не дожидаясь согласия, поднялась и пошла на другое, более отдаленное место, неподалеку от выхода. «Не надо было тебе вспоминать про это! Да еще вслух!» – зашептала она усевшейся рядом Анне. «Но почему? Разве мы не имеем права вспоминать наше детство? Ведь было не только страшное и плохое!»

Анна все понимает: да, это был страшный и плохой режим, но он делал все, чтобы казаться немцам хорошим и добрым. И это ему в немалой мере удалось. О том, что это обман, не хотелось думать и не думалось. Да, она спросила однажды у матери: «А куда подевались все наши еврей-соседи? Тетушка Лонни...

и другие?» Мать ответила: «Их переселили на восток. Там им дадут работу и жилье. Здесь их многие не очень любят – там им будет лучше».

Верила ли мать в эту версию? Наверно, верила, потому что, как и все, верила в то, во что хотела верить. Так было спокойнее. Она была членом партии, и не только формально. Ей доверили просветительскую миссию – читать лекции начинающим врачам, студентам, фабричным девушкам, женам рабочих и молодым сотрудницам всевозможных «амтов». Отец не был членом партии, но разделял новые веяния, считая их патриотическими. Он до конца верил в победу и часто возглашал, как бы заклиная себя и своих домашних: «Мы должны выдержать!» В доме висел портрет Гитлера – подарок известного мюнхенского художника Томаса Баумгартнера.

Несмотря на солидные гонорары за книгу, жизнь семьи неизменно была умеренно комфортной. Заботясь о будущем детей, мать вложила все гонорарные деньги в ценные бумаги, которые с поражением, разумеется, превратились в мусор.

Когда пришли американцы, мать арестовали. Им было известно ее престижное положение в Третьем рейхе. Ее поместили в концлагерь неподалеку от Мюнхена. Жила она в бараке, но, поскольку была медиком, ей поручили работу в лечебнице, которая обслуживала и мужской, и женский лагерь. Младших детей отец отправил в деревню к родичам, сам остался с двумя старшими. Он совершенно потерялся в эти послевоенные дни. Когда в оккупационной газете появились фотоснимки «знаменитых» немецких концлагерей, репортажи о крематориях и бесчеловечных медицинских опытах, отец и вовсе сник. «Теперь они сделают с нами то, что мы делали с ними», – повторял он. Убитый поражением, арестом жены, трагическим видом мюнхенских развалин, он часто уходил в лес и бродил там в одиночестве, но в один из дней ушел и уже не вернулся домой. А на другой день обнаружилось, что он утопился в реке.

Фрау Хаарер вела себя в лагере очень мужественно. Всю первую послевоенную зиму американцы практически не заботили себя ни кормежкой, ни лечением заключенных. Когда смертность в мужском лагере стала слишком заметной и наверху затребовали отчета у лагерного начальства, последнее попыталось отделаться «липой», то есть свалить все на несчастные случаи и внезапные эпидемии. Нужна была подпись немецкого доктора, то есть Йоганны Хаарер. Она поставив ее отказалась. И написала свой отчет, где говорилось о повальной дистрофии и отсутствии медикаментов. На нее пытались давить – уговаривали и угрожали, – но она, потерявшая мужа, лишенная детей и совершенно не представлявшая своей дальнейшей судьбы, осталась непреклонной.

Ее многократно допрашивали, причем несколько раз задавали один и тот же вопрос: «Сколько людей вы и ваши коллеги уничтожили в ваших концлагерях?»... Просидев почти полгода, мать получила освобождение – при этом с нее взяли подписку о неразглашении того, что ей довелось увидеть и пережить в заключении.

Вернувшись из лагеря, она занялась детьми, но все разговоры и воспоминания о прошлом она старалась или пресекать красноречивым молчанием, или не

менее красноречиво не замечать. Анна вспоминает только одну реплику, которую мать все же однажды выдала, вмешавшись в какой-то острый спор между детьми. «Мы многого не знали тогда, – сказала она. – Но хуже всего, что мы не знали, как много плохих людей среди тех, кто управлял нами». Скажем честно: не самое глубокое признание. Оно перекликается с тем, которое на пороге смерти изрекла Герда Борман. Она тоже не зашла слишком далеко, но все же малость подальше. В пересказе одного из ее сыновей это «последнее слово» звучало так: «Больнее всего мне думать, как много было плохих людей среди нас, национал-социалистов, и как много хороших среди тех, кто не был с нами».

Судя по всему, подобные реплики были на уме и на языке у многих деятельных функционеров Третьего рейха.

Как все ее сверстницы, маленькая Анна была членом «Юнгефольк» (подобие нашей пионерской организации в советские времена), носила удобную униформу, помогала собирать для фронта «зимнюю помощь», вместе с подругами навещала раненых в мюнхенских госпиталях. Война начиналась тревожно, но и весело. По радио и на улицах гремела бодрящая музыка. Маршировали солдаты. Взрослые возбужденно обсуждали первые победы. На школьных картах запестрели маленькие флажки – немецкие, итальянские, японские. Было интересно перемещать их туда-сюда. А потом начались бомбежки.

С бомбежками пришли беды, пришли другие волнения и заботы, но страх не пришел. Война перестала быть веселой, но страха не было. (Я верю Анне, потому что не она одна свидетельствует об этом.) Конечно, люди боялись погибнуть, боялись потерять близких, потерять жилье, но никто не трусил – меж людьми разом возникло нерасторжимое, стойкое единство духа. Все говорили одно: надо выстоять! И чем сильнее бомбили, тем крепче делалось это даже не дружеское, а какое-то семейное, родственное единение.

Страшновато было в подвале, частично превращенном в бомбоубежище. Поэтому Анна редко спускалась туда во время воздушных налетов. Предпочитала оставаться с бабушкой наверху, иногда в квартире, иногда на чердаке – там, как и на крыше, работала специальная команда: пожарники и спасатели. Ей давали большие щипцы, и она хватала ими зажигательные бомбы, которые пробивали кровлю, и выбрасывала их на улицу. Дом качался, и все равно здесь было не так страшно, как в бункере. Отец слабо протестовал против ее вылазок, но мать не возражала, а соседи и пожарники дружно хвалили. Как только раздавался сигнал воздушной тревоги, жильцы быстро одевались, брали заранее приготовленные узелки и корзины, прикалывали на одежду «кошачий глаз» (маленький пластмассовый кружок, бликующий в темноте) и, широко распахнув все окна и двери – в том числе и входные квартирные, – спускались в бункер.

Бомбежки вызывали у горожан непреходящее удивление. Анна помнит, как женщины (и среди них бабушка), смотря в небо, откуда сыпалась смерть, удивленно восклицали: «Что же они делают, эти американцы? Неужели они не видят, что здесь нет никаких военных целей? Здесь же простые дома! Здесь же обычные люди?!». Анна, насколько я мог догадаться по нескольким мимолетным фразам, до сих пор пребывает в убеждении (которое, правда, навряд ли

станет защищать с пеной у рта), что эти бомбардировки были бессмысленным варварством. Я точно знаю, что если б сказал ей про Варшаву, Лондон и Ленинград, а заодно и про Москву, где мальчишки на три-четыре года старше меня тушили в 41-м немецкие зажигалки, она не стала бы спорить и, возможно, для виду согласилась бы, что Мюнхен и другие города Третьего рейха были для американских, английских и советских летчиков правомерной вражеской целью. Но про себя, скорее всего, подумала бы (как и многие пожилые немцы, пережившие войну), что немецкие пилоты вряд ли целенаправленно бомбили жилые кварталы и гражданские объекты – это были неумышленные попадания, а вот союзники (и в первую очередь англичане) творили это преднамеренно.

Послевоенная реальность сильно изменила мать. Она всегда была мужчиной в семье и считала авторитарное воспитание самым правильным. Будучи дома, она почти никогда не выпускала из рук вязальных спиц или иглы – всегда что-то вязала, штопала, обновляла. Строгость и дисциплина были главными семейными установками. «Мы знали, мы видели, – рассказывает Анна, – материнскую заботу, но мы не знали материнской нежности. Домашние интересы, личные интересы – это второе, это побочное. Нас учили, и мать не в последнюю очередь, что превыше всего – коллектив, общество, нация. Если б это было только нацистское, оно бы не привилось глубоко, но это было немецкое – да! – всем и каждому привычное от рождения. Конечно, это по-своему сказало во время войны и после – когда мы терпеливо и дружно разбирали завалы, покорно работали ради будущего. План Маршалла дал нам шанс – мы все это сразу поняли, вцепились в труд и не глядели по сторонам. Но шок все-таки был – он сидел внутри. Было много больных, особенно среди мужчин. Чаще всего на почве депрессии, атрофии мозга, амнезии»...

Мать, как я понял, тоже не избежала душевной растерянности, хотя внешне держалась спокойно. Однако управлять подрастающими детьми она уже не могла – в новой немецкой действительности ее педагогические установки выглядели неуместными. За несколько лет до смерти она взялась писать воспоминания – видимо, пережитое свербило ее, требовало оценки, оправдания (а может, и раскаяния – трудно сказать). Воспоминания пропали или были уничтожены младшей сестрой Анны, или спрятаны ею.

Эта сестра родилась в 42-м году. Она практически не жила при нацизме. Мать, с которой она была все послевоенные годы, не имела на нее того влияния, что на старших детей. Она была девочкой другого времени и выросла в женщину другого времени. И это, естественно, привело сестер сперва к отчуждению друг от друга, а затем к бесповоротной ссоре. Ссора была внезапной и как будто случайной. Как говорится, из-за политики – что само по себе свидетельствует о многом. Анна была в гостях у сестры. Стали смотреть по телевизору ток-шоу, посвященное проблемам иммиграции. Развернулась дискуссия – может ли Германия и дальше держать двери столь широко открытыми для миллионов беженцев? Одна из гостей, депутатка и внучка Бисмарка, обронила реплику: «Все это прекрасно – иностранцы, новые граждане, гуманизм, но у нас маленькая страна!»

«Сестра возмутилась, – вспоминает Анна, – а я, напротив, сказала то же самое. Я сказала: "Посмотри на карту! Три четверти штатов в Америке почти с Германию, а то и больше, и в них живет по восемь–десять миллионов. Погляди на Россию! А у нас?! Я не против европейцев или евреев – они жили с нами тысячу лет, но африканцы, но индусы, турки, арабы – они же нам чужие! И притом хотят оставаться чужими! Я понимаю, если б у нас были пустоши, малозаселенные земли – тогда пожалуйста! Но почему мы должны тесниться из-за них?!» Сестра вскочила – она еще и выпила тогда немного – и начала кричать: "Ты за нацизм! Ты за расизм!" И дальше в таком же духе. Я уехала».

...Однажды в Берлине мне довелось мимолетно увидеться и перекинуться парой слов с Лени Рифеншталь. Это было на людях, торопливо и сумбурно, и я попросил о свидании в Мюнхене. Фрау Рифеншталь вежливо отказала, сказав, что больше не дает никаких частных интервью, а скоро вообще прекратит встречаться с журналистами – она была не в лучшем настроении. Все же я решил поискать к ней доступ и сразу подумал об Анне. Как удачно! Во-первых, она живет в Мюнхене, во-вторых, дочке Иоганны Хаарер и к тому же уважаемому врачу (Анна также «доктор медицины») легендарная режиссерша вряд ли откажет. Анна охотно согласилась помочь мне – написать frau Рифеншталь от своего имени и поехать к ней вместе со мною в случае ответного согласия. Увы, она тоже получила отказ, хотя это была не отписка, а довольно пространное и предельно любезное письмо. «Что ж... – философски заметила Анна, – у frau Рифеншталь не было детей, так что книга матери для нее ничего не значила...» – «Да, – согласился я и почему-то, не знаю, счел нужным добавить: Обе они, конечно, служили режиму, но как по-разному!» Сказал, наверно, для обоюдного утешения.



историк, автор множества публикаций и, в частности, сборника исторических материалов и статей «Против Сталина». Живет в России.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ДЕСАНТ*

В июне в Санкт-Петербурге состоялся Международный экономический форум, на котором выступил президент РФ Путин. Глава государства совершил незаурядный экскурс в сравнительно недавнее советское прошлое, коснувшись эпохи первого пятилетнего плана, и, в частности, сказал: «Именно в это время плановая экономика Советского Союза давала наибольшие результаты, именно в это время складывалось индустриальное могущество СССР». Суждение печальное по степени исторической достоверности, так как для народного хозяйства первая пятилетка (1928–1933 гг.) имела катастрофические последствия.

«Гиганты» для войны

Во время реализации первой сталинской пятилетки большевики осуществили не имеющие аналогов в мировой истории физическое уничтожение и ограбление производительных сил страны, раскулачив во время коллективизации и уморив при помощи организованного голодомора не менее 10 млн крестьян. Причем уничтожению подверглись наиболее трудолюбивые семьи и доходные частные хозяйства. Если при устойчивом естественном приросте в предшествующие годы (в среднем +2,1 млн) на 1 января 1933 г. численность населения СССР составляла 162 млн 902 тыс. человек, то на 1 января 1934 г. – 156 млн 797 тыс. Финансовые и экономические потери от разорения деревни, сельского хозяйства и животноводства существенно превысили стоимость возведенных в начале 1930 годов «гигантов» сталинской индустрии. Для боль-

* «Новое время». 2005. № 31.

шинства из них к тому же были типичны высокая аварийность, непрофессиональное управление и низкая производительность труда при царившей полной бесхозяйственности со стороны административно-технического персонала.

Путин ни словом не обмолвился о том, что «наибольшие результаты» советской плановой экономики в упомянутый период оказались связаны только с военным производством. В рамках неудержимой подготовки к борьбе за советизацию Европы Советский Союз развернул невиданную гонку вооружений. По количеству выпущенной военной техники советское производство превысило суммарное производство Германии, Великобритании и Франции. С 1928 по 1934 год рост числа боевых самолетов составил 170%, артиллерийских систем – 275%, а танков – почти 10 тыс. % (!). Самое драматичное заключалось в том, что большая часть выпущенной в 1928–1934 годах военной техники до 1939 года изнашивала собственный ресурс и пришла в негодность, не сыграв никакой роли во Второй мировой войне.

Для первой пятилетки были характерны нищенский уровень жизни основной массы населения, товарный дефицит, рабская организация труда в колхозах, зарождение ГУЛАГа и карточно-распределительная система. На среднюю месячную зарплату в 1933 году столичный рабочий мог купить 31 кг хлеба (в 1913-м – 314) или 7 кг мяса (43), 5 кг колбасы (25), 3 кг масла (18) и 3, 5 кг сыра (22). Но наиболее важная деталь в очередном кризисе заключалась в том, что именно 75 лет назад судьба большевистской партии висела на волоске, возможно, едва ли не в большей степени, чем осенью 1919 года, когда офицерам элитных деникинских полков гремел звон колоколов Первопрестольной...

Спасти себя

Вопреки присутствующим до сих пор в школьных учебниках утверждениям, главная причина коллективизации заключалась совсем не в стремлении партии большевиков путем внеэкономического принуждения добыть средства для форсированной индустриализации СССР. В первую очередь высшая номенклатура ВКП(б) в лице Сталина и взращенного им партийного аппарата убедилась в 1927–1928 годах в невозможности дальнейшего сосуществования со свободным товарным крестьянином-производителем. К 1927 году нэп окончательно исчерпал себя в силу собственной ограниченности и половинчатости. Несмотря на некоторые послабления после 1921 года, правящая партия прочно удерживала в своих руках так называемые «командные высоты» – промышленность, транспорт, внешнюю торговлю, финансово-банковскую систему и захваченную во время революции крупную недвижимость. Такая система оказалась в определенный момент не в состоянии удовлетворить растущие материальные запросы крестьянства.

Спрос деревни на промышленные товары многократно опережал предложение, в итоге начались рост цен и неизбежная инфляция. Но государственные закупочные цены на хлеб и сельхозпродукцию оставались прежними, поэтому крестьянин отказался продавать большевикам за бесценок плоды собственного труда. В 1927–1928 годах грянули хлебозаготовительные кризисы, и совет-

ское государство вернулось к практике принудительных продовольственных заготовок. В 1929-м смоленский рабочий получал в день 600 г хлеба, члены его семьи – по 300 г хлеба; на одного человека полагалось в месяц от 200 г жиров, до 1 л подсолнечного масла, сахара – 1 кг в месяц. Реакцией на резкое ухудшение продовольственного положения стали первые признаки волнений в городе. Это грозило власти непредсказуемыми последствиями.

Ситуацию могла бы исправить решительная либерализация экономики – допуск частных предпринимателей и иностранных инвестиций к «командным высотам». Но такой поворот событий означал бы неизбежное отстранение большевиков от власти и возвращение на родину почти двухмиллионной русской эмиграции. Бесславный конец начатого осенью 1917 года социального эксперимента ставил на повестку дня и вопрос о юридической ответственности его инициаторов и активных участников. Поэтому у сталинского большинства в руководстве ВКП(б) не оставалось другого выхода, кроме как уничтожить свободного земледельца-производителя. Ради самосохранения и продолжения социалистического эксперимента партия решила навязать деревне неэффективную и убыточную колхозную систему. После уничтожения наиболее зажиточного и непримиримого меньшинства колхоз превращал некогда самостоятельного и инициативного крестьянина в бесправного и покорного сельскохозяйственного рабочего, принуждаемого государством к рабскому земледельческому труду. В ходе двух этапов коллективизации в 1930–1932 годах большевики экспроприировали не только скот, инвентарь, недвижимость, но в первую очередь – крестьянский труд, личные усилия частных лиц. Только колхозная система с обязательным прикреплением миллионов колхозников к месту жительства и принудительным трудом могла гарантировать высшей номенклатуре ВКП(б) сохранение политической власти.

Смута

Инстинктивное сопротивление деревни грядущему наступлению большевиков было яростным, но хаотичным и неорганизованным. В 1928-м по СССР имели место 1027 случаев массовых выступлений на селе и 709 зарегистрированных актов индивидуального террора против представителей советских, партийных и карательных органов. В 1929-м – уже соответственно 9093 и 1307. Органы ОГПУ постоянно фиксировали в крестьянской среде высказывания и настроения, подобные нижеследующим:

«Умрем с голоду, власть хлеб отбирает, а нам ничего не дает. От власти нам хорошего не получить, надо находить выход самим. Пора опять браться за оружие» (Тамбовский район).

«Ничего не пожалю, последнюю корову отдам, лишь бы уничтожить эту проклятую власть и придушить всех стервецов-коммунистов. Мы с нетерпением ждем объявления войны, тогда мы рассчитаемся со всеми коммунистами и с теми, кто их поддерживал. Недолго будут грабить нас теперь, скоро настанет и для нас час» (Владимирская губерния, Муромский уезд).

В этих условиях объектом самого пристального внимания партийных и чекистских органов была Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА). Ставшие ныне доступными документы показывают глухое брожение в красноармейской среде в канун «решительного наступления на кулака». Только за второе полугодие 1928 года органы военной прокуратуры уволили из РККА более 4 тыс. военнослужащих (80% по политическим мотивам), преимущественно рядовых красноармейцев. В 1928–1930 годах из РККА уволили 242 бывших белогвардейца. Одновременно органы ОГПУ приступили к интенсивной оперативной разработке бывших офицеров Русской императорской армии, не только служивших в РККА на положении военспецов, но и проживавших в СССР в качестве частных лиц.

К осени 1917 года почти 276 тыс. человек насчитывал русский офицерский корпус. Одна из главных причин успешного развития революции заключалась в страшных потерях, понесенных русским офицерством во время Первой мировой войны. Тем не менее, офицерство исполнило свой долг перед родиной. После октябрьского переворота именно офицеры вместе с воспитанниками кадетских корпусов и юнкерами стали ядром сопротивления режиму Ленина и Троцкого. Более 50 тыс. офицеров были истреблены большевиками в ходе красного террора в 1917–1920 годах. Из примерно 170 тыс. офицеров, участвовавших в Белом движении, около 55 тыс. погибли, около 60 тыс. оказались в эмиграции и около 55 тыс. остались по разным причинам в РСФСР. 50 тыс. офицеров большевики мобилизовали в РККА в 1918–1920 гг. в качестве военспецов, и это обстоятельство стало одним из важнейших факторов, позволивших ей одержать победу в гражданской войне.

Добровольно в РККА вступило незначительное число бывших офицеров – по разным источникам, от нескольких сотен до нескольких тысяч. В 1920–1921 годах к военспецам была добавлена часть бывших белых, попавших в плен (более 14 тыс.) и взятых на службу в РККА.

Опасны для власти

Историк С. Волков справедливо отмечал, что в принципе служба бывших русских офицеров большевикам, «проявившим себя как главный враг и ненавистник офицерства», была ненормальной. На службу к большевикам шли по разным причинам. Несомненное меньшинство (например, М. Тухачевский) – по карьерным соображениям. Кто-то надеялся спасти в водовороте красного террора семью, кто-то – перейти при первом же удобном случае к белым или бежать за границу. Одни, размышляя традиционно аполитично, наивно полагали, что они служат Родине независимо от режима, другие вступили в РККА с целью конспиративной антибольшевистской работы (генерал-лейтенант А. Геруа, полковник В. Люндеквист, подполковник В. Медиокритский). Были те, кто испытывал разного рода иллюзии – по поводу «народнического» характера большевистской революции или якобы неизбежной эволюции армии и режима (генерал от кавалерии А. Брусилов, генерал-майор А. Балтийский). Боль-

шинству военспецов из числа офицеров, оставшихся в столичных городах, просто некуда было деваться от мстительной и кровожадной советской власти.

Большевики прекрасно понимали противоестественность института военспецов независимо от степени демонстрируемой ими лояльности. Военспецы по мироощущению и воспитанию все равно оставались глубоко чуждыми рождавшейся в ходе социального эксперимента новой цивилизации. Поэтому доля военспецов в командных кадрах РККА неуклонно сокращалась: 75% на 1918 год, 53% на 1919-й, 42% на 1920-й и 34% на 1921-й. В отличие от самих бывших офицеров, партийно-чекистская номенклатура всегда адекватно оценивала уровень потенциальной опасности, исходившей от них, независимо от того, служил ли офицер в РККА или жил на положении частного лица. Так, например, в 1927 году в Ленинграде чекисты арестовали группу бывших офицеров Финляндского полка во главе с полковником В. де Жерве – «финляндцы» слишком часто общались, это вызвало подозрение. Бывший русский офицер всегда был чем-то опасен советской власти, потому что, несмотря на все моральные компромиссы и изломанность, оставался способным к рефлексии и переживанию, переоценке совершенных поступков и честному восприятию текущих событий. Офицер, даже в личине краскома, оставался в советском государстве инородным телом, и его судьба всегда висела на волоске.

Одна из важнейших основ советской системы заключалась в том, что большевики постоянно манипулировали сознанием народных масс, умело переобъясняя в обстановке жесткого идеологического диктата текущую реальность. Для военспеца это представлялось крайне затруднительным, со временем он видел ситуацию такой, какой она была на самом деле, а не какой ее хотела видеть партия. Планируемое физическое уничтожение миллионов крестьян, то есть того самого народа, которому вроде бы служила Красная армия, в глазах нормально мыслящего человека очень трудно было выдать за крайне необходимое первоусловие построения общества социальной справедливости. Никуда не исчезли у многих бывших офицеров воспоминания о былой корпоративности – любви к родному полку и полковому знамени, тяге к однополчанам, верности традициям и полковым реликвиям. И, по верному замечанию одного из чекистов, если такая «среда оставалась в определенный момент пассивной», это совершенно «не исключало возможности возникновения в ней активного сопротивления» в случае серьезных социальных потрясений, каковым, без сомнения, должна была стать грядущая коллективизация.

Спецв в разработке

Двухмиллионная русская диаспора за рубежом в массе своей оставалась непримиримой по отношению к советской власти и искала любых возможностей для продолжения борьбы. Созданный 1 сентября 1924 года генерал-лейтенантом П. Врангелем Русский общевоинский союз (РОВС) к концу 1920-х объединял до 100 тыс. воинских чинов. Значение знаменитой операции «Трест», которой так гордятся чекисты, в большой степени преувеличено благодаря одно-

именному кинофильму. «Трест» нанес моральный ущерб, когда выяснилось, что в 1923–1927 годах сотрудники великого князя Николая Николаевича (младшего) интенсивно контактировали не с подпольной монархической организацией в СССР, а... с ОГПУ. Но «Трест» не привел к ликвидации РОВС и никак не отразился на готовности чинов союза, в большинстве своем – боевых офицеров, к новому «весеннему походу». Не затронул «Трест» активности полковых объединений в эмиграции и деятельности военно-учебных заведений. Решение генерала Врангеля в 1927 году о создании самостоятельной службы для действий на родине привело к гибели главнокомандующего – он был отравлен в результате спецоперации ОГПУ в 1928 году. Врангеля на посту председателя РОВС сменил генерал от инфантерии А. Кутепов – Георгиевский кавалер, последний командующий Преображенским полком, непримиримый, жесткий и убежденный человек. В распоряжении Кутепова были 32 боевика. После разоблачения «Треста» их группами перебрасывали через границу в СССР для организации покушений на представителей партийно-чекистских органов.

Не очень результативные, но достаточно активные действия кутеповских боевиков отвлекли внимание контрразведывательного отдела Секретно-оперативного управления ОГПУ от наиболее важного направления деятельности нового председателя РОВС – упорных попыток завязать контакты в среде военспецов. По крайней мере, в Киеве, Ленинграде и Москве такие контакты были установлены. Кутепов, не в пример большинству эмигрантов, подчеркивал ценность и значение военспецов. Например, генерал неоднократно заявлял о том, что после падения советской власти в России не будет ни Красной, ни Белой армии, а лишь единая Русская. Герой знаменитого 1-го Кубанского («Ледяного») похода 1918 года во всеуслышание объявил о том, что в возрожденной Русской армии никто не будет носить знаков отличия и наград периода гражданской войны, чтобы не обострять психологического разделения в офицерской среде.

Активная разработка чекистами военспецов вряд ли когда-либо прекращалась, но особенно она усилилась с 1924 года. Почему именно тогда? Вероятно, потому, что именно в 1924 году в доме бывшего генерал-лейтенанта А. Снесарева состоялось собрание георгиевских кавалеров, о чем узнали органы ОГПУ. Кстати, на этом же вечере были Брусилов, а также бывшие генералы Д. Надежный, А. Новиков, А. Свечин, А. Лигнау и др. Едва ли не решающую роль в освещении связей и контактов военспецов играл некогда крупный ученый, теоретик, генерал от инфантерии А. Зайончковский (1862–1926), чей двухтомный труд по истории Первой мировой войны до сих пор остается классическим. Увы, с 1921 года Зайончковский, а затем и его дочь Ольга Андреевна были сексотами органов ВЧК и давали подробные показания о критических настроениях в среде бывших сослуживцев по Русской императорской армии, в том числе и о встречах в доме Снесарева.

Сейчас трудно судить, с кем контактировал РОВС в офицерской среде на родине в конце 1920 годов. В 1929–1932 годах репрессии затронули несколько десятков групп как военспецов, так и бывших офицеров, но пока мы не можем сказать, какие из этих групп уже принимали характер организаций, а в каких

просто фиксировались резко отрицательные высказывания по отношению к власти. То, что и среди военспецов, и среди бывших офицеров, а также воспитанников кадетских корпусов и военных училищ они получили широкое распространение – не подлежит сомнению. Наиболее резкие отзывы вызвал очередной виток гонений на церковь и нажим на деревню.

Хроника гостеррора

Чем больше ухудшалась социально-политическая обстановка в СССР в связи с хлебозаготовительными кризисами 1927–1928 годов, тем динамичнее и активнее становились Кутепов и его ближайшее окружение. Весной 1929 года в отделах РОВС в Европе стала известной фраза Кутепова, произнесенная им в речи перед кубанскими и донскими казаками: «Сигнала "Поход!" еще нет, но сигнал "Становись!" уже должен быть принят».

21 октября 1929 года в Москве чекисты расстреляли пять человек во главе с бывшим генерал-майором Н. Высочанским: их обвинили в руководстве контрреволюционной группой в Главном управлении военной промышленности. Репрессии против военспецов в промышленности продолжались и в 1930–1931 годах. 23 декабря 1929 года в Военной академии РККА был арестован преподаватель кафедры артиллерии М. Попов (бывший полковник). Его обвинили «в связях с границей» и расстреляли 17 августа 1930 года.

11 января 1930 года зампред ОГПУ Г. Ягода направил группе руководящих чекистов записку, в которой предложил подготовить в считанные дни план мероприятий «в отношении сплошной очистки деревни от кулацкого элемента».

В свою очередь 25 января генерал Кутепов в Париже приказал поручику М. Критскому разработать план десантной операции в Кубани – одном из очагов непрекращающегося вооруженного сопротивления в период коллективизации. Кутепов хотел высадить около 4 тыс. офицеров. Десант намечался на раннюю весну 1930 года – отметим это обстоятельство. Критский собирался сделать доклад Кутепову 27 января, но 26 января председатель РОВС при попытке похищения был убит группой чекистов во главе с Яковом Серебрянским. В январе 1930 года ситуация в стране настолько накалилась, что требовалось любой ценой убрать отважного генерала, собиравшегося лично принять участие в высадке. Открытое убийство Кутепова ошеломило эмиграцию. С гибелью второго председателя РОВС оборвались и многие связи, в том числе среди иностранцев, обещавших морские транспорты. Заступивший на его место генерал-лейтенант Е. Миллер от идеи десанта отказался, а может быть, вообще не был в нее посвящен.

27 января в Москве был арестован преподаватель, бывший генерал-лейтенант А. Снесарев, обвиненный в участии в монархической организации Русский национальный союз (РНС).

Всего по делу РНС аресты затронули 50 человек.

30 января Политбюро ЦК ВКП(б) приняло секретное постановление «О мерах по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». В соответствии с постановлением предполагалось на первых порах ли-

шить имущества путем раскулачивания более 200 тыс. человек, из которых 60 тыс. – расстрелять или этапировать в концлагеря, а 150 тыс. выселить в отдаленные местности. В ночь с 5 на 6 февраля раскулачивание началось в Северо-Кавказском крае и далее захлестнуло всю страну.

«Весна» на чекистской улице

С ареста Снесарева началось развитие дела «Весна», названного так потому, что обвиняемым – преподавателям Военной академии РККА, бывшим офицерам Генерального штаба и другим лицам – инкриминировалась подготовка военного переворота, намеченного на весну 1930-го, то есть параллельно с несостоявшимся кутеповским десантом. Аресты по «Весне» затронули Москву, Ленинград, Киев и другие крупные города СССР. Наиболее разветвленные организации были раскрыты в Киеве (343 человека) и в Харькове зимой 1930–1931 годов. Всего в 1930–1932 годах по делу «Весна» аресту подверглись 3496 человек, в подавляющем большинстве военспецы.

Параллельно с делом «Весна» вскрывались группы бывших офицеров, упорно хранивших знамена, регалии и реликвии своих воинских частей. Так, например, у бывшего командира 148-го пехотного Каспийского полка при обыске чекисты нашли полковое знамя. В Ленинграде к 7 февраля 1931 года по «Весне» арестовали 373 человека, из которых подавляющее большинство расстреляли 2–3 мая. В Киеве расстрелы репрессированных по «Весне» состоялись в конце мая 1931 года.

Новая гражданская

Так существовал ли заговор (или серия заговоров) в Красной армии на рубеже 1920–1930 годов? На наш взгляд, пока преждевременны любые однозначные ответы. Очень важным дополнением к «Весне» мы считаем тот факт, что фоном развития этого почти ныне забытого дела служил новый виток гражданской войны, вспыхнувшей зимой 1930 года. Если за 1929 год через судебные «тройки» ОГПУ прошли 5885 человек, то за 1930 год – уже 179 620 человек, из которых 18 966 приговорили к расстрелу. За 1930-й чекисты зафиксировали по СССР 13 754 массовых выступления, в том числе 176 ярко выраженных повстанческих. Только за январь–апрель 1930-го по СССР, по данным ОГПУ, состоялось 6117 крестьянских выступлений, в которых суммарно участвовали около 1,8 млн человек (!). На Северном Кавказе, под Курском, на Кубани и в Сибири против повстанцев применяли артиллерию, танки и авиацию. Брожение затронуло и части РККА. Вот лишь несколько наиболее характерных примеров:

Февраль 1930 года – в Приволжском ВО арестован помощник командира 95-го стрелкового полка Смирнов, оказавшийся полковником Добровольческой армии и скрывавшийся 10 лет под чужой фамилией. При обыске в доме Смирнова чекисты изъяли 4 ящика патронов. При попытке вооруженного прорыва через границу в Польшу задержан командир взвода 192-го стрелкового полка 64-й стрелковой дивизии Поптус.

Февраль–апрель 1930 года. Младший командир Глушенко, командир взвода в 45-й стрелковой дивизии Украинского ВО, попытался объединить вокруг себя группу единомышленников, чтобы с боем прорваться на территорию Польши. От имени «Союза освобождения» Глушенко распространил в полку несколько листовок следующего содержания: «Граждане! Большевицкий террор усилился, народ терпит страдания под большевицкой кабалой коммунистов. Коммунисты стали теми же двурушниками, крестьянство превращают в колонию. За оружие против коммунизма. За свободу и труд, за свободную жизнь».

Март 1930 года – в 74-й Таманской и 13-й Дагестанской стрелковых дивизиях Северо-Кавказского ВО за контрреволюционную деятельность арестованы 10 командиров и 9 рядовых. Все арестованные командиры в 38-м полку 13-й дивизии принадлежали к подпольной офицерской организации, так как являлись бывшими младшими офицерами денкинской армии.

Июль 1930 года – в Новгород-Волынском чекисты раскрыли маленькую конспиративную организацию, во главе которой стоял демобилизованный командир отделения 131-го стрелкового полка и член ВКП(б) Нещадименко. В группе Нещадименко было около 10 человек бойцов и командиров, ставивших своей целью подготовку восстания в полку и захват оружия.

Май 1931 года – чекисты раскрыли конспиративную организацию в 12-м стрелковом полку 4-й стрелковой дивизии (Белорусский ВО), члены которой готовили восстание в полку и собирались уйти в Польшу. Руководитель группы – начальник штаба батальона 12-го полка Люцко – погиб в перестрелке с чекистами.

В 1932 году общее число отрицательных политических высказываний бойцов и командиров, зафиксированных ГПУ в частях РККА, превысило 300 тыс., а в 1933-м достигло почти 350 тыс., в том числе угрозы повстанческой деятельности составили более 4 тыс. случаев.

За 1933 год в антисоветских высказываниях были уличены более 230 тыс. красноармейцев и более 100 тыс. командиров и начальников. В 1932–1933 годах из рядов РККА по причине неблагонадежности были уволены 26 тыс. красноармейцев, командиров и политработников.

Бесспорно, что дело «Весна» естественным образом родилось из той драматической обстановки, которая реально складывалась в стране. На фоне столь грандиозных событий «Весна» стала лишь эпизодом той необъявленной войны, которая шла в России с момента октябрьского переворота 1917 года и ни в коем случае не прекратилась с эвакуацией Белой армии в 1920–1922 годах. Но это был важный и значительный эпизод. Автор убежден, что внимательное изучение архивных материалов по «Весне» способно преподнести нам еще немало сюрпризов. Даже три четверти века спустя.



литературовед, журналист, историк, критик. Живет в России.

ГЕРОИ, СТАТИСТЫ, РЕКВИЗИТ*

Разумная жизнь в истории человечества скорее исключение, чем правило

(Беседа с раввином Адином Штейнзальцем)

Горелик: Мы как-то обсуждали с вами природу света и тьмы, и вы сказали, что один из аспектов их разделения – это создание диапазона волн, воспринимаемого человеческим глазом.

Штейнзальц: Да, такова возможная физическая интерпретация.

Г.: Погодите, но ведь свет был создан в первый день творения, а человек в шестой.

Ш.: И что вас смущает?

Г.: Ну как, возникает нечто, заведомо ориентированное на человека, в то время как человека еще нет.

Ш.: Почему это может удивлять? Это естественно. Мир антропоцентричен. Во всяком случае, так смотрит на это иудаизм. Вы правильно сказали: «Заведомо ориентирован на человека». Мир создается с расчетом на человека. В Талмуде есть по этому поводу притча. Как готовятся к свадьбе? Готовится помещение, еда, цветы. И только потом появляется жених. Почитайте первую главу Библии – она как раз об этом.

Г.: Появился жених, и что дальше?

Ш.: Дальше начинается большой космический эксперимент. Ставится масса чувствительных антенн, которые ловят сигналы из дальней части космоса, куда этот новый персонаж помещен. Есть гипотеза, что он станет носителем разумной жизни и как-то даст о себе знать.

Г.: Но ведь эксперимент может эту гипотезу и не подтвердить. Или по-

* «Новое время». 2005. № 30.

ложительный результат известен заранее? Удастся антеннам уловить что-нибудь осмысленное?

Ш.: Главным образом один шум. Есть история, как Всевышний, прежде чем создать человека, обсуждал этот проект с ангелами.

Г.: И что ангелы?

Ш.: Отнеслись крайне скептически. Изучив спецификации, сказали, что новое изделие разумный сигнал вряд ли подаст. Совершенно не приспособлено. Отчасти ангелы оказались правы, поскольку осмысленный сигнал – большая редкость. Но в принципе ангелы оказались неправы, потому что, хоть и редко, осмысленный сигнал все же имеет место – что и требовалось доказать.

Г.: Ага! Но отсюда следует, что разумная жизнь в истории человечества скорей исключение, чем правило. Радикальная идея. Я вас правильно понял?

Ш.: Не следует понимать мою метафору чересчур буквально, но в целом вы поняли правильно. Оглянитесь вокруг, посмотрите, во что превращают люди свою жизнь. Разумным это трудно назвать.

Г.: Но если осмысленные сигналы подают единицы, какова роль остальных?

Ш.: Я не сказал «единицы» – это вы сказали. Но для простоты дела пусть будет так. Остальные – статисты, реквизит. Существуют только для того, чтобы составить компанию единицам.

Г.: Политкорректной, однако, вашу идею не назовешь. И демократичной тоже. Я-то полагал, что иудаизм ставит в центр мира «обыкновенного» человека, а он у вас оказывается всего лишь реквизитом.

Ш.: С чего вы решили, что я стремлюсь к политкорректности? Вопрос в том, какую мы себе ставим цель: сказать каждому что-нибудь приятное или выяснить важные вещи, даже если ничего приятного в них не будет. Всевышний действительно ставит в центр мира обыкновенного человека – иудаизм это обстоятельство констатирует. Всевышний говорит человеку: у тебя есть беспрецедентная для созданных Мною существ возможность прожить жизнь не так, как Я хочу, а как ты сам хочешь; ты можешь выбирать: можешь прожить осмысленно – можешь бессмысленно, можешь стать героем – можешь статистом, а можешь вообще реквизитом. Всевышний предлагает план, предлагает Свое содействие, но не принуждает. Всевышний предлагает роль главного героя пьесы. А человека устраивает роль ведра или дерева, грубо намалеванного на заднике. Станный выбор? Станный. Вызывает недоумение? Вызывает. Ангелы, естественно, напоминают: ну что мы Тебе говорили! Иудаизм действительно демократичен. Демократичность заключается в том, что возможность высокой, осмысленной жизни дана каждому. Но право каждого этой возможностью не воспользоваться. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Г.: Все это хорошо, да только мне приходилось встречать многих, желающих стать наполеонами, Пушкин (пусть с иронией) говорит: «Мы все глядим в наполеоны», «все»! – статистами мало кто хочет быть, ведром быть не хочет вообще никто.

Ш.: Вопрос в том, кого называть героем, кого статистом, кого реквизитом. Наполеон считал себя большим человеком, но думаю, по ту сторону земного бытия, в перспективе вечности, он обнаружил, что весьма мелок. Был такой царь Иеровоам II. Очень успешно царствовал. Один из самых успешных еврейских царей. Восстановил царство в границах Соломона. И что говорит о нем Писание? Что, раздвинув границы, он осуществил пророчество Ионы. Только-то. С точки зрения своего времени, народа, сопредельных царей, политиков, политтехнологов и журналистов, Иеровоам II был центральный персонаж. И сам он, естественно, так себя и ощущал. С точки зрения Библии – статист, инструмент, реализующий пророчество человека, действительно заслуживающего внимания. Иеровоам и упомянут-то только благодаря Ионе.

Г.: Иона – тот, который с рыбой?

Ш.: Тот самый. В Библии Ионе посвящена целая книга, Иеровоаму – несколько строк.

Альбом (2 диска)
с 36 песнями
Булата Окуджавы
на русском и иврите –
в исполнении
Ларисы Герштейн

В Израиле – ₪50
 В США и России – \$28
 В Европе – €20

Справки по телефону: (Иерусалим) **02-5325931**
 или по электронной почте: **omegag@bezeqint.net**



президент Института Ближнего Востока.
Живет в России.

«ШАРОН ТОРОПИТСЯ СДЕЛАТЬ ЭТО ПРИ ЖИЗНИ»*

– Евгений Янович, насколько предсказуемо развитие ситуации после вывода поселений из Газы?

– Это процесс очень тяжелый, болезненный и с чрезвычайно долгими последствиями. Левый истеблишмент долго провоцировал правых и поселенцев на то, что называется локальной гражданской войной – на физические столкновения с армией и полицией. К счастью, большого насилия, большой крови не было.

– Что вы имеете в виду под провокациями?

– И поведение прессы, и поведение израильских политиков в значительной мере провоцировали столкновение поселенцев с правоохранительными органами и силовыми структурами. Отдельная тема – это действия контрразведки. Но эта ситуация будет публичной уже после того, как рассеется дым над полем столкновений, и израильская пресса разомкнет уста. Поскольку пресса в Израиле левая, она многое замалчивает. В том числе она молчит по поводу коррупции в семье Шарона и его ближайшем окружении. Важной причиной эвакуации поселений из сектора Газа является то, что карьера Ариэля Шарона заканчивается, и все, что происходит вокруг вывода поселений, в значительной мере помогает его карьере, а также карьере его детей закончиться почти безоблачно. Это не имеет отношения к безопасности Израиля.

– Но такая бытовая подоплека выглядит несколько несоразмерной происходящему процессу...

– Для премьер-министра Израиля, который может физически сесть в тюрьму, а заодно увидеть там собственных детей, это выглядит более чем соразмерным. Для внешних наблюдателей, наверное, нет. Фактор личности в истории – величина не отмененная.

* Gazeta.ru.Commentary

На палестинской территории ситуация балансирует на грани гражданской войны. И уход израильтян из сектора Газа, скорее всего, спровоцирует начало интифады на Западном берегу и гражданской войны в Палестине. В свое время Советский Союз ушел из Афганистана, и был почти полный консенсус, что надо уходить. Но ни в коем случае нельзя было уходить так, как ушли. И очень скоро это породило кровопролитную гражданскую войну, приход талибов и так далее. Сегодня по степени непроработанности, по тому, какие последствия это вызовет, вывод израильских войск и поселенцев из Газы абсолютно аналогичен уходу Советского Союза из Афганистана.

Последствия будут катастрофическими именно потому, что Шарон торопится. Он хочет успеть сделать это при своей жизни. В политической торопливости – корень всех долгосрочных проблем сегодняшнего мира.

– Как изменится внутривнутриполитическая ситуация в Израиле?

– В Израиле больше нет традиционной схемы «левые–правые», все перемешалось. Придя к власти как лидер Ликуда, Шарон не пользуется в своей партии популярностью – не только в ЦК, но и среди рядовых членов. Шарон не может сегодня выиграть выборы в Ликуде. Его поддерживает Авода, Шимон Перес, левая пресса и левая прокуратура, которая ранее всегда считала его своим врагом. Даже коммунистическая партия Израиля не критикует Шарона.

Биньямин Нетаниягу, который недавно вышел из правительства, явно сделал это в преддверии большого краха Ликуда. Его задача в том, чтобы либо сохранить название «Ликуд» за той группой, которую он готов возглавить, либо объединить тех, кто будет готов сплотиться вокруг него. На самом деле сегодня израильтяне делятся так: примерно 25–30% – те, кто одобряет действия Шарона по ликвидации поселений, примерно 25–30% – те, кто категорически это не одобряет, и примерно 40% тех, кто понимает, что в Газе делать нечего, но категорически не согласен отступить так, как отступает Израиль.

Это не правые и левые, а совершенно другая конфигурация. Старые руководители и Ликуда, и Аводы, которым около 80, заканчивают свою политическую карьеру. За ними политический вакуум, потому что это уже старое кино, и его Израиль уже смотрел. Не исключено, что в ближайшем будущем мы увидим полное изменение всей партийной и блоковой картины. Причем пока мы не можем даже представить, какой она будет. Сменилась традиционная ориентация богатых ашкеназов на Партию труда и бедных сефардов на Ликуд. Сегодня есть богатые высокопоставленные сефарды, есть бедные, хотя и образованные ашкеназы. И это совершенно меняет традиционную картину.

– Можно ли в этой ситуации говорить о преемственности политики?

– Курс Шарона – это личный курс Шарона. Ситуация не внушает оптимизма ни в каком измерении. Нет никаких гарантий, что терроризм после ухода израильтян из Газы уменьшится. Территории юга Израиля будут находиться под ракетным обстрелом. Уход израильтян из Филадельфийского коридора даст возможность через египетскую территорию поставлять современное вооружение в сектор Газа. Неизбежна интифада на Западном берегу реки Иордан. Соответственно, террористическая активность внутри «зеленой черты»

усилится. Все это провоцирует израильтян на нанесение масштабного удара по палестинцам. Абу-Мазен также чрезвычайно пожилой человек, и нет оснований полагать, что у него может быть один преемник, который формально возглавит Палестину. Скорее всего, она расколется на враждующие анклавные, возглавляемые региональными полевыми командирами.

В этих условиях рассчитывать на продолжение политики Шарона, завязанной на его личные и семейные интересы, было бы авантюризмом. Существуют значительные группы, которые заставляют Израиль действовать против своих интересов. В частности, под американским давлением. «Дорожная карта», иракская конституция, демократизация Афганистана – это политические эксперименты, которые могут закончиться позитивно только по прошествии длительного периода чрезвычайно кровопролитных ошибок. Известно, чем эти эксперименты окончились для Ирака. Этой страны как государства сегодня не существует.

Американское давление на Израиль приведет к региональной катастрофе.

Нарастает напряженность в Ливане, которая может перерасти в гражданскую войну. Уход сирийцев из Ливана обрушил надежды генералитета на доходы на поколения вперед, и, значит, сирийский режим весьма нестабилен, а только он и сплачивает страну. Египетский и саудовский режимы, возглавляемые крайне престарелыми лидерами, испытывают очень серьезное исламистское давление. Все это означает, что в ближайшие пять–семь, максимум десять лет в регионе будут проходить глобальные катастрофические изменения.

– Вы говорите, что это личный план Шарона, но большинство, судя по опросам, его все же поддержало.

– Сегодня сторонников уже меньшинство. Кроме того, что значит «поддерживают»? В Советском Союзе спрашивали на референдуме, хотят ли люди жить в богатой, единой, свободной, демократической стране, которая называется Советский Союз. Все хотят жить в такой стране. Но готовы ли вы для этого жить в Приднестровье, когда ваш дом обстреливают? Такой вопрос никто не задает.

Израильтяне и многие поселенцы считают, что в исторической перспективе Газу не удержать, но есть уступки и есть уступки. Вопрос в том, как вы отступаете. Между Израилем и Палестиной сейчас нет мирного процесса, идет война.

Любое отступление в войне означает на Востоке, и на Ближнем Востоке тоже, что вас надо догнать и добить. Ничего другого оно не означает.

Интифада началась после того, как Барак ушел из Ливана. Он обещал то же самое, что сейчас обещает Шарон, теми же словами. Я помню, как Барак говорил, что если хоть один выстрел раздастся со стороны Ливана по нашей территории, мы проведем авиационный налет, мы уничтожим всю их инфраструктуру, у нас будут развязаны руки, мировое сообщество будет за нас. Ничего этого не произошло. Ливан является крайне опасной зоной, гораздо более опасной, чем в тот момент, когда его делили между собой сирийцы и израильтяне. К сожалению, ливанцам еще придется с тоской вспоминать годы сирийской и израильской оккупации. Гражданская война – это их внутренняя проблема, которую не провоцировали ни сирийцы, ни израильтяне. То же самое происходит в Палестине.

Шарон сыграл чрезвычайно опасную игру, поставив на карту будущее всей страны. Шарон не получил гарантий от американцев. Его слова о том, что отступление из Газы последнее, были фактически денонсированы Кондолизой Райз, которая достаточно четко заявила, что Израиль должен продолжить отступление со всех территорий. Огромная часть израильтян понимает это, понимает, что ситуация с безопасностью ухудшается, и не верит обещаниям Кондолизы Райс, что монархии Аравийского полуострова и страны Северной Африки признают Израиль.

События, скорее всего, будут развиваться по варианту фермы Шеба. Израиль, уйдя со всей территории Ливана, оставил за собой маленький кусочек, который в свое время у Ливана отобрала Сирия, – ферму Шеба. Когда Израиль ушел из Ливана, ему сказали, что война продолжается, ни о каких соглашениях речи нет, потому что осталась еще ферма Шеба. Кстати, непонятно, кому ее возвращать, потому что отвоевана она была у Сирии. Кто сказал, что уход из Газы или любого сектора Западного берега является чем-то, что остановит палестинцев, ООН, европейцев, американцев и даже наш МИД? Есть ведь вопрос границ 1947 года, 1969 года и так далее.

Израиль выиграл эти территории в результате блицкрига 1967 года, и до сих пор его политики не могут использовать это для того, чтобы страна, победившая в этой войне, что-либо получила.

Это колоссальная проблема, потому что палестинцы тоже не могут отказаться от требования возвращения палестинских арабов на всю территорию Израиля. Человека, согласившегося на это, просто убьют. Арабы хотят вернуться не в Газу, не на Западный берег, а в Тель-Авив, Иерусалим, Хайфу, и они требуют именно этого. А это означает, что Израиль должен быть ликвидирован. Ситуация тупиковая, в отличие от Европы, где не стоит вопрос о возвращении выселенных немцев в Польшу, Чехию и Восточную Пруссию. В Азии не стоит вопрос о возвращении японцев, выселенных с Сахалина и Курильских островов, при всех претензиях японцев на северные территории. Положение тупиковое, оно не может разрешиться по сценарию «Дорожной карты» или любому другому сценарию, который сейчас рисуют Шарон или Буш. Это ситуация жесткого конфликта.

Система власти Шарона сегодня – это система диктатуры латиноамериканского типа. До Шарона такой властью обладал только Бен-Гурион. Но Бен-Гурион строил государство, а сейчас идет его приватизация. Эти процессы связаны с миллиардами долларов в госкомпаниях. За последние полгода во все госкомпании в качестве директоров были введены люди Шарона, которые осуществляют приватизацию экономики. В ситуации внешнего давления Шарон повел себя как блестящий тактик, он нейтрализовал левый лагерь. Сегодня левая пресса не публикует ни одного материала о деятельности Шарона в связи с приватизацией и не будет их публиковать до той секунды, пока он не откажется от ликвидации поселений. Если процесс последующей эвакуации поселений сорвется, то не только Шарон, но и вся группа, которая этот процесс организует, будет под судом и, безусловно, сядет в тюрьму. У этих людей нет ни малейшего шанса выйти сухими из воды.



журналист, главный редактор журнала
«Новое время».

КОРОЛЬ И ЗАЛОЖНИЦА*

В стране между молотом и наковальней монарху требуется искусство высшего пилотажа

Нельзя сказать, что король Иордании Абдалла II – редкий гость в России. Но он заметный гость. Удивительная страна, колоритная личность. Прямо за околицей маленького пятимиллионного государства, получившего независимость от Великобритании лишь в 1946 году, полыхают два главных мировых пожара.

Палестино-израильскому конфликту в нынешнем виде уже более полувека. Палестинцев иорданцы называют родными братьями. Семьдесят процентов населения Иордании – палестинцы. Именно в Иордании разместились с самого начала и очень вольготно себя чувствовала Организация освобождения Палестины и ее вооруженные отряды. Настолько вольготно, что в сентябре 1970 года («черный сентябрь») королю Хусейну пришлось жесточайшим образом пресечь эту вольницу. Армия Иордании провела кинжальную операцию, показав, кто хозяин в доме. Король Хусейн правил 46 лет. Если бы он палестинцев не укротил, его срок был бы существенно короче.

Исторического противника арабов – Израиль – отделяют от Иордании лишь река Иордан и Мертвое море. В 1948 году войска Иордании в составе коалиции пяти арабских стран перешли Иордан, чтобы опрокинуть Израиль в море. Подобной ошибки они больше никогда не повторяли. В 1994 году Иордания – вторая арабская страна вслед за Египтом – подписала мирный договор с Израилем.

Другим соседом Иордании является Ирак. Долгие годы это был режим непредсказуемого Саддама Хусейна. Внутри страны он железной рукой установил власть суннитского меньшинства над шиитским большинством, не говоря уже о курдах, которых он травил газом. Практически в одночасье агрессор и худшая диктатура в мире превратились в сотрясаемый бесконечными взрыва-

* «Новое время». 2005. № 34.

ми американский протекторат, в котором принесенная на штыках демократия дает возможность всем обиженным и обделенным свести старые сче­ты. Вплоть до развала страны на три непримиримые общины, что может вызвать за собой сейсмическую реакцию в регионе. За восставшими шиитами маячит грозная тень Ирана. Вряд ли останется спокойным шиитское население Залив­ных государств. Курдский сепаратизм не стерпит Турция.

Маленькая Иордания – заложница своей географии. Вести страну через та­кие рифы – смертельно опасное дело. Это не метафора. В 1951 году во время пятничной молитвы в иерусалимской мечети Аль-Акса пуля убийцы сразила прадеда нынешнего короля Абдаллу I. Его внука, будущего короля Хусейна и отца Абдаллы II, как гласит апокриф, от предназначавшейся ему пули спасла медаль, которую он получил от деда.

Как отмечает официальная биография, «Его Величество король Абдалла II является прямым наследником в 43-м поколении Пророка Мухаммеда (да бу­дет мир с ним)». Старший сын короля Хусейна от второй жены, он заступил на трон 7 февраля 1999 года – в день смерти отца. В проекте «Наследник» по-иор­дански были свои шероховатости. Мать Абдаллы II – англичанка, принявшая мусульманство, а на хашимитском престоле полагается восседать чистокров­ному арабу и беспримесному мусульманину. Но в монархии это конституцион­ное недоразумение, слава Аллаху, было разрешено без проблем. Умирая, ко­роль назначил его наследным принцем.

Будущий король учился в лучших школах и колледжах Англии и США, включая Оксфорд (спецкурс по ближневосточным делам) и дипломатическую школу при Джорджтаунском университете в Вашингтоне. На избранной им военной стезе – курсы в Королевской военной академии в Сандхерсте, Коро­левском штабном колледже в Кемберли, Великобритания, в высшем военном учебном заведении Монтерея (США). Служба в различных частях иорданской и английской армий, начиная с командира взвода и далее по ступенькам вверх, стажировка в Форт-Ноксе (США) и даже в Тульской дивизии ВДВ (Россия). Командовал иорданским спецназом. Кстати, слово это он произнес по-русски, оно ему явно хорошо знакомо. Имеет диплом летчика-истребителя, квалифи­цированный парашютист и водолаз.

Наша беседа началась именно с этой темы. Накануне вместе с президентом Путиным король Абдалла II побывал на авиасалоне в Жуковском «МАКС-2005», где купил два военно-транспортных самолета Ил-76 МФ, а Путин оторвался, слетав на тяжелом бомбардировщике Ту-160. В шутку я спросил, поделился ли король с президентом своим летным опытом. Король ответил с улыбкой, но яв­но заинтересованно. Он очень хотел полетать на наших вертолетах, но, увы, не смог преодолеть сопротивление служб охраны. На этот раз...

Встреча короля Иордании с руководителями российских СМИ произошла в ИТАР-ТАСС.

– Ваше Величество, как Вы оцениваете отношения между двумя нашими странами?

– Я считаю, что отношения между Россией и Иорданией на протяжении последних нескольких лет выстраиваются на самом серьезном фундаменте – проблемах безопасности. Наша часть мира страдает от экстремистской идеологии. Мы знаем, что для России – это тоже проблема. Речь идет не просто о взаимодействии в предотвращении подобных злодеяний. Нужно расширить контекст. В борьбе с радикализмом должны принять активное участие все умеренные силы мусульманского мира. В тех регионах, которые являются источниками этого зла, требуется широкая просветительская деятельность.

– Что именно могут и должны сделать умеренные силы мусульманского мира?

– Вы знаете, меня поразило то, как иорданцы отреагировали на трагедию в Беслане. В прошлом году я вернулся в Амман из Москвы как раз после этого события. Они ужаснулись тому, что увидели по телевидению. Но я тогда понял, что просто восклицать и рассуждать, сидя перед экраном телевизора, – это не дело. Поэтому в ноябре 2004 года нами было разработано так называемое «Амманское послание». Его подписали мусульманские лидеры всего мира. Основной пафос этого воззвания заключается в том, что экстремизм и религия несовместимы. Тот, кто верит в Бога, как бы он ни назывался, не может быть экстремистом и террористом. Тот, кто верит в святость человеческой жизни, никогда не поддержит экстремистские идеи.

В послании представители арабского и мусульманского мира определили, что поддерживают и против чего выступают. А в ходе конференции, состоявшейся в июле этого года, мы постарались наладить взаимоотношения между различными конфессиями мусульманского мира. Выражаясь христианским языком, мы усадили за один стол католиков и протестантов мусульманского мира.

Идея конференции заключалась в следующем. Какого бы течения они ни придерживались, мусульмане не должны видеть друг в друге отступников. Важно было лишить экстремистов возможности утверждать, будто у них есть право на убийство, мотивируя это тем, что мусульмане, не поддерживающие их течение, не являются истинными мусульманами.

Еще одно решение конференции – это запрет на так называемые «фетвы» – религиозные эдикты, которые оправдывают совершение террористического акта. Как показывает опыт, прежде чем какая-то террористическая акция совершалась, обязательно какой-то экстремистский религиозный деятель издавал такую «фетву».

В исламе существуют восемь течений. Было подтверждено, что только их руководители могут издавать «фетвы». Если подобная «фетва» появится от Усамы Бин-Ладена или другого экстремистского лидера, то она не будет иметь силы. И мы пришли к выводу, что никакий религиозный эдикт не может служить оправданием экстремизму и насилию. Представители всех восьми течений ислама подписали воззвание. Можно сказать, что это закон. Так что теперь мы можем опираться на закон в борьбе с экстремизмом. Наша деятельность перешла на третий этап. Сначала было ноябрьское послание, затем на июльской конференции был создан механизм, а сейчас насту-

пают пора реальных действий, когда этот механизм должен заработать на практике. Это – самое трудное.

Если мы посмотрим хотя бы на последний по времени террористический акт в Ираке – взрыв на автобусной остановке, то увидим, что в результате пострадали не американцы или другие иностранцы. Это был террористический акт, направленный против самих иракцев. Мы хотим, чтобы религиозные лидеры страны воспользовались тем механизмом, который был создан на июльской конференции в Аммане, и заявили: «Все, хватит. Давайте прекращать насилие».

На амманской конференции было сделано еще одно важное заявление. Если мусульманин проживает в немусульманской стране, является гражданином этой страны и пользуется всеми правами наряду с остальными гражданами, то он должен прежде всего подчиняться законам этой страны, а не мусульманской умме.

– Есть ли гарантия, что после ухода Израиля из сектора Газа там не обоснуются сторонники террора?

– Таких гарантий нет. Но я вам скажу, на что мы рассчитываем. Мы должны сделать все, чтобы после ухода из Газы на освободившиеся территории пришли бы инвестиции. Чтобы условия жизни палестинцев улучшились. Они должны увидеть, что мир лучше войны и насилия. Если палестинец ощущает, что сегодня ему живется лучше, чем вчера, то он сам будет противостоять соседу, который намерен совершить насильственный акт. И израильтяне, и палестинцы хотят жить в безопасности, иметь работу, быть уверенными в своем будущем. Поэтому мы – Иордания, Египет и правительство Палестины – стараемся делать все возможное, чтобы противодействовать террористическим группировкам, донести до них это послание.

– В советское время сотрудничество СССР и Иордании в военной сфере было весьма продуктивным. В наше время вы предпочитаете западное вооружение или российское?

– Наши вооруженные силы построены по натовским стандартам и базируются на правилах и требованиях этого альянса. Однако когда я был командующим сил специального назначения, то мы очень много и плодотворно сотрудничали с российским спецназом, разрабатывали совместно методы и технику проведения спецопераций в борьбе с терроризмом. Я считаю российский опыт полезным для практического применения в наших войсках. К тому же в последнее время у нас увеличивается доля российской военной техники. Недавно была приобретена новая партия.

И вы знаете, что мне больше всего нравится в моем положении? То, что я могу лично опробовать всю эту технику, прежде чем ее покупать.



журналист, публицист, заведующий политическим отделом журнала «Эксперт». Живет на Украине.

НЕОКОНОВАЯ ИМПЕРИЯ*

Мой разговор с Ричардом Перлом, одним из главных идеологов американских неоконсерваторов («неоконов», как их называют на политическом жаргоне), состоялся на его вилле в фешенебельном районе Чевы Чейс на окраине Вашингтона. Дом Перла выделялся среди остальных весьма скромных построек на Графтон-стрит не размерами и роскошью – просто с балкона его второго этажа свисал американский флаг. Внутри это было обжитое и несколько обветшавшее жилище с массой ненужных и, очевидно, дорогих хозяину вещей – эдакий типичный дом американского дедушки, который во время летних каникул принимает у себя ватагу шаловливых внуков. И, тем не менее, это было жилище «князя тьмы», как называет вся европейская и американская либеральная пресса этого главного «имперского» идеолога Соединенных Штатов, искусного политического манипулятора, разработчика программы создания национальной системы ПРО и главного организатора мощной кампании за свержение режима Саддама Хусейна в Ираке. Дом Перла в Чевы Чейс находится в настоящем «логове неоконов» – неподалеку от Перла живут его политические соратники: бывший заместитель министра обороны, а ныне глава Мирового банка Пол Вулфовиц и бывший директор ЦРУ при Буше-старшем, а ныне содиректор ряда аналитических центров неоконсервативного толка Джеймс Вулси. Ведущие американские неоконы предпочитают держаться вместе: они не только создали мощную сеть некоммерческих аналитических организаций, не только находят друг другу работу, не только связаны сетью родственных отношений – они еще и «соседи по даче».

Впрочем, американская политика – это не столько семейное, сколько клановое дело: если ты не включен в развитую систему опознания «свой–чужой», ты здесь

* Агентура.ру

ничего не добьешься. И дело не просто в «партийной принадлежности». Карьерный рост американского чиновника и политика определяется, скорее, формулой «Скажи, с кем ты работал вчера, и я отвечу тебе, где ты будешь завтра». Однако последние кадровые перестановки в кабинете Буша оставили многих наблюдателей в недоумении. С одной стороны, Пол Вулфовиц назначен главой Мирового банка, а Джек Крауч, бывший посол в Румынии и протееже вице-президента Дика Чейни, занял должность заместителя советника по национальной безопасности. С другой стороны, неудачной оказалась попытка неоконгов навязать Джона Болтона в заместители госсекретарю Кондолизе Райс, и его кандидатура на пост посла США в ООН встретила мощную оппозицию в сенате. И вдобавок замминистра обороны (по политическим вопросам) Дуглас Фейт, через которого неоконны осуществляли непосредственное влияние на военную стратегию США, покидает свой пост, а сам Ричард Перл лишился поста главы Совета по оборонной политике при Пентагоне еще в марте 2003 года, после того как в американской прессе его обвинили в лоббировании интересов крупной китайской корпорации. Впрочем, свое членство и влияние в этом совете он сохранил.

Многие аналитики гадают, что означают все эти перестановки – победу или поражение неоконгов? Сохранили они прежнее влияние на президента США, или оно уменьшилось? По мнению директора российских и азиатских программ Центра оборонной информации в Вашингтоне Николая Злобина, «лагерь неоконгов по-прежнему сохраняет свое влияние в американской политике, однако теперь он немного оттеснен и его влияние сократилось – уже хотя бы потому, что в свой второй срок Буш сосредоточился на внутренних проблемах Америки, а здесь неоконны не сильны. Они ведь, грубо говоря, "империалисты", а не "капиталисты"».

Тем не менее нельзя сбрасывать со счета и тот факт, что позиции главных покровителей неоконсервативных идеологов – вице-президента Дика Чейни и министра обороны Дональда Рамсфелда – сегодня прочны, как никогда, между тем как в услугах таких умеренных политиков, как госсекретарь Колин Пауэлл и советник Brent Скоукрофт (он выступал против войны в Ираке), президент Буш нуждаться перестал.

Сам Ричард Перл в интервью журналу «Эксперт», отвечая на вопрос о степени влияния неоконгов на Буша, сказал:

– Какое влияние имел Ньютон на яблоко, которое упало на землю? Ничего. У президента Буша свое собственное видение мира. Некоторые его взгляды можно назвать неоконсервативными, но он наверняка очень удивился бы, если бы ему сказали, что он неоконсерватор. И главный архитектор политики Джорджа Буша – это сам Джордж Буш. Он продукт своей биографии, а также событий 11 сентября. Эти события сильнее всего повлияли на всех, в том числе и на него. Нелепо утверждать, будто Буш избрал бы какую-то иную стратегию, если бы не влияние небольшой группы неоконсерваторов в его администрации. Он вполне мог уволить Пола Вулфовица и Дага Фейта и отправить в отставку Дональда Рамсфелда, и все равно – даже без этих людей – его политика была бы по сути такой же.

– Выдвижение Джона Болтона на пост посла в ООН – это ссылка или миссия?

– Конечно, это миссия. Он должен сыграть в ООН очень важную роль, и ей заданы все необходимые параметры. Но я не думаю, что Болтон тоже назвал бы себя неоконсерватором. Если понимать этот термин так, как понимал Ирвинг Кристол (который его и придумал), то Болтон не отвечает классическим критериям неоконсерватизма – его взгляды, например, не претерпевали идейной эволюции, что так характерно для подлинных неоконсерваторов. Обратите внимание – известный реформатор американского консерватизма Уильям Бакли был консерватором в течение всей своей жизни. И хотя в политике он очень давно, его взгляды остаются стабильными, в них не было серьезных изменений. Некоторые его принципы очень близки идеям неоконсерваторов, но никто не называет его неоконсерватором, ибо неоконсерваторами, в точном смысле этого слова, когда-то назвали узкую группу интеллектуалов, состоявшую преимущественно из авторов журнала «Комментарии». Это были представители поколения, которое было носителем определенных идей еще в 50–60-е годы XX века и потом резко изменило свои взгляды в связи с переменной политической обстановки.

Говоря о «перемене политической обстановки», Перл имеет в виду, прежде всего, появление в 60-х годах прошлого века «контркультуры», давшей мощный толчок массовому леворадикальному молодежному движению. Часть вчерашних троцкистов, леваков, либералов и либеральных консерваторов были шокированы масштабом этих выступлений, разнузданностью сексуальной революции и уровнем потребления наркотиков среди революционной молодежи. Как вспоминает крестный отец американского неоконсерватизма Ирвинг Кристол, «молодежные бунты 60-х были направлены против либеральной профессуры, консерваторов никто особенно не задевал. Либеральная профессура всегда считала себя "широко мыслящей", но одно дело поощрять исторические, социологические и психологические исследования, которые критикуют нашу общественную структуру, и совсем другое – видеть, как твои дети вообще отвергают эту структуру. Либералы, как и многие другие члены интеллектуального сообщества, всегда сохраняли дистанцию по отношению к так называемому "буржуазному обществу", а тут они вдруг обнаружили, что они-то и есть буржуазия».

Другой неоконсерватор, бывший спичрайтер Буша Дэвид Фрам в интервью тому же «Эксперту» поясняет: «Неоконсерватизм – это не вопрос идеологии, это вопрос биографии. Этот термин содержателен лишь по отношению к определенному поколению, родившемуся между 1920-ми и 1950-ми годами. Они сами или их родители были частью большой иммиграции в США до и после Первой мировой войны. По этой причине большинство из них либо католики, либо евреи, но не протестанты. Эти новые иммигранты и дети новых иммигрантов по своим взглядам были поначалу даже более левыми, чем традиционные американские левые и демократы. Но беспорядки в США в 1960–1970-х годах шокировали их до такой степени, что они пересмотрели свои политические взгляды. Это был коренной перелом. Так сформировался неоконсервативный типаж целого поколения».

Как известно, идейными вдохновителями уличной молодежной революции 60-х годов были такие мыслители Франкфуртской школы, как Герберт Маркузе, Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно. После прихода к власти Гитлера многие из «франкфуртцев» переехали в Америку. Это был типичный случай европейского экспорта левых идей, которые затем обрели плоть и кровь на американской почве. Рождение американской неоконсервативной мысли было ответом на этот левый вызов, поразивший, как и нацеливались неомарксисты, все области европейской и американской буржуазной культуры и образования. Примечательно, что идейными вдохновителями американских неоконсервативов тоже были европейские иммигранты. Их духовным отцом стал Лео Штраус – еврейский философ, в 1938 году бежавший из нацистской Германии в Америку и ставший здесь профессором Чикагского университета. Благодаря Штраусу вся вторая половина XX века прошла в Америке под знаком идейной борьбы европейских школ мысли правого и левого толка.

Штраус считал, что либерализм – это логичный и печальный итог эпохи модерна, торжества ее принципов, доведенных до крайности и абсурда. Модерн тяготеет к релятивизму, а тот, в свою очередь, ведет к нигилизму. Штраус писал о необходимости переосмыслить классику и для этого заново перечитать работы Платона и Аристотеля, о необходимости освободиться от пут просвещенческого мифа с его нигилизмом, атеизмом, цинизмом и противопоставлением человека природе.

Стержневая идея Штрауса состояла в призыве развенчать тот дух моральной терпимости, который доминирует в интеллектуальной жизни либеральной Европы и Америки. Либерализм и релятивизм постепенно деградируют в расхожее мнение, что все точки зрения равны, а, согласно этому мнению, всякий, кто отстаивает правоту своего морального кредо, – аморален и антидемократичен, потому что претендует на элитарность. Со своей стороны, Штраус был убежден в необходимости такой элитарной группы (советников, как в «Республике» Платона), которая убеждала бы политического лидера и широкие массы в обязательности моральных оценок и называния добра добром, а зла злом, в необходимости бороться с тиранией. Коммунизм, как и нацизм, для Штрауса были абсолютным, библейским злом, и это означало, что борьба с ними не допускает компромиссов, «разрядок» и взаимных уступок. Крах всего либерального проекта, учил Штраус, явлен в судьбе Веймарской республики, которая пала под натиском нацистов и коммунистов. Добро должно уметь себя защищать.

Америка может избежать судьбы Веймарской республики, потому что она сохранила в себе досовременные и долиберальные культурные элементы. Но это требует готовности к войне. Только через бесконечную войну жизнь может снова быть политизирована, а человечность человека восстановлена. Сочетая религию (для простых людей) и национализм (как государственный проект), можно «сварить» своего рода эликсир, который превратит расслабленных гедонистов в набожных националистов. Нацию можно собрать воедино, лишь противопоставив ее другой нации, а в отсутствие таковой врага надо непременно найти. Ради этих целей элита может практиковать «ложь из благих намерений». Одна из ис-

следователей Штрауса, канадка Шадиа Дари, писала: «Считать Штрауса защитником демократии просто смешно. Древние философы, которых он очень ценил, считали, что немые массы не достойны ни истины, ни свободы...».

Влияние идей Лео Штрауса на неоконцов огромно. Его интеллектуальными наследниками стали главный редактор «The Weekly Standard» Уильям Кристол (сын Ирвинга Кристола), бывший министр образования в администрации Рейгана Уильям Беннетт, известный политолог Фрэнсис Фукуяма, не менее известный американский философ Алан Блум и многие другие. Сын польского еврея-иммигранта Пол Вулфовиц даже отказался от приличной стипендии в аспирантуре Гарварда – только ради того, чтобы прослушать несколько учебных курсов Штрауса. Слушателями Штрауса были и Ричард Перл, и специалист по разведке Абрам Шальски, и советолог Стефан Сестанович, и специалист по Центральной Азии Чарльз Фэйрбэнкс. Все они были членами так называемого Теллурайдского общества – замкнутой элитной группы, практикующей, как они говорили, «принципы демократии». И эти ученики Штрауса сделали из идей своего учителя далеко идущие политические выводы. До этого политический диспут в Америке был напрочь лишен философского базиса – у неоконцов он появился, и именно благодаря Штраусу. Это позволило им выделиться в отдельную политическую группировку, отличную как от левых, так и от части традиционного, консервативного правого лагеря, и привлечь в свои ряды как демократов, так и республиканцев. Говорит Ричард Перл:

– Консерватизм таких людей, как Уильям Бакли, Рассел Керк или Пэт Бьюкенен, – нечто естественное в глазах американского общества. США – это, в общем-то, консервативная страна, в том смысле что большинство американцев не очень сильно подвержено влиянию идеологий. Они верят в некоторые базовые американские ценности, и эти ценности, кстати говоря, принимаются всеми идеологическими течениями, не только консерваторами. Главные из них – индивидуальная свобода и открытый рынок. Есть такие страны в мире, где сказать, что ты капиталист, значит сразу определить свои идеологические предпочтения. В Соединенных Штатах все «капиталисты». Это так же естественно, как воздух и вода. Это не предмет идеологии. Конечно, среди экономистов идут дебаты по поводу того, в какой мере экономика должна регулироваться, как реформировать систему социального обеспечения. Эти дискуссии идут и в среде центристов, а не только среди радикалов. Было бы неверно смотреть на США через идеологическую призму.

– И все же – какая философская база лежит в основе неоконсервативных идей?

– Прежде всего, это не идеология, как я уже сказал. Неоконсерватизм можно, скорее, определить как «предрасположенность» к определенным вопросам. Например, вопрос о гражданских свободах. Неоконсерваторы – ярые защитники гражданских свобод. Они очень озабочены тем, как к этим свободам относятся государственные институты. И в этом у них много общего с идеями прежних, классических, либералов. Те, кто называет себя неоконсерваторами, готовы защищать и поддерживать базовые либеральные ценности, ибо они ли-

бералы по происхождению. Отсюда и их отношение к другому актуальному ныне вопросу – о вмешательстве США в дела других государств. Например, если вспомнить тех, кто подписал письмо с призывом к американскому правительству вмешаться в боснийский конфликт в тот момент, когда на боснийских мусульман напали Милошевич, Младич и Кораджич, большинство из них можно смело назвать неоконсерваторами. Так что, повторяю, неоконсерватизм выражается не в какой-то особой, целостной, систематической идеологии, а в специфическом отношении к определенным конкретным проблемам.

1970-е годы стали для неоконсерваторов поворотными. Огромное влияние на них оказали победы Израиля (многие американские евреи после разгрома в 1967 году арабских армий стали «заново рожденными» сионистами), поражение Америки во Вьетнаме (которое привело их к осознанию неотложности оборонного строительства), попытки Никсона добиться ядерной разрядки с СССР (с «империей зла»), считали они, не может быть компромиссов). Сама возможность разрядки с СССР, о которой заговорил президент Форд, а потом Никсон, резко поляризовала американский политический спектр. Часть республиканцев стала смещаться резко вправо. Туда же потянуло и часть демократов. Некоторые будущие неоконсерваторы из либерального лагеря стали группироваться вокруг сенатора Генри Джексона (Скупа), мобилизовавшего часть демократов в коалицию «За демократическое большинство» (ее членами стали Патрик Мойнихэм, Хуберт Хамфри, Элиот Абрамс, Норман Подгорец, Джин Кирпатрик, Стефан Брайэн).

Джексон стал для неоконсерваторов харизматической фигурой – ярый антисоветчик и противник разрядки с СССР, энергичный сторонник Израиля и, наконец, глава могущественного лобби, проталкивавшего идею общенациональной системы противоракетной обороны США. «Это была любовь с первого взгляда», – так вспоминал Ричард Перл свою первую встречу с сенатором. В его офисе он проработал целых 11 лет. Вместе с Полом Вулфовицем он готовил для сенатора материалы в поддержку системы ПРО. Благодаря Джексону Перл сколотил в сенате сильную лоббистскую группу в поддержку этого «проекта века».

– Господин Перл, критики неоконсерваторов утверждают, что вы живете в каком-то вымышленном мире. Взять хотя бы «Противоракетную оборону» или недавно созданную программу «Тотальная информационная осведомленность».

– У любой идеи всегда будут критики. На противоракетную оборону нужно смотреть с практической, технологической точки зрения – будет ли она работать, из каких элементов она должна состоять, чтобы работать, стоит ли в нее инвестировать, можно ли найти иные способы защитить страну на те же деньги. Это все можно обсуждать. Не нужно только придавать всему этому идеологический оттенок. Это не предмет диспута между правыми и левыми, консерваторами и либералами.

В отличие от неоконсерваторов, нынешние американские либералы не склонны доверять профессиональным суждениям оборонных экспертов и аналитиков военных центров. Они вообще не любят тратить деньги на оборону –

общественные деньги они предпочитают тратить на другие вещи. В свое время, благодаря усилиям Джексона, сенат принял закон, который увязал получение Советским Союзом статуса наибольшего благоприятствования в торговле с увеличением еврейской эмиграции (знаменитая поправка Джексона–Вэника). Однако под немалым давлением либералов Никсон продолжил политику «разрядки» и, в конце концов, подписал с Брежневым договор об ограничении систем противоракетной обороны и стратегических наступательных вооружений. Лишь в 2001 году под давлением неоконсерваторов президент Джордж Буш в одностороннем порядке вышел из этого договора. Но первый успех пришел к неоконсерваторам в конце 70-х годов. Неспособность президента-демократа Джими Картера дать адекватный отпор исламской революции в Иране, провал операции по освобождению захваченных в Тегеране американских заложников, а также бездействие администрации после вторжения советских войск в Афганистан дали неоконам исторический шанс. При их активном участии в Америке произошло то, что некоторые назвали потом «неоконсервативной революцией» – к власти пришел первый президент неолиберального толка Рональд Рейган. Вот что рассказывает в интервью журналу «Эксперт» бывший посол США в ООН (при Рейгане), а ныне ведущий аналитик «бастиона неоконсерваторов» – Института American Enterprise – легендарная Джин Кирпатрик о своем – и отчасти самого Рейгана – знакомстве с неоконсервативными идеями:

– Ваша биография удивляет прежде всего тем, что в молодости вы были увлечены социализмом, потом стали демократкой, затем – консерватором-республиканцем, а под конец оказались в неоконсервативном лагере. Чем объяснить зигзаги этой политической траектории?

– Большую часть своей жизни я была демократом. Мои родители и родители моих родителей были демократами. Мои братья, тети и дяди были демократами. Я родилась в Оклахоме. Это юг, это культура американского юга. Мои родители были таксистами. И все в моей семье были таксистами. И это очень характерно для юга. Я хотела быть такой же, как моя семья. Но в молодости меня поразило описание социалистического движения в учебнике истории для старших классов. Тогда говорили, что авторы подобных учебников соблазняют учеников социалистическими идеями. Хотя я, наверное, была единственной, кто соблазнился социалистическими идеями благодаря учебнику. В колледже я познакомилась с членами Социалистической лиги молодежи. Меня это заинтересовало, и я в нее вступила – всего на один год. Эти события не были такими уж важными в моей жизни. За исключением того, что я была демократом. Вот это было важно. Это оказало очень сильное влияние на мое политическое мышление. Когда Гарри Трумэн стал президентом, я оставалась демократом. Трумэн мне очень нравился. Это был первый настоящий политик, которым я восхищалась. И я оставалась демократом до тех пор, пока президентом США не стал Линдон Джонсон. Мне не нравилось его правительство. В 70-е годы я активно сотрудничала с сенатором Генри (Скупом) Джексоном. К нему примкнули и многие неоконсерваторы. Но я оставалась активным демократом, пока...

– Пока не состоялась ваша встреча с Рейганом? Это было ключевое событие в вашей жизни?

– Да, он был первым республиканцем, которого я встретила в своей жизни.

– Это как встреча с мужчиной, в которого сразу влюбляешься?

– Нет, я не была в него влюблена... Дело в том, что Рейган прочитал мою статью «Диктатуры и двойные стандарты» в журнале «Комментарии». Его советник Ричард Алан сказал мне, что покажет статью Рональду, потому что уверен, что она ему очень понравится. Рейган прочел ее в самолете по пути в Чикаго. Выходя, он потянул за рукав Алана и спросил: «Кто он?» Алан в ответ: «Кого ты имеешь в виду?» – «Кто этот Кирпатрик?» Алан: «Не он, а она. Она демократ». На что Рейган ответил: «Я тоже был демократом, так что это неважно. Я хочу с ней познакомиться». Он прислал мне письмо, в котором писал, что ему понравилась моя статья. Но тогда я не обратила на него особого внимания. Я по-настоящему заинтересовалась им только при личной встрече. Так я стала республиканцем. Мы тогда создали в поддержку Рейгана Комитет по современной опасности. Рейган был одним из немногих политиков, который был очень озабочен безопасностью Америки. Все те, кто был заинтересован в безопасности Америки, участвовали в работе комитета. Все мои сегодняшние посты – это следствие моего членства в комитете.

Все мы тогда полагали, что Советы представляют реальную угрозу, и США должны быть готовы защитить себя. Так мы думали. «Безопасность» – вот ключевое слово, объясняющее связь эпохи Рейгана с нашим временем. И тогда она имела куда большее значение, чем даже сегодня.

– Что значило в начале 80-х быть неоконсерватором?

– Когда я приехала в Нью-Йорк, чтобы занять должность постоянного представителя США в ООН, Кристолы устроили в мою честь отличную вечеринку. На той вечеринке я сказала Ирвингу: «Меня называют неоконсерватором, а я даже не знаю, что это такое». На это он мне ответил: «Неоконсерватор – это либерал, который схвачен за горло реальностью». Я думаю, что в этом вся суть неоконсерватизма. Это определение делает понятным для сторонних наблюдателей, что неоконсерватор – это, прежде всего, бывший либерал. И это важно – есть разница между тем, кто родился консерватором, и таким консерватором, который большую часть своей жизни был либералом.

Точкой отсчета неоконсервативного «проекта века» стало выступление Рональда Рейгана в Орландо 8 марта 1983 года. Именно тогда он назвал Советский Союз «империей зла». Для неоконсерваторов это было началом мессианской эпохи, когда абстрактные философские идеи их учителя Штрауса стали воплощаться в жизнь – в немалой степени благодаря тому, что его последователи и ученики оказались на стратегических государственных постах. Часть неоконсервов занялась применением этих идей к американской внешней политике, другие – использовали их для реформирования ЦРУ. До этого в ЦРУ господствовал стиль, разработанный профессором истории Йельского университета Шерманом Кентом. Этот стиль был производной от общих принципов классического либерализма. Кент

полагал, что все политические лидеры, в том числе и тоталитарные, ведут себя одинаково – пытаются остаться у власти, продвигая национальные интересы и добиваясь доступа своей страны к все новым экономическим ресурсам, – а потому поведение противника легко предугадать, изучая вполне доступные объективные данные, как, скажем, уровень промышленного производства, работа же шпионов не так важна. Не так рассуждали неоконцы. Получив доступ в ЦРУ, они поставили во главу угла понятие «природы режима». Поведение лидеров зависит от природы возглавляемого ими режима. Тирании ведут себя радикально иначе, нежели демократии. Тоталитарные государства широко используют обман и дезинформацию, поэтому полагаться только на официально доступную информацию нельзя. Шпионаж очень важен. И вообще – в борьбе с «империей зла» хороши любые методы. (Исходя из этих установок, некоторые видные неоконцы принимали активное участие в тайных поставках оружия Ирану и последующем финансировании «контрас» в Никарагуа.) Неоконцы в администрации президента использовали любые разведанные, которые могли бы вбить еще один гвоздь в гроб «разрядки» с СССР, и зачастую тенденциозно препарировали факты, взятые из очередных докладов ЦРУ, давая им желаемую интерпретацию.

Апогеем этой тактики стало создание в 2002 году в Пентагоне отдела специальных операций под руководством идейного последователя Штрауса и члена Теллюрайдского общества Абрама Шальски. Департамент, которым руководил Шальски, радикально изменил работу американской разведки в Ираке. Как сегодня уже очевидно, дезинформация о наличии у Саддама оружия массового уничтожения была представлена в этих разведанных сознательно. Неоконцы считали эту «ложь во благо» вполне моральным актом. Она была благом, потому что речь шла о борьбе с «мировым злом», таким, как СССР в XX веке или Ирак в XXI.

Но сами неоконцы не смогли бы добиться обострения этой борьбы, если бы не убеждения соответствующих американских президентов. По мнению Николая Злобина, «после совершенно фантастического десятилетия Клинтона, когда в Америке все с жиру бесились и совсем забыли о реалиях (акции росли, зарплаты росли, рынок рос), ударило 11 сентября, и все оказались в морально-идеологическом тупике. Нужен был новый лидер с ощущением религиозной миссии. На политику неоконсерваторов всегда большое влияние оказывала религиозная идеология. Не конкретные католицизм или протестантство, а религиозные постулаты как таковые. Буш как раз и считает, что он выполняет божественную миссию. Он каждый день всерьез отчитывается перед Богом».

Именно неоконцы были первыми, кто после 11 сентября сумел предложить новые идеи. В сущности, они не были новыми – в основе своей они были сформулированы задолго до терактов в Нью-Йорке. Но они оказались новыми и наиболее органичными для Буша, который находился в поиске своей миссии. Бывший спичрайтер Буша Дэвид Фрам вспоминает о своем разговоре с Перлом в том трагический день 11 сентября 2001 года. Именно тогда Перл сказал ему, на чем, по его мнению, стоило бы сделать акцент в предстоящем обращении президента Буша к нации:

– В тот день я говорил с разными людьми, но именно идеи Перла произвели на меня наибольшее впечатление. Он сказал очень важную вещь: главная ошибка в нашей борьбе с терроризмом в 90-е годы состояла в том, что мы пытались рассматривать терроризм как отдельный от всего остального феномен. Мы отслеживали отдельные террористические группы, но не видели связи, скажем, между ближневосточным терроризмом и политикой государств на Ближнем Востоке. Я решил использовать эти идеи в президентской речи. Президент согласился с ними. До 11 сентября мы действовали, исходя из убеждения, что США должны работать с умеренными арабскими режимами, побуждать их к постепенным реформам, хотя их внутренняя политика не так уж важна для нас. Проблемы представляют лишь небольшие группы экстремистов. Но и их нужно не уничтожать, а втягивать в политический процесс. Эта теория в той или иной мере присутствовала в американской политике с 1973 года. И только события 11 сентября показали нам, насколько важна внутренняя политика государств. Проповеди в мечетях Саудовской Аравии имеют прямое отношение к внешней политике этого государства. Так что 11 сентября в американской политике появилась новая платформа.

– Как вы думаете, входило ли в планы Бин-Ладена подтолкнуть Соединенные Штаты к вторжению в Ирак?

– Не имею ни малейшего представления. Зато я знаю, что на протяжении целого десятилетия до 11 сентября 2001 года США фактически не реагировали на террористические акты. Тогда исходили из другой установки. Многие авторитетные эксперты говорили: террористы провоцируют нас, они хотят, чтобы мы реагировали жестко, поэтому сохраняйте выдержку. Но эти люди ошибались. У меня на полке стоит книга «Имперское высокомерие». Она написана экспертом, который с 1996 по 1998 год возглавлял в ЦРУ группу, специально занимающуюся Бин-Ладеном. Так вот, его рекомендации всегда были одни и те же: не реагируйте. Если следовать этой логике, то величайшей катастрофой для мира была бы как раз поимка Бин-Ладена. Это уж точно было бы полным провалом, потому что тогда сторонники Бин-Ладена, видите ли, «разозлятся не на шутку». Такой вот абсурд.

После Ирака первым испытанием для программы неоконков, несомненно, станет Иран. Сегодня США не готовы к войне с Ираном и хотели бы объединить усилия с Германией, Великобританией и Францией, чтобы достичь соглашения с иранцами. Вторым таким испытанием, конечно, будет североафриканская проблема и третьим – ближневосточный мирный процесс. Неоконсерваторы направили США по пути превращения в «Американскую империю», и эти три испытания являются, в сущности, проверкой жизнеспособности этого «имперского проекта». Представляется, однако, что главное сопротивление этим усилиям неоконков оказывают сегодня не террористы в Ираке или режим Северной Кореи, а внутренняя оппозиция всему «имперскому проекту» в целом, которая возглавляется либеральными и пацифистскими движениями, выступающими под лозунгом: «Война – не ответ на вызовы эпохи». Нейтрализо-

вать эту оппозицию, не подорвав дух свободы и демократические институты Америки, почти невозможно. Это умонастроение значительной части американцев, которым, в конечном счете, оказалось не по пути с неоконсерваторами, хорошо выразила в своей беседе с «Экспертом» 80-летняя Джин Кирпатрик:

– Я вижу в терминологии неоконсерваторов библейскую лексику: Бог, дьявол, добро, зло. Это не политика, это какая-то теология.

– Я с вами согласна. И вы не найдете этих слов в тех текстах, которые писала я. Хотя меня считают неоконсерватором, но я никогда не поддерживала войну в Ираке. Я считаю, что Саддам – ужасный человек. И то, что он схвачен, сидит в тюрьме и его будут судить, – это хорошо для всего мира. Особенно для иракцев. Но я никогда не считала, что туда стоит посылать войска. Я всегда считала, что Америка не должна ввязываться в войну – за исключением тех случаев, когда другого выхода нет, для самозащиты.

– Где проходит красная линия между консерваторами и неоконсерваторами?

– Я никогда не чувствовала, что понимаю, где она проходит. Вы мне не поверите, но это факт. Я знаю лишь о некоторых конкретных отличиях. Например, среди неоконсерваторов очень много евреев. Но в то же время многие неоконсерваторы или те, кого считают таковыми, не евреи – Дик Чейни, Дональд Рамсфелд или я, например. В контексте иракской войны те, кого называют неоконсерваторами, были настроены исключительно агрессивно, я же, как я уже сказала, всегда считала и считаю, что Америке не нужно воевать с теми, кто не воюет против нас и кто на нас не нападает.

– Выходит, вы не неоконсерватор?

– По-видимому. Во всяком случае, я сама никогда себя неоконсерватором не считала. Я – среди тех, кто на стороне демократии. Это где-то посреди всех этих течений.

Как комментирует эти слова Николай Злобин, «Кирпатрик – одна из родоначальников современной политологии. Многие фундаментальные вещи, в том числе систематизация политических режимов, разработаны ей. Мы живем во многом в тех политических конструкциях, которые созданы Кирпатрик. Она поменяла свою партийную принадлежность, последовав вслед за Рейганом. Здесь говорят: если ты молод и ты не демократ, то у тебя что-то не в порядке. Но если ты повзрослел, набрался опыта и по-прежнему еще демократ, то у тебя точно что-то не в порядке. Кирпатрик – это человек, представляющий собой симбиоз традиционного консерватизма и неоконсерватизма. Она отказывается от экстремистских форм неоконсерваторов. Это нечто новое, срединное в американском истеблишменте. Это, возможно, еще не до конца оформившийся американский «третий путь».

Материал подготовлен при активном содействии редактора интернет-проекта Washington Profile Александра Григорьева и директора российских и азиатских программ Центра оборонной информации в Вашингтоне Николая Злобина



БЫВАЮТ ЛИ НЕВЕРНЫЕ ЖЕНЫ?*

Бывают ли неверные жены? Бывают. Правда, случаются и неверные мужья. А знаете ли вы, кто являет собою образец супружеской верности? Французы! Если, конечно, верить опросам доверчивых социологов. У этих социологов, видать, очень развесистые уши. Интересно, с чего бы тогда во Франции распадается каждый третий брак? Впрочем, в Архангельске – каждый второй, хотя Архангельск все-таки будет поменьше Франции.

Зададим себе вопрос: в чем дело? Наиболее незамысловатый ответ – в супружеской неверности. Причем англичане жалуются на жен, французенки – на мужей. Справедливые немцы – поровну. А теперь зададимся таким дурацким вопросом: а бывает ли так, что не изменяют? Бывает. Но почему же, но отчего же?! Французы тут же социологам наврали: «священные узы», «мне стыдно» и все такое. В Испании, в провинции басков, вопроса не поняли: какие, дескать, могут быть измены? Он же ее зарежет быстрее, чем она успеет трусики обратно надеть. А честные немцы, 11 процентов опрошенных, признались: «Не подвернулось случая». Тут, правда, немного непонятно: немцы что, никогда никуда из дома, что ли, не выходят?

Но перейдем от сентенций к организационным мероприятиям. Каким способом мужчинам запретить изменять, пока неизвестно. С женщинами проще. Есть испытанный веками, надежный, как крепостные ворота, способ – «пояс верности». Еще крестоносцы, уезжая на лошади в Палестину, надевали на супругу железные трусы и навешивали на них амбарный замок. Ключ рыцарь забирал с собой. Дескать, вернись и выпущу на волю нашу маленькую птичку.

Мы, понятное дело, никакие тебе не рыцари, но зато понежнее будем. Эротике, знаете ли, оснащаем эстетикой. Например, моряки дальнего плавания привозят женам специально из Португалии вроде бы обычные трусики, но из очень тугой ткани, обшитой бархатом или даже бисером, в зависимости от силы и красоты чувств. И никаких чугунных замков! Эти трусы запираются просто plombой. А один одесский китобой экономно обошелся даже безо всяких трусов, напрямую скрепил plombой жене чего надо обыкновенным компостером. И надолго уплыл. Пришлось вызывать врачей-гигиенистов.

* «Новое время». 2005. № 29.

А в другом сюжете, тоже в порту Одессы, обошлось без врачей, просто слесаря пригласили. Дело в том, что умелый стармех снабдил вроде бы неприхотливый «пояс верности» неприметным капканчиком, а сам уплыл. Ну, коварный капканчик при случае и сработал. Пришлось ухажера отцеплять, капканчик отпиливать. Куда ж тут без слесаря?

Бывают мужья, наоборот, очень наивные. В порту Владивостока бравый мичман не только прощально махал с борта отплывающего корабля, но романтическим жестом на глазах у супруги бросил ключик от «пояса верности» в море. И отважно направился навстречу штормам и опасностям.

На следующий день в море погрузился здоровенный водолаз. Ключик он, конечно, нашел. Для себя ведь старался.

Вот у бедуинов с этим несколько иначе. Нет, речь вовсе не о женах. Уж у бедуина жена даже лицо в платочек заворачивает, чтобы подробнее сохранить для мужа целомудрие. Тут как раз совершенно другие хлопоты.

Бедуины тоже, что твои моряки, путешествуют на кораблях, но на «кораблях пустыни». А чтоб вы знали, верблюдихи – очень похотливые тетки. К тому же столь сладострастны, что чуть что беременеют. Так странствующему каравану только этой беременной идиотки и не хватало – принимать у нее прямо посреди пустыни роды.

Как быть? Ну, коли вы полагаете надрючить на верблюдиху «пояс верности», то займитесь этим сами, успехов вам. Опытные бедуины спроворили уж совсем проще простого. Они напихивают верблюдихе в орган сладострастия камней. Уверяю вас, тут уж ни верблюдихе, ни ее хахалям не до любовных утех. В человеческих семьях до этого пока не додумались. Да и не надо.

Мы, как погляжу, все больше на жен обратили острие наших сомнений. Дескать, не всегда они в достаточной мере украшают своих гордых мужей целомудрием. Так ведь мужичок, он тоже, знаете ли, не промах. Сноровист эротоман жене голову дурить, вплоть до того, что он «задерживается на совещании»... Но иногда на ниве эротики постигает полный облом.

Дело было в пригороде Смоленска. Надо сказать, супруг вел себя смиренно: якобы на совещаниях по вечерам не задерживался, в отпуск ездил исключительно с женой. Случай прямо-таки уникальный не только для Смоленска.

Но однажды благоверная зачем-то полезла на чердак их избы. И обнаружила, что у мужа там зазноба-полюбовница: глаза огромные, бедра крутые, очень вся из себя похотливая, Зинаида называется. Жена не только пришла в ярость, но еще и обалдела. И подала на развод.

С чего бы тихая жена обалдела? Эта бесстыжая любовница была «резиновой Зиной», которую сладострастный муж приобрел в московском сексшопе. И украдкой пробирался к зазнобе на чердак, он туда на свидания к ней ходил... Суд супругов не развел, хотя смеха сдержать не смог.

Так что, как видите, мужчины тоже иногда, я бы сказал, подчас склонны к измене. Не без того?



народный артист РФ, художественный
руководитель театра «У Никитских ворот»,
драматург. Живет в России.

ШТУЧКИ *

Иногда наступает момент, когда у тебя в карманах накопилось множество мелочи. И надо очиститься. Надо освободиться. Чтобы легче было идти дальше. И вот я взял да и вывалил все на стол. Для этого я заглянул в свои старые записные книжки, нашел какие-то заваливавшиеся клочки, и получились какие-то отрывки из обрывков. В общем – штучки.

Лично для меня третье тысячелетие будет короче второго.

«Из всех искусств для нас важнейшим является кино», – сказал Ленин, а сделал Голливуд.

Сначала им нос не подходит, потом этнос.

Лес рубят – щепенцы летят.

У Зюганова даже член партии.

Сомнительно целомудрие курицы, снесшей яйцо.

Все мы вышли из шинели Сталина.

Могу оседлать корову. Только зачем?

Только для депутатов Государственной думы! Сафари в Чечне!

Кто-то видел на Брайтоне табличку: «Здесь говорят по-английски».

* «Новое время». 2005. № 33.

На Брайтоне говорят по-русски, но по-брайтоновски:

– Мой Натанчик взял английский и кончил на компьютер.

Но и в России о том же говорят не по-русски:

– Мой Вася чешет на англише и целыми днями онанирует с мышкой!

Во время выборов и у Паваротти – один голос!

Есть с кем, но негде. Есть где, но некогда. А бывает: есть с кем, есть когда, есть где, но нечем.

Если цель оправдывает средства, значит, эти средства противозачаточные.

Ни на что не похоже, но очень узнаваемо.

Как кто-то заметил: даже Макашов у нас немножечко Альберт.

Известный принцип «поиск виновных, наказание невиновных и награждение непричастных» мы заменили на «награждение виновных, наказание непричастных и поиск невиновных».

Я в возрасте. Из половых органов остались одни глаза.

Вопрос на засыпку: как в детстве звали Акакия Акакиевича?

В стране Большой Недоум с перекосом и Большой Недоед с перепоем.

Не любить Россию – преступление. А любить – наказание.

Переименовать Одессу в город Жванецк нам может помешать только Жванецкий.

Разговор во дворе интеллигентов. Первый вежливо говорит:

– Если ваша собачка еще раз пописает на мой гараж, я убью вашу собачку.

Второй вежливо отвечает:

– Если вы убьете мою собачку, я сожгу ваш гараж!

Объявление в подъезде: «Господа! Если Вы по-прежнему будете ссать в подъезде, господин дворник откажется от сотрудничества с Вашим домом».

Раньше интеллигенция была прослойка, теперь она – прокладка.

Пожелание городу Иркутску... Сначала – канализация. Театр оперетты – потом!

Народ хочет «крепкой руки», а «крепкая рука» никогда не хочет народа.

Моя скороговорка:

Те рвут, эти врут,
Которые дорвались – заврались.
Пусть же те, которые наврались, – надорвались.
А которые прорвались – прервались.

В жизни я гораздо лучше, чем в зеркале.

Большая Россия... Поскольку у Ленина был сифилис мозга, Крупская имела с мужем геморрой.

Наконец-то пришла Свобода, и он пукнул.

– Мечтаю стать прокурором! – сказал мальчик и оторвал мухе лапки.

Всю жизнь ругал Америку, а утонул в речке Говнотечке под деревней Новая Грыжа.

Раньше было не лучше, а раньше.

Кому пАйки, а кому пайкИ.

В залу вошел известный скульптор с каменным лицом.

Вечно в нашем лесу проблема дров!

Как совместить народ-богоносец и автомат Калашникова?

Проблема в том, что борьбу с опытными террористами должны вести более опытные.

Новатор особо убедителен, когда говорит банальность.

– Прошу вас, доктор, об одном: не морочьте мне голову моими болезнями!

В туалете филармонии объявление: «Не бросайте в унитаз посторонние предметы!»

Композитор Держинский, на стихи Лаврентия Кагеберия... Из цикла «Эх, хорошо в стране советской – жуть!»

– Как Вы относитесь к евреям?

– Я к ним отношусь.

אליפים

סוכנות לביטוח
מ'בע' (2002)



ЭЛИФИМ

СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО
(2002) Лтд

- Хотите обеспечить реализацию Ваших финансовых планов и обрести гарантию их безопасности?
- Хотите уверенности в том, что Вам предложен оптимальный вариант?
- Ищете надежного партнера и советчика?

Все это и многое другое Вы обретете в "Элифим".

Страховое агентство "Элифим" – это Ваш партнер в страховании жизни и здоровья, бизнеса и квартир, транспорта и всех видов недвижимости, а равно – пенсионных и целевых накопительных программ и фондов.

Наши представительства к Вашим услугам в любой точке Израиля. Мы готовы в любой момент откликнуться на Ваше обращение по телефону

1-700-703-323

**Журнал
можно приобрести
в книжных магазинах:**

- **Афула:** ● «Арбат», ул. Арлозоров, 13
- **Ашдод:** ● «Спутник», Мерказ Сити, ул. Ха-Клита, 3/6;
Мерказ «Йуд», ул. Ха-Невиим, 7
- **Бат-Ям:** ● Книжный мир, ул. Бальфур, 49
- **Безр-Шева:** ● «Радость», ул. Гистадрут, 37
- «Спутник», ул. Яир, 33; ул. Гистадрут, 55/4
- **Герцлия:** ● «Спутник», ул. Соколов, 58
- **Герцлия-Питуах:** ● «Меркурий», Каньон Мерказим 2001 (напротив «Моторолы»)
- **Иерусалим:** ● «Золотая карета», ул. Яффо, 129; ул. Агрипас, 3 ● «Гешарим», ул. Агрипас, 10
- «Аквариум», ул. Бен-Йегуда, 34 ● «Меркурий», ул. Кинг Джордж, 20 (или ул. Элиаш, 6)
- «Престиж», Тахана мерказит, 3-й этаж ● «Спутник», ул. Яффо, 91
- **Кармиэль:** ● «Альтернатива», ул. Ха-Галиль, 2
- **Кфар-Саба:** ● «Арлекин», ул. Вейцман, 72 ● «Спутник», ул. Вейцман, 148
- **Нагария:** ● «Альтернатива», ул. Геатон, 2
- **Нацрат-Илит:** ● «Арбат», Мерказ Раско ● «Альтернатива», Мерказ Раско
- **Петах-Тиква:** ● «Пегас», ул. Хаим Озер, 13 ● «Спутник», ул. Хагана, 14 ● «Буковина», ул. Орлов, 84
- **Реховот:** ● «Рая», ул. Герцль, 175 ● «Спутник», Пассаж Фарлан, ул. Герцль, 161
- **Ришон ле-Цион:** ● «Элла», ул. Ротшильд, 82
- **Тель-Авив:** ● «Букинист», ул. Алленби, 71 ● «Миллениум», Новая тахана мерказит ● «Дон-Кихот», ул. Алленби, 98
- **Хадера:** ● «Арбат», Пассаж, напротив банка «Дисконт»
- **Хайфа:** ● «Дон-Кихот», ул. Герцль, 59 ● «Здесь!», ул. Ха-Невиим, 23 ● «Азбука», ул. Хаим, 4 ● «Колизей», ул. Ха-Невиим, 24 ● «Улыбка», ул. Халуц, 55 ● «Адар», ул. Герцль, 48 ● «Альтернатива», ул. Халуц, 42 ● «Спутник», ул. Ханита, 40
- **Холон:** ● «Спутник», Кикар Вейцман, 13

■ **Книжный интернет-магазин:**

www.neshima.com